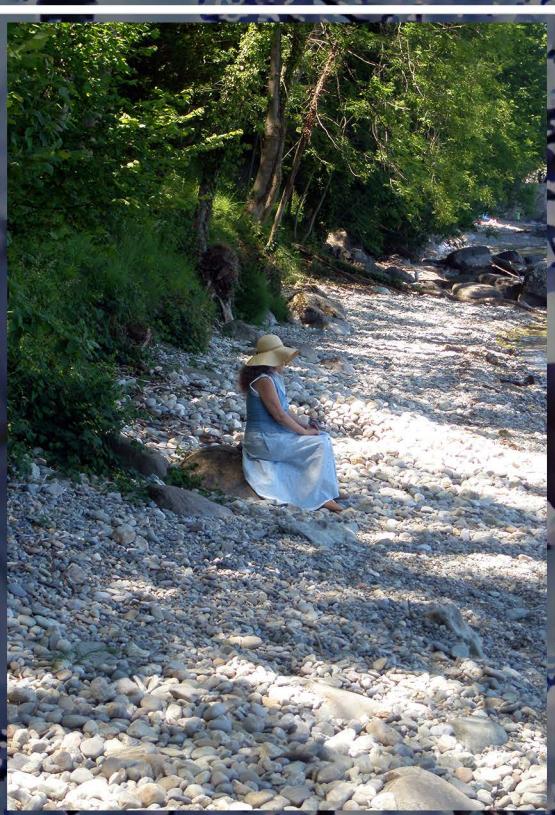


ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА



IV

Отголоски. Этюды.
Критика и рефлексия

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА

Против эмпирионатурализма

IV

**Отголоски. Этюды.
Критика и рефлексия**

**Москва
2012**

© Сидоркина Е. Н., составление и обработка. 1985–2012

© Иванов П. Б., верстка и оформление. 2012

<http://unism.pjwb.net>

<http://unism.pjwb.org>

<http://unism.narod.ru>

- ◎ Допускается копирование текста и элементов оформления в любой форме, целиком или частично, с любыми изменениями, включая перевод на другие языки, с любыми целями (в том числе коммерческими), при условии, что это не ограничивает свободы распространения данного оригинала.

ОТГОЛОСКИ

Пьер Ферма не был профессиональным математиком. Он просто любил математику. Ему нравилось иногда любоваться ее красотами, притрагиваться к ее тайнам... А время от времени — потакать ее капризам. Например, приводить доказательства того, что и так очевидно. Доказательства иногда оказывались неправильными — но кого это волнует? Важно усмотреть суть — почувствовать, а не объяснить.

Как и положено влюбленному, он чутко отзывался на переживания других — оставляя следы на полях по-старинному изданных книг. Одним из отзывков — родилась самая знаменитая теорема Ферма; возможно, и самая бесполезная, — но красивая и загадочная. То, что можно любить просто так, без уважительных причин. Доказательства у Ферма, скорее всего, и не было — но потом выяснили, что любитель и здесь был прав. Современная математика обогатилась такими разделами, о которых и не мечталось отцам-основателям. Любителям в науке ходу нет. Результаты Ферма (особенно в теории чисел) поставили на защиту бизнеса — и это, вроде бы, правильно, и всем полезно... Хотя кому-то математика на цепи покажется не слишком вдохновляющим зрелищем. Но это их личные проблемы — не так ли?

Здесь мы не о математике, а о любви. И было бы странно превращать это в строгую науку. Важнее просто любить. Уважать личное — и быть личностью. Если кому-то не понравится — мы не в обиде. Любим-то мы не для кого-то, и ни для чего. Просто так, без уважительных причин. Какой смысл объяснять и доказывать? Будьте достойны любви — и вас полюбят. Предъявлять удостоверение в таких делах — как-то странно.

Убедительность — понятие растяжимое и относительное. Заметить логику собеседника возможно только если заранее с ним в чем-то согласиться. Вот это общее и разбирать потом на детали. Если же выводы не устраивают — никакие аргументы не в счет. Потому что логические погрешности можно отыскать в чем угодно: на то она и

логика, чтобы работать вообще и везде — а значит, быть, строго говоря, неприменимой ни к чему, что не есть вообще, и не везде. Но если заденет за живое, заинтересует, — можно спрашивать об основаниях, попросить поделиться производственным опытом.

Так мы и общаемся. Встретились, обменялись мнениями — пошли дальше, каждый своим путем. Возможно, из многих мнений вырастет что-нибудь более фундаментальное; а пока — просто возгласы на полях: иногда просто возмутиться, выпустить пар, — иногда с намеком на перспективу. Что из этого подтверждат через пару сотен лет — сложно сказать; да нам оно особо и не для чего. Здесь и сейчас — нужнее возможность ощутить собственную причастность к движению истории, когда мы сами создаем события и выстраиваем из них времена и эпохи. То есть, не просто плывем по течению, и не приспосабливаемся к установленвшимся порядкам, — а придумываем то, как оно должно происходить, и могло бы произойти, если в чем-то друг с другом согласиться. Пусть выдуманные миры так и останутся мифом, несбыточной фантазией, — сама возможность такое придумать отличает нас от неодушевленных вещей и животных, обнаруживаю нашу (а стало быть, и не только нашу) разумность.

Заметки по поводу — одно из выражений человеческой свободы. Животное принимает все как есть, неживому вообще все равно. А нам не все равно, и мы говорим не о наличном, а о личном. Именно этим мы становимся интересны другим — и замечаем самих себя. Разумеется, одними разговорами обходиться не резон. Настроиться, собраться с духом — и за дело, пересоздавать мир. Так, чтобы ему казалось, будто он сам себя создает, с нашей помощью. И чтобы нам казалось, что ему это кажется. Потому что без таких иллюзий — работа не завершена: разные части и стороны целого не связываются воедино. И по этому поводу тоже можно критически высказаться — чтобы совместными усилиями поправить дело. Мы не только читаем книги — мы трудимся, любим, мечтаем. Испытываем собой поля истории. А когда станем историей — кто-то распишется и наших полях. Для того все и затеяно: не только быть — но и становиться; не только свободно творить — но и открывать простор для творчества. В наших трудах — продолжается предыстория человечества; было бы неплохо и самим стать достойными продолжения. Впрочем — это как повезет; а занимаемся мы сейчас разными разностями только потому, что нам это нравится, и кажется разумным хотя бы для нас. Мы любим не любовь — мы просто любим.

* * *

Можно не соглашаться с человеком — но уважать его как личность. Законченный пошляк — иногда изрекает нечто разумное. Ошибки первых — могли бы быть и нашими ошибками, и мы учимся, духовно растем. Пошлости вторых — утверждают разум отрицательным образом. Мы неравнодушны к миру — и потому способны любить. Мы вынуждены существовать в классовом обществе — и нам приходится порой ненавидеть. Но даже в своей неразумности — мы любовь.

* * *

Паскаль:

Напрасно любовь считают недостойной называться именем разума. Противопоставлять их нет оснований, потому что любовь и разум — это одно и то же.

Без комментариев. Всеми руками за.

* * *

Еврипид, *Ипполит*

Не надо, чтоб люди так сильно друг друга
Любили. Пусть узы свободнее будут,
Чтоб можно их было стянуть и ослабить,
А так вот, как я эту Федру люблю,
Любить — это тяжкое бремя. На сердце
Одно, да заботы, да страхи двойные.
Вот подлинно — где ты уж слишком усерден,
Там много ошибок да мало утехи...
Всегда я скажу: ты излишнего бойся,
Все в меру — и мудрые скажут: все в меру.

Первое и главное: даже такая любовь — счастье. Не нужно никакой меры. Любовь безмерна! А мера — это уже базар...

Но здесь-то уникальный для античной литературы факт: кормилица Федры как носитель народной мудрости. А заодно и выразитель позиции

писателя. Новаторство Еврипида: традиционному хору (как взгляду с небес) противопоставлен взгляд конкретного человека, изнутри.

Еще одна необычность: редчайший для античности выход за рамки половой любви. Родительская любовь тогда воспринималась как чисто природный закон. Вспомним у Аристотеля:

... все сильнее привязаны к своим творениям, как, например, родители и поэты.

... для матерей любить детей — наслаждение.

... дети питают дружбу к родителям как их естественные порождения

При том, что

... отношение между отцом и сыном, предками и потомками, царем и подданными есть по природе власть.

... сын должен отдавать долг, но, что бы он ни сделал, он не сделает того, что достойно полученного прежде, а значит, он вечный должник.

Кормилица — не мать; для ребенка она как бы заменяет собой мать — но и для нее ребенок как бы становится своим, гораздо ближе, чем матери (которая просто отдает младенца на воспитание).

Что это за любовь? Откуда она? На каком уровне?

Явно не биологическая черта. У животных привязанность матери к детенышам — просто продолжение вынашивания (или высиживания). Реальное рождения — когда потомство окрепнет и обособится. У людей чувство может длиться всю жизнь, стать чертой личности.

Поскольку кормилица, как правило, существенно ниже рангом (иногда даже рабыня) — она остается всего лишь служанкой, и на нее удобно свалить причины любых неурядиц. Тем более удивителен литературный жест Еврипида, разглядевшего глубинные народные истоки «высокой» культуры. Но в данном случае житейская мудрость дает сбой — и ошибка кормилицы провоцирует Федру на убийство. Вряд ли это случайность — не только острый сюжетный ход. По всей видимости, речь и о том, что некогда единая культура расщепляется на культуру господ и культуру рабов — а между ними пропасть.

Остается сам факт любви — для которой нет преград. Ничего общего с пиететом подчиненных. Да, Федра разговаривает с кормилицей свысока; но даже в ней сильное чувство пробуждает что-то в ответ (признательность? доверие?), несмотря на поглощенность половыми переживаниями.

Ничего подобного в европейской литературе потом нет. Образ преданного слуги, нежнейшим образом привязанного к хозяину, — совсем не то: в каком-то смысле это другая сторона куртуазной любви (причем обе иногда соседствовали в одном тексте — как, например, в альбах). Позже — слуги блеют свой интерес, и уже не сказать однозначно, кто кого эксплуатирует... Разве, вспомнить няню Пушкина и его героини?

Но замалчивание в литературе не означает, что явления вовсе нет. Следы найдутся всегда. Вероятно, стоит поискать — пока преодоление классовой экономики не устранит само различие социальных позиций, вместе с различием полов.

* * *

Шамфор:

Всякий раз, когда я вижу женщин, да и мужчин, слепо кем-то увлеченных, я перестаю верить в их способность глубоко чувствовать.

А можем ли мы разглядеть чужую слепоту? Увлеченность сама по себе безвредна. Чем измерить глубину чувства?

Быть может, ориентиром служит способность не замыкаться в своей любви, своего рода солнечность. Любящий излучает любовь, его дух вовлекает в движение все окружающее — и мир начинает вращаться вокруг любви. Там же, где двое заняты лишь собой, — или у кого-то на уме единственный предмет, — речь не просто о недостаточной глубине чувства, а о недостатке человечности.

Вероятно, есть страсть, подобная черной дыре, — и это один из ликов любви. Наша неспособность видеть сквозь горизонт — не повод говорить о духовной пустоте.

* * *

Формула Ницше: *memento vivere* — решительный шаг вперед по сравнению с предшествующими (и последующими) философиями, старательно запугивающими обывателя житейскими и потусторонними бедами, втаптывающими пробуждающийся разум в пыль. Человеку говорят: ты ничтожество, и все, что ты делаешь, — прах. И тем самым запрещают видеть в мире что-либо кроме праха, не дают заметить

собственной бесконечности. Нормальная реакция — протест, вызов, утверждение значительности каждого шага, его влияния на судьбы вселенной.

Но этого недостаточно. Потому что это всего лишь реакция — другая сторона внешнего воздействия, его неотъемлемая часть. Нельзя бороться за свободу ради свободы — ибо всякая свобода не сама по себе, это свобода от чего-то и для чего-то, и главное как раз там, в материи, в деятельности.

Помнить о жизни — значит, помнить и о смерти. Эпатажный лозунг: *live fast, die young*. Настоящее освобождение там, где люди больше не задумываются о жизни и смерти, где такие мелочи не имеют ни малейшего значения. Как счастливые — не думают о счастье. Тела рождаются, живут и умирают — дух не в них, он всегда найдет себе иное пристанище. Быть так, чтобы не зависеть от жизни и смерти — чтобы свободно использовать и то, и другое там, где это разумно, — и забывать, когда нужны иные инструменты. Возможно, в таком мире, для таких идей, уже не требуется никакая философия.

* * *

Ривароль:

... в любви разумно, быть может, только одно — то, что она безумна.

На первый взгляд, противоположность Паскалю, салонное остроумие... Однако ум и разум — не одно и то же. В классовом обществе явление разума часто кажется совершеннейшим безумием.

* * *

Платон предлагает уничтожить семью и собственность — это отголоски первобытности, тогда еще не ставшие безнадежной архаикой. Когда назревают большие перемены, есть те, кто жаждет разрушить настоящее в надежде на будущее — и есть те, кто обращает взгляд в прошлое, когда вопиющих мерзостей еще не было. Знаменитая притча о пещере в какой-то мере относится и к самому Платону, которого пугает неизведанное — и хочется спрятаться в уютный мир теней. Надо отдать должное: Платон чувствует как принципиально антиобщественную роль семьи, так и тесную связь семейственности с собственностью; по всей

видимости, здесь не только историческая память, но и возможность вживую наблюдать эрозию общинности как в собственном опыте греков, так и на примере соседей. Однако его решение противоположно современному лозунгу «назад в пещеры!», за которым стоит стремление господ заставить массы затянуть пояса ради вольготной жизни верхов; напротив, Платон хочет вернуть в прошлое именно верхи — отделить аристократию от быдла (устройство жизни которого никого волновать не должно). Здесь снова пример прозорливости: распад первобытной общинны связан с экономическими причинами, с невозможностью обеспечить поддержание равенства, — однако если разбить общество на касты, заставив низшие касты полностью обеспечивать просвещенных и воинов, — эти последние могут больше не заботиться о презренной материи и вернуться к прежнему единству, на этот раз совершенно беззмятежному. Зачем собственность тому, кто по первому требованию получает все необходимое? Зачем нужна семья, когда у всех полный доступ ко всему, и не требуется передавать имущество по наследству? Золотой век для золотых тельцов.

По сравнению с Платоном, Аристотель — человек будущего, вполне убежденный в прогрессивности классического рабовладения — которое он лишь хотел бы ввести в разумные рамки (отсюда логика Аристотеля, метод поиска золотой середины, уход от крайностей). Классовое общество — достижение цивилизации; кто не дорос — полуидиоты варвары. Законы Платона — эмоциональный отклик, благие пожелания; законы у Аристотеля — выражение сущности человека, историческая неизбежность, которой разумное существо сознательно подчиняется.

Наша задача — уничтожение классового общества. И мы опять возвращаемся к разрушительности всякого деления общего дела на семейные и прочие клеточки — к необходимости снять барьеры между людьми и тем самым сделать ненужным их преодоление (например, в форме товарного обмена). В обществе разумных людей не может быть ни семьи, ни собственности. Но платонический рай нас не устраивает — и мы не собираемся въезжать в него на чьем-то горбу. Требуется обеспечить реальное равенство всех, всегда и во всем. Когда отпадает сама возможность сравнения.

На первый взгляд, задача утопическая: даже если мы повысим производительность труда (в количественном и качественном смысле) за счет внедрения далеко продвинутых технологий, это будет означать, что мы лишь заменяем одно рабство другим: вместо живых людей — роботы

и технологические комплексы. Когда машина умеет отзываться на потребности людей — у нее неизбежно появляются свои потребности, вовсе не обязательно совпадающие с человеческими, — но приходится их подчинять потребностям хозяев. Мы опять возвращаемся к проекту Платона: бесклассовое общество внутри класса.

Рассуждение содержит логическую ошибку: предполагается, что дух связан с телом (или многими телами), и субъектом деятельности становится именно тело (или совокупность тел). Такое закрепощение — типичная черта классового общества, следствие разделения труда. Духовность узурпирована правящим классом — а трудовой народ играет роль орудия, лишенного свободной воли. Но это означает, что и господа утрачивают духовность, становятся орудиями классового гнета — и представлены всего лишь телами. Вместо единства духа — стенка на стенку...

Как только мы перестаем сводить человека к (живым или неживым) вещам, различие этих вещей уже не означает человеческих различий, и каждый дух волен присутствовать в любом теле — или обходиться вообще без тел (существовать идеально, как общественная тенденция). Разумеется, в классовом обществе, противопоставляющем одни тела другим (и требующем приведения к единой мере путем обмена) полная свобода невозможна — и можно говорить лишь о ее идеальном присутствии, о частичных представлениях. Построение коммунизма на основе разделения труда — это утопия.

* * *

Ключевский:

Мужчина любит женщину чаще всего за то, что она его любит;
женщина любит мужчину чаще всего за то, что он ею любуется.

Другими словами: мужчины склонны к самовлюбленности, женщины — к самолюбованию. Ни то, ни другое — не имеет отношения к любви. Внешние проявления могут быть разными. В частности любовь может выглядеть как любование, или как признательность. Но может оказаться, что это лишь привлекательность, интерес, склонность — а будет ли из этого любовь, трудно сказать.

Ясно одно: в любви всегда есть место любованию — это один из способов признаться в любви. Но женщин воспитывают так, что им

достаточно намека — а мужчина ждет подкрепления действием. Уберите классовое неравенство — и культурные различия пропадут.

* * *

Идиотский штамп: матери обязаны любить своих детей. Через всю педагогическую литературу проходят высокопарные сюсики, типа:

Любовью и только любовью светится мать у колыбели ребенка.

Восходит, как обычно, к античной классике. Аристотель [1159а]:

... для матерей любить детей — наслаждение.

И дальше про то, как создатель любит свое создание, особенно если муки рождения совершенно всерьез. А дети, дескать, поначалу не понимают, как они мамаше обязаны, — и только много лет спустя до некоторых, наконец, доходит...

Мысль о том, что отношения между родителями и детьми могут складываться по-разному, пошла в тираж из практики психоанализа — но до сих пор ее стараются не пускать дальше литературы для узкого круга. Хотя по жизни каждый, вероятно, сталкивался с (очень мягко выражаясь) недружелюбным поведением родителей в отношении своих (а тем более чужих) детей. Но клиника говорит сама за себя:

Ее ненависть выразилась убийственным яростным взглядом, который ребенок понял так: «Хватит требовать от меня! Если ты не замолчишь, я уйду или уничтожу тебя!» Подобная экспрессия родительской ненависти встречается нередко. Многие матери кричат от злости и досады. Некоторые даже говорили мне, что много раз чувствовали, что могли бы убить своих детей.

Это А. Лоуэн, *Предательство тела* (1999). Про фрейдовский миф об отцеубийстве — все наслышаны. Однако и без клинических обострений чудес хватает. Есть факт: матери отказываются от детей — или продают их; матери убивают младенцев или выбрасывают в мусорные баки; матери лупят детей чем попало и заставляют отцов всыпать еще больше. Не говоря уже о жестокостях воспитания, унизительных наказаниях — и обычном семейном мате.

Миф о материнской любви — элемент системы промывания мозгов, попытка заставить глупые создания размножаться, плодить рабочую силу. Как водится, многие верят — и даже варварское обращение с детьми считают выражением искреннего чувства, и требуют в ответ, как

минимум, призательности. Пока люди не научатся видеть в людях людей, независимо от возраста, — пока они не станут разумно общаться друг с другом, не взирая на должности и опыт, — любви почти нет места между родителями и детьми; возможно там ей вообще не место: дети не должны знать родителей, и делать детей будут не постельные существа.

* * *

В. Д. Губин, Любовь, творчество и мысль сердца

Человек делает добро, поступает по совести не потому, что преследует такую цель, а потому, что он добр, совестлив и не может жить иначе. Человек любит потому, что не может не любить...

Казалось бы, похоже на правду... Любовь несовместима с корыстью, даже бессознательной или объективно необходимой. Но здесь роза с отравленными шипами: доброта, совестливость и потребность любить поданы как врожденные качества, встроенные в индивидуальность. Философский идеализм.

Суть в том, что никто не может родиться «добродетельным» — надо воспитывать себя в себе; социальный механизм, посредством которого мы можем это делать — любовь. В ней наше освобождение от любой корысти, от подчинения внешним интересам; мы поступаем так, как нам велит любовь — так, как мы любим! Тогда не нужна совесть — и теряет смысл противоположность добра и зла.

* * *

Попытки запереть человека в органическом теле — неизменно натыкаются на очевидное несоответствие реальности: мы чувствуем и доподлинно знаем, что наш дух — нечто существенное иное, нежели души животных, и никаким природным законам (включая правовые установления и гнет морали) подчиняться не обязан. Поскольку же об общественной сущности человека буржуазные теоретики ничего не знают (или предпочитают подло умолчать), им остается либо объявить сознание иллюзией, своего рода органическим расстройством, — либо встроить в тело некоего гомункулуса неизвестного происхождения, высшую инстанцию, подчиненную чему-то совсем мистическому, не от мира сего. Фрейд пытался следовать идее полной сводимости разума к

психике, а психики к физиологии, — но получалось криво, и он честно признавал неубедительность анализа, а в итоге был вынужден все же допускать какие-то неприродные инстанции (выражая надежду, что когда-нибудь их природность таки будет обнаружена). Напротив, Юнг сразу же отказался от человеческой разумности — и подчинил все в людях воле божества. Этот мистицизм мы, в частности, обнаруживаем и в юнгианской трактовке любви: R. A. Johnson, *We* (1983).

Carl Jung opens up an approach that takes us back to the roots of religion—the experience of psyche as soul, as a reality. He discovered that each person's psychological structure includes an independent religious function.

Нас сразу же загоняют в общую клетку: «религиозная функция» психики объявлена от нас никоим образом не зависящей — и обязательной для каждого. Это не просто мнение выжившего из ума психоаналитика — это подано как «открытие»! Хотя ни единого внятного аргумента в пользу мифической теории у Юнга вы не найдете. В русском переводе 2005 года акценты смешены: «возвращает к религиозным корням» — и классовая сущность не просто воняет в нос, но и бравирует махровой поповщиной, уродливой бездуховностью; характерный штрих, типично российское юродство. Оригинал еще можно понять в том смысле, что философский идеализм (признание существование душ как самостоятельных сущностей) — это корни *религии*, а не наши религиозные корни. Но для книги в целом такая корректность вовсе не характерна, и воспевание мракобесия раскручено по полной.

Their “love” is not ordinary human love that comes by knowing each other as individuals.

... romantic love is connected with spiritual aspiration—even with our religious instinct...

What we seek constantly in romantic love is not human love or human relationship alone; we also seek a religious experience, a vision of wholeness.

... our souls and spirits are psychological realities, and they live on in our psyches without our knowledge. And it is there, in the unconscious, that God lives, whoever God may be for us as individuals.

... the religious urge, the aspiration, means a seeking after the totality of one's life, the totality of self, that which lives outside the ego's world in the unconscious in the unseen vastness of psyche and symbol.

Здесь, вроде бы, тоже сведение духа к «психологическим реальностям», которые (как и у Фрейда) населяют, якобы, наше «бессознательное».

Однако Фрейд выводил «эго» и «супер-эго» из животности «оно» (составляющего основной массив бессознательного) — юнгианцы идут «сверху вниз», объявляя бессознательное лишь проекцией божества. Если для Фрейда психика человека есть лишь продолжение животных инстинктов — юнгианство (под соусом занятных сказочек) подсовывает широкой публике мистическое понимание как психики, так и инстинкта, когда всякая одушевленность — от бога, изначально встраивающего в души поклонение божеству («религиозный инстинкт»). Реакционность подобных «теорий» бросается в глаза: это проповедь вечной покорности, рабского повиновения, беспрекословного исполнения велений власть предержащих (которые испокон веков считали божественными только себя). Этим же инстанциям лакействующие «аналитики» пытаются подчинить любовь: меж собой быдло может любиться как угодно; но если барин приказал спарить такого-то самца с такой-то самкой — это полагается считать их «духовным влечением» и «религиозным опытом». Селекционная работа, дело житейское... Животные спариваются уже не природным образом, а как носители (святого) духа, ведомые (чуждой и неподвластной им) судьбой.

Легко видеть, что в этих человеконенавистнических идеях классово извращенным образом просвечивает совершенно материалистическая мысль: разум окультуриивает природу, меняет ее законы, приучает ее двигаться существенно неприродным (духовным) образом. Но если марксизм усматривает здесь возможность (и необходимость) устранения эксплуатации человека человеком — апологеты поповщины требуют сохранения классовых делений на вечные времена, и единственное «усовершенствование» допустимо лишь в плане формального паритета «маскулинности» и «фемининности», их гармоничного сочетания в каждом индивидууме и в обществе в целом. Именно это имеет в виду юнгианско-«видение целости»: переряженная доктрина «общества социальной гармонии» — когда рабы совершенно добровольно и с энтузиазмом служат интересам господ: *Jedem das Seine!*

Джонсон неоднократно подчеркивает, что его трактат выражает не только его личное мнение — но и европейскость вообще, своего рода евроСТАНДАРТ — следовать которому хорошо вооруженные американцы принудят весь мир. Карл Маркс и Фридрих Энгельс (не говоря уже о Ленине) — очевидно, не европейцы; точно так же, как и поборники «спокойной, преданной, неромантической любви, которую мы часто видим у дружных супружеских пар или любовников». Ну что ж, любовь

пытались вытравить их людей тысячи лет — но она жива; переживет и юнгианские выверты. Будет и на нашей улице праздник!

* * *

Ларошфуко, 136:

Иные люди потому и влюбляются, что они наслышаны о любви.

Когда для любви нет достойных общественных условий, слухи вполне заменяют отсутствие подобающего воспитания и высокой культуры.

* * *

Энгельс, *Анти-Дюринг* [20, 305]:

... хотятувековечить существование «экономических разновидностей» людей, различающихся по своему образу жизни, — людей, испытывающих удовольствие от того, что они занимаются именно этим, и никаким иным, делом, и, следовательно, так глубоко опустившихся, что они *радуются* своему собственному порабощению, своему превращению в однобокое существо.

Едкий сарказм — и полнейшая злободневность! Сотни лет буржуазная пропаганда пытается воспитывать в людях гордость за свое дело, привязанность к своей работе — и корпоративный дух. Что удивительно, именно этим занимаются и большевики! Вот, у Крупской:

Правильный выбор профессии будет давать максимум удовлетворения работой и повышать ее эффективность.

Отсюда практика: почетные звания и прочие отличия, плакаты, пресса и кино, трудовые династии... Уродство капиталистического разделения труда в конфетном фантике. Еще один гвоздь в гроб революции.

Для развития человеческой разумности важно поддерживать тягу к универсальности, приветствовать широчайшее самообразование и смену деятельности — уход от профессиональности как таковой. Капитализм будет сопротивляться, подстраивать все новые кризисы как предлог для ограничения круг возможностей. Сегодня предпочитают работников, способных жертвовать личной жизнью во имя процветания бизнеса, — но падение уровня жизни заставляет людей искать дополнительные источники дохода, заниматься индивидуальным предпринимательством. Это еще не выводит нас за рамки дурной однобокости, оставляет во

власти рынка, — но рождает сознание принципиальной возможности свободного труда, стремление высвободить время для творчества (хотя бы и на уровне организации досуга, увлечений и развлечений). Даже уродство нынешних социальных сетей — извращенная форма тяги к духовной свободе. А это значит, что нерыночный сектор экономики жив, и будет жить, и будет расти — вплоть до превращения товарного обмена в полную бессмыслицу.

* * *

Арабы издревле считали европейских женщин распущенными — и когда женщина в Египте или на Ближнем Востоке появляется на людях в одиночку, это воспринимается как желание приключений; тамошние мужчины искренне удивляются, если их приставания резко отвергают и зовут на помощь полицию. Во многом сказывается традиционное отсутствие у мусульман интереса к европейской культуре, нежелание вообще что-либо знать об иноземных традициях. Поэтому большинство мигрантов не ассимилируются в Европе, не перенимают европейский образ жизни, — а наоборот, насаждают свои традиции, вынуждая европейцев терпеть любые выходки — и угрожая тем, кто недостаточно почтителен к исламу. Справедливости ради, следует заметить, что и европейцы не особо считаются с «туземными» нравами — и лезут со своим уставом в каждый монастырь. Отличие только в допущении, что знание местных обычаев иногда может быть полезно для бизнеса.

Однако во времена крестовых походов завоеватели вообще не воспринимали население Сирии и Палестины как партнеров: для них это лишь плательщики дани и подневольные работники. Рабы. Писатель XII в. Усама б. Мункиз рассказывает анекдот о том, как рыцарь приходит в хамам вместе с женой в мужской день, да еще и заставляет банщика брить ей передок; его читатели, конечно же, считали это дурным тоном, свидетельством дикости европейских нравов, — тогда как на самом деле тут подчеркнутое пренебрежение: крестоносец ни во что не ставит арабов, и ему даже в голову не приходит, что это не какие-нибудь евнухи, не слуги, не вещи с глазами (а обнажаться перед рабами — ничего зазорного).

В Европе того времени банные обычай тоже существовали — и женщины, как правило, мылись отдельно от мужчин; более того, кое-где женщине было неприлично видеть даже собственную наготу, и мылись

в специальной одежде (и несколькими веками позже дамы были обязаны надевать закрытые платья при посещении морских купален). Конечно, простонародье в бани не ходило — выбирали укромные места по берегам рек.

С другой стороны, среди европейских аристократов позволение мужчинам присутствовать при дамском туалете считали просто знаком особого расположения — и не видели в этом ничего дурного. Для мусульман это уже с середины VII века — недопустимая вольность (хотя у кочевников древности мужчина мог запросто провести в девичьей палатке всю ночь). Обычная светская беседа (не без кокетства!) — это уже чересчур. Такое поведение, на восточный взгляд, практически не отличается от проституции — которая вообще в арабской культуре явление ненормальное (зачем им публичные дома, когда по закону можно иметь несколько жен и сколько угодно рабынь?). Впрочем, свидетели «подвигов» крестоносцев вряд ли могли свободно общаться с благородными дамами — и судили обо всех именно по проституткам. Так, абу Шама рассказывает, как морем прибыли «три сотни красивых франкских женщин с островов» (а у арабов светлокожие и голубоглазые считались очень красивыми) дабы предложить облегчение любому франку, пожелавшему их услуг. Называли конкретные цены — полагая, что это касается всех европейских женщин без исключения. Когда крестоносцев начали выдворять с захваченных территорий, мамлюк Бейбарс запретил проституцию: все проститутки должны выйти замуж и быть запертыми дома! Современные мусульманки настаивают, что им в гареме хорошо, что для женщины это завидная доля... Но с точки зрения движения к разуму, то есть, к свободе и любви, даже право торговать своим телом — свидетельство значительного прогресса европейской нравственности со времен древних греков, которые (подобно арабам) стремились запереть женщину в доме, считая ее собственностью «домохозяина» (Аристотель ставил женщин ненамного выше рабов). Женщины воительницы для греков были экзотикой — отсюда легенды об амазонках. Точно так же средневековых арабов изумляло присутствие женщин в рядах крестоносцев — так что их было не отличить от мужчин, пока не сняли доспехи. Имад ад-Дин писал: «Они ведут себя так же, как те, кто наделен разумом, хотя они и женщины». Вспомним, что в разуме Аристотель женщинам отказывал (хотя современные ему киники уже допускали равенство с женщинами). Когда Усама говорит о франкских женщинах: «Женщина знает лучше о своих делах; ее интимные части

принадлежат ей; если она пожелает, она может хранить их, а если пожелает, может дарить их», — это, конечно идеализация реальности; но в этом выражение невероятной для мусульман свободы и равенства полов. До полной эмансипации оставалось еще восемь веков — но исламские страны не прошли этого пути до сих пор.

* * *

Г. В. Плеханов:

Совершенно очевидно, что если каждый из нас является субъектом для себя (*я*), то для других людей он может быть только объектом (*ты*).

Метафизические очевидности нам не указ! Плеханову по заслугам доставалось от Ленина за абстрактный педантизм, попытки свести марксизм к простым и обязательным для всех правилам; безоговорочное разведение *я* и *ты* по разные стороны бытия — непростительная логическая неряшливость у начитанного профессора. О гегелевском принципе развития и снятия противоположностей Плеханов, разумеется, наслышан — только взаимосвязь природы и духа почему-то превращает в абсолют. Но отказ от историчности автоматически есть принятие действительности в той форме, в которой она дана человеку на данный момент, — а значит, плехановская метафизика есть, по сути, апологетика капитализма. Ленин сумел сделать решительный шаг [29, 90]:

Различие субъективного от объективного есть, **НО И ОНО ИМЕЕТ СВОИ ГРАНИЦЫ**.

Здесь отличие настоящего марксизма от начетнических опошлений. Субъект — это объект, который... Объект — предстоящее субъекту... Не бывает одного без другого.

Первично я воспринимаю другого как объект — и на этом стоит иерархия классовых обществ, цивилизация. Чисто внешнее отношение одних к другим, вполне подобное акту товарного обмена.

Однако разумное существо не может этим ограничиться: ему важно увидеть в другом не только объект, но и равного себе субъекта, — это и есть любовь!

Но и это еще не все. На следующей ступени другой становится синтезом объекта и субъекта, продуктом, — и таким образом я сознаю собственную культурность. Ни *я*, ни другой, — уже не сами по себе: каждый из нас представляет общество в целом. Различие *я* и *ты* снимается, уходит в тень, — а на первый план всплывает что-то другое.

Что? Например, наша общая способность одухотворять природу. Уважительное отношение к кошке — в каком-то смысле поднимает ее до уровня человека; и наоборот, кошка способна пробудить в человеке собственно человеческое... В природе нет ни красоты, но логики, ни блага — но мы делаем ее и тем, и другим, и еще многое чем.

* * *

Паскаль (309):

Понятие справедливости так же подвержено моде, как женские украшения.

Тем не менее, украшения остаются украшениями спустя десятки веков. Современная дама (не обязательно модница) с удовольствием примерит доисторическое золото или роскошь средневекового платья. Она не будет это носить — но ей это приятно.

Игры людей делятся тысячелетиями. Наши идеи переживают наши понятия. Красота прячет себя за украшениями. Но одно дело — подавать товар лицом, и совсем другое — попробовать стать красотой, перелить себя в вещь ради высокого искусства. Бывает, что одно от другого не отделить — но различие все-таки есть, и только поэтому жива красота.

* * *

Маркс, *О свободе печати* [1, 79]:

Подобно тому как каждый учится писать и читать, точно так же и право писать и читать должен иметь каждый.

Дело не в том, чтобы иметь право (тем более по долгу, обязанности, официально), а в том, чтобы иметь возможность. Пусть каждый пишет что угодно — но мы просто не дадим это публиковать, и запретим самиздат; будет это свободой? Каждый имеет право читать написанное кем угодно — но пусть он еще попробует до этого дотянуться! Если кто-то уже съел яблоко — как мне заставить его со мной поделиться?

Вопрос не в правах, а в создании такой системы общественного производства, при которой сама идея права перестает существовать. Есть у меня потребность — это и общественная потребность, и общество делает все, чтобы возможность (реальная, а не только теоретическая) у всех желающих была. Но в этом случае потребности каждого — важны

всем, и доступное одному становится непосредственно доступным другому. Если яблоко съел кто-то другой — мне это столь же приятно, как если бы я съел яблоко сам; никакой дележки (а значит, и вопроса о правах) в таком обществе просто быть не может. Ср. у Маркса [42, 146]:

поскольку человек *человечен*, а следовательно, и его ощущение и т. д. *человечно*, постольку *⟨потребление как онтологическое⟩* утверждение данного предмета другими людьми есть также и его собственное наслаждение

Когда я потребляю — я самим актом потребления создаю нечто универсально значимое, участвуя в процессе строительства культуры в целом. Я это знаю — и знают все. Легко видеть, что подобная взаимосвязь индивидуальностей в составе целого — это *любовь*. В классовом (заведомо несвободном) обществе любви приходится встраиваться в наличные классовые формы, и тогда борьба за буржуазные (политические) свободы становится одним из воплощений любви.

* * *

Мо Цзы:

Высшие интересы людей не в односторонней любви, а во всеобщей любви. Но всеобщая любовь, преломляясь в отношении каждого человека, основывается на интересе данного человека, а интересы людей различны, значит, любовь по отношению к каждому отдельному человеку различна, но в целом она обща, сходна, так как это любовь к людям.

Внешне — противоположность конфуцианству. У моистов любовь — всеобщее, из которого вырастают частные проявления. Напротив, конфуцианцы (не будем путать их с реальным или мифическим Кун Цзы) изначально полагают любовь частным делом, пробуждая тем самым в ней индивидуалистическое, корыстное; в таком понимании любовь легко становится всеобщей — как элемент государственности.

Мо Цзы:

Любовь к людям должна быть бескорыстна.

Конфуций говорит: *не делай людям того, чего не желаешь себе...* Это формула корысти: вместо того, чтобы вместе делать общее дело — договорные отношения, невмешательство в чужой бизнес. Свобода как

разъединение, а не единство. Но, как выясняется, моисты, со всей их всеобщностью, недалеко от Конфуция ушли:

... не должно быть человека, которого бы не рассматривали как равного себе, не питали бы к нему любви, как к себе.

Вот так, за упокой... Опять всех начинаем мерить по себе. Только из области действия этот эгоизм перекочевал в сферу духовности. Логичнее было бы сказать: видеть в каждом частицу всеобщего, любить в каждом (включая себя) человеческое (не закрывая, однако, глаза на остальное, недостойное любви).

* * *

Мюссе в письме Жорж Санд.:

Любите тех, кто умеет любить, я умею только страдать.

Страдание как один из ликов любви — почему бы и нет? Другое дело, что никто не обязан страдать в ответ: можно разделять любовь — и это будет любовь; но разделить страдание — это всего лишь сострадание.

* * *

Йозеф Геррес:

В идеальности, господство исчезает в любви, и ни один не подчиняется, ни один не повелевает, ни один не клянется в верности, ни один не требует клятв.

Важно, чтобы господство исчезало не только в идеальности — надо изгнать его из повседневной жизни людей. Совершенно практическими действиями. Нет этого — и любви летать негде. Вместо бесконечно разнообразного по телесным формам человечества, где уже не играет никакой роли физиология пола, — господин Геррес на веки вечные закрепляет разделение полов:

Чувства женщины — призма, преломляющая единый луч, — получаются бесчисленные лучи цвета; фантазия мужчины — линза, собирающая в фокус лучи духа, зажигательное стекло; поэтому аналитический вкус — вот сфера, в которой может проявить себя женщина, а сфера мужчины — синтезирующий, все связующий дух. Поэтому, во всем производимом ими совместно, мужчине подобает творчество, а женщине — познание и сохранение наилучшего.

Более того, воспитание мужчин предполагается поручить мужчинам; женщин пусть «вяляют» женщины... Отсюда — а вовсе не из природной предрасположенности — растут ноги у внешне очевидного различия полов (по первичным, вторичным и прочим признакам).

Красивые жесты в сторону женщин — не заменят реального дела; предложения «признать» — всего лишь призыв не отказываться от полезного кусочка собственности:

Тысячи мужчин видят в женщине только животное, не предполагают в ней и не признают за ней души, а в результате добровольно отказываются от того, что принадлежало бы им

Потому что женщине не подобает оставаться самой по себе:

Вся природа сошлась для женщины на ее любимом, и в эту природу она погрузилась, забыв о себе; этой вселенной всецело принадлежит она, ее жизнью только и живет. Поэтому любовь женщины — это преданность; лишь тогда, когда совершенно забывает она о своей личности ради мужа, она любит вполне, любит по-настоящему.

И в ответ, конечно же, подобает толику мужской привязанности:

Обретая возлюбленную, он впервые радуется всему богатству своей внутренней природы, потому что может одарять этим богатством.

Это сродни радости от удачной сделки, полезного приобретения — которое при необходимости можно снова запустить в рыночный оборот...

Предел фантазии немецкого романтика — миф об андрогине: «мужеженщина», слияние мужского и женского начала, которое вновь и вновь вынуждено распадаться на все ту же половую противоположность, ибо иначе — конец всему. И снова десятки страниц о взаимном притяжении противоположностей...

Господа-теоретики видят любовь только со стороны «тяготения», товарного обмена:

А подобно тому как притягивают друг друга дружественные полюсы магнита и положительные и отрицательные заряды стремятся друг к другу, так стремятся друг к другу мужчина и женщина, а что притягивает их и в чем склоняются они друг к другу, — это любовь.

Но в жизни любовь сложнее — она может и отталкивать людей друг от друга, запрещать единство — и тем самым восстанавливать его в иной, отрицательной форме. Все это частности, обусловленные внешними обстоятельствами. Суть же в том, что любовь *снимает* всякую

поляризацию, и нет больше ни притяжения, ни отталкивания, двое становятся одним.

* * *

Лонг, *Дафнис и Хлоя*:

... восхищенье это было началом любви. Что с ней случилось девочка милая не знала, ведь она выросла в деревне и ни разу ни от кого не слыхала даже слова «любовь».

И немного ранее о такой же наивности взрослых:

... жертву в пещере у нимф принеся крылатому мальчику (имя его назвать они не умели)

Разумеется, это художественное преувеличение, развертывание исходно религиозной авторской идеи. Но само возникновение подобного образа невозможно на пустом месте: предполагается, что серьезные различие культурного плана в обществе существуют — и в какой-то мере осознаются. Понятно, что источник мифов — устная народная традиция, и потому народ в безусловно знаком со многими персонажами; с другой стороны, культовая и литературная мифология — это уже постановление сверху, и массы вовсе не обязаны следить за полетом фантазии господ-захребетников. По большому счету у Лонга очень верное наблюдение: людям все равно, как там кто называется, они не собираются вникать в полномочия богов — и просто отдают всем что положено по обычаяу, лишь бы отдалаться. Обычное отношение к начальству. Такова и средневековая христианская обрядность.

На заднем плане — различие уровней грамотности. Буржуазные теоретики склонны трактовать античное культурное наследие слишком расширительно, как культуру масс. Это заведомо не так — классовая культура остается преимущественно достоянием господствующего класса (хотя, разумеется, в хозяйстве были полезны и грамотные рабы). Типичный образчик псевдоистории — у И. Дьяконова:

Грамотность среди народов древности была вообще распространена значительно шире, чем в эпоху средневековья, евреи же пронесли традицию грамотности, как часть предписанной религиозной догмы, даже и сквозь средневековье.

Вроде бы, еще советские времена, — но вместо здравого смысла сплошные натяжки под еврейскую пропаганду... Мало того, что в одну

кучу валят свободных и рабов, богатых и бедных, — но даже среди богатых поголовная грамотность — миф. Испокон веков существовала профессия писца, грамотея, «держателя книг», — особая прослойка, за деньги выполняющая трудные для большинства умственные задачи. Косвенным подтверждением может быть востребованность ораторского искусства, и метод Сократа... Опора на звучащее слово важна там, где вероятность быть прочитанным заведомо мала.

Заметим, что и еврейская диаспора отнюдь не блистала знанием иврита и умением читать книги; большинство говорило на местных языках, а для обрядовых действий — специально обученные чтецы. Подобно тому как католическое богослужение вовсе не предполагает поголовного знания латыни.

Любовная наука для рабов и свободных бедняков оставалась тайной за семью печатями — в этой среде она просто не востребована. Что нужно для продолжения рода — и так сделается; улаживать семейные дела будут старшие, да поставленный над всеми столичный чиновник. Как не вспомнить и нашу литературу: няня Татьяны у Пушкина.

Любовь дело хлопотное, тут нужны достаток и досуг. Но даже если они в наличии — вовсе не факт, что появится потребность. Без особой культурной предрасположенности не обойтись: что-то должно толкнуть к этому, подсказать, наметить формы (как у Ларошфуко).

Роман Лонга — вовсе не легкое чтиво; он ставит серьезную проблему: каким образом в человеке пробуждается духовность? Прототип буржуазных робинзонад. Мысленный эксперимент. Лонг вынужден прибегнуть к вмешательству богов — но античные боги как раз и представляют духовное в человеке, и вопрос остается открытым: откуда оно взялось? В античной терминологии: как возникают боги? Ссылка на других богов — отодвигает ответ в дурную бесконечность. Ответ Лонга — прирожденное качество аристократических душ (о чем с самого начала говорит богатое приданое младенцев). Другими словами: любовь была всегда, она только просыпается в людях, ведет их — каждого своим путем. Но тогда логичный вопрос: не слишком ли долго она спит? Как сделать так, чтобы все были достойны любви?

* * *

Попсовые экскурсы в историю грешат вопиющими нелепостями — но так ли уж они отличаются от академической истории? И в том, и в

другом случае — прошлое натягивают под заранее заготовленные выводы по поводу будущего — и вопрос лишь о форме изложения (подтасовки) фактов; художественное бытописание в этом отношении честнее: автор больше заботится о читателе — и не морочит ему голову, а делает приятно.

Попсовая (и академическая) политэкономия — не исключение. Нам рассказывают сказки о воображаемых предках — и на этом основании предлагают оставить все как есть — или разрушить до основания. Когда Энгельс издевается над робинзонадами Руссо и Дюiringa — он забывает, что через несколько лет ему предстоит столь же наивно следовать за «реконструкциями» Моргана, и что из этой политической робинзонады многие поколения марксистов будут выводить вроде бы разумные, но совершенно несовместимые друг с другом следствия. Любая сказка годится, чтобы обосновать любой интерес. А задумываться над логикой ни автор, ни массовый читатель не обязаны...

Вот, например, боец за права женщин З. И. Лилина в своей «теоретической» книжке изрекает:

Первое разделение труда началось между мужчиной и женщиной. Будучи связанный деторождением и заботой о детях, женщина не всегда могла участвовать в охоте или войне. Она оставалась дома, занимаясь сбором плодов и присмотром за детьми.

Если разные лица занимаются разными делами — это вовсе не разделение труда! Если одна обезьяна ест банан, а другая лакомится выуженными из дупла гусеницами — они от этого не станут узкими специалистами по части поедания того и другого соответственно. Когда самки некоторых видов птиц высаживают потомство, самцы носят им пищу — но иногда могут даже подменить в гнезде, чтобы дама могла отлучиться по неотложным надобностям. Есть тут что-нибудь от мерзостей капитализма? Ни капельки.

Чтобы возможно было говорить о разделении труда, требуется иметь в наличии, как минимум, две идеи: идею труда — и идею разделения. Первое означает, что какие-то занятия воспринимаются не как отправление естественных надобностей (то есть, по сути, вообще не воспринимаются), а как сознательная деятельность, направленная на производство вполне определенного продукта. Идея разделения — требует столь же ясного осознания общественных (а не природных) различий, в силу которых некоторые члены общества не имеют доступа к средствам производства в уже обособившихся отраслях. Ни того, ни

другого в первобытной общине быть не могло: во-первых, большинство людей до сих пор не доросло до понимания общественного характера производства детей (не только в смысле тел, но и как членов общества); во вторых, сама возможность общественных различий уже предполагает образование общественных структур, не позволяющих всем заниматься всем, — а это уже зародыш классового общества. Получается, что «разделение труда между мужчиной и женщиной» началось потому, что человечество уже стало неоднородным, и стало возможным не только отличить одни группы о других, но и выставить экономические барьеры.

Между прочим, как только женщина перестает кормить грудью, у нее прекращается лактация — и женщина становится активным членом общества, ничем не отличаясь от мужчин (которые вполне могли бы посидеть с детьми и вскармливать их искусственно). С другой стороны, и кормящие матери зачастую вынуждены работать — а декретный отпуск после родов длился меньше двух месяцев (и только в последние годы появились длинные отпуска, до нескольких лет). Поэтому валить на детей ответственность за классовые институты — это неправильно.

В качестве бонуса: самосознание складывается намного позже сознания — и, насколько можно судить по этнографическим данным, у древних народов один член рода почти не отличал себя от другого, каждый осознавал себя всеми вместе; на более высоком уровне, именно это мы хотим видеть в будущем (бесклассовом) обществе — известны и классовые прототипы («один за всех, все за одного»).

Метод исторической науки ничем не отличается: общественные структуры выводят из (якобы объективных) предпосылок, для которых аналогичные структуры уже должны были бы налицествовать. Это не просто вопрос о курице и яйце — это проекция классового сознания на доклассовые реалии, о которых наука просто не умеет (или не хочет) выражаться определенное.

По логике, говорить о происхождении различий можно лишь по отношению к чему-то, в чем этих различий нет. Из этой синкретической цельности при определенных условиях могут вырастать аналитические структуры — и задача историка не в том, чтобы просто постулировать возможность, в том, чтобы выяснить, каковы эти условия — и что может получиться при другом раскладе. Например, обыденная мораль как форма синкретической рефлексии может порождать как право, так и религию, — но для этого необходимо, чтобы материальное производство было отделено от духовного (а это не всегда так); обратно, право и

религия порождают новые синкретические формы: правосознание и суеверие — на основе которых возможны иные культурные деления. Так и в истории разделения труда, зарождения классов.

Но вместо этого предкам продолжают приписывать сегодняшние взгляды — и путаются на каждом шагу. Например, первобытная община по Лилиной уже знает зачатки судопроизводства, прототипы силовых структур, развитую религиозность:

В каждой общине с самого начала существуют известные общие интересы, соблюдение которых возлагается на отдельных членов общества. Таковы — разрешение спорных вопросов, надзор за водохранилищами, некоторые религиозные обязанности и т. п.

Опять телега впереди лошади. Отсюда несложно вывести и разделение властей (как минимум, на светскую и военную) — причем не просто так, а в силу общественного договора:

Должностным лицам повинуются, ибо без повиновения не может быть проведен в жизнь организационный план.

То есть, сознательные дикари все как один держат в голове общий «организационный план» — и соглашаются пожертвовать (откуда-то взявшейся) личной свободой ради общего блага (которое тоже надо было осознать в этом качестве). Даже сегодня обыватель так просто не отличит следование традиции (или предрассудкам) от повиновения — машина промывания мозгов убеждает граждан, что их рабство и есть самая что ни на есть демократия и свобода. Полагаете сто тысяч лет назад народ был догадливее? Лилинские дикари, как мы видим, уже доросли до обязанности сдерживать чиновников; но они, оказывается, пошли еще дальше — и готовы позаботиться и о членах (выскочивших как чертик из табакерки) семей! Мадам ни словом не обмолвилась о возникновении этого характернейшего института классовой культуры; вроде бы оно было всегда, и тут даже обсуждать нечего! После того нас будут уверять:

Ни само должностное лицо, ни семья его ничем не выделяются. Власть его не носит на себе никаких следов эксплуатации или угнетения. Все члены рода по-прежнему равны. Все производят на благо своего рода и все распределяется по потребностям. При этом ни лицо, исполняющее общественные обязанности, ни семья его не получают больше того, что получают другие члены рода.

Если одни властвуют, а другие повинуются, — это что, никакой выделенности? Если семья чиновника есть именно его семья — неужто

она никак не отличается от остальных? С другой стороны, сама необходимость распределения — это уже признание неравенства. Спрашивается, кто будет распределять? Как-то не очень верится, что первобытное чиновничество (как и остальное народонаселение) было настолько альтруистично, чтобы не урвать где плохо лежит; скорее, наоборот, лишь развитие цивилизации выставило дикому эгоизму классовые ограничения — объяснило, кого можно грабить, а кого не рекомендуется. Как показывает опыт, и сегодня несознательные граждане норовят при каждом удобном случае обойти закон — что, первобытный коммунизм был честнее? Не верим. Путь от животной беззаплаканности до разумного самоконтроля — еще впереди. Только с уничтожением классов мы встанем на него — а сколько еще придется идти!

* * *

Аристотель, *O государстве* [1327b]:

... дружелюбие к своим и соровость по отношению к чужим, — есть мужество духа, от которого исходит дружелюбное чувство; ведь это и есть та способность души, благодаря которой мы любим.

В любви не может быть чужих и своих — она выше этого. Есть только ты и я — и нам нет дела до того, как другие к этому относятся. Поэтому настоящая любовь возможна лишь в бесклассовом обществе.

* * *

Victor Hugo, *Préface de Cromwell* :

... le christianisme a dit à l'homme : « Tu es double, tu es composé de deux êtres, l'un périssable, l'autre immortel, l'un charnel, l'autre éthéré, l'un enchaîné par les appétits, les besoins et les passions, l'autre emporte sur les ailes de l'enthousiasme et de la rêverie, celui-ci enfin toujours courbé vers la terre, sa mère, celui-là sans cesse élancé vers le ciel, sa patrie »...

Вот суть классового человека: разорванность, борьба с самим собой. Вместо единства, взаимоуважения, развития разных сторон целого друг через друга — непреодолимые барьеры и взаимное отторжение. Чем тогда один полюс лучше другого? — они оба ущербны, ограниченны, неразумны. Нет неба там, где нет земли. Природа пропитана духом, дух

невозможен без природы. Только так возможен созидательный, творческий труд — только так возможна любовь.

* * *

В. И. Ленин [35, 203]:

«Кто не работает, тот пусть не ест» — вот практическая заповедь социализма. Вот что надо практически наладить.

Корявый перевод — явление идеологически вредное. Нет в русском языке повелительного наклонения в третьем лице — так не надо его изобретать. Русский язык достаточно выразителен, чтобы верно передать смысл — не привязываясь к словарю. Не нужно архаики (*тот да не ест!*). Можно поговоркой: *не поработаешь — не поешь!* Со всеми ее эффектными многосмысленностями. Или: *по мере труда — будет и еда!* «Нейтральный» стиль тут по самой сути неуместен — но если уж очень хочется, пожалуйста: *кто не работает — тому есть не давать.*

Неудобность русские сократили: *кто не работает — тот не ест.* Это уже другой смысл. Вместо общественной нормы — субъективное ощущение. И ни о каком внешнем «налаживании» речи быть не может.

* * *

Ф. Бэкон, *Опыты*:

Но очень немногие понимают, что такое одиночество и до чего оно доводит, ибо толпа не есть общество, и лица — всего лишь галерея картин, а разговор — только звенящий кимвал, где нет любви.

Спрашивается: где же найти любовь, если не в этой самой галерее? Одиночество острее в толпе — но толпа единственное лекарство. Она же, как известно, лечит и от любви (Овидий):

Только не будь одинок: одиночество вредно влюбленным!

Не убегай от людей — с ними спасенье твое.

Так как в укромных местах безумнее буйствуют страсти,

Прочь из укромных мест в людные толпы ступай.

Прямо-таки панацея! В чем секрет? А в том, что настоящая боль — неизлечима, а желание излечиться — явный признак здоровья. Убегать от одиночества — уже не быть одиноким; убегать от любви — уже не любить. В первом случае молчаливо предполагается, что родная душа

все-таки возможна; даже если ее нигде нет — мы с ней уже знакомы и можем общаться независимо от телесного присутствия. Во втором — еще проще: тяготиться любовью может только лишенный любви; истинно влюбленному — она высший закон, и вылечиться от любви — все равно что убить себя.

Очень немногие понимают, что такое одиночество. Если совсем коротко — это осознание собственной разумности. Разум бесконечно разнообразен — отсюда уникальность каждого разумного существа. Человек воспринимает свою единственность и неповторимость как равенство миру в целом — который тоже только один. В этом контексте глупо выглядит бэконовская высокопарность:

Я предлагаю следующее правило на тот случай, когда человек не может подобающим образом сыграть свою собственную роль: если у него нет друга, он может покинуть сцену.

Предлагаете миру исчезнуть? Так не пойдет. Если чего-то пока нет — это надо сделать! Мир распадается на мириады отраженных в друг друге и связанных воедино вещей; человеку надо пересоздать мир так, чтобы одно одиночество отразилось в другом — и тем самым воссоединилось бы с ним.

* * *

Лоренцо Пизано, *Диалоги о любви*:

В безудержной любви духовная сила и порыв делают ее формой любящих, которые превращаются в нечто единое с любимыми вещами и простое. Любящий обретает новую форму в любви и становится единым с любимым. Если любовь довольствуется внутренним и отвергает телесное, она растет, созерцая вечную красоту и истину, и слабеет от желания нерушимого блага. Такая любовь имеет обыкновение мешать деятельности низших потенций, захватывать их, поглощать и увлекать за собой вследствие сильного желания духовного удовольствия.

Любовь как форма — это уже неплохо. Но собственно любовью это становится только после перехода в самую суть. Которая превосходит даже единство — снимает его в тождестве. Такая любовь ничем не довольствуется — ей нужен весь мир, во всех его проявлениях: внутреннее тут ничем не предпочтительнее внешнему, телесное слито с духовным. Как только мы начинаем разделять — возникает иллюзия

«высшего» и «низшего», оправдание господства одних над другими. Только тогда одно может помещать другому — если вместо соединения всех усилий исходят их подчинения чему-то одному (тем более если речь о корысти, об удовольствии). Но тогда вознесенное над остальным оказывается в полной зависимости от него; господство есть худшее рабство. Принижение плоти во имя духовности — опошляет духовность, сводит ее к плоти целиком и без остатка. Поэтому мистика христианской любви — другая сторона вульгарного эмпирионатурализма.

* * *

Аврелий Августин:

К тому же более естественным представляется господство одного над многими, нежели многих над одним. И невозможно сомневаться, что, согласно естественному порядку, мужчины лучше господствуют над женщинами, чем женщины над мужчинами.

Фантастическая смесь апелляций к «естественности», беспочвенных фантазий и совершенно противоестественной идеи господства!

Логика истории говорит: единоначалие неизбежно сопровождается классовым давлением, господством общественной группы над каждым из ее членов. Это стороны одного и того же. Поэтому усердное насаждение якобы коллективности означает подчинение ее усилий интересам отдельных лиц.

Точно так же, в отношениях мужчин и женщин не все так однозначно: если одна из сторон не прочь позэксплуатировать другую — ответный ход не заставит себя ждать: играть на слабостях господ тем удобнее, что сам факт господства их откровенно обнаруживает.

* * *

Н. К. Крупская

Вопрос, выдвинутый ходом соцстроительства (1936)

В рефлексии многие явления видятся в порядке, обратном объективному ходу вещей. В частности, последовательность изучения любого предмета (как в школе, так и в науке) обратна истории его становления: мы начинаем с готового результата, с того, что на виду, — потому что именно это нам нужно для последующей деятельности;

потом приходят обоснования и обобщения. На этом момент почти не обращает внимания марксизм — и тем удивительнее встретить у Н. К. совершенно точное выстраивание методики преподавания основ организации труда:

Курс «организации труда» надо начать с организации *умственного труда отдельного человека*

Потом перейти к вопросу о *коллективном умственном труде*

А затем перейти к результатам громадной работы *величайшего коллектива — человечества*

Затем перейти к вопросу об *увязке теории и практики умственного и физического труда*, их взаимозависимости и взаимодействии.

После этого надо перейти к *физическому индивидуальному труду*.

Вопрос о *коллективном физическом труде*

Особо надо будет остановиться на роли организации труда в *управлении*

Наконец, *вопрос о планировании* работы государства

Объективно, способ производства в целом определяет организационные формы, а материальное производство — основа духовного. Особенности единичного труда обусловлены порядком социализации, они вытекают из общекультурного процесса. Но в рефлексии на удобно начать с себя, и постепенно развертывать иерархию — переходить от единичного к всеобщему, от эмпирии к абстракциям. Но останавливаться на этом нельзя: на следующем этапе предстоит научиться делать абстрактное конкретным, предвосхищать такие формы, которых еще нет — но которые должны возникнуть по объективной логике общественного развития.

* * *

Лабрюйер:

Хотя между людьми разных полов может существовать дружба, в которой нет и тени нечистых помыслов, тем не менее женщина всегда будет видеть в своем друге мужчину, точно так же как он будет видеть в ней женщину. Такие отношения нельзя назвать ни любовью, ни дружбой: это — нечто совсем особое.

Но почему секс обязательно из нечистых помыслов? Половая любовь далеко не всегда грязь — ее смешивают с грязью те, кому очень не

хотелось бы иметь дело со свободными людьми. Уберите грязный предрассудок — и любовь от дружбы не отличить! Одно прекрасно сочетается с другим — взаимопревращение, мерцание.

* * *

Апулей, *Золотой осел*

Знаменитая сказка об Амуре и Психее.

Роман целиком замешан на философии — намеренно, грубовато-наивно. Продолжение традиций классической античной драмы — и предвестие утопий Нового времени (начиная с Мора и Рабле). Однако «вставная новелла» явно выходит за рамки всего лишь дивертишмента: 16% текста — это очень немало (особенно учитывая, что кульминация замысла, последняя глава, — занимает менее пяти процентов). Нечто похожее мы встречаем в индийском эпосе: *Бхагавадгита* раздвигает текст *Махабхараты*.

Скорее всего, перед нами не собственно художественный текст, а одна из древнейших «теорий» любви — облечь которую в форму сухого философствования было (особенно учитывая личность автора) просто немыслимо. Парадоксальным образом, вульгаризация здесь оберегает нежнейшие чувства от вульгарного опошления.

Наши современники приучены стесняться любви — и прячут ее под маской нарочитой грубости, демонстративного легкомыслия, бытового морализаторства... Капитализм — общество бездуховности, и любовь ему поперек горла: ее свобода не вписывается в убогую примитивность рынка. Ему надо устраниТЬ любовь из духовного производства, закатать искренние чувства в рекламный глянец. Спасение одно: прикрыть робкие ростки заскорузлой коркой — подобно тому как жидкая вода на далеких от Солнца телах отделена от космического холода толстым слоем льда. Нечто подобное, на фоне позднеримского культурного нигилизма, вынужден взять на вооружение и провинциал Апулей. Вкладывая историю в уста «выжившей из ума старушонки» — он как бы откращивается от этой философии (на случай, если не так поймут); однако есть и другая сторона: внезапно открывшаяся бесконечность пугает философа, и ему надо отдыщаться, прийти в себя.

Идейный посыл сказания об Амуре и Психее: любовь делает душу бессмертной. Не чувственность, не влечение, — а именно любовь,

духовное единство. В отличие от Татия и Лонга — здесь нет собственно сексуальности; это (может быть, впервые в древней истории) разговор о любви как таковой, «в чистом виде». Вдохновенный манифест, дерзкое пророчество. Заметим, что любовь приходит к Психеи не как озарение, не в праздничном блеске, — а всего лишь как неожиданная сторона супружества:¹

... новизна от частой привычки приобретает для нее приятность, и звук неизвестного голоса служит ей утешением в одиночестве.

При том, что лишили ее девственности совсем буднично — буквально, одной фразой:

Но вошел уже таинственный супруг и взошел на ложе, супругою себе Психею сделал и раньше восхода солнца поспешно удалился.

Так и подмывает считать слова «восход солнца» намеком на восход любви. Но это дело будущего. А пока — преобладают родственные привязанности, чем злонамеренно пользуются духовно убогие сестры, подговаривая убить таинственного супруга (кстати, сама по себе мысль безумно еретическая: отрезать голову божеству! — люди уже готовы осознать свою духовность, выбросить богов за пределы своего мира)...

Но тут, после долгой телесной близости, — у Психеи открываются глаза (образ лампы очень уместен!) и она падает в любовь целиком. Гениально угадана другая сторона света:

Эх ты, лампа, наглая и дерзкая, презренная прислужница любви, ты обожгла бога, который сам господин всяческого огня.

Чрезмерность — гибельна для любви. Упоение — утрата духовности.

Но нет лекарства от любви кроме любви! Психея пытается — но не может убить себя; это означало бы убить любовь. Ради любви Психея добровольно отдает себя во власть Венеры (еще одно иносказание: чувственная, телесная сторона любви) и готова терпеть любые страдания, без малейших колебаний идет на любой риск.

Но прежде — окончательный разрыв с родовыми корнями, страшная месть сестрам. Ведь ее возлюбленный гораздо раньше пренебрег сыновьей почтительностью — и не исполнил указаний могущественной родительницы (с которой даже Церера и Юнона ссориться не желают). Очевидная преемственность от Гемона в *Антигоне*.

¹ Вспоминаем проблески супружеской любви в Средние века — от Прекрасной Альды до Кристины Пизанской.

Впрочем, Венера, при всей бурности протестов, заранее смирилась с отведенной ей ролью и встречает Психею словами:

Наконец-то ты удостоила свекровь посещением!

До свадьбы еще далеко — но дело сделано: где есть любовь — закону придется отступить. Впрочем, не бывает необходимых законов — то есть таких, которые нельзя было бы обойти. Кому как ни Юпитеру об этом знать! Психея подносят кубок амбrozии — и она уже равна богам, и венерин «знаменитый род и положение» уже не «пострадают от брака со смертной». Кстати, и сама Венера, распекая отступника-сына, грозилась усыновить кого-нибудь из рабов (стираются грани!) и сделать его наследником, вместо Купидона.

На фоне всего этого — многочисленные меткие замечания и многозначительные намеки. Наслаждение как дочь Амура и Психеи — воистину так! Речь о духовности, о человеческом чувстве — а не о физиологии ощущений.

Или совсем маленькая деталь: баночка с «божественной красотой» на самом деле содержит «только сон» — тут великолепная игра слов, достойная будущих французов: с одной стороны, какая красота когда физиономия помята бессонницей? — но можно понять и так, что красота всего лишь сон — или ее божественность...

Влияние апулеевской сказки на европейскую культуру трудно переоценить. Но если искусство искони вдохновлялось богатством образов — философская содержательность держится в тени. Оно и понятно: пока у нас нет собственной мудрости — как сможем мы оценить мудрость древних? Осознание человеческой разумности — насущная потребность наших дней.

* * *

Бергсон (Henri Bergson) строит из себя идеалиста — в противовес погрязшему в эмпирии позитивизму. Но вот, например, его взгляды на искусство (*L'évolution créatrice*):

Illusion, sans doute, mais illusion naturelle, indéracinable, qui durera autant que l'esprit humain.

Неважно, к чему это относится (в данном случае — к представлению о выстраивании будущего во времени). Фразеология говорит сама за себя: дух сводится к природе, в которой нет ничего, кроме мгновений, чистой

процессуальности (*la durée*) как таковой. Это вообще не отличается от позитивистской трактовки опыта как потока ощущений, которые можно упорядочивать как заблагорассудится.

Разумному человеку ясно, что в природе нет никаких иллюзий — иллюзии только у человека — они по сути своей противоестественны, и в этом их значение для становления идеи духа, не подчиняющегося никаким законам, а наоборот, перестраивающего вселенную по своим надобностям. Именно поэтому человек способен осознать иллюзии как иллюзии — и тем самым освободиться от них.

Можно было бы подумать, что это всего лишь небрежность выражения (при том что Бергсона превозносят как великолепного стилиста). Но чуть позже он публикует убогий трактат о природе комического (*Le Rire*) — и снова:

Mais de loin en loin, par distraction, la nature suscite des âmes plus détachée de la vie. Je parle d'une détachement naturelle, inné à la structure du sens ou de la conscience, et qui se manifeste tout de suite par une manière virginaire, en quelque sorte, de voir, d'entendre ou de penser.

Оказывается, что человечьи души — обычные порождения природы (вроде цветочков на лужайке), но некоторые души по природе (по воле случая) возвышеннее других, и «девственность» восприятия в них встроена самым вульгарным образом, как способность питания или размножения (или наподобие капель в дождевой туче). И после этого нам будут говорить, что

... le réalisme est dans l'œuvre quand l'idéalisme est dans l'âme ...

Бергсонианство на поверку оказывается лишь переряженной эмпирией, дальше которой философия «природности» не идет:

L'art n'est sûrement qu'une vision plus directe de la réalité. Mais cette pureté de perception implique une rupture avec la convention utile, un désintéressement inné et spécialement localisé du sens ou de la conscience, enfin une certaine immatérialité de la vie, qui est ce qu'on a toujours appelé de l'idéalisme.

Кому что вродили — тот то и вытворяет! Идеализм и материализм у Бергсона — вовсе не философские категории, не разные мировоззрения; это сугубо этические позиции: бескорыстие и корысть. Буржуа обвиняет публику в буржуазности — но делает это совершенно по-буржуазному, противопоставляя абстракции. Разделение труда: одним добывать хлеб насущный в поте лица — другим ничего добывать не надо (они отнимут у добытчиков), и можно с «девственной» совестью изображать

полнейшую незаинтересованность... Наслаждающихся красивостями жизни — представляют невинными ангелами; измученных работяг — грязными стяжателями. Такова извращающая сила денег — по Марксу.

* * *

Инна Руденко, *Адреса любви*. — М: Правда, 1981.

Образчик официозной пропаганды, грязных политтехнологий — совершенно в духе запущенных тогда же в оборот пошлых компиляций из Сухомлинского и Макаренко. Даже там, где возможно усмотреть проблески будущего, — господа (апологеты господ) вытаскивают на свет самую дикость, подобно тому, как американцы тащат в суд белье, испачканное спермой президента, — развлечение для оскотинившегося обывателя...

Говорить о различии мужского и женского допустимо лишь там, где уже есть ясное сознание вторичности подобных различий, которые лишь придают целому разнообразие оттенков, игру теней. Если бы существовала хоть капля действительного равноправия — можно задумываться об опасностях преувеличения. Если освободить человека от животности — можно играть, творчески имитировать, создавать стилизации. Но где это в эпоху разлагающегося социализма? Нигде, ни в одной стране. В таком контексте быть женщиной (или мужчиной) — значит, одичать, истребить в себе разум, впасть в примитивнейшую физиологию.

Отношения двух складываются из компонентов личностного и чувственного. Так вот, у девушки на первом плане момент личностный, а чувственный просыпается значительно позже. И если девушка говорит «да», то это потому, что она или боится потерять того, кто ей дорог, или ею руководит любопытство.

Это самое интересное место: редкий случай отхода от заданных сверху стереотипов. Да, примитивно, на попсовом уровне, — но сравните с обличием девичей распущенности у Сухомлинского, который не признает, что именно дикие собственнические традиции заставляют девушек уступать домогательствам тех, кого общество (в лице того же Сухомлинского) назначило на должность главы семьи — независимо от деловых качеств и экономической базы. Людей загоняют в клетку — но какие у девиц средства повлиять на выбор цепей?

Пункт о любопытстве — это любопытно. Хоть что-то человеческое. Человек не подчинен телу — он исследует его возможности, готовится использовать этот инструмент — наряду с другими, составляющими неорганическое тело. Здоровая человеческая любознательность — этого нет у животных, поведение которых сугубо утилитарно, даже в игре. Протест против ханжества, идиотских табу, возрастных и правовых границ. В этой струе меткое замечание:

Мы же часто под половым воспитанием понимаем просто подавление полового чувства.

С маленьким (но принципиальным) уточнением: не бывает «полового» воспитания — воспитывают людей, а не биологических особей. Дать людям возможность в полной мере использовать доступные человеку природные ресурсы (включая физиологию пола) — задача не для классового общества, занятого, наоборот, нагромождением все новых ограничений, подчеркиванием классовых (возрастных, этнических, имущественных, ...) различий. А какие у господствующего класса методы? — экономическое и духовное насилие, подавление свободных влечений, промывание мозгов.

К сожалению, после этого прозрения испуганная собственной наглостью духовность выдыхается, прячется в традиционно скотские, мещанские лозунги (знакомые нам по европейской литературе, начиная, как минимум, с XII века):

Женщина должна оставаться женщиной. А девушка — девушкой. Для ее же счастья.

Какая чушь! Кто присвоил право решать, что есть счастье? Не говоря уже о том, что счастлив может быть только человек, и ограничение лишь одной из сторон — исток величайших трагедий.

... не кажется ли вам, товарищи женщины, что наше равноправие дошло до точки? Если женщина — личность, она не может вместить себя всю в прокрустово ложе семьи или быть лишь уладой мужчины. Это мы усвоили. Но вот то, что чем более женщина утверждает себя как личность, тем сильнее в ней должно проявляться только ей присущее женское «я», нами многими не ощущается.

О прокрустовом ложе семьи (трансформация брачного ложа) — очень хорошо! Ирония авторши неуместна. Хотя бы потому, что и мужчина может быть чьей-то уладой, — а «женское счастье» и материнство вполне возможны и вне семьи, и даже без отрыва от производства. Дальше — обычная путаница. Индивидуальность и личность — вовсе

не противоположны мягкости и покорности (к чему мещанствующий интеллигент сводит женственность); личность человека — это и есть его «я», и никакого женского «я» в отрыве от личности никогда не было и быть не может. Одни женщины будут играть женщин — другим по душе маска мужественности, — а кому-то вообще не интересны половые игры и хочется предстать миру в облике пламенной обличительницы, богини, судьбы, — или мудрого советчика, или businesswoman. Утверждение личности — выход за рамки любых шаблонов, против тупой природы. Общество разума — вообще не нуждается ни в каком утверждении: можно просто быть собой, творить себя, — для себя, для мира в целом, а не вопреки неизвестно чему. Но в диком классовом обществе так не положено — и надо на все навесить пошлые ярлыки, ценники:

В это женское «я» входит многое, но главное все же, думается, — естественная, не рассуждающая радость материнства...

Одним махом свели человека к домашнему скоту, которому рассуждать не по ранжиру — и надо жевать что дают, и размножаться согласно разнарядке дежурного зоотехника. Знает ли мадам Руденко, что далеко не все рады беременности и родам? — и что для многих дети становятся бедой, неподъемными тяготами, обузой? Животные не радуются — они следуют велениям природы, без вариантов. То же самое — о материах, загнанных в роддомы и семьи дикостями цивилизации. Тема радости материнства в репертуаре проповедников общественного неравенства с древнейших времен; это выражение собственнического отношения к детям, — компенсирующему в извращенной форме чувство собственной ущербности: да, я раб — но и меня есть рабы! меня давят и насилиуют — но и могу измываться над беззащитными, упиваться мерзостями власти! Даже когда дети вырастают, вырываются на свободу, — подлый собственнический душок не выветривается, прячется под маской гордости за плоды своего труда. А труд не бывает «своим» — это всегда общественное производство, и всякое присвоение продукта есть акт насилия, инстинкт зверя.

Подражать во всем мужчине — новое рабство. Женщина должна оставаться женщиной. Никакой век, никакая формация, никакое равноправие не приведут к тому, что детей на свет будут производить мужчины. Женщина — это любовь. А любовь — это дети.

От нового рабства нас зовут не к свободе — а к старому рабству! Вместо того, чтобы не оставаться ни женщинами, ни мужчинами, — и стать просто людьми, в том числе и друг для друга, даже в постели, — подлая

угодливость преданного раба, который именно в рабстве обретает себя, ублажает самое низменное в себе, радуется этому унижению и считает господ орудиями узаконенного традицией мазохизма.

Глупость воинствующего эмпирионатурализма в новое время как на ладони. Сегодня производить детей могут и мужчины; можно менять пол и в статусе добропорядочного семьянина. Лишь правовые рогатки не дают пока полностью освободить женщин от вынашивания плода — но богатые женщины уже могут переложить тяготы материнства на суррогатных матерей. Искусственно оплодотворение и контрацептивы отделяют секс от деторождения — а любовь от секса. Однополые и гибридные семьи — уже не новость. Люди могут любить друг друга без оглядки на биологические и социальные последствия — пол любящих и любовников не имеет ни малейшего значения. Как можно в этих условиях отождествлять женственность и любовь? Какое отношение интимность и духовное родство имеют к производству зверушки, которую обществу в целом предстоит превращать в рабочую силу, олицетворенный капитал, — или индивидуальность и личность?

* * *

Ленин всячески отделяет приватные беседы от публикаций — судить о его мнениях мы, большей частью, может только по мемуарам. Однако почему-то всегда оказывается, что у него есть определенная позиция по всему, что могло бы заинтересовать собеседника... Отчасти это проекция интересов вспоминающих — но мы не удивились бы, если бы узнали, что у Ленина есть мнение и по поводу порнографии — если бы нашлось, с кем побеседовать о развитии искусства...

* * *

В изложении З. Лилиной от 1920 года, история выглядит совсем не так, как ее привыкли воспринимать выпускники советских школ второй половины XX века. Про общественно-экономические формации Лилина ничего не говорит — у нее все выстроено по непосредственной видимости, по внешнему облику культуры, в субъективном восприятии среднестатистического обывателя. Например, утверждается, что на смену средневековому феодализму приходит некое «мелкобуржуазное

общество» (выражением которого якобы становится самодержавие), потом наступает торговая эпоха, потом приходит промышленный капитализм... Традиция явно списана с западных учебников: в той же буржуазной манере, не предполагается никаких всеобщих законов — и все развивается как бы само собой, следуя эгоистическим порывам отдельных персонажей, алчность и невоспитанность которых разрушили «коммунистическую» общинность и поработили широкие народные массы. При этом возникновение классов Лилина относит к эпохе капитализма — а до того, вроде бы, никаких классов и не было, а были всяческие общинны, — и, конечно же, семья.

Если не вставать на рога и не отвергать с порога буржуазные измыслизмы, — лилинский метод вполне совместим с ленинским. Достаточно заметить, что общественно-экономические формации — крупномасштабные единицы, внутри которых, разумеется, есть место для исторического развития; эта иерархия (как и любые другие) допускает разные обращения — различные расстановки акцентов — так что в каких-то контекстах субъективная сторона дела выше экономики, и можно встраивать исторические цепочки по самым разным критериям. Главное при этом — не абсолютизировать ни одно из взглядов, честно оговаривать область применимости. Но в классовом мире подобная добросовестность не ко двору — и каждый автор выставляет свою историю единственно правильной и записывает прочих в диссиденты и оппоненты.

Один из корней этой классовой иллюзии — метафизическое представление о природе как данности — которую мы можем лишь изучать, дабы выяснить, как обстоят дела «на самом деле». Отсюда пиетет перед наукой — и мифы о высшей ценности знания. Но почему, собственно, отношение человека к природе должно ограничиваться лишь изучением? Почему мы не можем использовать природу как источник художественного вдохновения? Что мешает нам переделывать природу, следуя собственным интересам? Почему бы, наконец, не выдумать «альтернативную» природу? — и прикинуть, как было бы, если бы... Все эти (и многие другие) природы — вполне реальны; они могут перетекать одна в другую, пропитываться друг другом.

Так же и в истории: экономика упорядочивает эпохи по способам производства (отсюда идея общественно-экономических формаций); развитие духовности проходит свои этапы (назовем из культурно-историческими формациями); каждая конкретная историческая эпоха

есть единство того и другого — и комбинации возможны самые неожиданные. То есть, внутренняя логика в истории всегда есть — но соединение разных логик рождает историческое разнообразие, богатство (иерархичность) культуры: любая возможность измыслить что-нибудь якобы произвольное — не случайна, исторически необходима.

При таком подходе мы уже не рискуем сделать царя буржуазным лидером — но и не исключаем торговых империй на фоне разных экономик (рабовладельческой, феодальной, капиталистической...), в тесном взаимодействии разных общественных структур.

* * *

Маркс, конспект книги Милля [42, 23–24]:

Обмен — как человеческой деятельностью внутри самого производства, так и человеческими продуктами — равнозначен *родовой деятельности* и родовому духу, действительным, осознанным и истинным бытием которых является *общественная деятельность* и *общественное наслаждение*.

Речь о том, что в рамках политической экономии, ограничивающей человеческую деятельность исключительно сферой обмена, человек не может преодолеть собственную животность — он лишь представитель рода, не более. За этим скрывается истинное, *общественное* бытие человека — когда и производство, и потребление («наслаждение») непосредственно воспринимаются как *общественные*, и уже не нужно утверждать эту *человеческую* (разумную) сущность, искусственно (внешним образом) объединяя разрозненных индивидов в единый организм (который еще не стал коллективным субъектом).

Так как *человеческая* сущность является *истинной общественной связью* людей, то люди в процессе деятельного осуществления своей *сущности творят*, производят человеческую *общественную связь*, общественную сущность, которая не есть некая абстрактно-всеобщая сила, противостоящая отдельному индивиду, а является сущностью каждого отдельного индивида, его собственной деятельностью, его собственной жизнью, его собственным наслаждением, его собственным богатством.

Поэтому высокопарные призывы трудиться во благо ближнего, класть жизнь на алтарь отечества, отодвигая собственные интересы в тень, — совершенно бессмысленны и вредны: фактическая частичность индивида

тем самым дополняется столь же частичным сознанием, — то есть, по сути, отказом от сознания, превращением в животное или вещь. Освобождение человека связано с таким изменением *действительной* жизни, когда собственная жизнь каждого станет *выражением* его общественной сущности, — когда индивид (родовое существо) превращается в индивидуальность (существо разумное).

От человека не зависит, быть или не быть этой общественной связи; но до тех пор, пока человек не признает себя в качестве человека и поэтому не организует мир по-человечески, эта *общественная связь* выступает в форме *отчуждения*. Ибо *субъект* этой общественной связи, человек, есть отчужденное от самого себя существо. Люди — не в абстракции, а в качестве действительных, живых, особенных индивидов — суть это сообщество. *Каковы* индивиды, такова и сама эта общественная связь.

Вот ключ к человеческой разумности! Человек «в качестве человека» не просто принадлежит миру — а сознательно творит его. Это уже не просто «родовая жизнь» — это всеобщность, универсальность, право переделывать природу (в том числе и свою собственную) переустраивать ее на разумных началах, как всеобщую связь и единство. Пока нет такой возможности — человек отчужден от мира, и от самого себя как воплощенной способности мира становиться другим. В не доросшем до разумности обществе действуют дикие («естественные») законы; люди противопоставлены друг другу, и

общество этого отчужденного человека есть карикатура на его *действительную общественную связь*

Чтобы продолжать себя, приходится прогибаться под чуждые разуму обстоятельства, служить кому-то или чему-то, ограничивая свободу творчества, подчиняя его не внутреннему порыву (тождественному движению мира в целом), а условиям мимо общественного бытия, неприкосновенности границ. Человек этого общества чувствует, что

его оторванность от другого человека оказывается его истинным бытием; что его жизнь оказывается принесением в жертву его жизни, осуществление его сущности оказывается недействительностью его жизни, его производство — производством его небытия, его власть над предметом оказывается властью предмета над ним, а сам он, властелин своего творения, оказывается рабом этого творения.

Здесь все наизнанку: человеческое воплощается в бесчеловечных формах, тождество становится противоположностью, животная, родовая

жизнь кажется истинно человеческой... Объективно общественная сущность всякой деятельности предстает частным делом каждого, взаимодействие и взаимопомощь сводятся к товарообмену. Такая культура неизбежно сводится к одной из своих сторон, к *экономической культуре* — и любые общественные науки становятся ответвлениями политической экономии.

Политическая экономия рассматривает *общественную связь людей*, или их деятельно осуществляющуюся *человеческую сущность*, их взаимное дополнение друг друга в родовой жизни, в истинно человеческой жизни в форме *обмена и торговли*.

Политическая экономия — как и действительное движение — исходит из *отношения человека к человеку* как *отношения частного собственника к частному собственнику*.

Философия, принимающая этот факт жизни *классового общества* за краеугольный камень философствования как такового — это вульгарный материализм. Да, движение духа в условиях рынка подчинено логике материального производства; но это не *истинная суть духовности* (разумного отношения к миру), а ее *извращенная форма*, которую свержение власти капитала призвано устраниТЬ, восстанавливая тем самым внутреннее единство субъекта и снимая внешнее различие личности и коллектива, восстанавливая *равенство человека миру*.

* * *

Н. Федоров называет свою философию «всеобщим синтезом» — но до универсальности ему далеко. Капитализм — общество всеобщего отчуждения, он нашпигован противоположностями. Но разум не просто устраниет один из полюсов (которые вообще невозможны друг без друга и определимы только через взаимоотрицание) — разум должен выявить принцип разделения и предложить иной подход, устраниющий саму необходимость столкновения. Противоречие не заметают под ковер — а добиваются логического *разрешения*; противоположности *снимаются*, а не подчиняют одну другой. Федоров абсолютизирует жизнь:

...смерть есть произведение силы неразумной.

Чепуха! Жизнь и смерть — стороны одного и того же; неразумность одного предполагает в той же мере неразумность другого. Кто хочет разумно жить — должен сделать разумной и смерть, сделать ее обычным

инструментом преобразования мира, в дополнение ко всем остальным. Но человек сам производит орудия труда — поэтому его жизнь и смерть не остаются чисто природными актами, а становятся явлениями культуры. Жизнь сама по себе нам совершенно ни к чему — нам важно жить культурно, и столь же культурно умирать. Недостаточно вытащить на свет тонкую диалектику связи поколений:

...рождение есть принятие, взятие жизни от отцов, т. е. лишение отцов жизни, откуда и вытекает долг воскрешения отцов, который сынам дает бессмертие.

Да, рождение одного есть превращение жизни одного в жизнь кого-то другого, и тем самым подобно смерти. Но поделитесь идеей с другим — и та же идея будет у обоих, станет вдвое мощней. Точно так же, отдавая частицу себя следующему поколению (безотносительно к животному родству), человек остается жить — более того, его жизнь становится полнее, значительнее. Предки навсегда остаются жить в потомках — воскрешать их вовсе не требуется! Каждое поколение — и небытие предыдущих. Разум изначально бессмертен.

Точно так же, чисто буржуазная абсолютизация противоположности теории и практики, превращение ее в противостояние классов, ставит задачу преодоления розни; здесь Федоров пальму первенства отдает народной сметке — и требует, чтобы наука обратилась в насущным потребностям людей вместо обслуживания буржуйских прихотей. Однако положение интеллигента в классовом обществе определяется не личными предпочтениями, а господствующим способом производства, и невозможно изменить положение вещей, не меняя экономической основы — практики. Но Федоров, подобно прочим утопистам, уповаet лишь на теорию, на убеждение и разъяснение:

Объединение должно начаться с интеллигенции; объединенная же в качестве воспитательной силы интеллигенция соединит все народы в деле управления слепою, неразумною природою, т.е. обратит их, все народы, в естествоиспытательную силу, и таким образом чрез воспитательную силу интеллигенции все обратятся в естествоиспытателей, разум народный, практический объединится, придет в единство с разумом интеллигенции, ученых, т. е. с разумом теоретическим

Это типичный идеализм. Здесь он выворачивает собственную логику наизнанку: фантазии вместо дела.

Разумное решение — отодвинуть в сторону вопросы теории и практики, заняться прежде всего постановкой задачи: что именно мы

хотим в итоге получить? В зависимости от этого мы будем привлекать то одно, то другое, — в необходимых для дела сочетаниях.

* * *

Жанна Бурен, *Премудрая Элоиза*:

Помнишь ли ты наши порывы и охвативший меня экстаз? Нет, нет, мы не опустились до уровня животных, но поднялись к радостям выше нашего удела. Позднее ты обвинял себя в похоти. Я отвергаю это обвинение. Нежность и внимание, с которыми ты приобщил меня к любви, уважение, которое ты никогда не переставал выказывать мне в самые безумные мгновения нашего исступления, — они свидетельствуют в пользу нашей страсти.

Здесь суть любви: не опускаться до животных — и превзойти себя. Мы используем тела — ради разума. Страсть — становится уважением; уважение — невозможно без страсти. Человек не избегает ни чувств, ни рассудка — это его орудия на пути к духовности. Да, потом может быть больно; но отказаться от боли — предать любовь.

* * *

Право не интересуется движениями духа. Его дело — регулировать, кто кому и сколько должен. Поэтому книжки про кодекс, по большей части, трактуют семейные и внесемейные дела с чисто практической стороны: какие документы подбирать, в какую инстанцию обратиться. Пока не возникает ничего криминального — вроде бы, и вмешиваться незачем. Но для широкой публики важна не только буква закона, но и его дух; следовать тому, что не по душе, никакая сила не заставит. Поэтому популярная юриспруденция обращается время от времени к вопросам, в ее компетенцию никак не впадающим. Поскольку же подходящего инструментария у правоведов нет — трактуют все это исключительно с позиций синкетического права, морали: здесь таки имеются какие ни на есть законы — и можно рассуждать в формах привычного (казенного) языка. Типичный пример — книжка *Закон и долг* некоего А. Тарасова (М. 1981). Наряду со всем прочим — особый раздел с многообещающим названием: *Закон и любовь*.

Понятно, что ни о чем кроме семьи и речи быть не может: помыслить законодательство о свободной (не связанный семейными узами) любви

автор никак не может. Но факты — упрямая вещь: на каждом шагу разводы, или (о ужас!) разбазаривание семейных фондов на левые приключения... Брак, как выясняется, — вещь хрупкая, а привлечь за неосторожное обращение власть не может: нет в кодексе подходящей статьи. Религию от советской власти якобы отделили — остается взывать к порядочности и ответственности граждан, вменять им в гражданский (и «нравственный») долг сохранение санкционированной законом формы сожительства.

От кого и от чего надо защищать мужчину и женщину, вступивших в брак, если прочность их семьи зависит прежде всего от их чувств? Ни суд, ни милиция помочь сохранить любовь, увы, не в силах. Ключ к прочной семье, таким образом, оказывается спрятанным в глубинах интимной, душевно-нравственной сферы.

С логикой у законозащитников, как водится, нелады. Какое отношение любовь имеет к прочности семьи — ни одного намека. Почему нельзя долгие годы жить вместе безотносительно к интиму? Такие случаи в мировой практике не редкость. Если по каким-то причинам выгоднее сохранить законный брак — оба супруга могут сколько угодно любить на стороне (не только платонически, но и плотоядно), а семья от этого оказывается только прочнее. Напротив, если экономика не позволяет заключить (или сохранить) формально-юридический союз — никакая страсть не спасет, и на этот счет тоже примеров хоть отбавляй. Так устроено классовое общество — и советское государство в частности. Для бесклассового человека вопроса вообще нет: никакие формальные узы ему не нужны, и одна любовь никак не мешает другой.

Далее следует длинное рассуждение о том, почему государство таки вмешивается в семейные дела (подразумевая, что оно таким образом регулирует и любовь). В отличие от большинства буржуазных спецов, испорченный (выданным за марксизм) вульгарным экономизмом автор режет правду-матку, выбалтывает сокровенное. Государству, видите ли, нужна рабочая сила — а воспроизводство человека *пока* происходит в семье, поэтому государство регулирует эти отношения, чтобы не остаться без работников. С другой стороны общество *еще* не в силах полностью (или хотя бы в сколько-нибудь значительной мере) взять на себя как материальное содержание, так и образование (обучение и воспитание) нового поколения — а потому перекладывает все это на семью. Таким образом, с точки зрения социалистического государства, семья есть экономическая ячейка (эдакий мини- заводик) для (неизбежно

кустарного) воспроизведения рабочей силы. Большинство положений Кодекса о браке и семье РСФСР направлены прежде всего на защиту «интересов детей»: это прямое вымогательство родительских денег и времени (которое тоже деньги) на общественные нужды — на сборку и доведение до рабочей кондиции органических тел. Вот это силовое давление и обозначается словом «долг». Следовательно

в сфере семейных отношений государственный закон тесно переплетается с законом нравственным.

Как мы знаем из *Анти-Дюринга*, насилие — категория не экономическая. Это отношение между людьми, которое становится возможным на определенном этапе развития экономики — но само по себе совершенно не материально. Однако полагать, что все идеальное имеет отношение к духовному общению (любви) — верх вульгарности. Тем не менее, поскольку мы говорим о воспроизведстве производственных отношений (духовном производстве) — ссылка на нравственность совершенно уместна, с маленькой поправкой: речь о *безнравственности* всякого насилия — тогда как нравственность (в отличие от морали) есть выражение человеческой *свободы*, и никаких законов не признает. Нравственный человек — никому ничего не должен; он действует как разумное существо, вполне способное самостоятельно разобраться, что человечеству важнее на данный момент.

Очевидно, достаточно развитая экономика может обойтись без кустарей, перевести производство рабочей силы на индустриальные рельсы — на всех этапах, от проектирования и планирования до генной комбинаторики, инкубации, выхаживания и обеспечения условий для непрерывного индивидуализированного образования, не ограниченного какими-либо формальными этапами. Но семья-то нужна как раз там, где экономика недоразвита — так что приходится задействовать насилие, административный ресурс.

Поэтому подлинную прочность семьи долг все-таки способен гарантировать несравненно в большей мере, чем закон.

Долг перед кем? — перед любящим человеком? Отнюдь. И даже не перед обществом — а перед государством, эксплуатирующим граждан (то есть заставляющим их работать даром) ради получения лишней пары рабочих рук (в комплекте с прочими органами). Долг — понятие сугубо экономическое, всегда и везде (а в условиях глобального торжества капитализма — сугубо коммерческое, рыночное). Но система классового насилия основана на том, что человек вдруг оказывается должен даже

там, где ему, в общем-то, ничего и не давали: откровенный грабеж. После этого ковыряться в «глубинах интимной, душевно-нравственной сферы» — безнравственно. И тем более использовать любовь в качестве стрекала — или замка на двери:

Семья — это точка, где экономика, мораль, этика, долг, любовь, физиология, привычки, характеры, темпераменты, даже политика (мировоззрение) переплетаются в единый клубок. Какая из ниточек в нем самая главная? Наверное, все-таки любовь.

Тут, правда, опять логическая неувязка. Семья штампует детей. Тогда как любовь — отношение двоих, которым нет дела до каких-то сторонних производств: они производят только друг друга, исключительно духовным образом (хотя и посредством какой-либо телесности). Надо опять надавить, принудить граждан совокупляться продуктивно — после чего с удовлетворением констатировать:

Создается семья у нас, как правило, по любви.

Это примерно как заставить юного виртуоза играть на скрипке за деньги в кабаке, якобы из великой любви к музыке. Нет, конечно, большие музыканты (а также поэты, художники и прочие возвышенные души) всегда боролись за хлебные места, подавали прошения во все инстанции, участвовали в конкурсах на замещение... И даже посвящали свои творения очередному меценату. Только любви во всем этом нет ни на копеечку: любовь к деньгам совершенно равнодушна.

Любовь может сопутствовать браку (и чему угодно) — но только сопутствовать. Производство (семью) надо возводить на прочном материальном фундаменте. Тарасов (надо отдать ему должное) это печенкой чует — и патетически восклицает:

Но держится ли она на любви?

Конечно же нет!

Экономические соображения сказываются в *любой* семье.

Но финансировать кустарщину из разворованного номенклатурой бюджета — нет денег:

В социалистическом обществе экономику на первое место никак не поставишь.

Якобы потому, что женщина стала экономически независимой. Ой-ли? А налог на бездетность, льготы семейным, право на жилплощадь (или хотя бы постановку в очередь), ограничения на доступ к должностям и на загран? Все эти (и другие) на первый (только на первый) взгляд

мелочи пронизывают жизнь советских людей, заставляют усердно заниматься экономической арифметикой. Расчет по-прежнему во главе (семейного) угла — хотя, разумеется, формы разные, их много. Но Тарасов выше личных интересов трудового народа! Государственные надобности (прямо по Гегелю!) главное всего:

В нашей семье на первое место, без сомнения, выдвинулись дети.

И сотворил бог кроликов; самца и самку сотворил их. И благословил их бог, и сказал им бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю... Дозволенный секс — великое благо; но прежде всего — это ваш долг.

Как видим уже сама природа любви исключает возможность *полной свободы*, полной независимости любящих. Влюбляясь, человек теряет часть своей свободы и одновременно (при взаимной любви) берет на себя часть *свободы* любимого человека. Тем более, если за этим следует *брак*.

Если не сделать поправку на обычную для буржуев подмену понятий — выглядит страшно. Любовь — принципиально неприродное явление, и говорить о «природе» любви — значит жестоко насиливать ее в самой извращенной форме. Любовь — это *и есть* выражение всеобъемлющей свободы (взятой в аспекте человеческих отношений), и само выражение «по любви» в языке означает: без малейшего принуждения, *свободно*! Усматривать здесь неполноту может лишь морально искалеченный. Зависеть друг от друга могут только враги; где двое сливаются в одно — сами понятия зависимости или независимости совершенно неуместны. В бутерброде — масло зависит от хлеба, или наоборот? Как можно потерять часть свободы, когда сама идея свободы относится к целому и предполагает целостность? Тут нельзя сослаться на то, что один человек относится к другому, как к себе самому — это библейская мораль! Свобода не бывает «твоей» и «моей» — она всегда наша, человеческая. Какое отношение к свободе может иметь чисто формальный акт регистрации гражданского состояния? — ноль смысла. И если автор опять впадает в патетику:

Снова и снова хочется повторять: семья — производное от любви. ответ один: хочется — повторяйте! А мы-то при чем?

Вообще, Тарасов настолько великодушен, что готов даже допустить добрачные эксперименты — в качестве своего рода преднастройки и общего тренинга. Однако государственный интерес не упускать! Долг есть долг — и тестировать профпригодность надо грамотно.

Экзамен прежде всего должны устраивать девушки. Они в несравненно большей мере несут на себе все последствия ошибок.

Можно было бы подумать, что прекрасный пол обеспокоен половым подбором, гармоничной сочетаемостью будущих супругов на почве производственной деятельности. Ах нет! Оказывается, ошибка — это не дурной партнер (от которого придется лечиться разводом), а появление внебрачного ребенка. Тут уже возникают сомнения в профпригодности нашего юриста: он разве не знает, что по закону дети, рожденные вне семьи обладают теми же правами, что и семейные? Конечно знает! Только права — требуют материального обеспечения, а доплачивать матери-одиночке из казны — так и воровать будет нечего. Даже если отца удается прижечь и призвать к ответу — алиментов не хватает; опять же, и в плане воспитания прорехи — моральный перекос. То есть, рабочая сила получается с гнильцой — а это не по понятиям.

Поэтому с физиологией до свадьбы — лучше таки притормозить. Чтобы без ошибок. Тренируйтесь пока чисто теоретически — любите не кого-то там, а возвышенный идеал будущего супруга. Воздержание стимулирует влечение — разумеется, не к постели, а к браку! Слишком много будешь знать — скоро состаришься! Прекрасные дамы, вам оно надо? Практикуйте пока боваризм — мечтайте о необыкновенностях. Техника секса — дело наживное.

А главная стратегия связана с тем, что любовь поднимает сексуальные радости на такую высоту, которая недоступна никаким знаниям. В то же время познание простых физиологических аксиом способно навсегда оттолкнуть любящих супругов, убить самые возвышенные чувства. В итоге истинное родство душ умрет из-за пустяка, из-за сексуальной безграмотности.

Чем кончила флоберовская мадам — общеизвестно. Любовь, конечно расцвечивает секс самым невероятным образом. Собственно, она и делает его радостью. Но сексуальная безграмотность — далеко не пустяк. Именно она, а не «познание простых физиологических аксиом», чаще всего разбивает идеалистические видения — и вполне реальные семьи. Неужели хамский секс с мужем способен перевесить восторг от умелого любовника? Речь, конечно же, не о физиологии, а о духовном потенциале культурно заряженной эротики. Во-вторых, если мужчина неприятен женщине (или наоборот) в каких-то проявлениях — это свидетельствует об отсутствии того, что нормальные люди называют любовью. Любящие просто не будут заниматься тем, что не вытекает из

их единства; они не делают уступок друг другу — они едины и в своем выборе, вплоть до физиологических позывов. Возможно, буржуазному (и советскому) юристу такая любовь — худший кошмар. Заставить любящих размножаться вопреки любви — никакой возможности. Но не лучше ли вместо унижения любви в семейном рабстве, — возвышать до нее недоразвитую экономику? Чтобы уж точно не ошибаться — ни в экономике, ни в любви.

* * *

Anatole France, *M. Bergeret à Paris* :

Un jour viendra où le patron, s'élevant en beauté morale, deviendra un ouvrier parmi les ouvriers affranchis, où il n'y aura plus de salaire, mais échange de biens.

Si même cette république ne devais jamais exister, je me féliciterais d'en avoir caressé l'idée. Il est permis de bâtir en Utopie... Les rêves des philosophes ont de tout temps suscité les hommes d'action qui se sont mis à l'œuvre pour les réaliser. Notre pensée crée l'avenir.

Вот об этом мы все время и говорим... Даже утопическая мечта — все-таки мечта, и она не исчезнет бесследно. Сберечь хотя бы умение мечтать — не так уж мало. Особенно в черные времена, когда никаких перспектив на повестке дня. И даже мечта о любви или о свободе — это уже любовь и свобода. Жизнь может сложиться как угодно — а они были, и они останутся. Но хотелось бы сделать еще один шаг: понять, в чем утопичность утопий — и сделать мечту хоть чуточку разумнее.

* * *

Фрейдовские основные инстинкты (любовь и смерть) — старинный предрассудок, и никаких клинических откровений за этим не стоит. Тема стала популярна в раннеренессансную эпоху, потом часто мелькала во французской поэзии XVI века, — и волна докатилась до европейского романтизма, от которого до Фрейда рукой подать. Конечно, мотив известен и раньше (вспомним хотя бы о похождениях шумерской богини Инанны). По сути, так в народном сознании выразилась неразумность классовой экономики (и классового общественного устройства). Что для души — то недоступно, благородные порывы — верная гибель. Есть,

однако, упрямый факт: человечество не только преумножилось — но и учится преодолевать рецидивы животности, действовать не рационально (методом умерщвления плоти) — а по наитию, вопреки здравому смыслу и трезвому расчету (против чего, помнится, энергично возражал политик Талейран). Трудно сказать, в какой мере этот видимый рост сопряжен с ростом духовности, — но развитие искусства, науки и философии во многом стало выражением победы духа над экономикой, и любовь ускользает от смерти. Умершие остаются с нами — мы по-прежнему их любим, а они любят нас, и помогают на жизненном пути.

* * *

Тысячелетия классовой истории приучили народ (как бедняков, так и элиту) к жизни в государстве — к необходимости держать под контролем и управлять. Тем более не может отрешиться от стереотипа партийный работник — ибо партийность невозможна без идеи власти. Вот, например, одна из самых революционных статей Ленина: *Удержат ли большевики государственную власть*; массы призывают заняться устроением их жизни, самостоятельно организовать работу и быт на новых началах, — это очень сильно! Однако уже в названии — гнилость: не о власти надо думать, а о людях; не о государстве, а о его гибели. Великолепный стилист мог бы подобрать точные формулы — но не делает этого. Почему? Потому что сам не замечает собственной ограниченности, из-за которой борьба против капитала вырождается в свою противоположность, в утверждение его господства. Знаменитая фраза, которую перевирают и враги, и друзья [34, 315]:

Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы *обучение* делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно *начали* привлекать всех трудящихся, всю бедноту.

В контексте — очень точно и правильно. Но по непосредственному содержанию — это курс на сохранение государства как единственно

возможной формы общественного бытия: речь не о том, чтобы вытеснять их жизни противопоставление власти и граждан, — а всего лишь о всеобуче, теоретически позволяющем каждому превратиться в чиновника. Оказывается, цитату не так уж сильно переврали: даже если сегодня кухарка не может взять в руки бразды правления — то уж завтра, чуток подучившись, она всенепременно до государственного мышления дорастет! А дальше? Торжество демократии, право каждого поездить какое-то время на чужом горбу. Как легко догадаться, право так и останется в теории, а править будут профессиональные (богоизбранные) наездники. А кухарке — кухаркино... Что, между прочим, многих очень даже устраивает: незатейливо ковыряться в своем углу — и голова не болит, и совесть чиста; а коли прижмет — всегда есть кого бранить.

Чего хотелось бы? Чтобы обучались массы не управленческому ремеслу — а разумному отношению к миру: важно не выстроить властную вертикаль, а делать общее дело — когда никто никем вообще не управляет, а все вместе прикидывают, как для этого организоваться здесь и сейчас (а завтра, возможно, расстановка окажется иной). Значит, не народ надо приучать командовать — а менять способ производства таким образом, чтобы командовать было ни к чему. Чтобы кухарка думала, как лучше кухню поставить, — но могла обратиться за помощью к тем, кто может помочь, — чтобы всем было полезно и хорошо. Тогда людям будет интересно приглядеться к разным ремеслам — иметь общее представление, или научиться по склонности. Без чиновников можно обойтись — когда руки не кривые, да своя голова на плечах.

* * *

Обыватель (даже с высшим филологическим образованием) склонен рисовать себе поэтов эдакими записными гуляками, эротоманами. Дескать, все то они опошлят... Даже невинность природы превращается у них в игривые намеки — что уж говорить о бесчисленных посланиях дамам сердца! Тезис подтверждают задокументированными фактами амурных похождений, часто весьма далеких от законопослушной морали.

Как водится, французам и карты в постель. Вот, например, Альфред Мюссе — совсем себя загонял себя в молодости, и это ему аукнулось еще до полтинника. Один только бурный роман с Жорж Санд чего стоит! Плюс приключения до и после. Вот и в стихах — первое приобщение к

музе предстает кровосмесительно-эротическим опытом («любовница и сестра»), который отнюдь не утратил остроты после прочих амуротов:

Mon sein est inquiet; la volupté l'opresse,
 Et les vents altérés m'ont mis la lèvre en feu.
 O paresseux enfant, regarde, je suis belle.
 Notre premier baiser, ne t'en souviens-tu pas,
 Quand je te vis si pâle au toucher de mon aile,
 Et que, les yeux en pleurs, tu tombas dans mes bras?
 Ah! je t'ai consolé d'une amère souffrance!
 Hélas! bien jeune encor, tu te mourais d'amour.
 Console-moi ce soir, je me meurs d'espérance;
 J'ai besoin de prier pour vivre jusqu'au jour.

Другой великий романтик, Виктор Гюго, разбрасываться не стал, остался верен (в конце концов подружившимся) жене и любовнице, — и прожил значительно дольше. Соответственно, его эротика перерастает юношеский вуайеризм (как в современной опере: *sous sa robe de gitane*) и приобретает грандиозность, почти вселенскую:

L'océan resplendit sous sa vaste nuée.
 L'onde, de son combat sans fin exténuée,
 S'assoupit, et, laissant l'écueil se reposer,
 Fait de toute la rive un immense baiser.
 On dirait qu'en tous lieux, en même temps, la vie
 Dissout le mal, le deuil, l'hiver, la nuit, l'envie,
 Et que le mort couché dit au vivant debout :
 Aime ! et qu'une âme obscure, épanouie en tout,
 Avance doucement sa bouche vers nos lèvres.
 L'être, éteignant dans l'ombre et l'extase ses fièvres,
 Ouvrant ses flancs, ses reins, ses yeux, ses cœurs épars,
 Dans ses pores profonds reçoit de toutes parts
 La pénétration de la sève sacrée.

Казалось бы: диагноз ясен. Сколько их потом было — преемников и подражателей, убийц и самоубийц... Вплоть до суперсовременного Мерайли, эпигонствующего по поводу Маяковского вместе с Гюго:

Октябрь,
 по деревьям и кустам
 развесив фальшивое
 золото,
 запихивает
 солнечный пятак
 в красную щель горизонта.

В общем, теплая команда. В этом контексте — если даже у кого-то не замечено особых доблестей на постельном поприще, они молчаливо предполагаются, а дефицит информации легко восполнить вульгарными слухами.

Что, не так? Ладно, пусть будет. Но коли уж взялись являть себя зерцалом — давайте рубить всю правду, а не пару одиноких пылинок, обнаружив которые вы готовы равнять поэтов с пылью. И начать с того, что (при любом раскладе по биографии) стихи никогда не бывают биографичны: в них не житейский, а человеческий опыт. Опыт духа, а не тела. Поэтому любое сходство с грубо осязаемой действительностью следует считать случайным совпадением, не более. Как и все остальное в стихах, эротика весьма условна — это не картина, а оправа, — художественный прием, столь же формальный, как буквы, которыми стихи записаны, — или как восклицательный знак в конце фразы, призванный привлечь внимание, обозначить настроение — а вовсе не всамделишные возгласы.

Далее, кто сказал, что человеческие отношения обязаны покорно уподобиться нечеловеческим условиям? Буржуазный брак оскорбителен для любви — и она ищет иного самовыражения, иных связей. Но точно так же бездуховность разврата любовь будет компенсировать нейкой супружества. В этом ее свобода — и не филистериу ее судить.

Поэт — не имя, не сборник анекдотов. Это его стихи. Если дела тел помогают делать искусство — они вполне разумны, и необходимы человечеству. Если поэт разразится чем-нибудь великим после бурной ночи с чьей-то женой — эта женщина становится полноправным соавтором, соучастником гениальности. В этом суть древнего мифа о музах, получившего слишком упрощенное (рыночное) толкование при капитализме — избавляться надо и от того, и от другого.

И не надо нам про утилитарное отношение к женщине! Во-первых, в (развратные) поэты идут не только мужчины (вспомним хотя бы Марину Цветаеву). Во-вторых, именно буржуазный брак — апофеоз утилитарности: он загоняет женщину в семейное рабство, душит ее человеческие стремления животностью пошлого быта — делает фабрикой наследников.

Глупо отрицать, что какие-то из поэтов (тот же Мюссе) искренне полагали, будто женщина нужна, чтобы нести вдохновение истинному творцу; в античности женщин вообще не считали за людей — и от этого предрассудка многие не избавились до сих пор. Однако было бы верхом

примитивизма считать многочисленных «утешительниц» (*consolatrices*) Мюссе лишь орудиями: у них своя гордость, и духовность, и любовь. Любовницы поэтов, художников, скульпторов (а также политиков) — зачастую только через эту связь могли приобщиться к искусству, науке, философии (или политике), потому что равноправие женщин и в наши дни остается — даже в очень развитых странах — больше благим пожеланием, чем осуществленной мечтой. С другой стороны, кому-то вовсе не надо записываться в литераторы — им достаточно другого призыва, умения любить — которое выше всех искусств вместе взятых. В конце концов, нельзя огульно записывать всех проституток в жертвы: в чисто экономическом плане — это, может быть, и верно; но кое-кто из них вкладывает в ремесло совсем другой смысл — и даже переживает свою продажность как освобождение.

* * *

Для Лилиной, слова «плоть от плоти и кровь от крови» — хранят древний мистический смысл: она не может себе представить, чтобы одно живое существо посягнуло на другое, связанное с ним магией рождения:

До тех пор, пока общество состояло исключительно из кровных родственников, — не могло быть и речи об эксплуатации одною частью или одним членом рода — старшиною-патриархом остальных членов общества...

Ни коммунистическая семья, ни патриархальное общество не знают наемного труда, следовательно и эксплуатации. Все члены коммунистического общества — производители для всего общества. Весь продукт — общественная собственность, которая распределяется между членами общества по потребностям.

И позже:

Семья ремесленника состояла обычно не только из жены и детей ремесленника но и из пришлых учеников и подмастерьев. Хотя ремесленник и пользуется трудом подмастерья и учеников, хотя он из эксплуатирует, но он, принимая их в лоно своей семьи, сажал их за общий с собою стол, относился к ним как к равным.

А потом грянула «эпоха торгового капитала» (с царем-батюшкой во главе) — и все изменилось:

Много работы и мало еды дает теперь ремесленник своим сотрудникам. Он их снимает со своего стола, он из исключает из среды своей

семьи. *И подмастерья и ученики для него теперь живые орудия производства.* Нет и в помине более семейно-патриархальных отношений между эксплуататором-хозяином и его наемными работниками.

То есть, как только про семью — подразумевается теплое чувство и взаимное участие... Коммунистическое по-лилински — это семейное.

В этом она, конечно же, не одинока. Обожествление родства — пережиток первобытности; но сама возможность обожествления говорит о распаде первобытности, о классовой расстановке общественных приоритетов. Уничтожение классов — предполагает устраниния любых формальных сообществ, коллективов, — то есть, прямое отношение человека к обществу в целом; это делает невозможным какое-либо сопоставление одних с другими, а значит, и возможность собственности (в какой угодно форме).

Чтобы распределить продукт — его надо сначала отнять. Зачем особые инструменты при непосредственной доступности предметов потребления? Общественная собственность — тоже собственность.

Идеализация семейности ведет к очевидным натяжкам. Так, большая семья, состоящая из кровных родственников и рабов, известна в ранней античности (и латинское *familia* означает именно эту семью). Но рабов за господский стол никто не приглашал. Однако если таки усадить всех за один стол — они вовсе не станут от этого равными: даже среди рыцарей круглого стола король Артур главнее. На пирах русских князей сидящих за столом обносили питьем и яствами по старшинству; и в наше время рассадку на официальных банкетах долго согласуют со всеми инстанциями, с учетом разных интересов. Заметим, что жены крестьян и ремесленников зачастую не сидели за столом с мужчинами: их место на кухне, еду подносить да посуду убирать... Кровное родство уступает место общественному институту — места раздают по заслугам, а не по родству.

Внутри семьи никакого равенства никогда и не предполагалось. Более того, возникновение семьи как раз и связано с обособлением формального главы, по отношению к которому родственники, рабы, наемные слуги, наложницы, гости и прихлебатели выстраиваются в подвижную иерархию, дерутся за внимание и благосклонность. Надо быть полным идиотом, чтобы принимать внешние знаки почтения за реальную расстановку сил. Так, показноеуважение к женщине в ряде культур сочетается с варварской эксплуатацией женщин и культом насилия в семье — в самых изуверских формах: если вдова не хочет

отправиться за покойным мужем на костер — ей помогут сделать правильный выбор...

Сваливать в одну кучу общественное устройство и биологию тем более странно, если учесть, что и животных не особо заботит кровное родство или принадлежность виду. Медведь (а иногда и медведица) может запросто сожрать своих детенышей; собаки стаей растерзывают на куски самую слабую собачонку. Этологические иерархии довольно сложны — и не предполагают никаких родственных предпочтений.

Пренебрежение теорией и методологией размывает эмпирическую базу лилинских выводов — и ее призыв к неокоммунистической семейственности в будущем подвисает в зловещей пустоте. Но и в этом она не одинока: марксистско-ленинские призывы вернуться в семейные пещеры — не менее вульгарны, а буржуазные отрицатели семьи ничего не предлагают взамен кроме очередного пересмотра терминов родства.

* * *

Ленин [34, 332]:

Идеи становятся силой, когда они овладевают массами.

Аллюзия на раннего Маркса [1, 422]:

Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой; но и теория становится материальной силой, как только она овладевает массами.

Другой контекст, переосмысление. Однако лейтмотив один: *овладеть*. Не убедить, не показать перспективы — а повелевать. Въевшаяся в подсознание буржуазность. Партийность: не в философии, а *вместо* философии.

Идеи не должны становиться силой. Они лишь придают сил людям. Не идея овладевает массами (как одержимость, массовое сумасшествие), а массы овладевают идеей — делают ее орудием труда.

* * *

Еще одна характерная черта наивной историографии — чрезмерный пиетет по отношению к религии. Для Лилиной церковь — «организация культурно-просветительная», играющая «роль благотворительницы»,

великий «организатор производства»... Попы, конечно же, хвалят себя, пропитанные поповщиной марксисты верят им на слово. И потом вдруг церковь «обуяла жажду наживы» — и превратила якобы самозабвенно служащих народу духовных особ в обыкновенных (и жестоких свыше обыкновенного) эксплуататоров: «Властолюбие погубило церковь».

В лоне церкви действительно рождались замечательные достижения человеческого духа — но это не заслуга религии, а наоборот, попытка преодолеть отделение духа от плоти, вернуть человеческое человеку. Лилина не умеет отличить (религиозную) видимость от (практической) сути, творимое именем церкви — от ее реальной общественной роли. Глубоко религиозный человек, убежденный в правоте вероучения и безусловной необходимости «воцерковления» народных масс, может на деле оказаться носителем подлинной духовности, примером творческой свободы, не стесненной никакими предрассудками и ниспровергающей любые догматы, если они мешают людям вести себя по-человечески, сознательно обустраивать жизнь, выдавливая из себя дикость традиций и суеверий. Экономические разборки между церквями, конкуренция религий как выражение подвижности классовой структуры, — и споры вероучителей, борьба партий; на этом фоне рождается идея верховенства разума — как единственной возможности отделить зерна от плевел и агнцев от козлищ; религиозные диспуты перерастают в философские — и в той же классовой форме просвечивает призыв избавиться от земных и небесных господ, научиться, наконец, жить своим, человеческим умом.

* * *

Стендаль начинает с постулата о существовании четырех «любовей» (хотя отсутствие оснований превращает все в эмпирею, для которой одно число никак не отличается от другого):

Il y a quatre amours différents

В русском переводе: «четыре рода любви» — хотя в оригинале это могут быть и стороны одной любви, и фазы (обращения иерархии), или еще что-нибудь. Под конец, как и ожидалось:

Au reste, au lieu de distinguer quatre amours différents, on peut fort bien admettre huit ou dix nuances. Il y a peut-être autant de façons de sentir parmi les hommes que de façons de voir;

Однако продолжение заставляет принюхаться:

mais ces différences dans la nomenclature ne changent rien aux raisonnements qui suivent. Tous les amours qu'on peut voir ici-bas naissent, vivent et meurent, ou s'élèvent à l'immortalité, suivant les mêmes lois.

То есть, вроде бы, помимо эмпирии, есть и законы — от которых не отвертеться никому. Ну-ну, посмотрим. А пока — исходный список, который по смыслу (а не по словарю) выглядит так:

1. переживание
2. игра
3. секс
4. аксессуар

Вероятно, для рядового буржуа этим все и ограничивается. Речь лишь о том, что допускает рыночное регулирование — и если не продается или покупается напрямую, то хотя бы способствует иному бизнесу (вроде химического катализатора). То есть, не о любви — а о возможностях монетизации. Поскольку духовность человека может использовать любые неразумности — толика любви обнаруживается и здесь.

Бросается в глаза, что хватило бы и двух пунктов. Поскольку человек никогда не сводит секс к животной копуляции (и французское *physique* следовало бы переводить как *телесность*, в самом широком смысле), плотские утехи оказываются либо поиском специфических переживаний (пункт 1) — либо стремлением соответствовать, быть не хуже (пункт 4, обозначенный у Стендадя как *vanité*). Куртуазная любовь как следование условиям (правилам игры) — ничем не отличается от прочих способов показать причастность определенному кругу — делает любовные игры одним из аксессуаров. Таким образом, два полюса классовой любви суть *эгоизм* (ублажение себя) и *стадность* (ублажение общества). И то, и другое — рабство; а любовь свободна.

* * *

Кабе приписывает своим икарийцам изобретение идеального языка, после знакомства с которым отпадает всякое желание изучать другие (чем занимаются лишь некоторые из личной склонности, в научном плане или для подготовки переводов).

И вот, язык в высшей степени правильный и простой, все слова которого пишутся, как говорятся, и произносятся, как пишутся. Правила этого языка немногочисленны и не имеют никаких

исключений, все слова, правильно образованные из небольшого числа корней, имеют совершенно определенное значение, грамматика и словарь так просты, что они содержатся в этой маленькой книге, и изучение этого языка так легко, что любой человек может научиться ему в четыре-пять месяцев.

Наш язык так правилен и легок, что мы усваиваем его незаметно, и менее месяца достаточно, чтобы хорошо усвоить его правила и теорию под руководством наставника, который не столько занимается простым изложением грамматики, сколько заставляет своих учеников составлять ее.

Конечно же, идея не нова: точно так же, Мор упоминает утопийский язык, который «не беден словами, не лишен приятности для слуха и превосходит другие более верной передачей мыслей»; по странному совпадению, алфавит этого языка копирует латиницу — просто заменяя латинские буквы квадратненькими значками... Понятно, что идея вряд ли пришла бы в голову древним грекам (или римлянам): зачем все это, когда есть самый совершенный из всех греческий (или латинский) язык? Пока латынь оставалась языком межнационального общения — нужды в подобных изобретениях тоже не было. Но на грани нового времени границы перестают быть феодальной условностью — и язык становится экономическим фактором. Вот тут и возникает ностальгия по былому единству — и мечта о возвращении.

Начало XX века — расцвет интерлингвистики. Очевидно влияние революционного подъема, надежда на всемирное братство. К концу века изобретательство приобретает сугубо научную окраску; сохраняются сравнительно небольшие сообщества приверженцев того или иного «международного» языка — но лишь некоторые из этих артефактов остаются массовым увлечением.

Если мы собираемся в конце концов разделаться с капитализмом и разделением труда (в том числе международным) — не значит ли это и потребности в едином языке, когда за прежними сохранится лишь исторический интерес — не предполагающий активного использования?

Вопрос непростой. Прежде всего потому, что до сих пор у людей нет ясной идеи языка, и не совсем понятно, о чем, собственно, мы говорим (не исключено, что каждый имеет в виду что-то свое). Формулы, чертежи, схемы, ноты, шахматная нотация, пиктограммы и эмодзи — все это широко используют в самых разных областях, все это развивается, рождает диалекты... С другой стороны, говорят о языке кино, о языке танца — наконец, о языке сердца! Спрашивается: что из этого нам

предстоит внедрить в предполагаемое лингвистическое единство? Вопрос осложняется существованием (и рождением) многочисленных кодовых систем, компьютерных протоколов (включая тысячи языков программирования); предположительно устная и письменная речь вскоре уступят место прямому подключению одних мозгов к другим (не разбирая органических от электронных) — что тогда мы будем считать всеобщим языком единого человечества?

Язык — не только средство коммуникации. Это средство общения. В том числе глубоко интимного — что никакими формальными средствами не передать. Мы используем звуки и знаки — но за ними стоит нечто иное, к этим звучаниям и графемам совершенно несводимое. Где мы это уже встречали? Да в самой идее субъекта, духа, который можно воплощать разными способами — но лишь частично, неполным и временным образом; стоит зафиксировать материальную оболочку — дух из нее быстренько выветривается и переселяется куда-то еще. Если (как утверждают некоторые писатели) язык есть внешнее выражение внутреннего мира человека — не следует ли ожидать, что и это воплощение окажется столь же подвижным и несводимым к чему-либо одному?

Еще одно немаловажное соображение: человечество не навсегда приковано к одной планете — и к одной звезде. Космическая экспансия сделает наш быт бесконечно разнообразным — и возникновение новых локальных культур, с учетом неизбежных задержек в коммуникации, приведет и к различию средств общения. Впрочем, ехать далеко, возможно и не потребуется: сравните различия в скорости передачи информации по звуковому каналу — и в компьютерных сетях; если компьютеры дорастут до минимальной разумности — наши темпы общения их вряд ли устроят, и придется пройти через сосуществование разумов разного масштаба, в разных шкалах. Не исключено, что в мире уже существует нечто в этом роде — но мы пока не научились такое замечать.

Но как же быть с единством разума — отражением и выражением единства мира? Сможем ли мы договориться при таком богатстве возможностей?

Ответ очевиден: человеческая история на протяжении всех веков была историей сближения несопоставимого и несовместимого, контакта культур, их взаимопроникновения. Почему то же самое не может происходить всеобщим образом, на разных уровнях иерархии? Да,

классовое общество не способствует совместной деятельности всех мыслимых и немыслимых реализаций субъекта — но затем мы и требуем уничтожения цивилизации, устранения классового размежевания, чтобы ничто не мешало нам быть сразу всеми и везде, на свой манер — но сообща. Стихийное слияние отдельных культур в человечество — процесс долгий и болезненный; но разумные существа преодолеют стихийность, сделают собственные взаимоотношения продуктом труда, при необходимости изобретая для этого сколь угодно разные языки, не «иностранные», а дополняющие друг друга. Не один язык, знакомый всем, — а все знакомы со всеми и понимают все без слов.

* * *

Ленин, *О карикатуре на марксизм* [30, 93]:

Спорить о словах, конечно, не умно. Запретить употреблять «слово» империализм так или иначе невозможно. Но надо выяснить точно понятия, если想要 вести дискуссию.

Классическое сочетание «здравия» и «упокоя». Спорить о словах не умно. Потому что любые споры — не от большого ума. Да и умничать не всегда уместно... Отличать понятия от употребляемых для их обозначения слов — умение, конечно, полезное. Обозвать здоровую идею можно как угодно — от этого ее здоровье не пострадает (ну, разве что, чихнет пару раз — как от щекотки в носу). Но дело-то в том, что понятия мы вырабатываем не для дискуссий — а для дела! А по жизни ни одно понятие не гуляет в блистательной наготе — к нему пристает всякая мелочь, примешивается хаос коннотаций, далеких от строгой теории — но практически весьма полезных. Требовать во что бы то ни стало «выяснить точно» — это дурная софистика, классовая постановка вопроса, когда речь не о понятиях — а о разборках «по понятиям», о формальной принадлежности той или иной фракции. «Точность» нужна только для дискуссий; если же мы собираемся делать дело — то и говорить надо не о понятиях, и тем более не о словоупотреблении, а о деле, о предполагаемых дальнейших шагах, — и о том, что для этого нужно, и что этому мешает. Собственно, этим в итоге и определяются наши понятия.

Когда словари коллекционируют всевозможные значения слов — это никаким боком не определяет их *смысла* в контексте общения. Лексикограф систематизирует pragmatику — но ничего не говорит о

семантике. Точно та же, перечисляя признаки и проявления любви, ученый автор занят лишь ее наличными (или исторически известными) формами — что никоим образом не мешает представлять в тех же формах нечто совсем другое (хотя, конечно, в силу универсальности разума, капелька любви найдется во всем без исключения).

Воспроизведение разума — против любых размежеваний. Мы не собираемся ни с кем спорить, не заботимся о строгостях определений и номенклатуры. Мы размышляем о том, что (по нашему разумению) было бы разумно, — и показываем, как лично мы (в данном конкретном контексте) не стали бы себя вести. Не соглашаться с другими — это нормально; считать себя единственными правыми — для чего? Право — категория классовая; правота одних — против других. А нам нужно, чтобы все вместе, и каждый по-своему, — ради единства мира.

* * *

А. П. Руденко, *Теория саморазвития открытых катализитических систем* (М. 1969):

При этом становится возможным полное теоретическое описание сущности, происхождения и развития жизни на уровне точных наук.

Вот вседовлеющее заблуждение естественнонаучного материализма! Сделать одно из другого — и объяснить одно другим. Как если бы мы сделали стол из дерева — и «полностью» объяснили бы его сущность свойствами дерева; потом делаем стол из пластика — и что прикажете делать с его «деревянной» сущностью? Точно так же, жизнь вовсе не обязательно возникает на химической основе; например, общественные организмы (или сообщества интеллектуальных роботов) ведут себя так же, как «мокрая» биология.

Разговоры о «полноте» — отрицание развития. Предполагается, что предмет науки может быть исчерпан целиком — а значит, и сами вещи сложились раз и навсегда, и все различия во веки веков. Деятельность человека — как раз то, что устраниет эту неизменность, позволяет переходить от одной природы к другой.

Далее, с каких это пор наука имеет отношение к сущности, происхождению или развитию? У каждой науки свой предмет — и как только одно становится другим, прежняя наука уже не годится, и нужна другая. Сам же Руденко отмечает качественное различие химической и

биологической эволюции — несмотря на «удивительное сходство». Механические системы и психические процессы можно описывать теми же уравнениями — но это *формальное* сходство не означает единой содержательности. Жизнь никоим образом не сводится к физике или химии; разум не выводим из физического или биологического движения. Что не мешает одной и той же системе вести себя в каких-то отношениях как мертвое тело — а в других проявлять признаки жизни или разума.

Сущность вещей — вне этих вещей; попытка объяснить ее внутри науки была бы логической ошибкой, экстраполяцией за пределы предметной области. Развитие приводит к возникновению новых уровней — но это не уровни того же предмета, это нечто иное; различие обнаруживается вне науки — и только потом становится возможно представить его как взаимосвязь разных наук. Разумеется, такие представления частичны и неполны; однако практика не нуждается в полноте — ей нужна практическость.

* * *

Еще о неудачных переводах Стендоля (а откуда взяться точности, если не удается хотя бы предварительно очертить границы предмета?):

Le plaisir physique, étant dans la nature, est connu de tout le monde, mais n'a qu'un rang subordonné aux yeux des âmes tendres et passionnées.

Переведено грубо:

Физическое удовольствие, свойственное природе человека, знакомо всем, но нежные и страстные души отводят ему лишь второстепенное место.

Однако в оригинале — удовольствие *в природе*; и оно там лишь *есть* — но вовсе не обязательно «свойственно» природе как таковой, и тем более ни слова о природе человека! Поэтому допустимо толковать и так: физические удовольствия — всего лишь природа, и этого недостаточно, чтобы стать (или оставаться) человеком. О них люди знают — что не предполагает обязанности самому через все пройти; см. ниже:

Quelques femmes vertueuses et tendres n'ont presque pas d'idée des plaisirs physiques...

Наконец, у Стендоля — о *подчиненности* (хотя бы в логическом плане) физического духовному, а вовсе не о «второстепенности» природного (которое в классовом обществе частенько подминает под себя дух). Что

в реальной жизни окажется на первых ролях — зависит от требований момента; но это не отменяет самого различия природы и духа.

* * *

Бебель, *Женщина и социализм*:

Возможно более многочисленное население является не препятствием, а средством культурного прогресса совершенно так же, как существующее перепроизводство товаров и продуктов питания, разрушение брака применением женского и детского труда в современной промышленности и эксплуатация средних слоев крупным капиталом являются предварительными условиями для более высокой культурной ступени.

Вне зависимости от того, что имел в виду автор, интересна мысль о разрушении брака как одном из механизмов перехода к высшей культурности, когда люди уже не будут винтиками репродуктивных технологий, а смогут общаться по-человечески, безотносительно к производственной необходимости. Тогда не будет и разделения на женщин, мужчин, взрослых и детей... — все одинаково люди, и свободны общаться с кем угодно и как угодно.

* * *

По Фичино, любящий до самозабвения отдает себя любимому и умирает в нем: «всякий, кто любит, умирает». Правда, горечь смерти подслащена ее добровольностью — утешение весьма относительное... Но самое интересное в другом:

Обоюдная любовь означает смерть только для одного, но воскрешение обоих. Ибо тот, кто любит, единожды умирает в себе самом, так как пренебрегает собой. Воскресает же в любимом тотчас же. Воскресает снова, так как в любимом узнает себя и не сомневается, что любим. О счастливая смерть, за которой следуют две жизни! О удивительная сделка, при которой кто отдает самого себя ради другого — обладает другим и продолжает обладать собой! Ибо кто однажды умер, воскресает дважды, и за одну жизнь обретает две, и из себя одного превращается в двоих.

Прекрасный пример того, как великая идея вынуждена обходится скучной обыденностью и просвечивает сквозь уродство недостаточных

форм. В подсознание вбиты представления о собственности, о владении своим в противоположность чужому. Поэтому общение превращается в рыночный обмен, и если мы что-то отдаем — это смерть, и неплохо бы по итогам сделки чем-то и разжиться... Но суть любви как раз в том, что человеку не нужно ничего отдавать или обретать: он непосредственно есть другой человек — и речь не об обмене, а о слиянии душ. Дух вне пространства и времени — поэтому нельзя перенести его из одного места в другое, обменять один дух на другой. Торг здесь неуместен. Для человека любовь — это освобождение, преодоление ограниченности одним собой, которое открывает целый мир в другом — а не просто переселяется в еще одно тело.

Умирает смертное. А любовь бессмертна. Метафора Фичино — смерть животного в человеке и пробуждение собственно человеческого, духовного:

Человек — это дух. Дух любящего — это любимый.

Единственный путь к такому пробуждению (становлению разума) — любовь.

* * *

Мысль о божественном происхождении мира (и о неподражаемом совершенстве творения) преследует естествоиспытателей вопреки сколь угодно воинствующему атеизму. Долг ученого — постижение природы, максимально полное осознание уже имеющегося и данного навсегда; человек может улучшить бытовые условия только в этих божественных рамках — и не удивительно, что наука так легко мирится с поповщиной всех мастей, прогибается под мистику и мифологию. Остается лишь «научно» обосновать неизбежность классовых различий — и вот вам апологетика существующего экономического и общественного строя, якобы не допускающего принципиальных изменений, и остается только приспособливаться к «естественному» путем мелких реформ.

Но и на этом пути возникают забавные парадоксы: смещение акцентов — и смещение уровней. Например, совершенно типичную фразеологию встречаем у философствующего химика А. П. Руденко:

Разумность постановки задачи систематического активирования катализаторов в результате их искусственного отбора не вызывает сомнения.

Однако полное моделирование ферментов и ферментативных процессов этим путем невозможно. Эволюционный процесс осуществляется посредством естественного отбора изменений, самопроизвольно, а указанный выше процесс — произвольный, зависящий от случайно избранного экспериментатором критерия искусственного отбора.

То есть, естественный отбор отбирает заведомо лучше — а мы лишь угадываем отдельные фишечки, или не угадываем — и тогда результаты плачевны... Оказывается, что «самопроизвольность» — это вовсе не случайность, а высшая мудрость прорицания; тогда как человеческий «произвол» — совершенно от фонаря. Простой факт, что за нашими действиями стоят сознательные намерения — от автора ускользает! Происходящее в неживой природе — изначально не предполагает никаких намерений и потому случайно в полном смысле слова: куда кривая вывешет. Необходимость метаболизма (как определяющая черта жизни) столь же противоположна всякой намеренности, и возможности эволюции полностью ограничены рамками случайных вариаций. Человека не устраивает такая, нечеловеческая (а часто и бесчеловечная) естественность — как совершенна они ни была в ее собственной логике (то есть, с точки зрения некоего «высшего» — и значит, опять-таки, заведомо неприродного существа). Человеку важно добиться своей, сознательной цели — и он отбирает из природных качеств только те, которые лучше отвечают поставленной задаче. В конце концов, сами понятия эффективности и специфичности катализаторов — в природе начисто отсутствуют: это чисто человеческое требование, проектное задание, предписанное природе направление развития (а ей самой — абсолютно все равно). Поэтому сколь угодно «фонарный» эксперимент оказывается разумнее любой природы — а вековой исторический опыт показывает, что искусственный отбор в сотни и тысячи раз сжимает времена эволюции — а в наше время один месяц может запросто сойти за миллион лет.

Но вопрос о принципах выбора никто с повестки дня не снимал. Самые дикие фантазии — зачем-то необходимы: они подчеркивают неприродность связей, которые человек устанавливает между живыми и неживыми вещами, — а без этого не будет полномасштабного единства мира. Но произвол — не случайность, и не следование необходимости. Это именно человеческий, духовный произвол — способ одухотворения природы. Художник может бросать краски (а музыкант ноты) наугад — но делает он это намеренно, имея в виду вполне определенный результат

и отбирая из тысяч попыток удачные; точно так же ученый может иногда работать «методом тыка» — но за этим всегда стоят эвристические соображения и потребность вписаться в культурные тенденции. Даже если речь о работе на рынок — рыночную конъюнктуру надо унюхать, и поставить востребованный товар.

Когда же люди безвольно плывут по течению или идут на поводу у неразумной необходимости (включая и капризы природы, и классовые общественно-экономические установления) — они деградируют до дикости, до природного состояния; такое поведение уже нельзя назвать человеческим — эта одна из глупых случайностей природы, через которые пробивает себе дорогу естественный отбор.

* * *

Немецкая идеология [3, 27]:

... люди, ежедневно заново производящие свою собственную жизнь, начинают производить других людей, размножаться: это — отношение между мужем и женой, родителями и детьми, семьёй.

Здесь зародыш последующих ошибок, идеологических перекосов. Один раз уступить буржуазной идее вечности и первозданности семьи — и нет больше исторического материализма! Размножение — чистая биология; животные с этим прекрасно справляются. Родство как *общественное* отношение не возникает сразу, оно складывается по мере разделения труда, противопоставления одних людей другим — то есть, в процессе рождения классового общества, цивилизации. Возникновение семьи как *институциональной* формы родства — относительно позднее явление, предполагающее (хотя бы в зародыше) отношения собственности; поэтому говорить, что семья «вначале была единственным социальным отношением» — ложь, исторический подлог, на котором спекулирует буржуазная пропаганда, и Маркс с Энгельсом вдогонку...

Где-то в глубине товарищи это чувствовали — и там же [3, 28] есть длинное (хотя и корявое) примечание о связи семьи с хозяйственным обособлением, которое заканчивается гениальной догадкой:

Само собой разумеется, — упразднение раздельного хозяйства не отделимо от упразднения семьи.

Это чуть ли не единственное место в наследии классиков, где открытым текстом сказано: семья должна умереть — а значит, и существовала она

не всегда, и нельзя называть семьей какие угодно отношения между первобытными (или современными) людьми. В оригинале использован гегелевский термин: *Aufhebung*. То есть, не «упразднение» — а снятие, изживание, создание таких культурно-экономических условий, при которых такая форма общественной связи оказывается неуместной, и на смену придет нечто совсем иное.

Но (на поводу у схоластически гипертрофированного тезиса о первичности материи) Маркс не заметил обратной стороны того же самого: не только раздельное хозяйство ведет к семье, но и семья на каждом шагу порождает раздельное хозяйство — и тем самым дает толчок развитию самых сложных форм разделения труда, воспроизводит классовое общество как таковое. Поэтому упразднение («снятие») разделения труда невозможно без уничтожения семьи: любые попытки сохранить эту «естественную» (а значит, природную, неразумную) связь приведут к разрушению экономического и духовного единства, сделают бесклассовое общество невозможным.

Разумеется, качественный скачок — не просто переключение из одного состояния в другое (чего и в природе не бывает); в какой-то шкале это окажется долгим и болезненным процессом, со своими уровнями и этапами. Но затевать революцию в экономике не меняя характера отношений между людьми — нонсенс, логический ляп.

* * *

На волне западничества, в русле возведения статистики в ранг науки и моды на гадание на статистических отчетах (как на кофейной гуще или по внутренностям жертвенных бааранов), в СССР вылез один из самых бесстыжих манипуляторов и карьеристов — И. В. Бестужев-Лада. Одним боком — все в пределах официоза; но якобы академические публикации — махровая антисоветчина (не говоря уже о принципах исторического материализма). Забавно, что после контрреволюционного переворота, его писанина оказалась совершенно невостребованной; как ни старался он быть правее всех правых — дело сделано, и мавр может уйти. Пустота статистической «прогностики» со всей очевидностью обнаруживается в переломные годы: исходные посылки якобы научного метода становятся заведомо неверны — и дальше беллетристика: любые совпадения с реальными событиями и персонами совершенно случайны. В конце концов, на то она и статистика — научообразный игорный дом.

Творения Бестужева (хвостик к фамилии он себе добавил понту ради) — сочетание пошлой пустоты и буржуазной апологетики. Этим он ничем не отличается от западных социологов — коих там несусветное изобилие, и добавочные экземпляры ни к чему. Для части совковых интеллигентов бестужевские откровения могли сойти за прогрессизм; когда хляби разверзлись, стало ясно, что ничего кроме переписывания чужих инструкций за прогностической «наукой» не стоит. Например, в тенденциозной книжице *Поисковое сознательное прогнозирование: перспективные проблемы общества* (М. 1984) Бестужев наводит статистику на данные загсов — из которых (без учета неформальных реалий) ровным счетом ничего не следует, — и притягивает от фонаря убежденность в

непреходящей ценности самой семьи, причем, понятно, в ее наиболее развитом виде — моногамии, основанной на полном равноправии супругов, на любви, уважении, общности интересов всех членов семьи. Критика в адрес семьи минувших времен совершенно справедлива, но она относится к семье построенной на неравноправии и подавлении личности.

Это мы слышали миллион раз — будет миллион первый. Теорию пролетарской моногамии Маркс и Энгельс продвигали еще в середине XIX века — а позже Энгельс разрекламировал книжку буржуазного социолога Моргана о вечности и непреходящей ценности семьи, что тут же стало непререкаемой догмой правоверного марксизма. Фактов нет — есть ложь. Формально-правовое равноправие ничего не говорит о фактическом равенстве: рабочий имеет полное право получать зарплату больше генерального директора, или хотя бы сменного инженера, — но почему-то не получает. Общность интересов при капитализме возможна лишь в форме бандитского сговора, намерения вместе грабить кого-то со стороны; но даже полностью контрактный брак, подчиняя действия членов семьи статьям устава, оставляет всех подписантов при своих интересах — ибо единственное равенство, которое признает буржуазное общество, есть абстрактная противоположность рыночных агентов: каждый ищет своей выгоды, и общественный характер производства может проявлять себя лишь статистически, как равнодействующая индивидуалистических сил. Если общество в целом не предполагает единой цели — временные союзы вечных врагов остаются фикцией, видимостью единства. Моногамия, по сути, и есть абстракция рыночной сделки, элементарный акт обмена, из которого (по Марксу) вырастает

капитализм. Стороны сделки — не вместе, а против друг друга; это всегда конкуренты — и потому никакой любви ожидать не приходится, а уважение возможно лишь в смысле соблюдения правил игры.

Критика в адрес старой (феодальной) семьи — столь же корыстна, как и борьба против крепостного права: буржуй против крепостничества поскольку ему нужен достаточно обширный рынок труда, где есть шанс сбить цену, спекулируя на избыточном предложении; однако держать рабов в ежовых рукавицах таки нужно — и поэтому воспроизведение экономического субъекта регулируется институтом семьи, призванным ограничить как масштабы производства, так и спектр рыночных интересов. Рыночные роли в буржуазной семье расписаны без малейших вольностей — и говорить о равноправии никак не приходится; что же касается подавления личности — сама необходимость формальной принадлежности группе (неважно, по каким признакам) и соблюдения установленных внутри нее правил есть жесткое ограничение на диапазон доступных деятельности, уничтожения всякой свободы — и смерть личности. В этом смысле буржуазная моногамия ничем не лучше «старой» семьи — и даже внешне от нее почти не отличается. Это, собственно, и позволяет идеологам господствующего класса говорить о вечности семьи, и подгонять любые отношения людей под классовые стандарты. Настоящая критика семьи, вскрывая ее классовые корни, закономерно ведет к представлению о таком обществе, в котором люди не противостоят друг другу в структуре производства, а вместе трудятся, никак не ограничивая способы и сроки участия; в таком мире семья (как и любые другие коллективы) не только становится излишней, но и просто невозможна: каждый непосредственно представляет общество в целом, и обособить какую-то часть общества от всего остального, не ограничивая этой свободы (то есть, не подавляя личность) никак не получится.

Заметим, что обычные (то есть, не занятые в секторе буржуазной пропаганды) советские люди (в отличие от совков) прекрасно понимали глупость бестужевских (и тому подобных) абстракций. Народные недоумения порой просачивались на публику благодаря модному в то время (зимствованному из западных политтехнологий) поветрию вести в массовой периодике специальные «диалоговые» разделы, где якобы специалисты якобы компетентно отвечали якобы наивным простачкам. Например, в официозно-популярном журнале *Человек и закон* была рубрика *Собеседник*, где задавали вопросы и о семье. В частности, народ

спрашивает: с какого бодуна большие теоретики ограничивают семью только отношениями супругов и прямого потомства (что по научной фене называют нуклеарной семьей)? Общеизвестно, что родственные связи затрагивают (главным образом, экономически) широкий круг формально связанных меж собою людей: родители супругов, родители родителей и дети детей; и у всех могут быть братья и сестры, и прочая родня до десятого колена. Трудоспособные тянут нетрудоспособных, а те, в свою очередь, делегируют спонсорам политические права. Если закон ограничивает такие (наследуемые) права тремя очередями — это чистая условность, тогда как на практике случаются очень запутанные комбинации, которые не всякий суд разрулит. Если бы каждый член общества получал все необходимое для полноценной жизни напрямую от общества — никаких проблем; однако на практике приходится заниматься дележкой имущества и финансов, выделять доли и в неразделимом — а значит выводить людей на рынок, придавая ему статус высшей судебной инстанции.

Тут прямой ответ г-ну Бестужеву, который (вслед за буржуйскими теоретиками) молча предполагает (неявно постулирует) нуклеарную семью — хотя в советской действительности ничего подобного не было. Но даже если абстрагироваться от широчайшего фона семейственности, никакой свободы в отношениях супругов изначально не предполагается; тем более не по своей воле дети поставлены в зависимость от родителей. Вследствие экономической зависимости людей друг от друга семья всегда выражает экономическое *угнетение одних людей другими*. Подчиняя (экономическое) поведение супругов «интересам семьи» — подчиняют их интересам господствующего класса, которому выгодно подменить духовную, личностную связь производственными ролями, позициями в штатном расписании, согласно которому одни руководят другими на «законном» основании (или следуя «естественной» логике вещей). Понятие иждивения есть прямое выражение общественного неравенства — но, как и в отношениях классов, существует взаимная зависимость: рабам *выгодно* переложить ответственность (и вину) на господ, тем самым *паразитируя* на их положении в общественном разделении труда. В классовом обществе все эксплуатируют всех — одни паразиты сидят на шее у других паразитов, и подставляют свою. Больная в советском обществе проблема паразитизма взрослых детей красноречиво говорит о том, что они не могут (и не стремятся) (экономически) обособиться в рамках чрезмерно жесткой экономики,

спутывающей (экономическую и личную) свободу паутиной родства. Та же проблема стоит и перед процветающим буржуинством — и бурный рост количества и разнообразия типов альтернативных семей стал неизбежной реакцией рынка на кризис семейственности как таковой. Однако в рамках классовой экономики любое лечение — не более чем паллиатив, и окончательно разделаться с общественно-экономическим неравенством и подавлением личности возможно лишь путем отказа от классовой общественной организации в целом — и от семьи как ее источника и опоры.

* * *

Когда буржуазные авторы пишут о религии — им не дано сказать хоть что-нибудь по существу. Две крайности в трактовке тантризма: либо вульгаризация и опошление, сведение к практикам секса, — либо напыщенно-мистическое благовение, попытки за каждым словом отыскать что-нибудь не от мира сего. И те, и другие — на благодатной почве: как и всякое поветрие, тантризм растекается на тысячи ручейков, и среди его последователей (или примазавшихся) обязательно найдутся как легкомысленные искатели развлечений — так и свихнувшиеся на собственной непроходимости мистики. Отыскать за всем этим единство может лишь здравомыслящий, свободный дух, знающий о неизбежности разнообразнейших воплощений — и о единственности мира, которому все эти частности принадлежат. Мы не собираемся отказываться ни от тонкой духовности — ни от грубой материи, или наоборот: от тонких материй и грубости духа. Упростить в одно — не от большого ума, не говоря уже о дефиците разумности.

Вот, например, психоаналитические изыскания буддистской ветви тантризма: дескать дух проникает из области кармических видений в утробу матери — и накачивает сознанием эмбрион, и дальнейшие психические движения хранят следы память о «сексе изнутри»; однако на самом деле будущая личность существовала и до своей утробности — и ее приключения в выдуманных эмпиреях детально описывают древние восточные фантасты...

Казалось бы, очень похоже: если «сущность человека» (робкий эвфемизм правоверных марксистов для слова дух) — совокупность всех общественных отношений, логично допустить, что складываются эти отношения безотносительно к физиологии размножения, и органическое

тело лишь *представляет* их для общества, служит удобным знаком. Разумеется, как слова ничего не значат сами по себе — так и тела никоим образом не становятся «вместилищем» духа: общество заставляет их двигаться так, чтобы соответствовать обозначенной телом не совсем материальной идее. Следовательно, допустимо говорить о движении духа до (биологического) рождения и после (юридически признанной) смерти — эти акты относятся лишь к телам, к частному и ограниченному выражению целого.

Тем не менее, поскольку органические тела дух каким-то образом выражают, присущие органике процессы метаболизма (включая секс и деторождение) можно (и нужно) использовать в разумных целях — не забывая о конечности любой их таких «практик» и творческом их преобразовании по ходу личного и общественного развития. Тут, казалось бы, снова смыкаемся с попами: половая любовь лишь в той мере духовна, в которой она отвечает насущным чаяниям человечества в целом, выразителем которых и становятся по-человечески любящие; другими словами, можно сколько угодно кувыркаться в постели (или других местах) — но не забывать при этом о высшем предназначении всего этого: служить единству мира в целом, поднимаясь до уровня всеобщих идей.

Ставим две картинки рядом — и предлагаем: найдите десять отличий. Сразу оговоримся, что отличий бесконечно много — но что найдем, то наше...

Прежде всего — речь не об открытии потусторонних истин, данных раз и навсегда. Ни одна вещь не может целиком уместиться ни в какую категорию — и всякое столкновение вещей рождает что-то новое, чего наши правила не предусматривают, и не могли предусмотреть. Различие материального и идеального, телесного и духовного — относительно, изменчиво, подвижно. Стоит духовному застыть — это уже догма, противоположность духовности, отрицание разума.

Следствие: нельзя поделить чувства и деяния на «высшие» и «низшие» — ибо любой порядок возникает лишь по отношению к чему-то, что становится в этом случае темой разговора и основанием суждения, вершиной иерархии, в глубине которой найдется место и чему-то еще. Выберем другую тему — порядок может измениться (и скорее всего изменится). Свобода разума в том, чтобы переходить от одного обращения иерархии к другому по мере надобности, выбирать именно ту шкалу, которая уместна в деятельности на данный момент.

Кстати о свободе. Религиозное мышление систематизирует и предписывает допустимые возможности — человек сам ставит себе пределы допустимости. Разум идет от секса к любви столь же легко, как и наоборот; дух «проникает» в утробу столь же свободно, как выделяется из нее. Чтобы развиваться духовно — мыдвигаем тела; но мы столь же волны предоставить им двигаться перед нами — и угадывать в этом самих себя.

Таким образом, головокружительные конструкции потусторонней реальности, коими нас страшат попы всех мастей, — это не столько игра фантазии, сколько свидетельство ее отсутствия. Мир не стоит на месте, и любые наши изобретения (даже если интуиция не ошибается) привязаны к одной точке и эфемерны: здесь так — с другого боку иначе; сейчас так — мгновением позже ничего подобного. Неведомое меняется быстрее хорошо знакомого; круги ада превращаются в этажи небес — и наоборот. По большому счету, нам и не важно, как там, за горизонтом, все устроено; нам нужно устроить по-своему, — а потом рассыпать карточный домик и сложить совсем не так. Мы в состоянии нагрузить духом любое тело — и одухотворить самый грязный секс. Но мы можем и обойтись без любого из тел — и любить издали, через века.

* * *

Телесно-ориентированная терапия — реакция на мистический уклон в психоанализе. Фрейд подчеркивал, что его модельные абстракции — лишь предварительная ступень, пока не найдено более основательных, явно регистрируемых психических характеристик; психоанализ после Фрейда предпочитает вообще не заморачиваться объяснениями: либо достаточно формального анализа самого по себе — либо психическую динамику списывают на универсальные «архетипы», самосущие идеи. Оба варианта терапевтически беспersпективны; поэтому Фрейд в конце жизни сомневался в возможностях им же изобретенного метода.

Психоанализ начал с физиологических аналогий — но с самого начала было ясно, что дело тут не в физиологии, что за ней стоит что-то еще. Не имея ни малейшего представления об общественной сущности человека, о сознательной деятельности как единственно возможном способе его бытия, физиологические клише заменили мистическими, протащили бога через задний проход. Любые ссылки на тело — всего лишь метафора…

Чтобы не заблудиться в царстве теней, логично вспомнить, что дух не сам по себе — это всего лишь отношение вполне материальных вещей, в деятельности человека ставшее не просто отношением между людьми, и не только духовным, но и материальным, взаимодействием тел. Если что-то в человеческой (принципиально не животной!) психике пошло не так — значит, наличные телесные формы не отвечают устремлениям личности — и пора заняться восстановлением гармонии. Поскольку же радикально менять общественный строй не позволяет рыночная религия, обновить тело в соответствии с насущными задачами не представляется возможным, и единственный выход — ограничить человека, вернуть его в органическое тело. Да, где это получается — это работает. Но не решает собственно человеческих проблем — а просто обрезает их, кастрирует дух, не позволяя ему выходить в такие сферы, где примитивной телесности недостаточно. Вместо того, чтобы снять общественные барьеры — довольствоваться малым. Концентрат этой идеологии — в книге А. Лоуэна *Предательство тела*:

Полное отсутствие контакта с телом характерно для шизофрении.

Вообще говоря, шизофреник не знает, кто он есть, а поскольку он не соприкасается с реальностью, то не может даже сформулировать такой вопрос. Шизоид знает, что у него есть тело. Но поскольку Я не отождествлено с телом и не воспринимает его как живое, человек чувствует, что мир и люди не имеют к нему отношения. У здорового человека такого конфликта нет, поскольку его Я идентифицировано с телом, а его знание об этом отождествлении следует из чувствования тела.

Идентификация как один из основных психологических механизмов — это из Фрейда. Но если у Фрейда речь об уподоблении одной личности другой (то есть, в пределах одного уровня иерархии, оставаясь какими ни на есть людьми) — телесно ориентированная терапия предлагает засадить себя в тело, ограничить чувственность «чувствованием тела», смакованием ощущений. Собственно, этому служит любая наркота — от водки и сигарет до убойной химии, религиозных догм или творческого горения. Конечно, человек (поскольку он еще не до конца оскотинился) не может идентифицировать себя с животным — и речь все равно об уподоблении одного человека другому; но вместо высоких образцов нам предлагают стадную психологию, услужливость раба, которому удобно в этой роли, и который сознательно отказывается претендовать на привилегии господ, снимая с себя всяческую ответственность.

Отсюда полное непонимание шизофрении — вплоть до исключения ее из официального списка психических болезней в силу совершенной неспособности с этим справиться. Давайте, дескать, лечить симптомы, облегчать страдания по мере возможности...

Проблемы шизофреника не в том, что он не знает, кто он есть, — наоборот, он угадывает то, в чем другие не решаются себе признаться: человек осознает, что его личность не сводится к органическому телу, и даже к совокупности тел; мое *Я* — это нечто большее, грандиозное, необъятное, захватывающее весь мир. Но другая сторона того же — отрицание монополии на вот этот единичный организм, признание за ним потенциальной возможности служить материей кого-то другого. Клиницисты не в теме — и считают это всего лишь расщеплением сознания (отсюда и название). Классовая ментальность железно знает: все в мире кому-то принадлежит, все продается и покупается (или узурпируется, на стадии первоначального накопления). Шизофреник отказывается кому-либо принадлежать — и не хочет никем владеть; прямо-таки верх безумия! А всякие там лоуэны сочувственным тоном поучают: ну что, Вы, право! — у вас, ведь, такое замечательное тело; овладейте им на всю катушку — и не будет никаких проблем. Да, все остальные тела — чужие; но есть же что-то и свое!

Но человек не хочет пошлой телесности — ему нужен мир целиком. Это не боль — это восторг. Больно, когда осознанной духовности сопутствует отчетливое понимание классовой ограниченности: куда ни ткнись — везде рогатки, и полицаи с дубинками. Вместо того, чтобы делиться миром с другими, — приходится оборонять выделенный в пользование жалкий клочок от любителей отнять последнее. Поначалу шизофреник может согласиться на терапию, послушно принимает нечто психотропное... Да, это отупляет, это лишает полноты жизни, — но иногда лучше кошмарный сон, чем кошмары наяву. Однако совсем истребить разум — не получится. Неудовлетворенность пробивается наружу — и неизбежен срыв, и потом все чаще... В конце концов, проще сразу покончить с этим: по-человечески, честнее — предать тело, чтобы не предавать себя. А дух не пропадет — его подхватятся презренные «шизоиды», умеющие смотреть на классовый быт со стороны.

Владеть телом — значит попасть под его власть. Надменные обладатели «собственных» тел кичатся своей принадлежностью к толпе обывателей, не знающих ничего кроме этой филистерской «реальности». С этой реальностью шизофреник действительно не соприкасается — он

вынужден строить себе реальность как-то иначе, в мечтах, в наивных попытках усмотреть за окружающей пошлостью разумное и человечное. Но в итоге оказывается, что шизофреник (и в какой-то мере шизоид) видит мир куда вернее, чем миллионы «здоровых», — и трагедия как раз в том, что вполне реальные конфликты этого мира человек принимает близко к сердцу, для него нет чужих бед — все внутри. А это колossalная нагрузка на психику, которая досталась нам от животных вместе с животными телами — и не очень-то годится для наших масштабов.

Очевидный вывод — надо менять тела. Не просто генетически модифицировать — а выходить на иной уровень, за рамки органики. Такое, неорганическое тело у каждого человека есть — это совокупность всех предметов (элементов культуры), которыми человек управляет как своими органами, через которые воздействует на мир и посредством которых воспринимает мир. И оказывается, что органическое тело требуется все реже: нет руки — есть внешние манипуляторы; ноги заменяют все более совершенные приспособления для передвижения; внутренние органы поддаются замене; возможности мозга безгранично расширяет интеллектуальная техника. Именно отсюда замечание Лоуэна о том, что «неуверенность в отождествлении типична для людей нашей культуры». Можно с уверенностью предсказать: чем дальше — тем типичнее. Люди, наконец-то, начинают осознавать себя людьми, а не животными; «эта проблема есть шизоидное отклонение».

Еще раз: ничего трагического в таком «размывании» телесности нет. Больно становится там, где человек с разгону налетает на выставленные рыночной экономикой барьеры, когда его стремление вершить судьбы мира (а разум на меньшее не согласен!) грубо обрывают полицейскими мерами, лишают доступа к всеобщему продукту, достоянию всего человечества. Нельзя! — это чужое! Всеобщее отчуждение не оставляет человеку вообще ничего — и даже выданное в пользование органическое тело запросто могут продавать и перепродаивать, использовать в чужих интересах, пытать, калечить, убить. Другая сторона — отчужденность, враждебное (или подозрительное) отношение к другим, невозможность духовного единства, любви.

Уберите рыночное безумие, оголтелую дележку на свое и чужое, — зачем дорожить неудобной и обременительной органикой? Когда в нашем распоряжении космический корабль — будем ли мы думать о межпланетных путешествиях на велосипеде (типичное несоответствие

«образа» и «реальности», которое ненормальные врачи приписывают нормальным шизофреникам)?

Где всякий может участвовать в любой деятельности — весь мир становится телом каждого, и в любом теле один дух никак не помеха другому. Нет противостояния одних другим — нет и внутренних конфликтов. Так — и только так — возможно навсегда снять отчуждение духа от тела; такова подлинная телесно-ориентированная терапия, которая не вынуждает человека ограничиться ничтожной крупицей бытия, а предлагает в полной мере ощутить безграничность своего нового тела, духовную свободу, — и предоставляет такую же свободу другим, независимо от используемых ими тел.

* * *

Шекспир:

I loved Ophelia: forty thousand brothers
Could not, with all their quantity of love,
Make up my sum.

Цветаева:

— Меньше,
Все ж, чем один любовник.

Любви не бывает больше или меньше. Торг здесь неуместен. Вопрос принципиальный: есть любовь — или нет любви? Но когда говорят: *любил* — значит, любви нет. А нет — значит, и не было! Следовательно, и быть не могло. Любовь — до нас, вместе с нами, и навсегда после.

* * *

Stendhal :

Aimer, c'est avoir du plaisir à voir, toucher, sentir par tous les sens, et d'autant près que possible, un objet aimable et qui nous aime.

Очень важно! — в любви нет ничего второстепенного, в ней заняты все без исключения чувства, от самых первобытных — до абстракций науки или искусства. Любимые во всем, в каждой нашей клеточке, в любых оттенках настроений. Но это означает, что они нас любят столь же универсально, во всех возможных и невозможных проявлениях. Нельзя предпочесть одно из чувств другому: это ограничивает, сдерживает,

порабощает. Ставить одно выше другого — кощунство, отрицание любви. Любовь — весь мир, и мы дарим любимым весь мир.

* * *

Андре ле Шаплен, вердикт Марии Шампанской (от 1 мая 1174):

Мы ясно заявляем, что любовь супружеской пары не способна обнаружить всю свою силу, ибо любящие совершают все добровольно и не находятся под принуждением, тогда как состоящие в браке обязаны исполнять желания друг друга и ни в чем друг другу не отказывать.

Идея свободы любви здесь лишь следует античной традиции — и сама возможность выносить любовь на чей-либо суд напрочь отвергает ее свободу. Конечно, трудно ожидать от придворных игр логики и последовательности. Когда милые дамы устанавливают закон: *Кто любит по-настоящему, тот хочет обладать только своей любимой*, — они даже не догадываются, сколь далеко это от любви! Любовь не бывает не настоящей — и предписывать ей правильность никто не вправе. Обладание — лишение свободы, и о заявленном в «кодексе»уважении желаний любимой или любимого — уже не может быть и речи. Ограничивать любовь одной парой — чем это отличается от брака? Тем более, если речь всего лишь о замене одного другим:

Следующее правило любви учит, что никто не может любить сразу двоих, и поэтому любовь между супругами не имеет правового статуса.

В дополнение к официальному браку — еще и теневой; что это меняет? В куртуазной любви больше политики, чем экономики, — но это не отношения свободных людей, а утонченность несвободы. О политике тут же открытым текстом:

И как может супруг повысить свой общественный авторитет путем любовного служения своей собственной жене, будто она его возлюбленная, если невозможно внутренне совершенствоваться и добиваться большего признания за счет того, чем обладаешь изначально?

Общественный авторитет — это не шуточки! Умение играть в принятые обществом игры — показатель деловой квалификации (как и умение фехтовать, или пить не пьянея). И в наши дни предполагается, что «культурный» (живущий по понятиям) человек в курсе спортивных событий, новинок эстрады, наслышан о «культовых» писателях и

законодателях моды; он может презирать сериалы — но знаком с каждым в общих чертах, и улавливает намеки на персонаж. Так принято; а кто не принимает правил игры — того нигде не примут.

Есть и еще одна причина, отрицающая супружескую любовь: между мужем и женой не существует истинной ревности. Но без ревности не бывает истинной любви, о чем свидетельствует другое правило: «Кто не испытывает ревности, тот не любит».

Когда Отелло прирезал жену — это истинная ревность или нет? Гибель Мурки — эталон куртуазности? Мы уважаем желания партнеров — но нежелание нам целиком принадлежать расцениваем как измену и личное оскорбление. Верх лицемерия, предвестие буржуазного ханжества. Ревность несовместима с любовью: если любимому человеку кто-то нужен — любящий обязан сделать все для их счастья, ибо в этом и его счастье, высшее блаженство быть нужным своей любви.

Это принятное нами после долгого совещания и с одобрения многих других дам и оглашаемое теперь решение является непреложно истинным, и его полагается исполнять.

Любовь — сама себе истина, и никому ничем не обязана. Законы для тех, кто не знает любви. Чтобы не мешали другим быть любимыми и любить.

* * *

Наихристианнейший Шатобриан:

Женщины в новое время возбуждают не только любовную страсть, они оказывают влияние и на другие чувства. Нам передается что-то от их изнеженности; наш мужской характер становится менее решительным, и в наших страстиах появляются некая неуверенность и хрупкость.

До русских женщин — с конями и горящими избами — француз не дожил (или не дорос); тем более не могли ему привидеться кошмары наших дней: смешение полов в армии, женский спорт, женщины за рычагами экскаваторов или экономическими рычагами... Но хотя бы в одну сторону — постановка вопроса есть: стирание различий между полами как историческая тенденция и объективная необходимость. Мужчины утрачивают мужиковатость — но и женщины уже далеко не послушные самочки, созданные только для того, что мужики называют любовью. Заметим, кстати, что эфирность французских дам и в XIX веке существовала лишь в романтическом воображении: обслуживать и

рожать — та еще нагрузка, и не всякому молотобойцу оно по плечу! Поэтому якобы женственность тамошних мужчин — не по женскому образу и подобию; это целиком и полностью изобретение мужчин — поначалу в качестве высокомерного сексизма, а потом и как мужская привычка (ибо сознание людей для того и существует, чтобы менять их бытие).

Вопрос, конечно, гораздо шире телесных и поведенческих различий: тут XX век порушил все и всяческие границы, и пол можно не только воображать себе или имитировать — но и менять по собственному усмотрению, или удариться в еще какую-нибудь альтернативность. Речь о том, что участие людей в общественном производстве все меньше зависит от приписанных к ним биологических тел — и больше идет от условий труда и быта, становится даже не движением расширенного, неорганического тела — а движением истории, единством материи и духа. Человечество нуждается в каких-то типажах — и оно производит их как любые другие продукты деятельности. Нужны изнеженные мужчины или бой-бабы? — будут и те, и другие, — как явления культуры. Можно производить детенышей без женщин — их будут выращивать в инкубаторах, несмотря на ожесточенное сопротивление официальных и неофициальных властей. В конце концов память о половых различиях может вообще выветриться — и само понятие пола станет исторически неуместным. Некрасова тогда еще смогут понять (если придется тушить пожары или тормозить шальных зверюг); пафос Шатобриана тамошнему человеку — туманный архаизм.

* * *

В переходные эпохи рождаются странные гибриды отживающего и приходящего на смену. Классический пример — книга В. В. Елизарова *Перспективы исследования семьи* (1987). Якобы сугубо научный труд оформлен в советских традициях, с неизменными ссылками на решения партийных съездов и работы классиков марксизма; однако по характеру и содержанию — это типично буржуазное, тенденциозное творение, следующее худшим традициям западной экономики и социологии, где на первый план выдвигают видимость, внешние формы, — которые объявляют характеристикой вещей как таковых (*it walks like a duck, it quacks like a duck; let's take it for a duck*), их природой. Что мы здесь и называем эмпионатурализмом.

В качестве оправдания — философия моделирования: дескать, предмет изучают эмпирически до тех пор, пока не построена его модель; после этого можно играть с моделью и смотреть, как ее поведение соотносится с «прототипом» — интерпретировать наблюдения в духе рабочей модели, подводить под закон. Само по себе оно безобидно: такова, в общих чертах, логика любого научного исследования — от наблюдения к теории, от теории к методу. Будет теория сугубо умозрительной, или выраженной в формулах, или воплощенной в компьютерном коде, — большой разницы нет. Главное, чтобы на этом основании принимать практические шаги. Опасный поворот — когда абстракции (умозрительные, символные или программные) начинают путать с реальностью и специальные термины принимать за слова естественного языка. Буржуазные «исследователи» идут на это вполне сознательно: им платят за такую подмену — а на честную науку никто и гроша не даст. Обывателя надо застрашать и убедить — чтобы он потом сам других страшал и убеждал, от чистого сердца. Советские — шли за буржуазными, заимствуя теоретические модели вместе с их идеологической подоплекой.

История банальная: у Елизарова был достаточно свободный доступ к вычислительным мощностям, что позволило адаптировать под свои машины ряд зарубежных программ — и потратить энное время на численные эксперименты. Занятие в то время вполне обыкновенное. Почему западные модели? Потому что «советские демографы делают лишь первые шаги», и шаги эти «слишком робкие». И то верно: робеть массово перестали в 1990-х, после антисоветского переворота... Короче: запрограммировали, поиграли, отрапортовали. Подвести под это якобы научную базу — дело академической техники.

На первый взгляд, выглядит солидно. Семь функциональных блоков (число красивое?) — включая не только страшноватый блок смертности, но и блок потребности в детях, и блок плодовитости... Остается только выяснить: о чём это? Почему это называется моделью семьи — а не как-то иначе? Какие у нас на то основания?

Оказывается, что оснований никаких. Семья для Елизарова — всего лишь демографическая единица, рабочее место для изготовления детей; соответственно, его модель призвана стать этапом на пути к «разработке основных принципов управления репродуктивным поведением семьи». Особенно смешно про долгосрочную целевую комплексную программу «Семья», которая станет частью «плана экономического и социального

развития страны на длительную перспективу». Всего четыре года — и уже не будет ни этой страны, ни ее планов...

Конечно, если ставить вопрос так узко — эргономика семейного деторождения на это самое деторождение безусловно влияет. Но кто сказал, что семья занимается только этим? Есть и другие стороны семейной жизни, помимо демографии, — и тот же Елизаров допускает возможность особой науки «фамилистики», которой предстоит собрать все это под одной крышей... С другой стороны, производить детей запросто можно и без семьи — и если поправить программы с учетом этого обстоятельства, модель тут же укажет на перспективу отмирания семьи (чего начальство, конечно же, допустить никак не может, ибо семья им нужна вовсе не для детей, а для чего-то еще).

Елизаровские представления о семье сводятся к филистерским предрассудкам. Конечно же, семья возможна только в браке — а брак заключается «для нормального духовного и физического общения супругов». Если (вместо ссылки на некоего Рясенцева) открыть российский кобс — ничего подобного там обнаружить нельзя; но для автора это без разницы — ибо у него есть абстрактная модель семейной рождаемости, согласовывать которую с фактами никому не интересно. И снова: называть это моделью семьи — как-то странно; с тем же успехом это может быть моделью рыночного спроса (с целью управления массовым потребителем), или моделью взаимодействия детородных органов внутри биологической особи, или даже моделью продуктивности разработки программного обеспечения. Но самое замечательное, что «модели семьи» не нужна даже семья:

... демографов не интересуют факты из жизни той или иной отдельной семьи или даже факт ее конкретного существования сам по себе. Объекты исследования в демографической статистике — совокупности, большие массы людей, семей и их пространственные объединения — поселения. В поле зрения исследователей семьи факты из жизни отдельных семей попадают лишь постольку, поскольку из них складываются совокупные результаты, массовые процессы в населении.

Заниматься поиском фундаментальных законов? — упаси бог! Довольно голой, поверхностной, абстрактной эмпирии (следует длинный перечень «факторов» — и общий вывод:

Именно названные факторы, а не социально-экономические условия как таковые, определяют результаты репродуктивного поведения на уровне конкретной семьи.

Чтобы сразить наповал — цитата из раннего Маркса [3, 27–28] о том, что семья

должна тогда рассматриваться и изучаться согласно существующим эмпирическим данным, а не согласно «понятию семьи»...

Чем всегда славились идеологи капитализма — так это виртуозным умением подловить противника на ошибке, выхватить и выпить самое кривое, сыграть на слабостях. Но кто как не Елизаров подменяет семью ее абстрактным понятием — сводит семейную жизнь к деторождению? Под это понятие он прогибает любые эмпирические данные — не говоря уже об общих соображениях: «демографическая информация» делится на «существенную» и «несущественную»; никаких пояснений, почему, например, продолжительность брака имеет вес, а «антропологические данные» идут в утиль — чисто авторитарное решение. Хотя, по жизни, демография очень даже зависит от антропологии (про сексуальность некоторых народов ходят анекдоты); чисто интуитивно, продуктивность в семье импотента (или кастрата) заведомо ниже, чем в семье здорового бугая, — а это как раз те самые, «несущественные» признаки! Вот и вся высокая наука.

О том, что статистические данные в экономике и социологии не отличаются согласованностью и надежностью — говорено многими и не раз. Елизаров это признает и сокрушается, что моделирование «может пока носить только гипотетический характер». Собственно так работают и признанные авторитеты (включая нобелевских лауреатов) западной «эконометрии»²: набросать десяток формул повнушительнее (чтобы и производные там, и интегралы...), с кучей подгоночных параметров, — а потом рисовать графики разной замысловатости, с пояснением, что это лишь качественная картина — а в точности все мы будем знать, когда заставим всех жить по нашим правилам, чтобы удобнее было измерять. Примеры того, что Елизаров позаимствовал — сплошь в духе «регрессионного анализа»; это страшное ругательство означает лишь представление любых реальных зависимостей типовыми конструктами (чаще всего, произведение усмоктенных «факторов» в каких-то степенях) и подгонку коэффициентов и степеней под фонарные критерии «оптимальности». То есть, о действительном изучении чего-то и речи нет, и вопрос «почему?» отметается как демагогический.

² Про «экономику», а тем более «политическую экономию», там настоятельно требуют забыть — давайте просто играть числами!

Но у русских собственная гордость! — и Елизаров изобретает (от личного фонаря) «структурный коэффициент детности», выражаемый формулой странного вида:

$$\text{СКД}(i, t) = \left(\sum_{k=1}^4 kX_k(i, t) + 6 \left(1 - \sum_{k=1}^4 X_k(i, t) \right) \right) / 100,$$

где X_k — «доля новорожденных очередности k ». Очень содержательное рассуждение о возможности замены шестерки на семерку — не меняет общей странности... Понятно, что если что-то вычислить — с этим можно баловаться до бесконечности (вспомним про крыловскую мартышку с очками). Но где за этим реальные отношения людей? Нет их, абсолютный ноль.

Вероятно, такие абстрактные конструкции тоже возможно считать моделью чего-нибудь — но эта наука больше напоминает астрологию, нумерологию, и тому подобное шарлатанство. Конечно, на безрыбье хоть что-нибудь. Психологи давно используют «факторный анализ» по ответам на столь же фонарные опросники (типа теста Кэтелла) — и практики намастрячились угадывать явно болезненные комбинации. Возможно, и елизаровские веселые картинки на что-либо сгодились бы. Но, как показывает опыт, эконометрические и социометрические модели живут недолго: пока общество эволюционирует относительно спокойно, абстрактно посчитанные «факторы» и «коэффициенты» сохраняются — и дают повод для чересчур оптимистичных обобщений. Но в 1980-х и 1990-х в мире произошли радикальные перемены, уничтожившие не только социализм, но и выводящие из равновесия экономику развитого капитализма; при сохранении прежней, рыночной основы, характер отношений между людьми изменился — и прежние «модели семьи» годятся только на свалку, или в идеологическую кунсткамеру. Никаких перспектив у таких исследований семьи вообще нет.

* * *

Учение Паскаля (и прочих янсенистов) о том, что верить в бога следует даже без надежды получить гарантированное место в раю, — переходный этап духовного развития сразу в двух направлениях. Прежде всего, независимость божественной благодати от наших деяний ставит под вопрос саму идею: зачем нам то, что не может стать мотивом

деятельности, — и что, следовательно, невозможно представить себе, а значит, и желать? Последовательный янсенизм отстраняет небеса от земных дел — переносит фокус на человеческую деятельность, дает практические ориентиры. Здесь и продолжение гностических ересей средневековья, выводящих бога за пределы постижимого мира и сам этом мир приписывающих замыслу некоего, далеко не божественного творца, — так что и творение далеко от совершенства, и не грех его подправить нашей волей, подвести под человеческие идеалы. Даже умирая, мы не выходим из сферы человеческих представлений, за рамки истории. Ничего кроме земной жизни человеку не светит — а с ней мы умеем разбираться лучше любых богов. Тем самым утверждается фундаментальный принцип: нет иного духа, кроме человеческого, невозможно любить никого, кроме людей. Это не атеизм — как противоположность религии и, следовательно, тоже религия; это отсутствие идеи религиозности, неуместность постановки вопроса о недоступном человеческому разумению — и границах творчества.

Но есть и другая сторона. Бескорыстная вера — подрывает устои классового общества, отменяет корысть как таковую, отказывая ей в божественности. По жизни, нам не дают видеть в другом просто человека, разумное существо; нам вынуждают относиться к людям по-животному, как к объекту: это лишь нечто полезное или вредное, что надо присвоить — или преодолевать. Соответственно, и других мы всегда подозреваем в недобрых намерениях, и всякая радость для нас — лишь отсутствие бед. Чтобы не оскотиниться вконец, человек изобретает абстракцию невозможного бога — который принципиально неспособен вмешаться в наши дела, и потому заслуживает совершенно искренней любви. Это религия наизнанку, пощечина иезуитскому корыстолюбию. Это своего рода тренинг, культивирование умения любить другого за то, что он есть — и уже этим (и только этим) необходим нам. Остается только выкинуть из жизни ее надменных хозяев — и переименовать бога в человека, быть вместе с людьми, а не против них.

* * *

Жерар Ленорман пел о счастье: *Les jours heureux, La ballade des gens heureux, Heureux qui communique...* Как будто пытался приворожить, убедить себя в собственной счастливости. Но абстракциями счастлив не будешь: сколько ни говори «халва» — во рту сладче не станет. Слишком

беззубое счастье — как старикан, одной ногой в могиле. Безмятежность чужда разуму, погруженному в мир, полный проблем. Где иной раз подло быть счастливым — и надо долго делать счастье, прежде чем насладиться им. Но делать не себе — любимым.

А что вместо? Всего лишь *vivre à deux* — мещанский рай, противопоставленный остальному человечеству. Почему не *à trois*, или *à dix*? Варианты все той же семейственности. По жизни, счастье там, где и не жить дано вдвоем — и нельзя иначе. Только тот кто умирает вместе с любимыми, остается жить в любви навсегда.

Конечно, хорошо бы всем вместе жить, и любить друг друга. Это христианское примиренчество. Смерть любви в планетарном масштабе. Вероятно, когда-нибудь и в самом деле можно будет принимать каждого как есть, видеть в нем всех без исключения. Но тогда не станет и личного счастья, и жизни вдвоем, — и само различие жизни и смерти забудется, растворится в более разумных трудах.

* * *

А. Лоуэн, *Предательство тела*:

Тело попадает в услужение образу и становится инструментом воли. Человек отчуждается от реальности собственного тела. Отчужденные индивидуумы создают отчужденное общество.

Еще один великолепный образчик буржуазной пропаганды! Классовое сознание в супер-концентрированном виде: одна капля убивает разум.

Все на ушах: при такой постановке вопроса причины отчуждения остаются за бортом — и «образ» выглядит мистической силой, вне всякой реальности: он влияет на абстрактного человека оттуда, из потусторонних бездн, бесконечно далеких от реальности.

На деле все наоборот: общественно-экономическое устройство, основанное на всеобщем разделении труда, порождает всеобщую отчужденность, вплоть до отчужденного отношения к себе (первый пример — продажа рабочей силы, отчуждение себя от себя). Человеку приходится следовать законам классового общества; но отнюдь это не его воля — это воля господствующего класса, система подавления воли масс, принуждения, порабощения, превращения в «говорящие орудия». Такое общество воспитывает в людях не человеческую, а рабскую психологию, не ментальность, а инструментальность. Раб не

принадлежит себе — им распоряжаются хозяева. Нет у него «собственного» тела — отсюда и отчужденное, и небрежное, и враждебное отношение к этому куску мяса. Точно так же раб относится и к своему неорганическому телу (к условиям и орудиям труда): ему плевать на культурность, он представляет антикультуру. Низы не осознают этой ущербности; верхи ее остро чувствуют — и боятся.

Всевозможные «образы» (культурные предписания, стереотипы, законы и догмы, и т. д.) — продукт классовой экономики; они намеренно воспроизводятся в обществе, для этого имеются особые общественные институты. Борцы за свободу — следуют той же логике: сбиваются в партии — и не освобождают человека от догм, а лишь заменяют одну догму другой. Здесь корни разочарованной аполитичности, которую бесполезно убеждать — и работают лишь эффектные рекламные трюки, рассчитанные на тупые тела. А потом надоедает и суета.

Классовый человек в услужении не у «образа», а у другого человека. Стоит ему сбросить ярмо в каких-то отношениях — безразличие тут же испаряется, и просыпается интерес к телам — но не «собственным», а тем, которые нужны для дела, которые способны представлять свободу личности, становиться ее действительной (и действующей!) плотью. Сведение этого порыва к органике — попытка укротить бунтарей, подсунуть им что-то одно вместо необъятности мира и разнообразия культурных реалий. Собственническая психология: вот вам ваше — и не трогайте чужого. У разума нет ничего чужого, и ему не нужно никакой собственности. Поле деятельности человека разумного — мир целиком.

Классовое воспитание — диктат верхов, господство «старших» над «младшими» (по должности, а не по возрасту); классовая школа — это школа рабства. Та же система и в семье: родителями положено играть роль родителей, дети обязаны слушаться и терпеть. Когда мы играем в игры по намеренно принятым правилам — это уже ограничение и угроза для ослабленной внешними воздействиями психики; если же правила приходят извне и не подлежат критике — это гарантированный невроз. Однако свихнувшееся на рынке общество признает только такую нормальность — и считает психически больными тех, кто не желает (или не способен) подчиниться — у кого мозги недостаточно промыты, и в них копится невыгодная власть предержащим идеологическая «грязь». Технология превращения мнимых больных в законченных психов — жесткие поведенческие рамки, смирительная рубашка, психотропные вливания. Не только в буквальном смысле: посадить на иглу можно и

экономически, и психологически, и методами косвенного убеждения (морального насилия) — и, конечно же, средствами искусства, науки, классовой педагогики.

* * *

Jaques Prévert, *Au grand jamais* :

Tout ça n'existe pas
je veux que tu m'aimes
et que tu n'aimes que moi
mais je veux que les autres t'aiment
et que tu te refuses à elles
à cause de moi

Быть любимым — значит, любить. Хочеть любви — значит, дарить любовь. Но хотеть, чтобы другие любили, — это вершина любви, глубокая убежденность в своей неповторимости, незаменимости, невозможности заменить одну любовь другой. В этом и состоит отказ — а вовсе не в отвержении и воздержании: ничем себя не ограничивая, оставаться верным любимому человеку, — оставаться собой до такой степени, чтобы не существовало самой идеи измен.

* * *

Когда ученые демографы изыскивают средства для управления производством органических тел — их интересуют только тела как таковые, болванки, в которые потом предстоит закатать какие-нибудь полезные начальству функции. Предполагается, что для нормального движения экономики (а при удачном стечении обстоятельств и развить что-нибудь не грех) требуется энное количество органических движков, способных задействовать наработанные тысячелетиями технологии. Логичный вопрос: а почему нельзя поступить наоборот? — и больше не почковаться под способ производства, а сознательно поменять его так, чтобы количество органики особой роли не играло? В этом случае следовало бы конструировать вовсе не демографические модели, а науку об открытиях и изобретениях — плюс технические средства для всенародного овладения этими знаниями и повсеместного внедрения любых новинок, без малейшей заботы об авторских правах и формах собственности.

Ничего подобного. Компетентные товарищи (вроде В. В. Елизарова) предлагают стимулировать рождаемость,

активизировать механизм демографической пропаганды, рекламы (в буквальном смысле слова) образа жизни трехдетной семьи и ее реальных преимуществ перед одно-, двухдетными семьями.

Привить населению неудержимую потребность размножаться во имя каких-нибудь вышестоящих интересов.

Тут у нормального человека возникают вопросы по существу. Когда автор заявляет, что «дети — объекты, удовлетворяющие, как и другие объекты, потребности человеческой личности», без альтернативной обойтись трудно: до каких же пор (тудыть вас растудыть!) мы будем относиться к людям как объектам?! Когда кого-то со страшной силой тянет произвести кусок живого мяса (испытав при этом широкую гамму приятных и неприятных ощущений), это, извините, не человеческая потребность, а животная импульсивность, неспособность трудиться культурно, сообща. А если ребенок не хочет рождаться? — неплохо бы поинтересоваться мнением. Какого, пардон, хрена мы себя величаем личностью — а ребенку в этом безоговорочно отказываем?

То есть, человеку как разумному существу приличнее производить не мясные полуфабрикаты, а новую личность, — что не только не требует репродуктивных телодвижений, но местами даже полезнее вовсе обойтись без них.

С другой стороны, если обществу для чего-то нужны особи определенного биологического вида — так почему не производить их индустриально, не спихивая дело на недостаточно грамотных и не всегда социально ответственных кустарей? Тело производит не семья — это результат инкубации оплодотворенной яйцеклетки, что в кустарных условиях требует полового акта и антигуманной пытки женщин муками беременности и родов. Уже сегодня оплодотворение вполне возможно на конвейере, и никакие семьи для этого не нужны. Инкубация вне биологического тела пока под вопросом — но больше по причине формальных запретов, нежели технической неосуществимости; опять же, никто не мешает считать суррогатное материнство одной из многих специальностей — и если у кого-то имеется к тому призвание, пусть трудятся в специально обустроенных заведениях, с использованием новейших технологий, — опять же, при чем здесь семья?

Нет, конечно, кто-то увлеченно копается в огороде, держит на даче поросенка, и куры по двору бегают... Но, положа руку на сердце,

общественная ценность таких подсобных хозяйств равна нулю (и даже немножко меньше): основная масса пользуется продуктами крупной индустрии — и только этим большевики вытянули из грязной дыры экономику послереволюционной России. Продвижением передовых агротехнологий. Так что зазорного в индустриализации разведения других зверушек? Получается, что нужна не демографическая политика, а демографическая инженерия, промышленная демография как отрасль народного хозяйства. Тогда можно строить и планы, и прогнозы.

Заметим, что речь вовсе не о детях — а только о телах. Как именно их использовать — другой вопрос. В частности, можно приспособить к обслуживанию участия той или иной личности в материальном и духовном производстве, в творческом общении. Тогда потребуется еще одно производство — социализация органических тел, оснащение их неорганическими компонентами, необходимыми для участия в самых разных деятельностиах — и чем универсальнее, тем ближе к разуму. Возможно, потом найдутся и другие применения — не будем фантазировать. Но и для социализации семья — слишком примитивный инструмент, хотя, конечно, и здесь имеется какой-то простор для народных промыслов.

Спрашивается, зачем нормальному свободному человеку какая-то потребность в детях? У него что, других дел нет? Возможно, кому-то оно интересно — на здоровье. Остальные будут заниматься тем, что им ближе, — и не надо им никакой пропаганды и рекламы: они действуют как разумные существа, а не бегают от кнута пастыря или за блескучими фантиками.

В качестве побочного навара, приятно хотя бы, что, по-елизаровски, «дети не являются естественно-биологической потребностью». А то уже достали сопливые вздохи в советской и антисоветской литературе по поводу «настоящих женщин», которые без этого никуда. А заодно и про настоящих мужиков, которым по рангу положено сына родить (и убить тысячи чужих сынов). Вторая вишенка — необходимость воспитания потребностей, их принципиально человеческое происхождение, — даже там, где, казалось бы дело идет о поддержании жизнеспособности биологического тела, о чистой физиологии. Конечно, воспитание понято в классовом духе, как навязывание сверху, диктат государственных (классовых) интересов. Однако этого достаточно, чтобы осознать возможность и настоящего, по-человечески общественного воспитания там, где никто ни у кого на шее не сидит.

Совсем пальцем в небо — про «реальные преимущества». Сам же расписывает, как дитя вводит в «прямые экономические затраты» и наносит «косвенный ущерб», как оно требует лишних трудов, гробит время, не дает культурно расти, и «даже отрицательно действуют на состояние здоровья и продолжительность жизни родителей!» Короче, «выращивание детей — предприятие убыточное». Безусловно, истинного любителя это не остановит: например, домашняя еда обходится существенно дороже магазинной; но если кому-то нравится кулинарный процесс — почему не потратиться, не побаловать себя любимого? Насчет вкуса и пользы — бабушка надвое сказала; но в качестве хобби — почему бы и нет?

Тут, правда начинается групповое изнасилование логики — под предводительством некоего Ф. Энгельса, мастера опошлять (пардон, популяризировать) разумное содержание марксизма:

Современные расчеты показывают, что каждый «средний» новорожденный «выгоден» обществу.

Расчеты сводятся к тому, что вычитание бытовых затрат из стоимости произведенного за всю жизнь полезного продукта дает положительное сальдо — и в больших масштабах прибыль весомая. Ранний Энгельс точнечонько в строку [1, 265]:

... каждый взрослый человек может произвести больше, чем он сам потребляет, — факт, без которого человечество не могло бы размножаться, более того, не могло бы даже существовать; иначе чем жило бы подрастающее поколение?

Сразу же нездоровый душок: почему, собственно, мы должны вечно работать на кого-то, произрастающего на наших костях? Все произведенное можно было бы потратить и на себя — обеспечив себе жизнь вечную... Тогда и размножаться незачем — достаточно уже размноженного. На самом же деле, пропаганда трат на подрастающее поколение — фиговый листок поверх более серьезного (и далеко не столь приличного), классового интереса: если человек производит больше, чем ему самому требуется, — «излишек» можно отнять и поделить; в марксизме это называется эксплуатацией — а растущие аппетиты эксплуататоров напрямую требуют по максимуму урезать якобы теоретически обоснованный уровень достаточности, так что работяге не остается даже пояса для продевывания новых дырочек; его мнением, естественно, никто не интересуется — а к дележу прибавочной стоимости его не подпускают, там свои профессионалы... Оказывается,

что интересы «подрастающего поколения» представляет правящий класс, который точно знает, сколько требуется населения, чтобы не уменьшать норму прибыли. Энгельс, сам того не замечая, оказывается в рядах критикуемых им мальтузианцев.

Но Елизарову такая постановка вопроса по сердцу — и он кусочками цитирует и последующее рассуждение [1, 266]:

Но если это факт, что всякий взрослый человек производит больше, чем может сам потребить, что дети подобны деревьям, с избытком возвращающим произведенные на них расходы, — а ведь это все факты, — то надо полагать, что каждый рабочий должен был бы иметь возможность производить значительно больше того, что ему требуется, и потому общество должно было бы охотно снабжать его всем необходимым; надо было бы полагать, что большая семья должна быть для общества весьма желанным подарком.

Оставим пока в стороне логическую нелепость увязывания организации труда (в любой отрасли) с семейственностью. Но пардоньте! — в классовом обществе (включая социалистическое) интересы общества не совпадают с интересами его членов; более того, между ними (по словам Елизарова) «налицо противоречие». Спрашивается: почему выгода для общества должна возбуждать детородную потребность в отдельных репродуктивных единицах? Чего ради я буду делать обществу дорогие подарки? Если мне оно по факту не требуется (и даже вредно) — никакой силой не сделать меня фанатом демографии; конечно, государство вправе (поскольку оно распоряжается правом) заставить меня плодиться и размножаться — но это, по логике, не следовало бы называть потребностью. И не надо нам неприлично голой эмпирии:

... как мы знаем, редкая семья остается бездетной, а многие имеют большое количество детей и видят в этом смысл жизни.

Потому что мы также знаем, какими методами людей принуждают не только поступать по указке сверху — но и считать это пределом своих мечтаний. Если мы делаем так, чтобы часы показывали время, а ракеты летали в космос, — это вовсе не потому, что у них есть на то потребность или глубокое внутреннее убеждение; общество в лице государства (то есть, не все целиком, а только господствующий класс) делает людей всего лишь винтиками экономического механизма, использует их как живые и неживые вещи.

Опять же, по логике, раз обществу что-то надо — пусть общество об этом и позаботится; производство детей в таком случае следовало бы перевести на индустриальные рельсы, и покончить с деторождением в

кругу семьи. Не нужна ни трехдетная, ни многодетная семья — нужны заводы и фермы по выращиванию нового поколения. Любителям повозиться с детишками — пожалуйте в трудовой коллектив! Хочется творить кустарно — только в согласии с общественными ориентирами. Потому что здесь вопрос о воплощении духа (то есть, установлении вполне определенных общественных отношений) — и не всякие тела для этого сгодятся.

Уничтожение классов устраниет и противоположность личности обществу, и вместо конфликта интересов — единство. Если человек сличает разумным принять участие в каких-либо демографических проектах — это вовсе не потому, что того требуют интересы экономики или его внутренние репродуктивные позывы: человек свободен и от внешнего принуждения, и от рецидивов животности. Соответственно, общественный характер производства делает новых членов общества не отприсками конкретных персон — а всеобщим продуктом, такими же людьми, как и все остальные; это накладывает отпечаток на характер социализации, делает ребенка обычным членом общества — и снимает различие между поколениями как таковое. Елизаров справедливо указывает, что «потребность в детях» — лишь пережиток отмирающего способа производства, когда дети становятся либо «домашней рабочей силой и источником доходов» — либо «источником материального обеспечения в старости и в случае утраты трудоспособности». Уберите рынок, дайте всем равный доступ к общественному достоянию — и не играет ни малейшей роли, с какими именно телами будут связывать личность на каждом историческом этапе.

* * *

Французский философ Азаис считал, что все люди имеют одинаковое право на счастье (которое, впрочем, для него остается всего лишь удовлетворением потребностей). Но для этого люди должны были бы и рождаться равными — как в телесном, так и в общественном плане. Однако при таком равенстве — зачем бы люди нуждались друг в друге? Более того, они даже не смогли бы друг друга различать — и не было бы ни юности, ни старости, ни взаимоотношений полов! А человек изначально создан (неким высшим существом) для жизни в обществе, и должен поддерживать существование человеческого рода; поэтому прирожденное неравенство неизбежно и необходимо: без него нет

никакого общества — и остается только компенсировать его разного рода справедливостями...

В общем-то верный ход мысли — но буржуазная ограниченность мешает сделать следующий, решительный шаг и задаться вопросом: кому и зачем нужно, чтоб люди нуждались друг в друге? — зачем нужно одних отличать от других? Может быть, счастье в том и состоит, чтобы вообще не задумываться о таких материях — не сравнивать себя ни с кем, и потому оставаться единственным и неповторимым?

Догадка о распространении идеи равенства на возраст и пол — это настолько революционно, что никому после Азаиса в голову так и не пришло (две сотни лет!); за одно это не жалко отдать улицу в Париже (хотя бы и совсем крохотную, без единого дома). К сожалению, и ему оно открылось только в отрицательном смысле: дескать, нехорошая это логика... Но что плохого? Пусть люди будут просто людьми — и каждый по-своему участвует в общественном труде. Какая разница, сколько лет куску органики? — мы все частицы вечности! — и мы делаем эту вечность. Что же касается пола — тут вообще все относительно; но бонапартист Азаис, конечно, замученного маркиза не одобрял.

Нет уж! если по логике — так давайте до упора: не надо выдумывать «природное» уродство, чтобы потом его изо всех сил компенсировать; выпрямлять искривленное — лишний труд: проще сразу сделать прямо. Изобретение культурных волн (позже разрекламированных Чижевским) вполне годится в качестве (буржуазно-)социологической теории; но такая эмпирия — преувеличение значимости известного на данный момент, уступка природе и отказ от разума (задача которого как раз в том, чтобы не возводить случайность в закон — а произвольно менять и отменять законы).

* * *

Мирандола, *Комментарий к «Канцоне о любви»*:

... это не что иное как желание насладиться и обладать красотой другого, из чего следует вывод, что любовь бога к своим творениям, а также то, что мы называем дружбой, и многое другое отличны от любви, о которой мы ведем речь, и совсем к ней не относятся...

Другая логика: богу не нужен мир (ни этот, ни тот) — значит, бога нет. Конечно, «насладиться и обладать» — дикий менталитет собственника.

Только для таких дикарей на первый план выходят внешние различия, заслоняют собой любовь — и тогда она выглядит «многим другим».

… поскольку любовь к чему-то означает желание обладать красотой другого и так как у бога нет желания владеть чем-либо, находящимся вне его, ибо он является совершеннейшим во всем и ни в чем не нуждается, то для него слово «любовь» было бы самым неподходящим. То, что бог испытывает к творениям, порождается совершенно иной причиной. У любящего есть потребность к любимой вещи, и он получает от нее свое совершенство, в божественной же любви любимый имеет потребность в том, кто любил бы, а тот, кто любит, дает, но не получает.

Идеология Возрождения — причудливая смесь ереси и маразма. Бог выведен за рамки рынка — смелость раннего буржуа: земные делишки мы будем обделять сами, и никакие боги для этого не нужны. Более того, бог, оказывается, не может быть собственником (не имеет к этому ни малейшей склонности) — и мир (который «вне его»!) ему не принадлежит: все богово имущество — его внутренние дела, людям непостижимые, — но нам до них и дела нет. Если бы мир был в боже — это можно было бы (с некоторой долей условности) считать обладанием, и любовь такому богу была бы не чужда…

Но бог никого не любит — просто не умеет. Обделенный любовью, он остро нуждается в утешении. Земные любовники получают друг от друга свое совершенство — а бога совершенствовать некому. Вот он и скучит с небес: люди! ну полюбите меня — хоть капельку! А они ему: пошел ты… — у нас тут биржа, и фрахт, и концессии… — не путайся под ногами. Бог обижается, пытается принудить к любви через свою агентуру, — но и церковники больше думают о выгодном вложении капитала, нежели о божьей душе. Опять же: насильно мил не будешь.

Тогда бог звереет:

— Ах так! Ладно, пусть и вы будете мне подобны и потеряете пламя любви, и будете умолять рабов ваших простить вас и утешить.

И стало так. Буржуа считает женщину вещью, секс-имуществом, рабыней и наложницей; ей положено ублажать благоверного и собой заниматься лишь ради его наслаждения обладанием: его товар таки не хуже конкурентов! Но в душе пустота — и никакие рыночные ценности не сравняться с совершенствами той, кого он третирует как последнюю шавку, отгоняет, как назойливое насекомое. Что же получается? Вроде бы успешный деляга — не может купить то, что в избытке у безотрадной нищеты, и чем она иногда делится с кем-то лишь потому, что

невозможно не поделиться любовью. Почтенные обыватели торопятся обзавестись, утешительницами и музами, кому сколько достанется; песнями и дарами пытаются задобрить, умаслить, приручить... Купеческую любовь объяляют божественной — смутно подозревая в любви нечто выше себя, вне рыночного мира — то есть, по рыночным понятиям, вне мира вообще.

Приукрашивать действительность — занятие недешевое. Конечно, красивую вещь можно купить; но красоту — купить нельзя. Странным образом, спрятанное в сейфе тускнеет и теряет притягательность; только открывая себя всему миру оно становится прекрасным — для тех, кто не спрашивает о цене. Так же и любовь: она для меня только там, где она для других, — и дарить я могу лишь то, что мне не принадлежит.

* * *

Современное богословие (Мария Катерина Якобелли): если народ туп и не понимает ничего кроме мата — проповеднику положено материаться в церкви — для большей доходчивости... Всякого рода скабрезности — путь к богу: сексуальное желание может стать элементом религии, ибо «оно есть нечто сакральное и предоставляет прекрасную возможность понять бесконечного бога».

Кто и зачем держит народ в тупости — о том пока умолчим. Существенна здесь все та же направленность мысли: от природного к божественному. Минуя человеческое. Бездуховность, убожество — верная дорога в рай («ибо их есть царствие небесное»). Зато любая попытка освободиться от животности и послать подальше богов — от дьявола, и карать за это будут по всей строгости.

Объявляя физиологию «сакральной», церковь с порога отмечает допустимость разумного воздействия на природные тела в интересах человека, для строительства по-человечески благоустроенного мира. Не положено рабам (конечно же, «божьим»!) наслаждаться жизнью: тела обречены на муки по божьему замыслу — чтобы хотелось на тот свет, чтобы пошлые поповские сказочки обозначили предел мечтаний. Поэтому и секс церковь поощряет лишь в его грязных, животных формах: как освобождение от указок сверху — это нельзя!.

В такой постановке, божественность есть лишь другое название животности — и бесконечное (без малейшего просвета) прозябание в тупой нищете вполне годится для обозначения идеи бесконечного бога.

Человеческое не «между» природой и богом — оно просто другое, ничего общего не имеющее с низменным скотством и мистическими вывихами. Разумный человек не придает особого значения ни одной из телесных форм — для него все они лишь орудия труда, внешние условия для деятельности: не будет чего-то — изыщем возможность сделать иначе, из другой материи. Поэтому и человеческие идеи — не догма, а руководство к действию, и мы сами решаем, чем руководиться на следующем этапе; никакие начальники (земные или небесные) человеку не нужны.

Путь к человеку — через окультуривание природы; напротив, ее обожествление — барьер на пути к себе. Уход от грубости, хамства, пошлости — непременное условие обретения свободы. Все это путы и шоры, которые правящие круги впаривают массам ради удержания их в слепом повиновении; богословские (и философские) оправдания — в расчете на дикарей. Но дермо в любом фантике остается дермом, и одна ему дорога — в канализацию, в процессы глубокой переработки — после чего на выходе таки будет телесная и духовная чистота.

* * *

Ларошфуко, 49 :

On n'est jamais si heureux ni si malheureux qu'on s'imagine.

Счастье и несчастье нельзя придумать — счастливым или несчастливым надо просто быть. Едва человек начинает что-то себе воображать — он забывает о себе и переселяется в мир фантазий, которые, конечно же, гораздо убедительнее незаметной действительности.

* * *

Ламетри, *Трактат о душе*:

Любовь и ненависть — две страсти, от которых зависят все остальные.

Идеи, не возбуждающие ни радости, ни печали, называются безразличными, как, например, представление о воздухе, камне, круге, доме и т. п. Но, за исключением подобных представлений, все остальные связаны с любовью или ненавистью, и в человеке все дышит страстью.

Заблуждение — противопоставлять любовь чему угодно (обычно — ненависти). Старинный предрассудок классового мышления: борьба

противоположностей. А любовь для того и нужна, чтобы снимать противоположность — она вне всех противопоставлений.

Даже в неживой природе «диалектика» противоположностей — самое грубое приближение, выпячивание нашего отношения к предмету вместо постижения предмета во всей его многогранности. Например, физика: притяжение и отталкивание — частные случаи взаимодействия, и взаимодействие представляется нам таким лишь в особых условиях.

Еще одно («метафизическое») заблуждение — деление идей на абстрактные («безразличные») и «страстные». Противопоставление внешнего (отчужденного) и внутреннего (личного). Тогда как в любви мы страстно относимся к внешнему и порой забываем о себе.

Всякая идея предполагает страсть; иначе она просто не нужна. Но страсть вовсе не обязательно выставлять напоказ: она бывает скрыта за кажущейся отчужденностью. Это может быть и намерением, игрой, маской; но чаще — следование идеи любви, избегание грубых различий, броских красок и навязчивых форм. Точно так же, ненависть — маска любви, способ продолжить мир вопреки его неразумности.

* * *

Иоганн Гейлер фон Кайзерсберг в конце XV века проповедует:

... распутство противно природе, а также запрещено естественным законом: чего не хочешь, чтобы делали тебе, не делай и другому. А ведь никто не хочет, чтобы с его женой развратничали... Воровством похищают у ближнего его добро и деньги, а прелюбодеянием — его благочестивую жену.

Забавное допущение о возможности сорвать благочестивых (в чем тогда состоит благочестие?) — это лишь попутная пикантность. Жена как имущество — тоже в порядке вещей (то есть, далеко от разума). Что в средние века предоставление жен (а также прочих особ женского пола) гостям в качестве гостеприимного жеста есть старинная традиция — проповедник забывает. Но самое интересное в другом: пресловутый категорический императив объявлен природным законом — и к человеческой этике он не имеет, оказывается, никакого отношения! Здесь поп идет против других попов, выдвигающих тот же принцип как библейскую заповедь, завет свыше — предназначенный усмирять дикую плоть, а вовсе не следовать ее позывам. И у Платона, и у Канта — этика выведена за рамки этого мира; именно отсюда старая традиция выводит

главенство духа над плотью. А тут открытым текстом: не нужно нам никакого духа — следуйте велениям естества, и все будет тип-топ!

Конечно, это жульничество и насилие над логикой: сначала мы наделяем природу качествами, которые нам хотелось бы усмотреть в людях — а после подаем общественные установления как зов плоти. Рафинированный вариант того же самого — аксиоматический метод современной математики: предмету математической теории изначально приписывают именно те свойства, которые собираются потом выставить как строго доказанные (и совершенно неоспоримые); переливание из одной тавтологии в другую — душа академической науки, но реальная наука, по счастью, не сводится к подведению результатов под догмат.

В том же XV веке (и еще несколько столетий после) церковь (за исключением слишком уж радикальных течений) противилась запрету борделей, шинков и балаганов — мотивируя это тем, что плотские утехи в природе человека, и дать им выход в общественно (и церковно) контролируемых формах полезнее, чем пустить дело на самотек и потом разгребать крамолу и усмирять бунтовщиков. Опять же, и доход от специальных служб — подспорье для духовных особ (деньги не грешат!) и оправдание их прямого участия в карнавальных выходках: а что? — поп тоже слаб и суетен, но у него блатняк на небесах, и заступники всегда найдутся, если мирские похождения не бьют по карману земные власти (включая церковные).

Метод выдавливания из человека всего человеческого одинаков во всех религиях: сначала мы сводим сознательную деятельность к ее внешним (вещным) проявлениям (в частности, к телодвижениям) — потом (совершенно резонно) указываем на природность полученной подмены — и для усмирения стихий предлагаем превратить их в ритуалы, «духовные» практики под пристальным наблюдением опытных наставников. То, что при этом остается от природы, объявляем изначально духовным — и тогда (официально допустимая) духовность человека легко выводится из этих «элементарных» идей (в форме культа, морали, права или еще чего-нибудь). Гейлер походя выбалтывает всю эту механику — но кто же поймет? Даже открытым текстом:

Ибо есть некоторые, кто общается со своей женой как неразумные животные друг с другом. А именно, если им захотелось что сделать со своей женой, они сразу и делают это, как если бы утоляли сою похоть и непристойность с другой. Это едва ли не больше, чем прелюбодеяние.

Граждане-человеки! Вы же таки не совсем животные — так будьте добры ориентироваться не на законы природы (типа категорического императива), и не на закон божий (благочестивая маска, разврат по правилам); нет, вспомните о том, что люди не просто трахаются (во всех смыслах) или пожирают друг друга, а по-человечески общаются. Нет у вас с женой такого общения — это хуже прелюбодеяния (так пусть будет хотя бы прелюбодеяние, чем вообще без любви).

Sapienti sat. То есть, не только о сексе и моральном разложении; не только о мужьях, женах и прочих соучастниках. Но и о некоторых деятелях искусства, науки или философии, коих партийные склоки загоняют в пасть эмпирионатурализма, человеконенавистничества.

* * *

Г. Я. Стрельцова, *Судьба любви сегодня* (1990).

Пошлость сама по себе — уже нехорошо, и на руку сколь угодно мерзкой реакции. Воинствующая пошлость — это уже клиника: значит, общество совсем не в себе, и не факт, что когда-либо вылечится...

Словесные красавицы о величии и фундаментальности любви, которую выдвигают на роль основы всякой нравственности, можно было бы в конце концов проглотить (нет здоровой еды — питаемся чем попало); но когда все в русле махрового диссидентства, с прицелом на развал уже агонизирующей страны, — это подлая этика, и называть подлость любовью — кощунство.

Типичные сентенции эмпирионатурализма: человек — природное существо; человеческие чувства от условных рефлексов не отличить; любовь — всего лишь гарнir к сексу; секс — только для размножения; размножаться положено в браке...

Персональная фишка — неодолимая ненависть к разуму, который тоже надо опошлить, свести к неприлично голому рационализму, тупой рассудочности:

Иные рассудочные люди так просчитывают любовь, что от нее ничего не остается.

Оно и понятно: если вы записали человека в зоопарк, ничего кроме животного интеллекта от него ожидать не приходится. Но что должно таки оставаться? Интеллект — это плохо (потому что своего не хватает, а искусственный еще не изобрели). Зато примитивная реактивность

безмозглых тварей — для фундаментальности в самый раз. Разумеется, под соусом мистики, непостижимости и абсолютной бесконтрольности:

прелесть чувств в их спонтанности, непроизвольности, раскованности, загадочности...

Мы не круглые идиоты! — мы загадочные!

Лозунг неразумности любви — противопоставляет ее разуму, клеймит «прямоугольную логику»; но вместо того, чтобы предложить иную, более разумную (не ограниченную никакими геометриями) логику — предлагается вообще от логики отказаться и раскованно болтаться в житейских случайностях, как щепка (или кое-что погрубее) в проруби. Романтика! Дикость.

... вместо того, чтобы довериться природе, разум стремится все подвергать своей «цензуре»...

Ай, как не стыдно обижать зверушек! Пусть они писают в тапочки — они же такие доверчивые...

Тут как раз и Паскаль подоспел: любовь, дескать, — особый порядок бытия, несводимый к разуму. Зачем вообще нужно кого-то куда-то сводить — нас не просветили; по любому, формальные подстановки — это не разум, и этим вполне способны заниматься простые механические устройства. Разговоры о «мудрости природы» — вообще от фонаря: идея мудрости приложима только к разумным существам, а у неразумных нет ничего кроме дикости.

Если же мы посадим наши фантазии нам на шею в качестве самосущих идей (или богов) — мы тем самым как бы делегируем им то, до чего пока не дорошли. С одной стороны, это жульничество, попытка спихнуть с себя ответственность; другая сторона — признание необходимости расти, становиться разумными — даже из под палки. Пока мы дикари, любовь не только «нас выбирает» — но еще и погоняет, тащит на буксире, колет шилом в зад. Как еще расшевелить тупую природу, иных мер воздействия не признающую?

Финал всему — физиологический маразм: оказывается, что у женщин любовь — это «стремление стать матерью»!!! Крольчиха — куртуазный идеал. А люди — редиски: они бесцеремонно используют куриную любовь в кулинарных надобностях — а без яиц дамочку воздушным деликатесом не соблазнить — нет-с! Впрочем, по зрелом размышлении, и плодоносящих гуманоидов молох войны (или стихия рынка) пожирает почем зря: античные сюжеты по сравнению с этим просто невинный лепет.

Вероятно, главный вывод по поводу знакомства — о том, что круг чтения иногда портит голову. Особенно если подумать нечем. Нам доверительно сообщают, что

книги Сухомлинского — возвышенный и благородный источник по культуре любви.

То есть, одного из главных пошляков держат за образец. За компанию — «тончайший живописец души человеческой, Достоевский». Вообще-то, Достоевский главным образом живописал дикости недоразвитой России, способность уродливого общественного устройства загубить самые светлые души — так что кроме мрака в мире ничего и не остается. Мрачный сарказм великого писателя — неразумной твари ни понять, ни почувствовать. Однако вряд ли есть смысл рекомендовать к прочтению что-нибудь солнечное: в литературе и образцов-то кот наплакал — а из тех, кто на самом деле (а не для экзамена) читал Маркса, когорта исторических материалистов почти никем не приросла. Но даже заочное прикосновение — облагораживает: марксизм дарит мадам Стрельцовой чуть ли не единственную разумную мысль: ревность — порождение капитализма, пережиток рыночной конкуренции и животной борьбы за существование. При благоприятных условиях, людям таки захочется эту животность доистребить — и вернуть любовь к разуму и свободе.

* * *

Можно повторить вслед за Шамфором:

Скажи о любви любую нелепость — и она окажется правдой.

Этим уже (в отрицательной форме) выражена универсальность любви: ей до всего есть дело, и во всем она умеет усмотреть лучик разума. Но кто заставляет нас говорить о любви только нелепости?

* * *

После ужасов второй мировой человечество (в лице интеллигентов разной подпорченности) озабочилось проблемами настройки субъекта деятельности таким образом, чтобы никого не тянуло больше на массовые убийства и кулаарные истязания. Большинство идет по пути реформ, пытается изобрести такую педагогику, после которой народ тянуло бы в творчество со страшной силой — чтобы создавать, а не

уничтожать. Но есть и ультрарадикалы, которые запустили к началу 1970-х движение антипедагогики: всякое воспитание вредно! Варианты разные; психоаналитическую струю представляет г-жа Алиса Миллер. Психоанализ у нее, конечно, не по Фрейду — нечто доморощенное. Например, если Фрейд говорил о «нормальном эдиповом комплексе», присущем каждому (буржуазному) человеку и лишь в особых ситуациях переходящем в невроз, — миллеровское понимание любую эдиповщину трактует как болезненное извращение — и ничего нормального в конкуренции поколений не усматривает. С чем, в принципе, можно было бы согласиться — в контексте принципиальной извращенности рынка (по Марксу [42, 150]) и необходимости замены капитализма чем-то поприличнее. Однако на такие приключения Алиса нас не зовет — и ее протесты напоминают шумные пузыри на болоте: пусть все остается как было — но у нас свобода самовыражения!

На первый взгляд, идея вполне прогрессивная: не надо прививать ребенку взрослые представления о действительности — пусть сам разбирается с миром и находит свое место в нем. Как только ребенка начинают воспитывать — это уже предполагает одностороннюю передачу стереотипов: от педагога к воспитуемому. А ребенок, дескать, и сам может взрослых многому научить. Тут мы согласны: современные детки порой выкапывают из компьютерных сетей такое, до чего взрослая просвещенность дойти постесняется. Антипедагогика предпочитает умалчивать о конкретике: им интереснее живописать ужасы, клеймить и обличать. Например, читая длинный перечень пыток, практикуемых швейцарскими родителями в отношении детей, можно удивляться, как вообще столь варварская страна может до сих пор существовать — и даже числиться в списке самых передовых обществ планеты! Чернуха — любимое средство манипуляции общественным мнением; всякие там кафи, солженицыны, куперы и хичкоки — исподволь подводят обывателя к сознанию первородного греха, изначальной порочности человечества и невозможности что-либо изменить, что автоматически провоцирует у населения две (одинаково животные) реакции: либо тупая покорность, следование господской воле, — либо анархия, полевое поведения без капли разума. Это в точности совпадает с методами «черной педагогики» по Миллер, книги которой становятся ярким примером того, что она же пытается отрицать.

Здесь еще и профессиональное: психоанализ возник как искусство навязывания пациенту воззрений терапевта, перевод его самочувствия

на язык сексологических метафор. Аналитик упорно доказывает якобы больному, что все проблемы — от телесных неудовлетворенностей, от излишних ограничений «естества», от давления (классовой) культуры. Отсюда методы терапии: найти способ разрядки, регулярного сброса напряжения, — что на практике сводится к отключению разума, уходу (временному?) от социальной ответственности: снять боль наркотиком. Вместо того, чтобы делать человечнее общество, — убить человеческое в себе. Когда врач Миллер внушает клиенту (как минимум) критическое отношение к родителям и воспитателям (в ее терминах: *чувство гнева*), она манипулирует его сознанием ничуть не меньше, чем обвиненные во всех грехах манипуляторы детских лет: место одной доктрины занимает другая. Садистические наклонности современной медицины — наш горький опыт, и касается это не только психотерапии и психиатрии. Значит ли это, что пора ставить врачей к стенке — и потом подыхать «свободно» и «естественно»? Отнюдь. Задача лишь в том, чтобы позволить пациенту разумно относиться к предписаниям медиков: это лишь их мнения, предложения, основанные на их опыте — который может быть применим в данном конкретном случае — а может и навредить.

Вернемся к баранам. Миллер (как и прочие ниспровергатели) не дает примеров сообщений «о законах жизни», которыми дети когда-либо одаривали бы своих родителей: то есть, мы допускаем, что они могут, — но случаев из практики не знаем, и обменяться полученными от детей необыкновенностями между нами взрослыми не в состоянии. Конечно же, это еще раз свидетельствует о взрослой заскорузлости — вроде как отсутствие сигналов от инопланетян связано исключительно с нашими технологическими недоработками, а вовсе не с возможной холодностью инопланетных товарищ (которые, конечно же, есть и во всем похожи на нас!) в отношении установления внешних контактов. Единственный намек — упражнения на развитие эмпатии; что это такое и зачем она нужна, мы не знаем — но вчувствоваться таки надо, полагая, что тем самым взрослые воспринимают именно эмоции ребенка, а не то, что принято таковыми считать. В конечном итоге выясняется, что эмпатия нужна только для поддержания rapporta — которые возведен в абсолютную ценность сам по себе и ни к чему на практике не прикладывается.

Нас призывают уважать ребенка (в чем это выражается?), соблюдать его права (кто их устанавливает?), понимать его чувства и потребности

(как будто они встроены в него изначально, а не складываются по ходу общения). Для этого будьте готовы глубокомысленно наблюдать (и только?) за поведением ребенка, чтобы проникнуть в его сущность, прочувствовать собственную ущербность и оплакивать (!) свое детство, и, наконец, понять законы внутреннего мира ребенка, который, якобы, намного стройнее взрослых миров, ибо целиком держится на силе (читаем: неумеренности) и искренности (читаем: импульсивности) ощущений (то есть, чисто животных реакций, не принимающих в расчет культурные реалии). В переводе: вместо общения с ребенком как разумным существом — мы должны потакать животным позывам и опускаться ниже первобытности.

Правоверный антипедагог тут же обвинит нас в предвзятости и склонности к насилию; но давайте спросим: не ведет ли искусственная изоляция ребенка от взрослой жизни (пусть даже пропитанной звериной жестокостью) к ограниченности и неразвитости — к неспособности вести себя по человечески (то есть, в соответствии с достигнутым на данный момент уровнем культуры)? Ограничиваая опыт общения слащавым сюсюканьем, вы втискиваете ребенка в рамки определенной (и очень буржуазной) идеологии — духовно насилиете его.

Миллер говорит о воспитании как «вынужденной самообороне» взрослых. Они якобы сопротивляются детской естественности и тем самым идут против собственной природы. Что подразумевает вредность всякой культуры, ненужность разума. Кому вредно и кому не нужно? Очевидно, рабам — которых надо до последнего держать во тьме, для их же рабской пользы. Антипедагогика смыкается с черной педагогикой — это стороны одного и того же, классового насилия.

Говорить об антагонизме, об обособлении и противоположности социальных групп, возможно только в условиях классового общества, в экономике всеобщего разделения труда. Миллер не замечает, что сама постановка вопроса о конфликте поколений, сталкивающая лбами злых взрослых и ангелочек детей есть выражение классового подхода к человеческим отношениям, ложь буржуазного индивидуализма, когда каждый хорош или плох сам по себе — а эксплуатация человека человеком, встроенная в способ производства, вроде бы и ни при чем. Индивидуалистически понятому человеку не остается ничего, кроме животной борьбы за существование — вечной вражды всех со всеми.

Если же полагать, что человек не сводится к биологическим телам, что его сущность — совокупность всех общественных отношений, —

возникает другая педагогика, в которой не одни индивиды воспитывают (эксплуатируют) других (пусть даже взаимно), а общество в целом создает такие условия, в которых природные тела начинают двигаться заведомо неприродным образом, выражая (воплощая) движения духа. Таким образом, речь уже не о частных лицах, навязывающих (столь же частные) стереотипы другим, а о всеобщем процессе социализации, приобщения всех без исключения членов общества к общей для всех культуре (включая культуру творчества, развития культуры). Нет больше взрослых и детей — есть просто люди, которые учатся быть вместе и трудиться вместе. Становиться разумными — совместными усилиями. В рамках этой деятельности мы сообща воздействуем на вещи и органические тела, в которых реализуется наша духовность, наши личности. И мы воздействуем на них как на любые другие природные существа (объекты), приводим в соответствие уровню культуры, выдавливаем из них дикость, игру стихий, — делаем осмысленными. Создаем наше (органическое и неорганическое) тело как общественный продукт. Отношения между личностями не сводятся при этом к отношениям тел, а, наоборот, личность одухотворяет тела — любые, без подразделения на своих и чужих. И если вместо разума — духовное уродство, дело тут не в частностях воспитания, а в организации общества в целом, которое допускает возможность подобных извращений. Этую организацию и предстоит менять. Всем. Сообща.

* * *

Газета *Советская Россия* от 23 ноября 1984, с. 2

Где работать невестам (В. Иванов, В. Михайлов, В. Ситников)

Достаточно прочесть заголовок — и уже ясен уровень вульгарности тогдашней прессы. Никого не заботит доступность культуры рядовым гражданам — и плевать на духовные запросы. Любой ценой остановить утечку кадров из села в города — и подстегнуть сельскую демографию. Предполагается, что при наличии сколько-нибудь приличной работы народ не рискнет все бросить и двинуться на поиск лучшей доли. Город переселенцев не встречает с распостертыми объятьями. Лимита — нескончаемый фильм ужасов: казарменное существование, никаких прав, никакой социалки, прохожие шарахаются, — и работать без норм, где поставят, за гроши... Брак — чуть ли не единственный шанс записаться в местные. А после — можно и развестись, и пристроиться

как-нибудь. Здесь у сельских девиц явное преимущество перед мужиками. Брак позволяет получить (хотя бы временную) прописку, открепиться от обязательств (вроде целевого обучения — с возвращением в родные места), даже встать в очередь на жилье (хотя бы в коммуналке). Соответственно, начальство ставит задачу: удержать девиц — пообещать побольше, да пустить в оборот. Но на скотоводство или агротехнику ведутся не все (при нашем-то уровне технологий!). Значит, искать полегче, чтобы чисто-культурно.

Семнадцатилетней девушке и профессию надо предложить соответственно ее возрасту — девичью.

Ну, возраст опыта не помеха... Она быть, может, далеко уже не девушка, и даже с дитем...

Не важно какую, только бы она ей нравилась, только бы удержать ее в родной деревне.

Тут извините-подвиньтесь! Можно подумать, на селе огромный выбор, и каждому найдется дело по душе. А по факту — приткнуться-то некуда. Ну, секретаршой в управу, библиотекаршой или в детсад... На худой конец продавщицей. Но тут позиции штучные — и местов давно нет. При том, что работа должна таки быть источником дохода — а с этим у женского персонала вообще швах.

Но давайте пофантазируем. Пусть все перевернулось вверх дном — и теперь на первом месте уже не работа, а доход (в смысле обеспечения всем необходимым). Предложите девице хороший оклад просто так, за проживание в деревне, — плюс надбавки за дружбу с местными парнями и тем более за рождение ребенка (которого община тут же обеспечивает всем необходимым, за народный счет). Создайте девушке нормальные жилищные условия — и пусть она гуляет по лугам и лесам в свое удовольствие, изображает счастливую дачницу. Добавьте возможность время от времени сматываться в город на шопинг (или по культурной надобности). На хрена тогда девчонкам искать городской редьки? Скорее, они мужиков из города переманят на вольные хлеба. А потом и пристроются к какому-то из сельских дел — если все стремятся их неуклонно облагораживать.

Этот мысленный эксперимент — прототип бесклассовой утопии, где людям уже не надо горбатиться за кусок хлеба и крышу над головой, — где они имеют доступ ко всему культурному достоянию безо всяких бумажек — просто потому, что они люди. Люди там не работают — они трудятся. У них нет профессий, они делают что могут и как могут, и

учатся в процессе. Не по разнарядке, а по зову сердца. Конечно, обитателям этой страны незачем подписывать брачные контракты: они не обязаны никого любить — они просто любят.

* * *

Молодая венецианка Дюрера — удивительно живая, сегодняшняя, близкая; с ней можно общаться, несмотря на разделяющие нас пять веков. Специалисты могут откопать в архивах (или придумать) имя; но нам-то что с того? — мы знаем ее не по имени, а по судьбе. Ей довелось остаться современницей навсегда. Какое нам дело до якобы фактов якобы биографии? — все они где-то в прошлом, а общаемся мы здесь и сейчас. Все по-разному — а значит, есть личность, есть характер, есть любовь. Для нас это не картинка, это живой человек — и он гораздо реальнее кремлевских начальников, общаться с которыми мы не хотим.

Могут возразить: произведение искусства передает не достоинства модели, а задумки художника — и общаемся мы с его гением, а вовсе не с теми, кого он успел запечатлеть. Например, можно нарисовать пейзаж или натюрморт — что мы, будем разговаривать с бликами на воде или подсолнухами? Не говоря уже о городских улицах или сушеною вобле. Более того, существуют и фантастические образы, которые ни одному из обитателей земли и никаким вещам не соответствуют, — абстракция, гротеск, вариации на тему...

Не спорим — мы и сами не раз высказывались в том же духе. Нет красоты в природе — ее привносят в собственные восприятия люди; сколь угодно реалистичное изображение — все равно плод фантазии, с творчество автора и публики. Тем более когда речь не о картинках, а о музыке, орнаменте, математических формулах.



И тем не менее, не все в искусстве (или в науке) от авторских внутренностей — и даже они не сами по себе, а в контексте наступающих дел и отдаленных последствий. Мы выделяем человека из природы для того, чтобы иметь возможность говорить о природе самой по себе, — точно так же, как личность есть наиболее прямое выражение факта существования общества. Человек не просто наблюдает внешний мир — и не только действует в нем; он выражает эту внешность (объектность) внутренним (духовным) образом. Это и называется вдохновением.

Да, художественный образ (или научное понятие) — не в объекте; но почему-то одно вдохновляет, а другое нет. Можно свалить на чистую субъективность, авторский произвол. Другая сторона того же самого — спонтанность творчества (как в теориях сюрреалистов — которых они сами не придерживались никогда). Но человек вступает в общение с другим человеком не с чистого листа — а с полным набором личных предпочтений и ожиданий; так и в отношении к природе человек уже знает, чего он от нее хочет, — и именно этого добивается (или с удивлением обнаруживает). Мы обращаем внимание на то, что мы любим, к чему стремимся; мы хотим видеть мир таким, каким он хотел бы видеть нас.

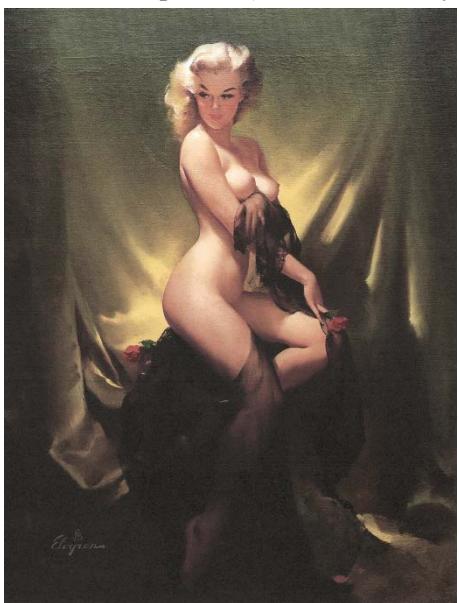
Не будь в венецианке той самой всеобщности, которая позволяет ей пережить века, — Дюреру пришлось бы искать другую модель. Такая встреча — как судьба; возможно, многие замечательные мастера не смогли оставить столь же значительного следа только потому, что не удалось им встретить свою любовь.

С этого места подробнее. Художник усматривает в природе и в людях то, что ему близко по духу; но это означает, что в его модели дух так или иначе присутствует — и речь не о взаимодействии человека с вещью (и уж тем более не об использовании), а про общение человека с человеком — рождение духовного единства. В искусстве (поскольку оно отлично от ремесла) художник, с одной стороны, одухотворяет модель, передает ее частицу себя, — но и сам он должен вдохновиться, вбрать в себя наличную в модели духовность. Такое взаимопроникновение, единство личностей — это любовь.

Отсюда доступность и долговечность искусства. Художник видит в модели то, что на его месте усмотрел бы любой другой, — обращает наше внимание на то, на что мы сами его обращаем. Дух присутствует в мире потому, что он туда уже привнесен — и это кажется магией и мистикой, и на этом спекулируют политики и попы. Однако перенос

этой, объективно представленной общности в другую плоть (материал искусства, понятийный аппарат в науке) сохраняет дух вне зависимости от происходящего с моделью: пейзаж меняется, люди тоже; способы действия и восприятия настраивают на иные проявления духовности — но произведение искусства или научный факт представляют то, чего давно нет, как если бы оно еще было — и делают возможными сколь угодно смелые экстраполяции в будущее.

Любовь — универсальный способ оторвать дух от единичных тел, позволить ему воплощаться сразу во многих телах, так что гибель одного никак не влияет на представленность в другом. Делая модель явлением искусства, художник не может ее не любить. Иногда (но не обязательно) вполне телесно; чрезмерная телесность закрепощает дух — вместо того, чтобы его освободить, — выводит за рамки искусства. Нагое тело в искусстве может быть очень эротичным — но никогда сексуальным: задача художника подчеркнуть именно несводимость духа к голым телесам. Например, как на картине Эльвгрена (назвать такое *pin-up*'ом язык не повернется!). Казалось бы, уж здесь-то все доподлинно известно,



биографию модели и ее портфолио легко поднять из архивов и прессы, выставить на всеобщее обозрение, заказать и тиснуть коммерческим тиражом мемуары... Нам-то что? Мы видим вовсе не тело — за ним дух, личность, — это угадывается по мельчайшим штрихам, манере держаться, смотреть, дышать... Не заманка для озабоченных дураков, а высокая идея, ставшая женщиной (как у древних идеи становились богинями и богами). Это вовсе не та личность, которую видел в ней художник — и не та, кем она сама себя считала: она просто живет среди нас, и каждому видится свое, чтобы по-своему любить. Девушки давно уже нет — но художник нашел то, что выходит далеко за рамки тела, оставил легенду — и неважно, кто и как ее будет рассказывать. Пройдет время — исчезнут и фотографии, и картины; но что-то остается

давно уже нет — но художник нашел то, что выходит далеко за рамки тела, оставил легенду — и неважно, кто и как ее будет рассказывать. Пройдет время — исчезнут и фотографии, и картины; но что-то остается

все равно. Оно в нас — и нам не нужно ничего к этому добавлять, плятаться в экран — или читать комментарии. Художник сделал свое дело — теперь наш черед.

Модернизм в искусстве ничего не меняет по существу: сколь угодно абстрактные комбинации форм — все равно исходят из того, что мы знаем о себе и как представляем это вполне реальными вещами. Тела идей — не сами идеи, и доля условности есть всегда. Фотографически точное изображение лиц и тел столь же далеко от живого контакта, как и отдаленный намек на характер или настроение в нетрадиционных носителях. Это всего лишь образ — один из возможных. А за ним стоят люди — и общаемся мы все-таки друг с другом, а не с бездушными вещами или совсем дикими животными.

Один из главных уроков — возможность произвольно составлять образы для себя, не ограничиваясь данным в искусстве; общение с автором и его моделью не отменяет (и не заменяет) общения с реальным миром — где каждый по-своему автор, и соавтор любой другой индивидуальности. Голос Edith Piaf или Johnny Halliday — это готовый образ; любители вправе накладывать на звучание картинки с доступных фотографий или видеозаписей. Но, например, голос диктора Левитана — практически начисто отделен от его внешности, а в кино озвучивают актеров другие актеры — иногда и целые коллективы (заодно вспомним про дублеров и каскадеров). Говорят, Anita Kert Ellis была красавицей; но для нас остались только ее песни, а для глаз — Rita Hayworth (хотя, конечно, тоже хороша). Современные технологии позволяют любые смешения; интернет-сообщество этим частенько злоупотребляет — но издержки роста не мешают продвигаться в направлении ничем не ограниченной индивидуальности — когда все общаются со всеми, везде и во все времена, и каждый проникается каждым — и может всех любить.

* * *

И снова Мирандола:

Здесь же важно указать, что року подчинены только временные, то есть телесные вещи. Рациональная душа, поскольку она бестелесна, не зависит от провидения, а служит ему, ибо служить — это и есть истинная свобода; ведь если наша воля подчиняется закону провидения, то это значит, что оно ведет ее самым мудрым образом к

осуществлению конечного желания и всякий раз, как она желает освободиться от этого рабства, превращает из свободной в подлинную служанку и делает рабыней рока, хозяйкой которого она была раньше. Отклониться от закона пророчества значит оставить разум и следовать чувству и неразумному желанию, которое в силу его телесной природы подчинено року, а тот, кто зависит от нее, делается в гораздо большей степени слугой того, чьим рабом является.

При всей путанице в словах и богословских реверансах — великолепное выражение сути разума. Природный закон убивает только природное — разум («рациональная душа», единство рациональности и духовности) бессмертен; более того, именно разум устанавливает рамки природного существования всем вещам и всем существам — включая собственную плоть, совокупность вещей и тел. Неразумные позывы и желания — для животных; разум заставляет живое и неживое служить разумным целям, но тем самым освобождает его (и себя) от природности, одухотворяет, возвышает, оккультуриивает. Человек свободен — ему ничто не указ, кроме его собственных установлений («пророчество») — и отказаться от этого «служения» — значит, изменить разуму, не быть человеком.

Конечно, не стоит путать гуманистические (то есть буржуазные) идеалы с коммунистическими. Мирандола — из тех, кто готовил в недрах старого мира приход капитализма (какавшегося тогда бесконечно далеким — и безупречно светлым — будущим). Но как раз тогда, на заре Нового времени, идеологи буржуазии говорили не только от ее имени, но и за всех тех, кому предстоит явиться в мир после нее, — ибо своего рупора у них пока быть не могло. Поэтому мы сегодня можем усмотреть в писаниях Мирандолы то, чего он, вероятно, вовсе не имел в виду — и от чего с негодованием отрекся бы, если в наших силах было рассказать ему об этом его языком. Мир по-прежнему поделен на враждующие классы, и такое деление все еще кажется естественным, данным свыше. А значит — неразумным!

... лишь немногие люди пользуются разумом, ибо душа их, как бы отвернувшись, обращает взоры к чувственным вещам и заботам о теле.

Другие же души, которых забота о теле не отвлекает от блага интеллекта, соединены с вечными неразрушимыми телами.

Вот классовые реалии: одни вынуждены прозябать в безысходной животности ради того, чтобы избранные «не отвлекались от блага интеллекта» — и могли позаботиться о вечности. Идея «неразрушимых тел» — это почти Маркс, за 500 лет до Маркса. Но есть и нечто большее: любые тела — лишь воплощение духа: не только продукты человеческой

деятельности — но прежде всего выражение творчества, способности изменять мир в сторону большей разумности. Человек привносит себя в мир, облагораживает его — а не просто воспринимает как данное, не только познает:

Я утверждаю, что, согласно чувству, красота исходит от тела и поэтому цель любви всех животных — соитие, но разум рассуждает иначе: он знает, что материальное тело не только не является источником и началом красоты, но представляет собой природу, противоположную красоте и разрушающую ее, и что, чем больше она отделяется от тела и полагается на себя, тем большую ценность и достоинство приобретает ее собственная природа, и поэтому стремится не к тому, чтобы перейти от образа, воспринимаемого взором, к самому телу, но к тому, чтобы очистить этот образ как можно лучше, если на нем видны какие-либо остатки грязи от материальной природы.

Усматривая у Мирандолы что-то для себя, мы, собственно, следуем его указаниям — пытаемся быть людьми, идти от природы к разуму, а не наоборот. Идея о противоположности природного духовному — просто продолжение теологии; но в контексте сегодняшних попыток свести человека к голой животности — это знамя революции.

* * *

В *Психологии сексуальности* Фрейд замечает:

... сексуальное удовлетворение представляет собой самое лучшее сноторвное. Большинство случаев нервной бессонницы объясняется сексуальной неудовлетворенностью.

И рядом про девушку, использующую сосание как медитацию, способ «унестись в другой мир». Секс как наркотик — обычное явление; но есть, разумеется, и другие (совсем неприродные) методы «отключки».

Вспоминаем также в общем-то верное замечание записного пошляка Морриса, что секс как оргиастическая деятельность характерен только для людей: у животных это мимолетно и сугубо функционально.

Складываем — и получаем занимательную гипотезу:

Переход от животного состояния к общественной деятельности сопровождается резким ростом нагрузки на организм — вплоть до чрезмерного износа и поломки некоторых систем. В частности, риску подвергается механизм восстановления нервно-мышечного тонуса, сон (а за ним и пищеварение, и гормональный обмен, и все прочее). Мозг,

задержанный задачами на грани достижимости, не может остановиться, варит все ту же кашу даже после исчезновения мотивации. Если бы люди были достаточно разумны — они бы сознательно привели биологию в порядок, подобно тому, как мы чиним, регулируем и готовим другие орудия труда. Поскольку же орудийное отношение к органическому телу еще не сложилось — методы регуляции приходится встраивать в способ производства; это обычный метод заставить себя сделать что-нибудь не очень интересное: организовать окружающую среду так, чтобы нельзя было не сделать. Итак, для поддержания тел в рабочем состоянии человек делает дозирование нагрузки особой деятельностью; транс и оргазм — простейшие приспособление, подсказанные самой природой (но приобретшие у людей существенно неприродный статус).

На ранних этапах становления цивилизации простые работяги меньше затронуты модными веяниями: после интенсивной физической нагрузки организм отключается и без дополнительных воздействий. Разделение труда лишает монопольно приобщенные к рефлексии верхи этого прямого механизма — и потому преувеличенное внимание к специальным методам (религия, секс, выпивка — и прочие поводы для экстаза) возникает в «культурной» среде, и только потом привносится в низы вместе с другими направлениями ассилияции. В частности, когда образование становится особой деятельностью, оно прививает новому поколению и (выработанные верхами) методы управления органикой. Интенсификация и усложнение труда рабов приводит к тому, что потребность в особых приемах управления органикой появляется и у широких масс; поскольку такие методы уже есть, низы получают в готовом виде извращенные способы «перезагрузки» тел (тогда как более разумные технологии и наверху доступны далеко не всем).

Догмы эмпирионатурализма тем самым выворачиваются наизнанку, встают с ушей на ноги. Не природные предрасположенности вызывают развитие человеческой сексуальности (и сходных с ней явлений), а наоборот, сексуальность — изначально общественный продукт, и ее производство напрямую зависит от устройства экономики в целом. Корни поведенческих аномалий надо искать не в органике, а в нормах права и морали, в религиозных предписаниях — и прочих ограничениях свободы личностного развития. И лечить не человека, а общество.

Убеждение в возможности сознательного управления организмами пробивает себе дорогу — несмотря на яростное сопротивление адептов «натуральности». Да, замена секса психотропными средствами — это

шило на мыло. И нашей гипотезы следует, что снимает болезни снятие общественных барьеров, разнообразие деятельности, переключение с одних занятий на другие. Не застаиваться в труде — и не будет затыков в физиологии. И самое главное — понять, наконец, что органические тела лишь часть человеческого тела, в котором давно уже преобладают искусственные инструменты и орудия. Содержать хозяйство в порядке надо разумно, чтобы одно не в ущерб другому; если способ производства пока не позволяет добиться такой гармонии — кто мешает нам его изменить, сделать разумнее?

* * *

Некто В. Т. Лисовский вдруг озабочился проблемами нравственного воспитания молодежи — и созвал компанию борзописцев под крышей сборника *Жить достойно* (1979). Четвертая глава называется *Любовь и нравственность* — но совершенно безнравственным образом вместо любви проповедует дозволенное сверху репродуктивное поведение.

Для начала нас уверяют, что рождение любовного чувства — тайна; здесь нет стандартов, здесь бессильна наука... Только искусство в какой-то мере приподнимает завесу над тем, что происходит в душе любящего. В какой-то мере — потому что каждое чувство *индивидуально* и уникально, как неповторима человеческая личность.

Звучит, ну, очень красиво. Особенно насчет индивидуальности и неповторимости. Напрягает противопоставление искусства науке: и то, и другое — стороны (уровни) обобщения (обобществления способов деятельности), и что доступно искусству — подведомственно и науке; все различие — в способах представления результатов. Антинаучность попахивает мистикой — а в бога мы не верим.

Но дальше следует казуистический фильт: оказывается, серьезно относиться к любви — значит уметь подчинить силу естественного влечения контролю разума, который не позволит осквернить прекрасное и высокое чувство...

Вот тебе, бабушка, и юрьев день! Разум не для того, чтобы кого-то контролировать — он для того, чтобы вести себя разумно. И уж тем более разум (выражение свободы!) не будет никого себе подчинять. Естественные влечения — это вообще не про людей, это про зверушек. Осквернить прекрасное и высокое — даже теоретически невозможно; иначе оно не совсем прекрасно и недостаточно высоко. Но страньше

всего — допустить, что любовь можно «осквернить» сексом (который, кстати может быть гораздо разумнее филистерской «нравственности»).

В переводе этот пассаж выглядит так: существует инстанция, узурпировавшая право предписывать, что называть прекрасным и высоким, — и разрешать телесные проявления любви только в согласии с каноном. Отсюда рукой подать до обычной классовой иерархии: барин использует тела холопов по своему усмотрению — а любовь можно вообще слить, за ненадобностью.

Маленькая пикантность: естество подчиняется разуму там, где есть разум то есть, в контексте совместного творчества, преобразования мира. Для этого требуются, как минимум, достаточные экономические предпосылки. Если мы лишь подчиняемся «высшей» необходимости — мы природные существа, и до разума нам далеко. Его нам заменяют разного рода руководящие органы — и насаждаемые ими этические абсолюты, правила игры. В частности, если половую любовь приходится ограничивать соображениями брачного статуса — это уже не любовь вовсе, а нечто первобытно-репродуктивное.

А нам соловьи заливают про социологические исследования, которые якобы показывают, что среди многих мотивов вступления в брак у молодых людей на первом месте любовь (66.2% опрошенных), а экономический же фактор, дескать, утратил главенствующее значение. Нельзя же быть настолько наивными! Когда некто идет под ярмо — нужны серьезные основания: это всегда вынужденная мера, уступка давлению извне — а всякое насилие есть прежде всего насилие экономическое (за исключением психических патологий — у которых тоже экономические корни). Человеческие отношения — не нуждаются в официальном оформлении; даже если допустить, брачующиеся любят друг друга — в брак они вступают вовсе не поэтому, а потому что ради любви приходится преодолевать уродства общественного строя, внешне ограничивать любовь классовыми условиями (хотя чаще всего речь идет не только о видимости). Уберите экономический фактор — не будет браков, не станет семей. Есть ты, есть я, — и никто не вправе вставать между нами. Статистика говорит, скорее, о перераспределении влияний, иной расстановке акцентов — когда видимость благополучия создает иллюзию свободы. Люди по-прежнему экономически зависят друг от друга, от формальных коллективов (включая семью), от государства (как выразителя классового господства) — но они уже не способны осознать это: их мозги промыты еще до рождения.

Как только семью иллюзорно отключили от экономики, остается только верить, что благополучие семьи больше зависит от того, как сложатся отношения между супружами. Какие? В чем они выражаются? Вопрос повисает в воздухе — потому что любовь, якобы, не от мира сего, и обсуждению не подлежит (см. выше). Опять же, липовая статистика: подавляющее большинство, видите ли, ставит согласие в семье выше благосостояния. Но что такое — это ваше «согласие»? Стоит копнуть глубже — и выясняется его рыночная, коммерческая подоплека. Не удивительно, что «верность считается непременной добродетелью даже среди самых юных». Добродетель у юных — это прекрасно! Но верность — это лишь обязательство не выводить средства из семейного бизнеса; ничего иного она никогда не предполагала — и ничего общего с любовью это не имеет. А нам опять про чувства:

Поскольку молодые люди очень часто не зависят теперь друг от друга экономически, а соединяет их любовь, то незрелость, неумение подойти к новой форме эмоциональной связи оборачивается порой катастрофой.

Насчет независимости — откровенный обман. Семья действительно независимых людей — просто невозможна; в лучшем случае это может стать формой бизнес-партнерства, игрой на публику. Супруги зависят и друг от друга, и от родственников с обеих сторон, — именно этот запутанный клубок (а вовсе не эмоциональная связь!) приводит к семейным катастрофам: молодые не просто так ссорятся — их растаскивает в разные углы ринга семейная экономика. Дополнительно к этому, вступление в брак порождает экономические отношениях семьи с государством — и здесь тоже хватает проблем, с которым наивные кутята (начитавшиеся пошлых книжонок про любовь) просто не готовы столкнуться. Вот и получается, что «рядом с любовью идет, как правило, долг, ответственность, забота о любимом». То есть, опять-таки, чисто экономические отношения — ибо любовь как духовное единство не знает забот и ответственности, и нет у нее никаких долгов.

Под занавес — фантастически циничное рассуждение о жилье. Некоторые, дескать, видят чуть ли не главную причину разводов в нехватке жилья. А по мнению некоего горе-экономиста — все как раз наоборот:

... улучшение жилищного положения в какой-то степени облегчает и тем самым, если хотите, способствует их росту! Стремительный рост «разводимости» совпал во времени с быстрым улучшением жилищ-

ного положения городского населения страны... Раньше просто многим некуда было разъехаться!

На что авторы сочувственно кивают головой и глубокомысленно изрекают: право на квартиру надо еще заслужить! Каково? Что им конституционные гарантии! — и понятно, почему эти гарантии всегда оставались мертвой буквой. И эти мерзавчики еще имеют наглость говорить о нравственности и любви!

* * *

Н. А. Иванова, Ю. А. Королев, П. И. Седугин,
Новое в законодательстве о браке и семье (1970)

Про Королева годом позже публика еще услышит... А пока — предварительное знакомство, «разъяснение» свежеиспеченных *Основ законодательства СССР о браке и семье*. С полным комплектом первородного греха:

Советское государство постоянно уделяет внимание семье. Это и понятно. Семья представляет собой такую ячейку социалистического общества, в которой тесно соприкасаются интересы отдельных групп и общества в целом. Государство заинтересовано в укреплении семьи. В семье рождаются и воспитываются дети, в семье происходит становление советского гражданина.

Насчет соприкосновения интересов — это точно. Узел противоречий, источник заразы. Все повязаны на семью — и это (по мнению ИКС) правильно. Осталось лишь освободить женщину от тяжелого домашнего труда «на базе социалистической системы хозяйства», конечно же, «при наличии передовых отношений в обществе и в первую очередь в семье»:

Мужчина — муж, отец, брат — является другом и товарищем, равным участником домашних дел, воспитания детей.

То есть, подразумевается, что домашние дела все-таки повесили на женщину — а мужик время от времени приобщается, на уровне гвоздь забить или пацана выпороть.

В экономически и духовно отсталом обществе семья может иногда стать прибежищем изгнанной из общественного бытия разумности. Однако в целом — узко кустарное производство заведомо отстает от индустриальных технологий, и держится лишь на том, что удалось позаимствовать.

Коммунистическая мораль является основой взаимоотношений членов общества в процессе производства, в общественной сфере и в личных семейных делах.

Это воняет Королевым... Ему очень хочется поставить (пошлую, обывательскую) мораль над правом — и любыми другими формами общественного сознания. Лицемерно объявляя семейные отношения сугубо личным делом — что, конечно же, не ограждает семью от морального давления.

Из области юмора:

... непременным условием счастливого длительного брака будет отсутствие при его заключении каких-либо материальных расчетов.

Что подкрепляется ссылками на судебную практику, якобы говорящую, что брак по расчету непрочен. Чепуха! Брак = расчет. Неважно кто будет считать: сами брачующиеся — или общество, или (явно или неявно) уполномоченная обществом команда (родители и прочие спонсоры). Различие только в составе бенефициаров — а переход от частной собственности к общественной никоим образом не отменяет институт собственности как таковой. Классовое общество — представлено (экономически) господствующим классом, и при социализме оно так же потребительски относится к людям, как рабовладелец к рабам, помещик к крепостным, или капиталист к наемным работникам. Для общества брачующиеся — лишь средства производства рабочей силы, не более! Воспитание детей перекладывают на семью из экономии: рабы готовят рабов за свой счет. Такой, вот расчет. На что рассчитывают будущие супруги и их семьи — это их проблема; в любом случае они на что-то рассчитывают, и браки по расчету оказываются непрочными лишь там, где расчеты разных уровней (супруги — общество, супруги — родители) не стыкуются друг с другом.

Поскольку семья воспроизводит строение способа производства, семейные проблемы — выражение общественных гнилостей; это не рецидивы прошлого, не «пережитки» — в этом кризисная суть семьи, которая не просто испытывает на себе экономические катастрофы, но активно готовит их. А ИКС преисполнены буржуазного субъективизма, сводя все к несознательности населения (то есть, снова перекладывая общественную ответственность на частных лиц). Как обычно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих:

Немалую роль в этом должно сыграть воспитание чувства ответственности перед семьей. Это чувство, прежде всего, должно проявляться

самиими членами семьи, но оно необходимо и другим лицам, от вмешательства, недостатка внимания или неправильного поведения которых нередко разрушаются отношения в семье и зависит само ее существование.

Ответственность перед семьей — это вроде ответственности начинки перед пирогом; а кулинар за скобками.

Совместное жительство — один из признаков семьи, естественная черта брака, и оно в подавляющем большинстве случаев осуществляется в жизни.

Ничего естественного в браке быть не может по определению: это изначально общественный институт. А если людям приходится жить кучей — это исключительно по причине отсутствия жилья. Была бы возможность — жил бы каждый где хочется, ни от кого не в зависимости, и сходились бы когда захочется, и расходились без обид... Американская пропаганда свободы секса ориентирована как раз на такой слой относительно независимых собственников, для которых главный вопрос не как делить ответственность, а куда пойти потрахаться: к тебе или ко мне. Но ИКС свободы секса не признают — и упорно сколачивают семейные гнезда.

Понятие главы семьи в наших условиях далеко не всегда совпадает с личностью мужчины. Нередко можно видеть такое положение, когда жена обладает специальностью более высокой квалификации, имеет больший заработок. И уж, конечно, в вопросах воспитания детей и порядка ведения домашнего хозяйства — ее слово первое.

Катаемся по полу от смеха. Нет слов. То есть, отвечать за дом все равно бабам — даже если они достаточно богаты, чтобы содержать мужика со всеми его придумиями — или послать его куда подальше. А господа посматривают сверху и корректируют, если что:

Закон правильно оценивает большой и благодарный труд женщины в семье, ее труд по воспитанию детей.

Другими словами, если тянете лямку — это правильно. Чем больше — тем правильнее. И будьте благодарны, что хотя бы это дают.

Именно женщина-мать несет бремя рождения ребенка, основную заботу по его воспитанию.

Поняли? И никаких тут индустриальных методов воспроизведения! — без контрацептивов или абортов! — и не фиг грузить детские сады и школы своими отродьями, воспитывайте сами и выдавайте на гора

готовый продукт, производственную мощность... Удавить все троих за такое отношение к женщине! Тем более, когда брешут:

Она в то же время испытывает и великое счастье материнства.

Предполагается, что быть рабом — для раба величайшее счастье... Дайте женщинам возможность безопасно избавиться от ежемесячных «радостей», от вынашивания и родов, от менопаузы — много ли найдется желающих материнского «счастья»? И не надо нам на уши потемкинскую статистику (коэффициент дикости среди нынешних, замордованных филистерской моралью женщин) — и давайте без показухи в жанре ужастика:

Советская действительность свидетельствует, что нет более почетного звания в нашем обществе, чем мать. Уважение к ней воспитывается в семье, школе, в обществе.

Дескать, назвали вас по матери — туда вам и дорога. Клеймо от рождения на всю жизнь. Дикий сексизм. Забавная концепция трех типов воспитания: семейное, школьное, общественное — в этом порядке. То есть, главное семьи никого, и какой-нибудь Герой Советского Союза — ничто по сравнению с «яжематью». Ну, и напоследок совершенная махровость:

Весь социалистический строй советской страны, ее законы обеспечивают реальные условия для того, чтобы брак был действительно свободным, естественным союзом мужчины и женщины как равноправных членов общества и определялся прежде всего их личным отношением друг к другу, желанием вести совместную семейную жизнь, вместе растить и воспитывать детей. Такой союз предполагает и духовную общность мужчины и женщины, их желание помогать друг другу не только в устройстве домашнего быта, но и в труде.

Естественный союз — это копуляция зверушек. Разум на то и дан человеку, чтобы избавляться от природных ограничений, подчинить естество общественным, культурным движениям. Естественность — против свободы, тем более, когда людей загоняют во всяческие «союзы». Природное существо не может быть свободным — оно подчиняется законам природы. Человек — предписывает природе законы, меняет ее по своему разумению.

Равноправие не предполагает равенства — и даже наоборот, губит его. Это равенство не по отношению друг к другу, а по отношению к праву (то есть, к хозяину, к барину — которому равно на всех плевать); отношения между равноправными неизбежно становятся конкуренцией,

выстраивая иерархию по признаку близости к верхушке. Кто больше нахапал — тот и прав.

Личное отношение друг к другу — это именно отношение друг к другу; при чем тут дети? Даже общее хозяйство — лишь опция. Если обществу нужны дети — пусть оно ими и занимается, а мы останемся сами с собой. Только так возможно отношение к детям как к людям — независимо от возраста и родства.

Духовная близость снисходительным барином допускается как довесок к супружеству (но чтобы только в «союзах», под контролем!) — используют эту кастрированную духовность, чтобы запряженные в одну телегу не бодались меж собой, а покорно тянули куда приказано; потому они и называются «супруги». Новаторство ИКС состоит в предложении распространить супружеские обязанности и на прочее общественное производство: чтобы еще и по работе сплошная семейственность. Идея спорная — и многие буржуи на своих предприятиях такого не разрешают: это против духа жесткой конкуренции — любимое погоняло всевластных господ. Да и внутри семьи речь вовсе не о взаимопомощи, а всего лишь о распределении обязанностей — так сказать, маршрутной карте семейного конвейера.

В любом случае, единственное пожелание ко всей этой бредятине — чистой палочкой в помойное ведро!

* * *

Юнгианская мифология крутится вокруг идеи «андрогинности» человеческой психики — соединения в ней «мужского» и «женского» начал. У китайцев то же самое выражено знаменитой схемой *инь-ян* — но там это гораздо шире, распространяется на мироздание в целом; отличие древнего синкретического миросозерцания от европейской (радикально рыночной) аналитичности — налицо.

Зацикленные на психике юнгианцы предполагают, что в какой-то момент женское начало было вытеснено в европейской культуре на второй план, подчинено мужскому (причем как в мужчинах, так и в женщинах!), — и только в XX веке начинается борьба за восстановление гармонии. О причинах вытеснения, разумеется, ни слова; поскольку все вообще психоанализ выводит из бессознательного как «психической протоплазмы», источника любых сознательных действий, — следовало

бы предположить, что бессознательное уже содержит в себе примат «маскулинности», и лишь развертывает этот зародыш в полновесную общественную организацию. Однако про это юнгианство предпочитает молчать — и обсуждается лишь возможность обретения «самости», единства частей души.

Следуя той же (пост-)психоаналитической схеме, можно считать придуманный Юнгом миф отражением реальной истории европейской цивилизации в кривом зеркале эмпирионатурализма: становление классового общества, доведение способа производства до логического предела, постановка вопроса о переходе к обществу без классов.

Но нас здесь интересует другое. Иерархический подход показывает, что любые различия могут носить лишь временный, относительный характер — как развертывание иерархии в одной точке ее исторического цикла, в процессе обращения. После этого иерархия свертывается (снимает иерархическую структуру) — и развертывается как-то иначе. Переход от одного классового общества к другому не снимает коренных противоречий — и все перестройки происходят на нижних уровнях, при сохранении главного: господство и подчинение. Идея любви — дает нам надежду на полное преодоление разобщенности и отчуждения.

Допуская (чисто гипотетически, в качестве формалистического мысленного эксперимента), что психика по-европейски воспитанного человека «состоит» из мужской и женской компонент, мы логично приходим к типично европейскому преобладанию половой любви, когда отношения полов общественно представляют всякую любовь вообще, и все остальные виды любви надстраиваются над этим фундаментом. Другие народы не отводят половой любви столь значительного места в строении культуры — что европейцы долгое время считали признаком отсталости.

В этом контексте намеченная в XX веке линия на эмансипацию половой жизни, когда однополая и разнополая любовь сочетается с полным отказом от пола и половыми связями несексуального характера, можно было бы считать выражением назревшей тенденции снятия в культуре противоположности женского и мужского как таковой — что постепенно приведет к перестройке психики среднего европейца на иных началах, предлагающих другие реализации идеи любви. Таким образом, речь не о восстановлении разбитого цивилизацией равенства и сотрудничества женщин и мужчин, а о снятии половых различий — не физиологически, а культурно (а следовательно, и психологически, в

строении мотивации). Но это, в частности, означает окончательное исчезновение столь милой юнгианскому сердцу романтической любви! Равно как и крушение теорий классического психоанализа, выводящего всю психику из детского сексуального опыта.

Паника в рядах: как же быть с (приписываемой бессознательному) морем «эволюционной энергии» — что подвигнет человечество на исторические деяния? И откуда частному лицу, лишенному либидо, черпать повседневные стремления (не говоря уже и сублимации)?

Спокойно, граждане! Понятие энергии — всего лишь выражение постоянства структуры, однородности времени. Там, где человек позволяет своим (органическим и неорганическим) телам двигаться природным образом — вся сопутствующая этому энергетика никуда не денется. Но достойно ли человека ограничивать себя только такими, физико-химическими и животными движениями? Не пора ли поискать собственно человеческих истоков, разрешить людям вести себя не по инерции (как бог на душу положит), а сообразуясь с голосом разума? Тогда мы, наконец, заметим, что все в нас — от любви: человека к человеку — а не мужчины к женщине, или еще какой-нибудь половинки к искусственно оторванной от нее другой. Вспомните физику: деление атомного ядра высвобождает огромные энергии — но им далеко до мощи термоядерного синтеза. Научившись разумно распоряжаться развертыванием и свертыванием культурно-психологических различий, человечество получит хороший задел для развития всех и каждого; когда запасы подойдут к концу — придумаем еще что-нибудь!

* * *

Эмпирионатурализм — не просто идеологическое направление, не только метод буржуазной пропаганды. Это еще и вековая привычка, культурный склад, менталитет. Люди привыкли считать так — и будут так считать, если не предъявить им очень убедительные аргументы против. Но даже если аргументов у нас не густо — у нас есть шанс заметить, что в наших суждениях попахивает традиционностью, — а дальше уже решать, как с этим поступить.

Эта заметка — на полях не какой-то определенной книжки, а по поводу всей сексологической литературы, от предвестников Фрейда — до наших дней. Тысячи страниц — но у всех прослеживается одна, очень

характерная тенденция: физиологические проблемы делать проблемами медицины. Людям плохо — им надо помочь. Казалось бы, что может быть благороднее? Подозрительная странность в том, что весь мир мы делим на здоровых и больных — и первые лечат вторых (а не наоборот). Ничего не напоминает? Именно таков принцип организации классового общества: бедные (теоретически) могут разбогатеть, богатые (по факту) разориться — но устремлять помыслы всем положено к большому капиталу, и его принимать за эталон экономической состоятельности, — а неумение или нежелание делать деньги — это болезнь.

Когда к врачу-сексологу приходят вдвоем или поодиночке — это, якобы, не от хорошей жизни, и надо подкачать либидо и сделать-таки приятно. Врач надевает эмпирионатуралистические очки и пристально разглядывает аномалию: анамнез, анализы, аптека, амбулатория... Весь мир вращается вокруг четко поставленной задачи: мы этого хотим! Даже когда хотим чего-то еще — только для этого. В ход идут всевозможные пособия, тренинги, стимулирующие воздействия, расслабуха и шок. Иногда помогает — чаще нет. Но приятнее вспоминать об удачах — не так ли? Их приписывают чему-нибудь из примененного — и в копилке уже сотни методик, солидная база для новых экспериментов.

Медицина не видит за нарушениями сексуальности ничего кроме физиологии — и само существование профессии врача-сексолога есть знак ограниченности предмета, допускающей узкую специализацию. Разумеется, хорошие специалисты знакомы со смежными областями и почитывают на редком досуге и что-нибудь общепознавательное. Но табличка на дверях говорит за себя — и страждущие вынуждены облекать свои жалобы в готовые, хорошо структурированные формы. Постельные желания несут по профилю, а не так, чтобы идти за сексом к хирургу — или, еще хуже, учителю математики!

Но через всю массу сексуальных книг тянется навязчивая (но далеко не бредовая) идея: прогресс в половой сфере *всегда* связан с изменением образа жизни — что господа-эмпирики (добросовестно фиксируя в истории болезни факты биографии) ничтоже сумняшеся относят на счет благотворного повышения потенции. Более эфемерные успехи курсов медикаментозной и психотерапии, очевидно, также проис текают из перестройки режима под новый ритм, что вызывает очевидные сдвиги в мотивации. Самые разительные примеры — там, где никакого секса в принципе быть не может (без радикальной хирургии или накачки гормонами); тем не менее, мы читаем о людях, которые нашли себя в

жизни несмотря на медицинские провалы, и больше к медикам не обращаются.

Казалось бы, напрашивается вывод: плохо людям не потому, что не хватает секса, — а наоборот, секса не хватает там, где люди чувствуют себя погано и даже за соломинку толком ухватиться не могут. Уродское буржуазное воспитание подсовывает восприятию ходячие стереотипы, не дает разобраться в клубке бытовых и личных неурядиц — и человек полагается на обывательский опыт и сваливает все на первое попавшееся (просто потому, что надо же на что-то свалить). То есть, вообще-то, все не так — но и в сексе прокол, из-за чего, вероятно, и остальное вкрадывь. Про секс говорят много и охотно — вот он и лезет в каждую бочку: первый кандидат, козел отпущения. А приходят такие догадливые к опытному сексологу — он им подкинет десяток поводов для «точной» формулировки житейских проблем в терминах секса — а не в терминах самой жизни. Не будем говорить, кому это выгодно.

По-хорошему, когда пациент обращается к врачу, желая получать удовольствие от секса, — его первым делом надо бы спросить: а почему именно секс? Может быть, вам еще чего-нибудь по жизни хочется? Так давайте соберем все пожелания — и посмотрим на приоритеты. Если вдруг оказывается, что больше ничего не хочется, — два варианта: либо гражданин с жириу бесится (и тогда грех не прорезать его на дорогие курсы восстановительной терапии!) — либо это действительно больной, в смысле на голову, — неразумное животное вместо человека (и тогда орудийное использование этого существа для поправки медицинских финансов — дело вполне нравственное). Конечно, проверить гипотезу о дефиците образованности надо обязательно: возможно, человека просто не выучили выражаться по-человечески, вот и несет порнуху; тогда вместо лечения нужен общекультурный ликбез, а уж потом — будем обсуждать настоящие причины.

Собственно медицинские показания возникают лишь там, где физиологические особенности затрудняют поиск чего-то человеческого: отвлекающие боли, избыточные выделения, гормональные всплески — мало ли какие глюки в органике! Но тогда это уже не сексология, а урология, эндокринология, и прочая медицина. Когда же просто на жену не стоит — *ok*, найдите ту, на кого стоит; для этого существуют учреждения немедицинского профиля. Соответственно, жена (если ей нужно) найдет с кем утешиться. На экономику семьи (в норме) это никак не влияет. В конце концов, если член уж очень мешает — может быть,

все-таки к хирургу? А еще лучше — к учителю математики: высокий сексологический потенциал этой науки великие люди отмечали много столетий назад.

Утилитарные поводы (типа: хочу ребенка) — не аргумент; здесь тот же вопрос: а на фига? Вполне может выясниться, что ребенок нужен лишь для самоутверждения, как средство давления — или по иным экономическим обстоятельствам; медицина тут бессильна... По очень большому счету, допускаем, что у некоторых с половой жизнью связаны серьезные творческие планы — вроде того, как раньше поэты и художники принимали наркотики, чтобы родить истинно нетленный шедевр. Но если это лишь для острых ощущений, вроде экстремального спорта, — нет в этом ничего человеческого, и лечить надо не органы, а дух.

Вот мы и подошли к центральному вопросу: психические болезни (включая сексуальные аномалии) у человека (поскольку в нем есть искра духовности) проис текают, как правило, не из органических дисфункций, а из (столь же органических) ненормальностей общественной жизни, ограничивающей человека узким кругом бытовых и производственных забот, без перспектив. В норме, если кому-то не дают секса — ну и ладно, есть тысячи не менее интересных приключений; такому, свободному человеку даже в голову не придет, что надо бы это дело подлечить. Но если на каждом шагу экономические и социальные барьеры — варианты катастрофически тают, и приходится упираться в то, что (вроде бы) всегда при себе; если же оно таки не при себе — это клиника.

Таким образом, лечить практически всегда надо общество, а не человека; все сводится к избавлению людей от рабской зависимости (а это покруче наркомании!), от диких запретов и предрассудков. Человек может иногда растеряться, не находит себя, — в этом случае ему нужен не секс, а дружеское участие, любовь (возможно, иногда и половая — но вовсе не обязательно). Медицинское вмешательство только вредит.

Нынешние медики признают важность культурных влияний на генезис и этиологию даже обычных органических расстройств — не говоря уже о психических отклонениях. Однако такие влияния всегда берут в проекции на органику — тогда как на самом деле изменяется прежде всего структура личности, а уже потом, вторичным образом, через аномалии в деятельности, приходят физиологические последствия. Речь снова о недостатке культуры — и сбоях профилактики. Но врач будет изо всех сил стараться увязать собственно медицинские синдромы

с особенностями расы, этноса, культурно-социального слоя и т. д.; ясно, что такое перескакивание через уровень не может дать ничего кроме хаоса статистических корреляций, о происхождении которых даже догадываться не из чего.

Особо продвинутые рисуют предложить смену (в терапевтических целях) среды обитания, набора деятельности и круга общения. По факту речь о перестройке личности — попытке стать другим человеком. Но ради чего? Вряд ли кто сможет решиться на такое просто так, без очень веских оснований. И уж по крайней мере, не ради физиологии. Все изменить только ради секса? — да гори он ярким пламенем! Человек, скорее, будет и дальше мучиться — только бы не изменить себе.

Пока в экономике господствует разделение труда, медицина нужна. И сексология в том числе. Но только в контексте широкой (и всем доступной!) системы общественной реабилитации медицина перестает быть паллиативом, времянкой, видимостью помощи. Мы говорим не об организмах — о людях, о разумных существах, непременным условием существования которых становится свобода, включая независимость от органики, физики, химии и всего остального, что человек использует в деятельности — но не наоборот. И если у людей (поскольку они хотят быть людьми, а не копиулирующими телами) что-то не задалось в труде и общении — искать причину надо не в половых органах, а в отсутствии любви, и выход искать — в ней же.

* * *

Толстый *Юридический справочник для населения* (Минск, 1978). Тонны якобы полезной (дез?) информации. В самой середине — раздел о наследовании. Детали нам ни к чему — но интересно недвусмысленное заявление:

Наследование находится в неразрывной связи с отношениями собственности и производно от них.

Типичная позиция эмпирика: исходим из того, что есть в наличии, — современных, развитых форм; взаимосвязи — исходя из нынешней практики (из «опыта»). Собственность тогда предстает изначальной фундаментальностью, из которой выводится все на свете. Дескать, что накопили — то и делим. В качестве бонуса — чистенькое и благородное понятие семьи, родство как факт бытия, никоим образом не причастный

к возникновению имущественного неравенства. Клише: родные и близкие. А как не порадеть родному человечку? Для это и существует институт наследования — и все довольны, поскольку

граждане знают, что их имущество после смерти перейдет в собственность близким им людям...

Забавная двусмысленность: можно подумать про смерть имущества. Украинская присказка: на тобі боже, що мені не гоже. Как бы то ни было, возможность поживиться — основа основ, и это, оказывается здорово сближает!

... наследственное право в социалистическом обществе имеет целью укрепление права личной собственности и советской семьи. В конечном счете оно укрепляет социалистические общественные отношения.

Открытым текстом: социализм целиком и полностью стоит на личной собственности и семейственности — и все общественные отношения сводятся двум операциям: отнять и разделить. Как у клятых буржуев.

Дальше традиционно: «наследственная масса» разветвляется на два потока — по закону (термин «семейное наследование» неудачен, ибо не все родственники входят в состав семьи) и по завещанию (а что, это незаконно?). Конечно же, «имущество состоит не только из прав, но и обязанностей умершего» — и здесь тонкий белорусский юмор: как быть, например, с супружескими обязанностями?

Покойник получает кликуху «наследодатель» — и продолжает юридически жить, дирижируя раздачей честно или нечестно нажитого всяческим наследодателям (наследникам). При этом наследуется по закону та часть имущества, которая не распределена по завещанию. И даже если наследники по закону уже получили по завещанию (или еще по какому-нибудь месту), они все равно участвуют в разделе имущества по закону.

Простодушного гражданина вводят в заблуждение: согласно кодексу, право завещательного наследования при советах очень и очень ограничено, и далеко не все можно завещать, а что и можно — только с супружеского (или иного близкородственного) согласия, поскольку все нажитое в браке считается совместным имуществом, и тут возможны любые заморочки. Про исключения авторы, конечно же упоминают — столько всего, что без ушлого адвоката не разгребешь. А, вот, если наследников вообще не оказалось (или они отказались принять права и обязанности) — все им причитающееся переходит к государству (супружеский долг, вероятно, тоже...).

Чтобы наследовать от матери — нужна бумажка из загса; то есть, по факту, биология ни при чем, и наследуем мы от бумажки. Про отцов сложнее — и тут потребуется больше бумажек (особенно если отец состоял в другом браке). Но самый букет — с усыновленными, у которых все зависит от наличия живых родственников — и надо отделить мух от котлет, ограничить круг наследников по максимуму. При этом возможно и частичное усыновление: усыновитель-мужчина заменяет природного (бумажного) отца, и аналогично мачеха «и ее родственники» (?) вытесняют мамашу по документу — при сохранении наследования по линии противоположного пола. В общем, комплект развлечения по гроб жизни. А учитывая, что братья и сестры наследуют после друг друга независимо от полнородности — восторгам нет предела.

Тут бы надо извлечь какую-нибудь мораль... Но мы не будем. Захочется кому — наследуйте эту обязанность. А мы не хотим про собственность. Имеем право!

* * *

Мадам А. И. Пергамент, предисловие к книге И. Хазерки, *Вступление в брак* (1980). Женский флер на человеконенавистнической писанине морального урода. Дескать, автор преуменьшил значение любви — а она таки значит кое-что, и «в век научно-технической революции Ромео и Джульетты не исчезают». А мы, вот, помним — и приветствуем любовь как «величайший нравственный прогресс»... Казалось бы — самое то. Можно согласиться:

В условиях социалистического общества эта любовь может развиваться именно как любовь супругов и недооценивать ее значения нельзя.

Действительно, дикие условия — дикие формы. Но сам факт признания супружеской любви как человеческого (а не правового) отношения — тоже нравственный прогресс. Любить вопреки всему! Безотносительно к браку. Но дальше все по накатанной:

Семья выполняет важнейшую общественную функцию — рождение и воспитание детей, успешное осуществление которой возможно лишь в дружной, спаянной семье...

То есть, рожать вне семьи — дело дохлое, а уж воспитывать — только родичам, и пусть ваше социалистическое государство не суется куда не надо! У нас тут споенный коллектив — противостоящий обществу в

целом, и воссоздание этого противостояния — классового расслоения и классового сознания — это важнейшая общественная функция.

Развод во всех случаях, даже когда он, выражаясь словами Энгельса, явится благодеянием для супругов, представляет собой в то же время трагедию как для самих разводящихся, так и для их детей...

Казалось бы, ясно: загонять людей в семейные и прочие коллективы — значит, обрекать их на муки не только при разрушении части связей, но и на стадии относительной стабильности, когда все по местам, и можно «общественно функционировать»: далеко не все могут выпутаться из навязанных сверху структур, и если родителям кое-где даровано право развода — дети остаются бесправными игрушками враждебных стихий. Но даже здесь, трагедия не в разводе — а в реакции общества, лицемерно сокрушающегося по поводу несчастных — и тем самым навязывающего им роль несчастных, поражение в правах. Исправлять надо не право, а общество — уничтожать любые взаимозависимости, оставить только свободное общение каждого с каждым, без бумажек и финансовых проблем.

* * *

Карлос Элета Альмара (наряду с Консуэлой Веласкес) — классический пример того, как одна великая находка может навсегда вписать личность в историю культуры. Но, при всем уважении, у нас таки есть к автору несколько риторических вопросов...

Ya no estás más a mi lado, corazón.
En el alma sólo tengo soledad.

Позвольте, а почему, вдруг, отсутствие любимой рядом — опустошает душу? Если она вышла в булочную за круассанами — ее надо меньше любить? Даже если булочная так далеко, что обратно уже не добежать. По логике, любовь навсегда переселяет любящих в души друг друга — и никакой силой их оттуда не вытравить! Кто любит — не может быть одинок. В нем не только воспоминание, не только образ любимой — нет, в нем она сама. И если в разлуке ты не можешь ее увидеть («*no puedo verte*») — неча на бога пенять, ибо он лишь твое зеркало, отражающее банальное неумение любить. Любящие никогда не расстаются — их задушевным беседам нет преград. Свет любви не исчезает, что бы ни произошло — и при любых поворотах судьбы жизнь уже не будет

беспросветно темна («*vida tan oscura*»): однажды вспыхнувшая любовь становится маяком на все времена.

Да, любимая может стать смыслом существования («*la razón de mi existir*») — но не предметом культа: одни идолы легко приходят на смену другим. Поэтому строку

Adorarte para mi fue religión.

можно было бы принять лишь понимая «религию» в очень философском смысле, как некую всеобщую связь, «восстановление единства».

Y en tus besos yo encontraba,
El calor que me brindaba
El amor y la pasión.

Не то чтобы мы были против поцелуев, — скорее даже очень за; однако если кого-то надо регулярно поджаривать для сохранения чувств, — стоит ли овчинка выделки? Но главное, как водится, в финале:

¡Sin tu amor no viviré!

Во-первых, как получилось, что с уходом на тот свет дама прихватила с собой и всю свою любовь, и ни капельки не осталось? Допустим, телесно она уже не здесь; это нисколько не мешает ее любви — и даже наоборот, высвечивает с максимально возможной выпуклостью, уже не отвлекаясь на какие-то (заведомо преходящие) тела и вещи. Нехороший душок-с, вроде стремления сбагрить поскорее: *с глаз долой — из сердца вон!* — или: *баба с возу — кобыле легче!*

С другой стороны, уход любимой — вовсе не повод в петлю лезть. Скорее, даже наоборот: поскольку ее органического тела больше нет, надо (как минимум, на первых порах) предоставить ей свое, чтобы она могла продолжиться через любовь — а там, глядишь, навеки войдет в общечеловеческую культуру, через чье-то великое умение любить и быть достойными любви.

* * *

В 1984 году было уже как-то странно говорить о «загнивании» капитализма: именно в это время капитализм со страшной силой утверждался на пространствах бывшего «коммунистического» блока, самим фактом выставляя напоказ экономическую и идеологическую отсталость всяческих «товарищей». Поэтому датированной этим годом

книжку О. Г. Кирьяновой *Кризис американской семьи* (переизданную тремя годами позже и дополненную такой же агиткой про злосчастные судьбы американок) следует, скорее, считать протестом феодальной реакции против рыночного цунами, сметающего прежнюю сословную иерархию и мелкособственническую стихию ради циничной власти крупного капитала. Вынесенное на титульный лист словечко — должно, якобы, передать весь ужас (уже ожидаемых) разрушительных перемен, с которыми всеми силами надо бороться честному обывателю во имя сохранения традиционной патриархальности. Но что одному кажется крушением всего — для другого лишь начало нового процветания. Классовое общество не может без кризисов — а в конце XX века буржуазные экономисты провозгласили кризис основной движущей силой культурного прогресса, гарантом абсолютной несокрушимости рынка. Для американца заглавие кирьяновского памфлета звучало бы комплиментом, подчеркивая истинность «американской идеи» — право нации править миром.

Чтобы осуждать — надо, как минимум, иметь свое суждение. Одно и то же может не нравиться очень по-разному. Критика слева, критика справа... А то и вообще откуда-то из задницы. Характер кирьяновской позиции легко уяснить из разбросанных по тексту сентенций:

... общественные функции семьи (или, выражаясь языком социологии, ее институциональные задачи) практически совпадают с личными потребностями человека в восстановлении душевного равновесия, физических сил, рождении потомства, которые он удовлетворяет в семье.

Если кто-то решительно не в состоянии сохранять душевное равновесие в публичных местах — он не сможет сохранить его и в семье, и даже наоборот: потянет дрянь в дом и выведет семейную жизнь из равновесия. Это болезнь общества. Про «рождение потомства» — полная дичь! Нет такой потребности — и нет нужды в штампах, чтобы давать приплод.

Сразу же хочу оговориться, в любом обществе каждый человек стремится удовлетворить в семье комплекс переживаний, который определяется кратко как «семейное счастье», т. е. потребность любить и быть любимым. Это под сомнение никем не ставится.

Позволим себе усомниться! — рискуя остаться «никем». Это не про любое общество — а только про классовое, где людей вынуждают строить семьи — противопоставленные как обществу, так и членам семьи. То есть любить можно только «своих» — а все остальные враги. И после этого она будет пенять на буржуазный индивидуализм!

Снова и снова — дикая апологетика семейного размножения: дескать, семья — это

социальный институт, выполняющий важные социальные функции, прежде всего воспроизведение — рождение и воспитание новых членов общества.

Вообразить себе общество, которое не нуждается в мелком кустарном воспроизведстве, — мадаме не по мозгам. Она полагает, что

представления о браке как об институте, существующем якобы исключительно для «личного удобства», ведут к обесцениванию главной социальной функции семьи — уходу за детьми и их воспитанию.

Про настоящие социальные функции авторша либо не знает — либо притворяется. Главное — всех прочнее закабалить:

... освобождение от «пут деторождения» не просто утопический способ достижения женщиной равноправия в эксплуататорском обществе, но и абсурдный.

Почему абсурдный? Делать детей и без женщин можно. Только пока запрещено — по «этическим» соображениям. Да и круговую поруку никто не отменял:

... тончайшие узы душевной близости и привязанности, то главное, что соединяет представителей двух разных поколений (связанных одной кровью)...

Это вроде как в банде новеньких вяжут кровью. Чтобы не откосили. Поэтому — запретить разводы!

Распространение в массовом сознании идеи легкости развода и отсутствие чувства вины за распад семьи имеют самые отрицательные последствия, снижают стремление к сотрудничеству в разрешении семейных конфликтов.

Почему эти последствия «отрицательны»? Потому что отрицают уродскую патриархальность? Как же! — ведь

человечество на долгом пути своего развития стремилось пусть в идеале, но все-таки к единобрачию, именно в нем находя невыразимую притягательность и возвышенность.

Не фиг переустраивать вселенную, становиться личностью, разумным существом! Вместо этого —

мужчины, женщины и дети должны растворить свою индивидуальность в семейном союзе, объединившись во имя достижения общей цели — благоустройства дома и налаживания быта ради обретения подлинной радости и постижения высшего смысла бытия.

Стремление к свободе, жажда ничем не ограниченной любви —

вступают в неразрешимое противоречие с законами семейной жизни, требующей зачастую самоотречения и самопожертвования во имя других.

На фига же нам такие законы? Опять же, кто это «другие». Почему те, кто за стенами семейной клетки, оказываются «другеё»?

Авторша не скрывает симпатий к семейному укладу минувших дней, когда вселенная ограничивалась собственным подворьем (или границами ранчо):

Вообще в те времена отчий дом являлся средоточием всех главных жизненных интересов человека — местом труда и отдыха. Семья всесторонне опекала, поддерживала своих членов. Родители общались с детьми с раннего детства в процессе совместного труда, передавая им свой опыт и профессиональные навыки.

Конечно, были свои издержки — но они с лихвой компенсировались «тончайшими узами». Потом, в ностальгически возвышенных 1950-х,

Даже в сфере моды растворение индивидуальности в семейном союзе привело в свое время к возникновению целого стиля: все члены семьи — папа, мама и дети стремились одеваться одинаково...

Красота, да и только! С точки зрения дикого средневековья:

Какими дикими выглядят нравы буржуазного строя!

То ли дело у нас: бабушка «катит колясочку, где спит беби, или ведет за руку малыша». Какая, к дьяволу, нуклеарность? — минимум, три поколения, да чтобы жили все кучей, да еще родственники наезжали друг к другу — вплоть до седьмой воды на киселе, — и все требовали «самоотречения и самопожертвования». Слово *свобода* — в лексиконе отсутствует.

Когда средневековая дамочка живописует кошмары американского быта — это не убеждает, потому что все то же самое мы на каждом шагу наблюдали вокруг себя и в стране «развитого социализма»; ну, может быть не так решительно и откровенно — так, ведь, за откровенность платить не из чего: к 1980-м все уже разворовано, и на повестке дня «лихие 1990-е», передел награбленного. Богатая Америка могла себе позволить самые рискованные эксперименты; а для советских сама возможность, например, раздельного проживания супружеских (а часто и детей в отдельности от родителей) — нечто совершенно невообразимое.

Зато когда нам рассказывают о многочисленных альтернативах традиционной семье — это интересно и поучительно. Мировой опыт

показал, что все без исключения страны по достижении определенного уровня экономического развития приходят к такому же богатству возможностей, и традиционные браки становятся, разве что, модной экзотикой (типа свадьбы в водолазных костюмах), и, конечно же, ни к чему не обязывают. Богатые пары, например, просто коллекционируют брачные церемонии, разъезжая по разным странам и заключая брак по тамошним ритуалам: деньги есть — что не повеселиться? Потом все это можно похерить — и повторить с новым партнером по кайфу.

Если серьезно, то как раз в этом фиглярстве особенно заметна ограниченность буржуазной «эмансипации» — невозможность свободы в классовом обществе, где всеобщее отчуждение, противопоставление людей друг другу как рыночных агентов, ограничивает поведение торгашескими условиями — и все одинаково в рабстве у кошелька. Мадам возмущена:

Буржуазное общество породило всех этих моральных уродов потому, что уродливо само по себе, по своей сути.

Но навязывать людям филистерскую мораль и объявлять уродством объективные тенденции общественного развития — вот где самое уродство! Уродливость буржуазных новшеств не в отходе от пошлой патриархальности — а в том, что буржуи ни в чем не идут до логического конца, к разрушению семейственности как таковой во имя перехода к полностью общественному воспроизведству населения и полностью личным отношениям между свободными людьми. В любой форме союзы собственников — воспроизводят классовое неравенство; в этом всегда и состояло назначение семьи, и тем же самым занимаются всевозможные «альтернативы». Например, пресловутой упрощение разводов (якобы признак «вырождения»!) натыкается на многочисленные юридические барьеры — и практически нигде не может быть реализовано в полной мере; но даже те, кто сумел вырваться на волю, — не знают, что дальше делать с этой свободой:

... 5 из 6 разведенных мужчин и 3 из 4 женщин создают новые семьи в течение 3 лет после развода; 79% разведенных вступают в повторные браки.

Спрашивается: зачем? Объяснить это мазохизмом любителей наступать на грабли — детская наивность. Идиотская зацикленность на браке не случайна: значит, в устройстве экономики есть нечто, подталкивающее людей к заключению брачных контрактов, несмотря на печальное богатство опыта.

То же самое и в других «нетрадиционных» сожительствах: вечные попытки формализовать отношения, поставить на рыночные рельсы. Отношения людей — подменяются товарообменом или партнерством. Но рынок живет от кризиса до кризиса — и нет в таких «механических» и заведомо эфемерных связях ни общения, ни любви. Есть контракт — и любое отступление от прописанных в нем условий расценивается как «измена» и «предательство». Если же люди свободны — и ничем не обязаны ни друг другу, ни обществу в целом, — о каких «изменах» может идти речь? Нет религии — нет и греха.

Проповедница феодально-патриархального брака распинается по поводу «страданий миллионов людей, семейные отношения которых сложились неудачно», а также «страданий их детей, вызванных разводом родителей». Но кто именно превращает жизнь разведенных в сплошное страдание? Дикари вроде мадам Кирьяновой, противники общественного прогресса, муссирующие сплетни о неполноценности всякого существования кроме семейной клетки на все времена. Они выстраивают экономику так, чтобы заставить население размножаться по утвержденной разнарядке и нести бремя выращивания потомства.

Тут центральный пункт разногласий. Полностью общественное производство органических тел и их социализация — единственная возможность решительно избавиться от проблем с распределением «родительских обязанностей», с дележкой детей при разводах (наряду с прочим имуществом и долгами), с претензиями стариков на достойное содержание на средства взрослых детей.

Многие феминистки призывают соотечественниц в будущем вообще отказаться от семейных ролей, поскольку замужество и материнство якобы усыпляют женщину, превращают ее в нравственно и физически ущербное существо.

Только так! Брак уродует людей — делает их винтиками бездушной машины. Даже у богатых, где за физическую форму отвечает штат прислуги, а за душевное состояние — дорогой психотерапевт, — даже у них духовная ущербность неизбежна, в силу самой необходимости что-либо компенсировать. Разумеется, к мужчинам это относится в той же мере. Непоследовательность буржуазного феминизма вовсе не в «абсурдности» идеи освобождения от детей, а в том, что это движение *феминизма* — заведомо противопоставляющее женщину мужчине, и наоборот. Речь не о перетягивании одеяла, выбивании прав и льгот; надо в каждом (независимо от пола и возраста) видеть *человека* — и строить

отношения свободных людей, а не просто менять одни роли на другие. Господствующему классу такие вольности не по нутру: эдак, ведь, можно замахнуться и на право господ ездить на шеях рабов! Поэтому они и пытаются, допуская какие угодно нововведения, спасти саму идеи семьи, взаимного рабства, рыночной конкуренции, — и подневольного репродуктивного «счастья». И для этого спонсируют писателей вроде представленной здесь вульгарно совковой мадам.

* * *

Типичная апологетика раздельного воспитания:

Что касается мальчиков, мы учтываем, что они следуют инструкции, не любят повторений, долгих объяснений. Им импонирует смена событий, всевозможные соревнования, они любят самостоятельно искать новые пути, быть первооткрывателями. У девочек все по-другому. Им нужно подробно объяснить тему, приводить примеры и только потом предложить решить задачку. Или, например, по литературе мальчики предлагают, как правило, сюжет, а девочки — описание.

То есть, гендерные предпочтения — от природы, и надо их учитывать в системе (массового, мещанского, рабского) образования. Правильный вывод другой: что-то в обществе не так с образованием малолеток, начиная с младенчества (или даже до рождения); из-за этого в школу приходят духовные уроды со сложившимися предпочтениями, — намертво вбитыми в сознание родителями и обществом. Не детей надо делить по полу (а если кто нетрадиционный?), а перестраивать дошкольное воспитание и школу так, чтобы любые предпочтения считались нормальными — и всегда можно было бы подобрать курс индивидуально, развить наклонности, а не подвести их под стандарт. Но это уже совсем другие деньги...

* * *

Газета *Новости радио*; ленинские слова эпиграфом к номеру 4 от 1928 года (контекст в ПСС найти не удалось):

Мы должны изыскать способы непосредственного общения с самым заброшенным крестьянином. Без бюрократизма, без проволочек в самую глушь. И это сделает радио.

Утопическая чушь! Так и позволили кому угодно радиоровать что-нибудь в Кремль, лично тов. Ленину... Без бюрократизма. Даже сегодня, в эпоху компьютеров, сотовых сетей и космической связи, перекрыть кислород неугодным гражданам — плевое дело. Технологии контроля не отстают от технологий массовых коммуникаций.

Но главное возражение не в том. Бросается в глаза высокомерие кремлевского начальника, считающего уродами всех, кому довелось жить дальше 50 километров от Москвы (или, на худой конец, областного центра). Характерная лексика: «заброшенный», «глушь»... Даже крестьяне тут упоминаются в уничижительном смысле: где им до рабочих — а уж тем более до номенклатурного бюрократа!

Предполагается, что ситуация в норме, что так оно и останется в обозримом будущем, — и радио призвано лишь упростить доведение партийных директив до всяческих «заброшенных», или стукачество с мест. Если же подходить к делу по-революционному, постановка задачи совсем другая: пора сделать так, чтобы не было больше сортировки по степени «отсталости» — чтобы никаких заброшенных, и никакой глупши. Одними радиоволнами тут не обойтись: придется и дороги строить, и налаживать оперативную логистику, и обеспечить свободу переселения, и организовать распределенные (сетевые) производства, чтобы большую часть необходимого стало возможно изготавливать на местах. И самое главное — отправить в компост деление на управленцев и управляемых, производственников и организаторов производства. Разумный человек знает что делает и зачем — и нет над ним ни блюстителей, ни господ.

* * *

Когда красотка Вис рассуждает о неразумности одарить собой удалого Рамина, который привык к разгульной жизни и совершенно не умеет хранить кому-либо верность, — пикантность ситуации в том, что речь не о выборе суженого, а о супружеской измене: для дамы вопрос о верности супругу вообще не стоит — ее волнует вопрос о развитии увлекательного романа (при сохранении статуса царственной особы и прелестей дворцовой жизни). Здесь персы идут в ногу с развитием европейской куртуазности — и даже чуток опережают Европу. Поэма Гургани — по мотивам древнеиранских сказок; точно так же в Европе куртуазная культура вырастает не из аристократических развлечений, а из народного творчества, следы которого в обработках XI—XII веков

разглядывать приходится с микроскопом: роман о Тристане и Изольде переносит во дворец экзотику бретонских легенд — но сами они уже вторичны, следуют не исконно кельтской традиции, а вкусам датчан-завоевателей (давших героям другие, германские имена).

Немаловажная деталь: законной супругой шаха Вис становится по праву сильного, как военная добыча, — и здесь, кстати, иллюстрация неэкономической сути права, о том, как дух (в форме насилия) лепит историю (вопреки уверениям Энгельса, что надстройка рождается сама собой из производственной пены). Но до этого она уже стала супругой своего брата (это воля матери!); здесь очевидная отсылка к древним родоплеменным отношениям: братьями считались члены материнского рода, безотносительно к несущественным репродуктивным деталям (действительному отцовству и материнству). Поучительно также, что, став женой шаха, Вис остается и супругой своего брата (и продолжает его любить!) — которого шах просит вразумить чересчур игравшую даму, на правах «младшего мужа». Само по себе присутствие третьего — товарищей по супружеству не смущает: им не нравится лишь игра не по правилам, когда распоряжаться своей любовью Вис хочет сама, без учета вековых традиций и политического расклада.

Нечто подобное есть и в греческой мифологии: Прекрасная Елена по пути к законному супругу успела родить ребенка где-то «на островах», а ее брак с Парисом не мешает ей оставаться женой Менелая и после завершения многолетних приключений (а не будь этого повода — война состоялась бы все равно).

* * *

В 1980-х между нами был в ходу термин: *косолаповский стиль* — в честь одного большого философа, отличавшегося умением говорить много и правильно, и даже по существу, — но в итоге так ничего и не сказать. Его трактаты прекрасно шли как дайджест, источник ссылок, выражение официальной политики, — но никоим образом не идеяная позиция, не взгляд в будущее. После чтения не оставалось ничего, не возникало ни малейшего импульса продолжить или возразить. Не то, чтобы кто-то относился к нему отрицательно — напротив, точность и определенность формулировок, верность духу марксизма, вызывали уважение — которое только укрепилось после контрреволюционного переворота: почти все бывшие ленинцы переметнулись на сторону врага

(не говоря уже о совковых диверсантах) — а Косолапов остался собой, на фоне резко накренившегося вправо руководства компартии.

Но мы здесь не о нем, а о книге Р. Г. Гуровой *Социологические проблемы воспитания* (М. 1981). Тот же дух. Социология всегда была буржуазной лженаукой — но здесь это совсем болото, выцарапать из которого разумные кочки почти немыслимо — да особо и не тянет.

Центральная тема — переплетение в развитии личности стихийных влияний и «целенаправленного руководства»; первое как «социальное формирование» — второе как «воспитание». Кроме общественных факторов — еще и биологические («наследственные»). Есть также довольно туманная идея «социализации», где все в куче: философский, социологический, социально-психологический, педагогический аспект; становление человека как социального существа, дескать, связано с духовным воспроизведением общества через социальное становление молодого поколения, и здесь та же двойкость: усвоение культуры — и воспитательный процесс (который вдруг оказывается лишь подготовкой к социальному ролям).

Нас уверяют, что между «формированием» и «воспитанием» нет никаких антагонизмов. Оптимизм не очень убеждает: сама возможность постановки подобных вопросов — очевидное указание на то, что противоречия таки возможны, и следовало бы выяснить условия их развития в антагонизм; но про это ни слова — а в результате никаких оснований судить о нестыковках в данном конкретном обществе.

В комплекте также трюизм об обратном воздействии воспитания (почему не социализации вообще?) на «воспроизведение общества и социальные противоречия» (из которых почему-то исключены трения между педагогикой и уличной стихией).

В принципе, в основу научного (то есть, заведомо ограниченного и частичного) исследования можно положить любую модель — и теория двойной детерминации годится как любая другая. Но в социологии теории провозглашают не для того, чтобы из них что-то следовало:

Социально-педагогическое исследование проводится на основе конкретного эмпирического материала.

То есть вместо осмыслиения действительности в свете базовой модели предлагается подбирать фактики, комбинировать их под какую-нибудь статистику — а вовсе не предсказывать и тем более не конструировать. По логике, конкретность — то, к чему мы восходим от теоретических абстракций, — а вовсе не голый эмпиризм.

Вернемся к теории. Как только заходит речь о целенаправленном воздействии на личность — напрашивается вопрос: а кто и для чего будет воздействовать. Нет ответа — и воспитание выглядит такой же стихией, ничем по сути не отличающейся от «формирования». Либо придется вспомнить традиционное (со времен Древнего Царства или раньше) различение «природного» и «божественного» мира — а между ними пристроилось человечество, равно противостоящее обоим. По ходу дальнейшего, одно недоумение сменяется другим: оказывается, что воспитание — прерогатива специально для этого созданных учреждений (семья, школа, трудовая колония и т. д.); то есть, все, что не удостоено официального допуска, — воспитывать, по определению, не может (не имеет права): оно в состоянии только «формировать». Если, допустим, для меня любовник матери авторитетнее законного отца — брат пример я обязан с родителя (или хотя бы изображать почтение), а внешний дядя для науки останется лишь «формирующим» эпизодом. Несоответствие такой позиции бытовым реальностям бросается в глаза; настаивать на приоритете формальной педагогики — чистейший волюнтаризм.

Другими словами: выдвижение во главу угла борьбы стихийных и намеренных влияний — это сугубо классовый подход, предполагающий, что намерения одних общественно весомее все прочих намерений, и что педагогическое воздействие «профессионалов» имеет статус закона, перевешивая любые альтернативы. Перефразируя известное изречение: закон крив — но он закон.

Переход к бесклассовому обществу устраниет господство одних людей над другими — и одного воспитания над другим. В таком мире любые общественные воздействия на равных участвуют в социализации, и никакая конкуренция в принципе невозможна, различия неуместны. Поэтому разумнее поинтересоваться другими обращениями иерархии социализации, взяв за основу ее отношение к деятельности, а не классовый диктат.

Положенный по академическим канонам исторический обзор — чисто формальная пробежка по верхам, на уровне сборника анекдотов. Пожурив хрестоматийного Платона (не читанного даже в переводах) за «реакционную» идею дополнительности общественных функций и специализированного воспитания (прототип буржуазной педагогики) — Гурова выплескивает из купели и здоровую мысль о полностью общественной социализации, когда вообще дети не знают родителей, и заботится о них общество в целом (у Платона неотделимое от

государства, полиса). Поэтому гуровский идеал «всестороннего и гармонического развития каждого человека» сводится (в русле борьбы с христианским аскетизмом) к дикой природности:

... естественные потребности человека, его природа — вот главные детерминанты воспитания...

Потом вдруг выясняется, что «идея о выведении целей воспитания из природы ребенка» впоследствии тоже становится реакционной — и тогда вообще неясно, что из чего выводить. Тем паче, что представления о могуществе воспитания (у Эразма) — это «идеализм».

Верное наблюдение, что сама постановка вопроса о преобладании общественного и личного в воспитании ущербна, ибо предполагает вечную противопоставленность личности обществу, — не находит продолжения и тает рассветной дымкой... Точно так же повисает в пустоте замечательная сентенция:

Чем дальше будет прогрессировать человечество, тем более станет возрастать удельный вес субъективного фактора.

Приведенные автором ссылки — ведут в ту самую пустоту: ничего такого у Маркса и Энгельса на указанных страницах нет. А понимать под «субъективным фактором» можно что угодно. Например, диктатуру олигархической буржуазии. Это совсем не то же самое, что нарастание духовности, осмысленность и разумность.

Столь же легковесны рассказы об идеях Н. К. Крупской про вывод всех традиционно семейных производств из узости мелкого частного хозяйства к универсальной индустриальности. В частности, воспитание детей — забота общества в целом, и никакая семья не сможет обеспечить такого разнообразия возможностей, без ограничений предоставляемых необходимые ресурсы. Крупская здесь не всегда последовательна — истолковать можно по-разному. Гурова вращается в институциональной педагогике — и для нее все сводится к примату школы, попыткам (по подсказке А. С. Макаренко) сделать ее всеобщим центром, которому подчинено все остальное. Такое уж поветрие! — вот, и у Сухомлинского про то же... Но мы знаем, что в ту же эпоху существовали и другие радикальные течения, в том числе проповедующие полное отмирание школы, ненужность педагогики как таковой, вплоть до объявления семейного и школьного воспитания главным источником личностных девиаций и проблем с психикой (за рубежом — А. Миллер, в СССР — В. Н. Шульгин и др.).

В контексте борьбы воспитывающего руководства с формирующей личность общественной стихией — про кошмары урбанизации.

Период изменений в технологии производства, в науке и технике стал гораздо меньше периода активной деятельности человека: в любой профессии за 5–7 лет происходит по существу смена труда без перемены места работающего.

Ну, здесь мы немного погорячились... Даже в XXI веке какой-нибудь бухгалтер пыхтит с первичкой и 1С вся активную жизнь — и не особо рвется куда-то еще. Номенклатура руководит, финансист играет на бирже, программист программирует... Десятки и сотни лет. При всех внешних изменениях, характер труда, его дух — остается неизменным. Если обезьяну научить нажимать на кнопку, чтобы получить банан — она от этого настанет совершенно новой личностью.

Большой город открывает возможности для создания крупных школ и разделения труда учителей, что существенно повышает уровень образования и воспитания. Он окружает ребенка внешкольными учреждениями... В то же время большой город, концентрируя огромные массы людей на сравнительно небольшой площади, разобщает, разъединяет людей.

В этом и состоит прогрессивная историческая роль городов! Зачем нам сколачивать банды? Пусть каждый будет сам по себе — чтобы не людей подгонять под образовательные стандарты, а школу научить индивидуально заниматься с каждым, учитывая его личную историю и личные запросы. Тогда вообще неуместны гуровские разговоры про «необходимость усиления контроля» — как внешнего («повышение ответственности за поведение детей каждого взрослого», «введение ученических билетов») — так и внутреннего (воспитание самоконтроля и внутренней дисциплины). Кстати, пора бы озабочиться снятием возрастной дискриминации: личность не есть нечто ставшее — она всегда в процессе становления, и потому как «формирование», так и «воспитание» равно актуальны для всех — от эмбрионов до покойников.

Потенциальные воспитательные возможности средств массовой информации значительно выше, чем их действительный эффект, но для их осуществления необходимо педагогическое руководство.

Массы в ступоре. Педагогическое руководство прессой и интернетом — за гранью самой смелой фантастики. По той же логике, учителя должны стать организаторами науки, в министры надо назначать педагогов, и самый главный в стране — вождь и учитель.

Гурова восторженно провозглашает, что учитель сейчас — дирижер в потоке информации, оператор, управляющий процессом умственного развития. Почему воспитание сводится к информированию и прокачке мозгов — дело темное. Зато есть неприглядный факт:

Результаты массовых опросов показали, что лишь половина учителей положительно относится к своей профессии. По мере увеличения стажа учителя, его отношение к своей профессии становится хуже, причем эта тенденция характерна для учителей и города и села.

Лишь 20% учителей вполне определенно не хотели бы изменить свою профессию, и только 13% — хотели бы видеть своего сына или дочь в роли педагога.

Но почему учителя не хотят учить? Да потому что ученики не хотят учиться! Не нужно им это, по жизни. Значит, изобретать «другие, более тонкие и глубокие мотивы учебного труда» — прививать «любовь к занятиям», подсовывать мысль, что «без знаний нельзя быть социально и культурно значимой личностью», и все такое. То есть, по факту, борьба учителей за сохранение рабочих мест, попытка удержаться у кормушки. А народ предпочитает не «учебный труд», а реальный вклад в шанс реального оклада. Нужно не изучение языка — а получение сертификата, не абстрактная культурность — а вхождение в конкретный бизнес. На это уже тогда было заточено образование за рубежом — а теперь и на постсоветском пространстве. Где теперь ваши сказочки?

Уже при социализме у молодежи формируется коммунистическая идеология и нравственность, ставится задача всестороннего развития личности.

Задача ставилась еще древними греками! А идеология не может обогнать способ производства. Тонкий момент: идеология и нравственность таки не воспитывается — а формируется; то есть, в соответствии с гуровской раскладкой, роль воспитателей = 0. Ну и, конечно, резонный вопрос: а что, кроме молодежи идеология и нравственность никому не нужны? Почему бы и детишек не накачать идеологически? — да и взрослым не мешало бы... Буржуазная машина промывания мозгов никакими категориями не брезгует — и для каждой подбирает самые доходчивые заманочки: вот вам прототип универсального образования будущего в извращенно-классовой форме.

Массовое вовлечение женщин в общественное производство вызывает необходимость расширения сети дошкольных учреждений, школ-интернатов, школ с продленным и полным днем, внешкольных

учреждений, усиление общественного сектора воспитания в целом. С другой стороны, важным путем оптимизации процесса воспитания может стать кооперация усилий родителей и «разделение» их воспитательного труда. То, что не могут сделать отдельные родители, с успехом выполнит родительский коллектив, тесно связанный со школой.

Прикиньте: идея «коллективного материнства» брошена не кем-нибудь, а самым первым большевиком (по воспоминаниям Клары Цеткин). Так что замах серьезный. Нормальному человеку, конечно же, не понять, почему с переходом женщин «в общественное производство» они должны тянуть на себе еще и семейные вериги: логичнее было бы вообще избавиться от кустарщины — и никакая кооперация тогда вообще не нужна. Вспомним того же классика: кооперация есть переходная форма к индустриальному производству, вынужденная необходимость в условиях отсталой экономики и столь же недоразвитой духовности. Старик Платон таки был прав: не должны дети знать своих родителей; но мы сегодня можем сделать и следующий шаг: деление на детей и взрослых следует оставить в классовом прошлом — и строить мир, населенный людьми, а не женщинами, мужчинами, детьми, родителями, русскими или китайцами, городскими или деревенскими... Как-то так.

* * *

Психиатры и психотерапевты приводят многочисленные примеры того, как шизоидная личность умеет накликать беду: человек придумал что-то, написал или рассказал — вроде бы, осознавая, что это всего лишь выдумка, полет фантазии... Но проходит время — и то же самое случается с ним самим: сны сбываются.

Трактовка, конечно же, чисто медицинская: навязчивая идея, болезненная предрасположенность... Ненормальность. Когда нечто похожее происходит, например, с известным поэтом — начинаются разговоры о творчестве как болезни, умопомрачении (вперемешку с просветлениями), вдохновенном исступлении... В ту же струю — образ пророка.

Но стоит вырваться из профессионального кретинизма — и мы обнаруживаем, что сбываются не только дурные сны, что предвидения на каждом шагу, — это неотъемлемая часть нашей повседневности.

Врачи сталкиваются с ненормальностями общественного устройства — когда неразумное общество лишает разума людей, доводит их до скотского состояния, — а они изо всех сил пытаются сопротивляться; отсюда внутренний конфликт, расщепление личности. В большинстве случаев люди справляются с перекосами самостоятельно; обычное представление, что в каждом человеке сидит скрытая болезнь и что нуждающихся в терапии гораздо больше, чем тех, кто обращается (или кого приводят) к врачу, — это проекция уродливости классового бытия, всеобщности отчуждения и рыночных извращений.

Ставить себе цели и добиваться их реализации — что может быть нормальнее? В том и суть разума, чтобы действовать не вслепую, не наугад, по прихоти обстоятельств, — но держать перед собой картину выдуманного (идеального) мира и карту путей к нему. Плохо — когда нет мечты, когда уже не на что надеяться. Тогда человек переселяется в воображаемый мир — чтобы защититься от наплыва мерзости. Трагедия в том, что внутри крепостных стен — то же, что и снаружи; когда все это бушует в малом объеме — становится еще хуже. Лекарство лишь одно: любовь. Но как трудно сотворить ее в мире без любви!

* * *

Авторы дешевых книжонок про манипуляторов и психологическую защиту сами себя пытаются убедить: вредители всегда были и всегда будут — их невозможно перевоспитать, и никакое общество не свободно от них. А потому, дескать, готовьтесь распознавать наезды, защищаться, отражать атаки и контратаковать... Ничего другого, якобы, не остается. Реклама вечной войны

Даже если считать, что это лишь о современных, испорченных тысячелетиями классовой вражды людях, — все равно неправда. Если согласиться, признать неизлечимое уродство мира, — то и в нас не остается ничего человеческого, и тогда просто незачем защищаться: лучше смерть, чем такое существование, животность борьбы. Тому, кто принимает закон неразумности — не нужен разум.

Принципы разумного поведения — любовь и свобода. Если мы не собираемся ни от кого обороняться — на нас невозможно напасть; если мы не собираемся отнимать — у нас невозможно отнять. Тела могут вести себя как угодно — духа это не касается.

Речь, конечно же, не о глупой медитации, не об уходе в мистику, не о юродстве. Эти пути — подсказаны теми, кто насаждает всеобщую вражду, кто использует отказавшихся от разума для подавления разума. Да, мы живем в нечеловеческих условиях, и это вынуждает нас воплощаться в неразумности бытия. Но в самой мерзкой уродине — можно поселить каплю любви, сделать ее неразумность выражением свободы. Классовый человек — частичный человек; что у разума в единстве — в отчужденных друг от друга сознаниях выглядит чужим. Но если суметь хотя бы на миг забыть о различии твоего и моего — осознать духовное единство, — никакие манипуляторы нам не страшны: они никогда не отнимут у нас того, что им не нужно, чего они не в состоянии даже заметить. Мы примем к сведению наличие таких животных — но общаться будем только с людьми, искать в каждом новом знакомстве человека, а не врага. Иногда не получится — но даже единственная находка выводит нас из дикости, дарит свободу, позволяет любить и быть достойными любви.

* * *

Из дневников Лаврентия Берии:

Я знаю, что такое власть давно, мальчишкой был, а уже власть была. Что для меня была власть? Ответственность. Тебе доверили, работай. Не умеешь, учись. Не хочешь — через не могу, а делай! Тебе же доверили. Потом, когда у тебя власть есть, это же интересно. Сам придумал, сам сделал, видишь, что человек рядом толковый, можешь его поднять, помочь, он тебе тоже поможет, тебе же легче работать будет.

Чем больше власти, тем интереснее. А если сам себе хозяин, так тут работай и работай. Сказал, делается. Не делается, наказал. Не помогает, выгнал. Ты все можешь. Видишь болото, осушай. Хочешь, чтобы дети были здоровыми и грамотными, строй стадион, строй институт. Учитесь, бегайте, радуйтесь. А как бывает? Думает, получил власть, можешь есть всласть. И начинают шкурничать, барахолить... Сам не заметил, как стал враг.

Фантастически точная иллюстрация того, как в классовом обществе вполне человеческие стремления приобретают извращенно-классовые формы. Жажда быть для людей — оборачивается необходимостью быть над людьми, — то есть, против людей. Классовое воспитание уродует

людей: жесткая ограниченность, недоступность творчества, приводит к отказу от духовности как таковой; кто пытается оставаться личностью, приводить в порядок мир, творить, — воспринимаются как безумцы или враги. Шкурные интересы — близки и понятны; грандиозные планы — блажь. Власть — всегда насилие, эксплуатация человека человеком; власть духовно губит и насильника, и жертву, независимо от благости намерений. Но во власти два пути: либо силой подавлять шкурный протест — либо уподобиться шкурникам, стать для них своим. В России пробовали оба. Результат один: крушение и распад.

На гребне революции возникает иллюзия атмосферы творчества — опьянение новизной, фейерверк возможностей... Самое грандиозное — изменять мир! Но человек все-таки для того, чтобы облагораживать природу — а не насиливать.

Значит надо искать другое — размывать систему изнутри, искать место для любви. Трудно. Но зачем нам разум?

* * *

Как ни вылизывай стилистику — огехи будут. Иначе чем бы кормилась армия журнальных и литературных редакторов, научных рецензентов и благонамеренных цензоров? Тем более трудно соблюсти реноме там, где подобающих слов и формулировок пока не придумали, и приходится приспособливать старое, изрядно потасканное, тысячу раз перевранное. И заранее смириться с неизбежным: «не так поймут». Чтобы понять «так» — надо воссоздавать контекст: влезть в шкуру автора, иметь миллионы общих знакомых, пропитаться историей (то есть, хронологией и логикой) его работ; кому и зачем взваливать на себя лишний труд?

Вот, например, глава о кооперации в *Капитале* Маркса (за номером одиннадцать). Масса точных зарисовок из промышленной истории — плюс вполне резонные политические выводы. Казалось бы, в разгар компьютерной революции распараллеливание и многопоточность уже не в новинку — так что описанные Марксом варианты перешли в чисто технологическую сферу: какая там борьба классов? — мы уже и классы понимаем совсем иначе... Но у Маркса по старинке [23, 337]:

Та форма труда, при которой много лиц планомерно работает рядом и во взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе

производства или в разных, но связанных между собой процессах производства, называется кооперацией (*concours des forces*).

Что получилось в англо-американском переводе? Французское *concours* вполне соответствует английскому *concurrence* — что, конечно же, совсем не то же самое, что *competition*. Но возьмите русскую литературу (прежде всего компьютерную): все поголовно переводят *concurrence* как *конкуренция* — и вместо соединения сил нам предлагают имперский принцип: разделей и властвуй.

Казалось бы, что Маркса-то винить? Это все русские буржуи, которым подобострастно угоджают новорусские переводчики (а иначе капусты не нашинкуют). А у Маркса очень правильно:

Здесь дело идет не только о повышении путем кооперации индивидуальной производительной силы, но и о создании новой производительной силы, которая по самой своей сущности есть массовая сила.

К сожалению, развить идею коллективного субъекта как одного из уровней субъектности вообще (то есть, насчет иерархичности разума) Маркс не озабочился; ученики и последователи вообще такими темами не увлекались — им бы нахапать власти, а потом тихой сапой восстановить *status quo*, при иной расстановке экономических сил: на фига разум, когда есть деньги? Но у Маркса читаем [23, 344–345]:

Рабочий является собственником своей рабочей силы лишь до тех пор, пока он в качестве продавца последней торгуется с капиталистом, но он может продать лишь то, чем он обладает, лишь свою индивидуальную, обособленную рабочую силу. Как независимые личности, рабочие являются индивидуумами, вступившими в определенное отношение к одному и тому же капиталу, но не друг к другу. Их кооперация начинается лишь в процессе труда, но в процессе труда они уже перестают принадлежать самим себе. С вступлением в процесс труда они сделались частью капитала. Как кооперирующиеся между собой рабочие, как члены одного деятельного организма, они сами представляют собой лишь особый способ существования капитала. Поэтому та производительная сила, которую развивает рабочий как общественный рабочий, есть производительная сила капитала. Общественная производительная сила труда развивается безвозмездно, как только рабочий поставлен, в определенные условия, а капитал как раз и ставит его в эти условия. Так как общественная производительная сила труда ничего не стоит капиталу, так как, с другой стороны, она не развивается рабочим, пока сам его труд не принадлежит капиталу, то она представляется

производительной силой, принадлежащей капиталу по самой его природе, имманентной капиталу производительной силой.

У кого есть чем — могут сделать далеко идущие выводы. Оказывается, источник прибавочной стоимости не способность трудиться как таковая, а та культурная составляющая, которая отвечает за качественно иной характер общественного труда по сравнению с трудом индивидуальным. Иначе: не сложение усилий, а их соединение, разумная организация производства, не сам труд — а его общественность! Именно эту, творческую составляющую капиталист считает своей заслугой — и чего ради за это работнику платить? Дальше вспоминаем, что отделение рефлексии от физического труда состоялось отнюдь не по добруму согласию сторон, а путем насильственного порабощения одних другими; даже если (в духе политэкономических робинзонад) столкнуть одного работника с одним нанимателем — бросается в глаза изначальное неравноправие: организатор производства и производитель фактически договариваются лишь о совместном производстве (с соответствующим распределением ролей) — но плоды совместности почему-то забирает один... Никакой экономикой насилия не объяснить.

Думаете, все чин-чинарам — и Маркс чистеньkim гуляет по эпохе пост-империализма? Черта с два! Потому что бочка меда испоганена порцией литературных корявостей — за которыми (согласно духу марксизма) кроется идеологическая гниль, философская и научная непоследовательность (разумеется, как выражение незрелостей эпохи). Будьте уверены: из многотомного наследия Маркса буржуйствующие потомки выдерут именно эти, антимарксистские фразочки — так что вывалинный в дерьме Маркс окажется крестником любых теоретических нелепостей и записным промывщиком мозгов. Вот, пожалте [23, 337]:

Но и помимо той новой силы, которая возникает из слияния многих сил в одну общую, при большинстве производительных работ уже самый общественный контакт вызывает соревнование и своеобразное возбуждение жизненной энергии (*animal spirits*), увеличивающее индивидуальную производительность отдельных лиц, так что 12 человек в течение одного совместного рабочего дня в 144 часа произведут гораздо больше продукта, чем двенадцать изолированных рабочих, работающих по 12 часов каждый, или один рабочий в течение следующих подряд двенадцати дней труда.

Видали таких? Оказывается, кооперация нужна как раз для насаждения духа конкуренции, для воспитания рыночного сознания! Капиталисты

сгоняют толпы в цеха и офисы, чтобы одни подзуживали других — и все стучали друг на друга. После этого лингвистические игры россиян уже не кажутся безграмотной случайностью. Отсюда прямо вытекает ленинская бредятина о «социалистическом соревновании» — конечно же, при всепроникающей мерзости «учета и контроля». И совсем уже естественны апелляции к животности: человеческое общение — в пленах дикой конкуренции, борьбы за существование; никакой разумности от быдла ожидать не приходится (к вящему удовольствию господ).

Дальше следует перл перлов — который не устают цитировать ехидные «ценители» творчества Маркса [23, 337–338]:

Причина этого заключается в том, что человек по самой своей природе есть животное, если и не политическое, как думал Аристотель, то во всяком случае общественное.

Вот так. Открытым текстом: «человек есть животное». Да еще и «по природе». Лучший подарок мировой буржуазии. Можно это было сформулировать иначе, с учетом уже существующих к тому времени марксовых тезисов об общественной сущности человека, об отличии сознательной деятельности от пчелиной архитектуры и человеческого восприятия от глаза орла? Поспешили, подумали, что и так сойдет... Вспомнить бы давешнему студенту-правоведу: все, что вы скажете, может быть использовано против вас.

Используют. Тем более, что ляпов предостаточно — и нетрудно надергать цитаток, да скомпоновать так, что псевдо-ницшеанская *Воля к власти* покажется детской забавой. Что можно этому противопоставить? Только разум. Отказ от противопоставления. Чтобы не ссыльаться на авторитеты, а действовать своим умом и чувствовать своим сердцем. Никто не решит наши проблемы за нас — и не поднесет свободу на золотом блюдечке. Насчет общаться и трудиться сообща — всегда пожалуйста. Но не по разнарядке сверху, и не ради успеха или побед.

* * *

Вслед за А. Н. Леонтьевым, мы определяем человеческое поведение как иерархию деятельности — а субъект в контексте поведения есть личность. В такой трактовке, психология личности занимается прежде всего иерархией ее мотивов: что-то важнее другого, одни обращения иерархии предпочтительнее других. Альтернативный подход предлагает В. В. Столин (*Самосознание личности* — М. 1983): о личности мы судим

по иерархии внутренних преград — и личноство характеризует человека как раз то, чего он не может себе позволить. Столин вполне согласен с Леонтьевым — и свою модель рассматривает лишь как дополнение и уточнение, другой способ говорить о том же самом. Тем не менее, сама возможность смотреть с другого бока заставляет задуматься о причинах этой дополнительности и о ее исторических перспективах.

По Столину, личноство выражает себя не просто в деятельности, а в поступке, который он понимает как отношение мотива к преграде. И то, и другое может иметь как положительный, так и отрицательный смысл: мотивация соотносится с субъективной оценкой и расценивается как достойная или недостойная; точно так же, препятствие либо отвечает субъективным представлениям о недопустимости — либо стоит на пути к чему-то личноство желательному. Соответственно, удержаться от дурного — это поступок; переступить через себя и подчиниться дурным обстоятельствам — слабоволие. Аналогично, преодоление внутренней преграды ради нужного и важного — поступок; не решиться проявить себя — трусость или подлость.

У кого нет внутренних преград — «не совершает поступков, поскольку он не ограничен в выборе действий, не ограничен в выборе средств, ведущих к цели». Эдакий Мефистофель.

Если полагать, что бесклассовое общество снимает противостояние личности и общества и тем самым устраниет внешние и внутренние преграды, — получается, что в будущем не может быть личностей, одни мефистофели...

Но если есть иерархия деятельности — есть и ее обращения, которые так или иначе отличаются друг от друга. То есть, личноство в леонтьевском смысле все-таки возможна! Следовательно, проявление личности отрицательным образом, в виде иерархии препятствий, — типично классовое явление, и корни его надо искать в системе всеобщего разделения труда.

Классовый человек никогда не становится представителем общества в целом — он выражает лишь интересы коллектива (команды, группы, семьи, сословия, класса...). Коллективы же формируются по признаку доступности тех или иных деятельности, областей культуры. Поэтому общественное производство не становится совместным трудом — оно соединяет участников внешним образом, в акте (товарного) обмена. Самосознание классовой личности — сознание межгрупповых границ. Человеческое «я» возникает как осознание собственной ограниченности,

бессилия. Как один коллектив (класс) противопоставлен другому — так и человек противостоит человеку и обществу. Человек не узнает себя в другом — а видит отличие от другого; он еще не умеет отделить себя от коллектива: можно быть сколько угодно индивидуальным — но не стать личностью. Мы знаем, что в первобытном стаде человек не отделен от стада (которое тогда играло роль общества в целом); становление цивилизации разбивает первобытный синкетизм на конкурирующие группы — и в каждой группе эта раздробленность воспроизводится как различие общественных функций, ролей, — и внутренний мир субъекта отражает ту же разобщенность. То есть, как и в отношении к другому человеку, мы прежде всего осознаем не внутреннее единство, а отличие себя от себя — сложность и противоречивость. Все эти процессы исторически необходимы для рождения разума; капитализм доводит внешнюю и внутреннюю отчужденность до логического завершения — следующим шагом будет снятие барьеров и восстановление целостности как целостности, единства всевозможных сторон.

Акт обмена — элементарная единица рыночной экономики; точно так же акт насилия — строительный материал духовной культуры. Обмен — иллюзия равенства; насилие — иллюзия господства. В акте классового насилия один человек олицетворяет власть — в другом выражается ограниченность и бессилие. Отсюда и два типа личностных барьеров: чувство господства, владение собой, — и чувство зажатости, подчиненности непреодолимой силе. Но и то, и другое — загораживает путь к свободе.

Поскольку человек не отделяет себя от коллектива — мотивация приобретает оценочную окраску: все, что вписывается в нормы моего «общества»³ — это я; что характерно для других, конкурирующих структур — неправильно и вредно. Классовое самосознание просто переселяет внешние оценки внутрь субъекта, оказывается проекцией все той же системы общественных барьеров, взаимной отчужденности. Порицание и одобрение — автоматически становится внутренними преградами, выражением несвободы. Воспроизведение субъекта в этом контексте — это не расширение круга возможностей, а строительство все новых барьеров: каждая деятельность помечается как допустимая или недопустимая — в соответствии с общественным разделением

³ Такое сужение общественного до группового получило выражение в языке: для феодального сознания общество — это сословие; для буржуа — это компания, бизнес.

труда, превращающим деятельности (как любые другие продукты) в собственность тех или иных групп. Так и получается, что иерархия деятельности представлена в классовой личности иерархией запретов и требований. Поскольку самосознание возникает как сознательное воспроизведение самого себя — мотивом этой деятельности становится строительство барьеров или их преодоление, и тогда столинская картина личности полностью вписана в леонтьевское представление о личности как иерархии мотивов.

Что меняется после уничтожения классов? Нет внешних запретов, любая деятельность равно доступна всем, — значит, нет и внутренних преград; раз нет разделения общества в целом на соперничающие группы — исчезает само понятия соответствия групповым интересам, оценочная составляющая мотива. Всякая деятельность является непосредственно общественной — и интересы каждого совпадают с интересами всех. Разумные действия вообще не нуждаются в оценке — и нет ничего абстрактно хорошего или дурного; бесклассовое общество снимает различие этики, логики и эстетики: любое поведение при этом полезно и нравственно. История человечества переплетает ранее изолированные друг от друга линии личных историй — и каждая личность тождественна любой другой, и каждый свободен быть любым другим — и только таким способом становится, наконец, самим собой.

* * *

R. Hogan, *Reinventing personality* (1998)
(*Journal of Social and Clinical Psychology* 17, p. 4):

У нас имеются данные, ясно свидетельствующие о том, что с помощью личностных оценок можно прогнозировать целый ряд значимых результатов — включая академическую успеваемость, выбор профессии, выполнение работы и уровень доходов... И мы можем прогнозировать значимые параметры жизни человека на периоды длительностью от 20 до 30 лет.

Буржуазная психология отражает буржуазную реальность: стандартные тесты изначально ориентированы на типового обывателя, вылепленного классовой системой образования — и совершенно предсказуемого. Просто потому, что сами психологи — такие же обыватели, и ничего другого не могут себе представить. Поскольку поведенческие нормы всегда сопоставлены с аномалиями — те же тесты оказываются удобным

инструментом (буржуазного) клинициста: слабые девиации интерпретируют как акцентуации, сильная разболтка — психическая болезнь (хотя по логике — это говорит лишь о неприменимости типовых шкал, о существовании неучтенных в модели качеств).

* * *

Szasz, *The myth of mental illness* (1961):

... большая часть трудностей на пути построения вразумительной теории человеческого поведения кроется в нашей неспособности (а порой в нежелании) отделять описание от предписания. Вопросы «Как устроены люди?», «Как они действуют?», «Каковы связи между обществом и индивидом?» можно и должно отделять от вопросов «Как людям *следует* действовать?» или «Каковы должны быть связи между обществом и индивидом?».

Точное выражение типичнейшего заблуждения буржуазной науки — и одного из краеугольных каменей эмпирионатурализма. Предполагается что господь-бог при сотворении мира отделил природу от человека — и нам остается только разгадывать божественные ребусы, постигая как оно *уже есть*, независимо от нас, — и стало быть, всегда таковым и останется... Те же вопросы можно ставить и не про людей — суть не меняется. Человек заранее признан вещью среди других вещей — ни о каком переустройстве мира и речи быть не может! Но тогда вопросы о том, как что-либо *должно* быть и как что-то *следует* сделать, — чистая демагогия: все равно все будет согласно природному (то есть, божьему) закону — и где-то что-то урвать удается вовсе не нашей умелостью, а исключительно милостью божьей. Разнужданная апологетика классового миропорядка.

Человек в мире не для того, чтобы следовать (якобы природным) законам — его работа состоит именно в *предписывании* природе того, как ей следует вести себя, чтобы нас это устраивало. Поэтому и к себе он подходит прежде всего с точки зрения разумности устройства — и общество хочет устроить на разумных началах. Если нынешнее положение дел нас не устраивает — мы сначала мечтаем о чем-то более человеческом, а потом ставим конкретные задачи и освобождаемся от мусора. Любая другая постановка вопроса — антинаучна и антигуманна.

Люди устроены так, как они себя устраивают. Действуем мы так, как считаем разумным. Общество не противостоит личности как самосущая

абстракция — оно состоит из людей, и связаны мы не с «обществом», а с конкретными людьми. Человеческое поведение состоит именно в том, чтобы намеренно изменять мир и себя; абстрагироваться от этого в теории — значит строить теорию не про людей.

Разделение описания и предписания — калька классовой иерархии: одни издают указы — другие принимают это как должное. По счастью, такая «объективность» — лишь иллюзия, и потому наука все-таки возможна, вопреки попыткам академического клана загнать описания в рамки буржуайских предписаний.

* * *

У Кьеркегора есть забавный пассаж:

Все дело в том, чтобы быть восприимчивым к впечатлениям и всегда сознавать, какое именно впечатление производишь на девушку ты и какое производит на тебя она. Таким образом можно любить нескольких разом, так как в каждую будешь влюблен по-своему. Любить одну — слишком мало, любить всех — слишком поверхностно; а вот изучить себя самого, любить возможно большее число девушек и так искусно распоряжаться своими чувствами и душевным содержанием, чтобы каждая из них получила свою определенную долю — тогда как ты охватил бы своим могучим сознанием их всех, — вот это значит наслаждаться, вот это значит жить!

Разумеется, речь вовсе не о жизни на несколько домов — все сугубо в «эстетическом» смысле, в рамках всестороннего развития духовности. Здесь Кьеркегор вплотную подходит к идее множественности (или иерархичности) любви: в мире духа просторно, и незачем толкаться ради теплого местечка; поэтому одна любовь не помеха другой — они всегда вместе, одинаково взаимны. Правда, когда доходит до практических реализаций — на каждом углу дежека собственности, и стоящая на ее страже «этика» (право, религия, мораль):

Под ясным небом эстетики все прекрасно, легко, грациозно и мимолетно, а стоит только вмешаться этике, и все мгновенно становится тяжеловесным, угловатым и бесконечно скучным.

Один из обычнейших элементов «этики» — то, что сегодня ругают под именем «сексизм»: аксиома «естественного» мужского превосходства — и потребительское отношение к женщине. Тут Кьеркегор во всем блеске откровенного филистерства — тоже своего рода талант: выставить не всеобщее обозрение, со всей определенностью, — чтобы уж никто не

засомневался в возможности «диалектически» совместить пошлость с утонченным «эстетизмом».

Итак, женщина — это «бытие для другого»... Определение свое «бытие для другого» женщина разделяет ведь со всей природой и с отдельными частями ее, принадлежащими к женскому роду. Вся органическая природа также существует для другого — для духа; отдельные части ее — также; растительность, например, развертывается во всей своей могучей прелести не для себя самой, а для других. То же с другими категориями женского рода — загадка, тайна, гласная буква и т. д. — все это ничего не значит само по себе, все это — «бытие для другого». Вполне понятно, почему Творец, создавая Еву, навел на Адама сон: женщина — сновидение, мечта мужчины.

То есть, женское — это природное (и наоборот), а природа существует как таковая лишь в отношении к духу (которым, конечно же, наделен только сильный пол). Однако узурпированное превосходство играет с мужиками скверную шутку: вознесенные слишком высоко, они уже не в состоянии осознать реальность чего бы то ни было — и вся природа для них становится царством грез. Правящий класс паразитирует на теле народа: он реален только потому, что целиком и полностью зависим от своих рабов:

В самих отношениях между мужчиной и женщиной с момента ее освобождения его любовью кроется, однако, глубокая ирония. То, что существует лишь для другого, получает вдруг преобладающее значение: мужчина признается в любви — женщина выбирает; женщина по самому существу своему есть лицо побежденное, мужчина же — победитель, и тем не менее победитель преклоняется перед побежденной...

Вот и получается:

если в одном отношении мужчина стоит, пожалуй, выше женщины, зато в другом — бесконечно ниже.

Тем не менее, женщина

всесильно подчинена определению, присущему самой природе, и свободна только в эстетическом смысле, в действительном же смысле становится свободной лишь тогда, когда освободит ее своей любовью мужчина. И если только он влюблен в нее как следует, не может быть и речи о выборе с ее стороны.

Остается только научиться влюбляться «как следует»...

И все-таки все это, в сущности, настолько естественно, что надо быть очень грубым, глупым и ничего не смыслящим в делах любви, чтобы вздумать игнорировать то, что раз навсегда установилось так, а не иначе.

Знакомая филистерская песенка: что сейчас в наличии — то и должно было свершиться, ибо иначе быть не может — и потому останется как есть на веки веков. Заигрывания с Гегелем — тоже «эстетика»...

Что же такое подразумевается под этим определением «бытие для другого», в чем оно состоит? В девственности женщины.

Во как! Нормальные герои брезгают секонд-хэндом! Им подавай в заводской упаковке, и чтобы без внешних повреждений... Лучше бы индпошив — но с бабами на заказ пока технология не катит. Остается надеяться, что семейное воспитание не подкачало.

Надо заметить, впрочем, что девственность — лишь отвлеченное понятие, и получает оно свое истинное значение «бытия» только тогда, когда проявляется в действительности, то есть отдается другому. То же самое можно отнести к понятию о женской невинности. Итак, если смотреть на женщину как на самостоятельное бытие, она исчезает, становится как бы невидимкой. Вот почему, вероятно, и не существовало изображений Весты, богини, олицетворявшей саму по себе вечную девственность. Стремиться изобразить или хоть представить себе невидимое — значит ведь исказить самую сущность его.

Это в том смысле, что проверить товар можно только в брачную ночь; до того — абстракция в мешке. Так что смотрите в текст контракта насчет статьи о возврате бракованных; иначе точно облапошат! Бабы нужны только затем, чтобы их распечатывать; если перспектив нет — вроде как невидимка (вспомним про лису и виноград); после акта — уже не интересно:

Итак, самая сущность бытия женщины для другого состоит в ее чистой девственности, последняя же, как сказано, — понятие отвлеченное и становится действительностью лишь тогда, когда отдается другому, то есть перестает существовать, исполняя свое назначение.

Можно ли представить более барское отношение к женщине? Стать личностью, идти по жизни своим путем, — против буржуйских правил:

Если же она захочет проявиться в жизни в какой-нибудь другой форме, то единственно возможной является в таком случае форма прямо противоположная: абсолютная неприступность.

То есть, хотите замуж — не выпендривайтесь! Слишком умные никому не нужны. Жена — должна сидеть дома и тянуть хозяйство. Чать не аристократка какая-нибудь! Нормально — для буржуа XIX века...

Но вернемся к началу. Уберите из текста сексизм, дайте девушкам такую же свободу влюбляться во многих — но никому не принадлежать, а «охватить своим могучим сознанием их всех», — и вот вам принцип

любви будущего, не завязанной ни на какую «этику» — но безусловно нравственной. Невинность в данном случае не в женщине, а том, кто прикасается к ней впервые (не только — и не главным образом — телесно); столь же логично усматривать невинность в мужчине — в отношении к именно этой, конкретной женщине. Вся жизнь — переоткрытие любви, когда за всяkim трудом мерцает волшебство мечты; например, так:

В период сновидений и грез женщины можно, однако, различить две степени: когда любовь грезит о ней и... когда она сама грезит о любви.

* * *

Странный писатель Монтень — своего рода граница, переход от старого времени к новому. И одна из ярчайших примет — помещение самого себя в центр вселенной, рождение осознанного эгоцентризма, без которого буржуазное предпринимательство не смогло бы утвердиться в качестве мировой экономической системы. Можно считать Монтеня родоначальником рекламы: как ни пытается он изображать скромность и самокритичность — любование собой и тон превосходства прут из каждой буквы. Так что литературный и коммерческий успех — вполне объяснимы. И, как обычно случается, рупором приходящих к власти становится один из тех, кого они жаждут от власти отпихнуть.

До Монтеня — все пишут о ком-то другом (хотя и снабженном значительной долей авторских тараканов). Даже в лирической поэзии герою придают приличествующую собирательность и обобщенность; редкие исключения (вроде Мелена де Сен-Желе и Кристины де Пизан) только подтверждают правило. От своего имени — только в письмах и прошениях (да и то с уклоном в морализаторство, чтобы достоинства автора выглядели от природы достойными щедрого вознаграждения).

Утверждение себя в качестве высшей ценности — шаг к свободе, намек на будущую разумность человечества. В какой-то мере, в ту же точку наивные попытки разглядеть в себе человека, в единстве мысли и чувств. Но все это — в чисто буржуазной форме: личность начисто оторвана от общества — связана с ним только внешне, по воле случая, по прихоти судьбы. Отсюда интроспекция как единственno возможный метод. Именно эту буржуазную науку охотно заимствует у Монтеня современная буржуазия — включая Маркса, с его пресловутыми Петром и Павлом, которые используют (эксплуатируют) друг друга в качестве

зеркала (не замечая субъективности, творческой силы, духа). Чтобы не отыскивать в другом себя, а усматривать в каждом свое и чувствовать свою причастность, — до этого человечество пока не доросло. Здесь Монтень до сих пор впереди планеты всей — и некоторые фразы можно запросто понять как посягательство на устои. Например, на институт интеллектуальной собственности:

Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии. То-то и то-то столь же находится в согласии с мнением Платона, сколько с моим, ибо мы обнаруживаем здесь единомыслие и смотрим на дело одинаково. Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, чтобы собрать нектар, который они целиком претворяют в мед; ведь это уже больше не тимьян или майоран. Точно так же и то, что человек заимствует у других, будет преобразовано и переплавлено им самим, чтобы стать его собственным творением, то есть собственным его суждением. Его воспитание, его труд, его ученье служат лишь одному: образовать его личность.

Здесь не Монтень — так утверждаем мы. Но скажите это борцам с книжными и компьютерными пиратами — или чинушам от науки, требующим навешивать сноски на каждый типографский знак! Чуть ли не все искусствоведение — зиждется на поисках заимствований и прототипов. Припишите любую глупость попсовой знаменитости — и это уже бессмертный афоризм (или мем).

Тут, кстати, и о революционной педагогике, которая не навязывает готовых решений, а предоставляет каждому образовываться самому, активно лепить себя как личность. И совершенно немыслимый для рыночного «мыслителя» призыв к свободе:

Наша душа совершает свои движения под чужим воздействием, следуя и подчиняясь примеру и наставлениям других. Нас до того приучили к помочам, что мы уже не в состоянии обходиться без них. Мы утратили нашу свободу и собственную силу.

И грустный вердикт:

Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует. Он ничего не находит; да ничего и не ищет.

К сожалению, в остальном Монтень вполне традиционен — но можно его уважать хотя бы за то, что апелляции к Сократу (*à la* Платон) и Аристотелю отнюдь не формальны — они совершенно по существу, именно так сам Монтень представляет себе суть дела, с одной маленькой поправкой: для Аристотеля человек — существо политическое, что в

буквальном переводе с греческого не франкский значит: буржуазное; только, вот, античный полис — не то же самое, что возникший через пару тысяч лет бург, и перенос старинных анекдотов в новый контекст не обходится без сокрушительной модернизации.

Кто-нибудь, пожалуй, скажет, что и я здесь только собрал чужие цветы, а от меня самого — только нитка, которой они связаны.

Скажет правильно; однако иная ниточка бывает стократ драгоценнее повязанных ею цветочков! Однако деръмо остается деръмом и в золотой шкатулке с бриллиантами — и остается только сокрушаться:

Но, говоря по совести, до чего же несчастное животное — человек! Самой природой он устроен так, что ему доступно лишь одно только полное и цельное наслаждение, и однако же он сам старается урезать его своими нелепыми умствованиями. Видно, он еще недостаточно жалок, если не усугубляет сознательно и умышленно своей горькой доли: *Fortunae miseras auxilium arte vias*.

Мудрость человеческая поступает весьма глупо, пытаясь ограничить количество и сладость предоставленных нам удовольствий, — совсем так же, как и тогда, когда она усердно и благосклонно пускает в ход свои ухищрения, дабы пригладить и приукрасить страдания и уменьшить нашу чувствительность к ним. Если бы я был главой какой-нибудь секты, я избрал бы другой, более естественный путь, который и впрямь является и более удобным и более праведным; и я, быть может, сумел бы увлечь людей на него.

Вот глас разума! Человек сам устраивает свой мир — и вовсе не для того, чтобы искать новых лищений да невзгод. Впрочем, ныне здравствующие главы позаботятся, чтобы не дать ходу подобным самозванцам...

Среди других находок — точное экономическое обоснование буржуазной истории:

Нужда обтесывает людей и сгоняет их вместе.

Может быть, Карл Маркс — тоже отсюда? Но продолжение намного интереснее — и диалектичнее: оказывается, все это нужно для того, чтобы дать людям возможность *не быть вместе*!

Жалок, по-моему, тот, кто не имеет у себя дома местечка, где бы он был и впрямь у себя, где мог бы отдаваться личным заботам о себе или укрыться от чужих взглядов!

Перед этим Монтень расписывает, какой он общительный (хотя и устает в компаниях); однако без укромного кабинета (примечательная деталь: с отдельным отапливаемым сортиром!) — просто никак нельзя.

Но и это не предел. Уединение тоже не самоцель — оно для творчества, чтобы смотреть на мир со стороны (даже где-то свысока) и прикидывать возможные реконструкции. Ради такого дела можно даже урезать вышеупомянутое «полное и цельное наслаждение».:

Я не уверен, не предпочел ли бы я породить совершенное создание от союза с музами, чем от союза с моей женой.

Тем не менее, застаиваться в сколь угодно возвышенной ипостаси — не для разумного существа:

Если бы мне было дано вытесать себя по своему вкусу, то нет такой формы, — как бы прекрасна она ни была, — в которую я желал бы втиснуться, с тем чтобы никогда уже с нею не расставаться. Жизнь — это неровное, неправильное и многообразное движение. Неукоснительно следовать своим склонностям и быть настолько в их власти, чтобы не мочь отступаться от них или подчинять их своей воле, означает не быть самому себе другом, а тем более господином; это значит быть рабом самого себя.

Сильно сказано! Что хорошо — то хорошо.

Можно и к добродетели прилепиться так, что она станет порочной: для этого стоит лишь проявить к ней слишком грубое и необузданное влечение.

Ну, не хотим мы после этого перекапывать тонны буржуазной гнили в трех толстых томах! Лучше вспомнить что-нибудь для порядочного буржуа совершенно неприличное:

Наша жизнь — это сплошная забота о приличиях; они опутали нас и заслонили собой самую сущность вещей. Цепляясь за ветви, мы забываем о существовании ствола и корней. Мы научили женщин краснеть при малейшем упоминании о всех тех вещах, делать которые им ни в какой мере не зазорно; мы не смеем называть своим именем некоторые из наших органов, но не постыдимся пользоваться ими, предаваясь худшим видам распутства. Приличия запрещают нам обозначать соответствующими словами вещи дозволенные и совершенно естественные — и мы беспрекословно подчиняемся этому; разум запрещает нам творить недозволенное и то, что дурно, — и никто этому запрету не подчиняется.

Первую часть (по поводу нецензурности) — рынок уже спихнул в архив (что, впрочем, ни на микрон не убавило формул вежливости и дресс-кода). Научиться следовать голосу разума — намного труднее. Звонкая монета весомее звонкой идеи (которая вообще ничего не весит, пока не пущена в оборот, не монетизирована). Бездарь лучше вписывается в

рыночную стихию — и без лишних щепетильностей встанет при случае на защиту мирового капитала, в том числе и в разного рода литературе.

Следовало бы иметь установленные законами меры воздействия, которые обуздывали бы бездарных и никчемных писак, как это делается в отношении праздношатающихся и тунеядцев. В этом случае наш народ прогнал бы взашей и меня, и сотни других.

Прогнать можно. Но кто затечет в вакуум? Опять же, разобраться без семи пядей не получится — а где их взять? Бездарность кое-кому очень полезна — и потому отнюдь не никчемна. Никчемность может быть просто гениальной. Так, может, не махать кулаками и декретами — а честно трудиться, кто сколько сможет, на каком угодно поприще, — но с оглядкой на разумность продукта, чтобы муhi таки отдельно от котлет:

Когда я танцую, я занят танцами, когда я сплю, я погружаюсь в сон.

* * *

Эмпирионатуризм выносит причины явлений вдикую природу вне человека — и тем самым мистифицирует их, объявляет априорными первоначалами. Не удивительно, что самые рьяные поборники сведения духа к природным движениям оказываются в итоге столь же верными adeptами всевозможных религий — выводят их из «природы человека» и объясняют природу волей мифического «творца» (не обязательно представимого единичным существом). Чем больше большие ученые ковыряются в мозгах — тем более безмозглой оказывается в итоге их философия.

Типичный пример — Р. М. Грановская, которая очень интересно работала в советское время в области логики работы мозговых структур; ее книга *Восприятие и модели памяти* (1974) стала манифестом того, что сейчас называют искусственным интеллектом. Но после переворота запал кончился, учить компьютеры учиться стали молодые, — и вот уже перед нами проповедник мистической сути психики и безусловной необходимости поповщины для сохранения миропорядка:

Религия и сегодня продолжает оставаться хранительницей вневременных ценностей, забвение или разрушение которых означало бы универсальную деградацию.

Точно так же, свихиваются в религию математики и физики, лингвисты и биологи... Мистика в тренде: за что хорошо платят — то и божий дар!

* * *

Иногда классические цитаты полезно чуточку переврать — если при этом заиграют ранее невидимые грани... Вот, например, из рукописей Маркса [46.1, 21]:

Итак, когда речь идет о производстве, то всегда о производстве на определенной ступени общественного развития — о производстве общественных индивидов.

Тут мы спотыкаемся о языковую двусмысленность (про язык — см. ниже в завершении цитаты): что если понять это наизнанку — и считать, что речь о производстве не чего-нибудь, а общественных индивидов *par excellence*? То есть, мы, конечно, переделываем природу и меняет вселенский ландшафт — сколько угодно; но занятие это нам важно не само по себе, а как возможность воспроизводить себя в качестве разумных существ, носителей разума. Не материальное производство порождает всяческую духовность (хотя, конечно, без этого материи духу разгуляться негде) — а наоборот, универсальность рефлексии требует развития производства не абы как, а вполне определенным образом, так что наше сознание очень даже влияет на наше бытие! Смысл всего последующего с учетом этой взаимосвязи материального и духовного производства круто меняется — и надо честно отслеживать соотношение уровней в каждую историческую эпоху.

Может поэтому показаться, что для того, чтобы вообще говорить о производстве, мы должны либо проследить процесс исторического развития в его различных фазах, либо с самого начала заявить, что мы имеем дело с определенной исторической эпохой, например с современным буржуазным производством, которое и на самом деле является нашей подлинной темой. Однако все эпохи производства имеют некоторые общие признаки, общие определения. Производство вообще — это абстракция, но абстракция разумная, поскольку она действительно выделяет общее, фиксирует его и потому избавляет нас от повторений. Однако это всеобщее или выделенное путем сравнения общее само есть нечто многообразно расчлененное, выражющееся в различных определениях. Кое-что из этого относится ко всем эпохам, другое является общим лишь некоторым эпохам. Некоторые определения общи и для новейшей и для древнейшей эпохи. Без них немыслимо никакое производство. Однако хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, все же именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие. Определения, имеющие силу для производства вообще должны быть выделены именно для того, чтобы из-за

единства, которое проистекает уже из того, что субъект, человечество, и объект, природа — одни и те же не были забыты существенные различия.

Разжевывать не будем: имеющий голову — пусть имеет. Но глянем на другой фрагментик, в том же томе [46.1, 198]:

Деньги как капитал — это такое определение денег, которое выходит за пределы их простого определения как денег. Деньги как капитал можно рассматривать как более высокую реализацию денег, подобно тому как можно сказать, что обезьяна развивается в человека.

Ловим из фона: отличие человека от животных — не чистое количество! Это принципиальная разница. Люди (как экономические агенты) — двигают деньгами; но капитал — двигает (такими, ограниченными) людьми! Но дальше — гениально об истоках (классовой) привычки запихивать разум в биологические (или иные) тела:

Однако в таком случае более низкая форма выступает в качестве носителя более высокой формы, доминирующего над ней. Как бы то ни было, *деньги как капитал* отличаются от *денег как денег*. Это новое определение нужно разобрать. С другой стороны, *капитал как деньги* кажется возвращением капитала к более низкой форме. Но это есть лишь полагание капитала в такой особенности, которая, как некапитал, существует уже до него и составляет одну из его предпосылок. При всех позднейших отношениях снова встречаются деньги, но тогда они функционируют уже не как простые деньги. Если, как в данном случае, дело прежде всего идет о том, чтобы проследить развитие денег вплоть до их совокупного целого в виде денежного рынка, то развитие других отношений при этом предполагается и время от времени должно включаться в исследование. Так, в данном случае, прежде чем перейти к особенностям капитала как денег, нужно рассмотреть общее определение капитала.

В переводе: сознание как *психологический* феномен — предполагает наличие *сознания* как явления более высокого уровня; психология (как и физиология) человека — имеет дело не с чисто психическими (или органическими) движениями, а с тем, как они видоизменяются, будучи включенными в общественно-исторический процесс. Деньги — один из возможных носителей капитала (его денежная форма); особь вида *homo sapiens* — лишь один из возможных носителей разума, один из способов воплощения духа, — при том, что другие варианты тоже не исключены. Как минимум, органическое тело дополняется неорганическим — миром оккультуемых вещей и общественных отношений; может быть, где-то в другом времени, есть еще что-нибудь?

ЭТЮДЫ

Люди разные. Некоторые предпочитают выстраивать жизнь по единому плану — от первой до последней даты. Быть может, не всегда удается — но заметен стиль. Другие живут как придется, и планы у них на одно мгновение, — и кажется, что все случайно; но в итоге почему-то выглядит очень определенно — и это тоже стиль.

Точно так же, писать можно по-разному. Есть солидные трактаты. Монографии. Ученые статьи. Размеченные как регулярный французский парк. Таковы традиции академизма: школьников заставляют правильно раскрывать тему на экзамене — а большие ученые обязаны следовать жестким правилам реферируемых журналов. Но в жизни мы редко говорим законченными фразами. Продумывать композицию нам вообще некогда: о своих намерениях мы узнаем *post factum*, когда сами себя выслушаем. Нормативная речь — величайшее занудство. Казалось бы, на письме тоже можно не заморачиваться красавостями — а прямо выложить, что на душе. Оказывается, не все так просто. Стоит взять письменные принадлежности — так и тянет на риторику: расплываемся во все стороны, хочется полноты и завершенности. Такие они, буквки, коварные. Даже полуграмотная бабуля в письме любимому «мнучку» не ограничится междометиями — и доведет каждое предложение до точки. Парадокс: со звуком все в порядке, и объясняться с носителями языка без проблем, — но на письме у большинства сплошные корявости, так что иной раз вообще ничего не разобрать. Поэтому сегодня многие предпочитают болтать по мобильнику — вместе электронной почты; книги наши современники уже не читают, а слушают в исполнении речевых роботов. Значит, в чем-то полезны школьные сочинения и стилистические указания для ученых авторов: хотя бы по минимуму компенсировать убожество — напомнить о читабельности. Пусть будет вонючий формалин — зато понятно.

Художественная литература не исключение. Писать коротко — страшная мука. Особенно, когда замыслы распирают, и все важно, все,

вроде бы, по существу. Роман — даже у начинающих выглядит сносно; рассказы — это для мастера; хороший анекдот — литературный шедевр. Точно так же, в поэзии профессионалы всегда увлекались крупными формами: это достойно, престижно, денежно... Популярные песенки — для досужих рифмоплетов; колючие эпиграммы — журналистика, или альбомный жанр; частушки да рубаи — вообще вне литературы... Написать басню не всякий сумеет — и даже у признанных гениев далеко не все на высоте. Только реклама еще дружит с талантливой сестрой...

Тем не менее, жанры афоризма или моностиха (включая хайку) — исторически известны, — хотя блистательных авторов на порядки меньше, чем самоуверенных претендентов. В XVII веке Ларошфуко подарил миру свои *Максимы* — образец для десятков подражателей (редко достигавших уровня оригинала).⁴ Нечто похожее — *Характеры* Лабрюйера: самодостаточные зарисовки, которые вовсе не обязательно выстраивать последовательно, — и даже тематическая группировка весьма условна. Есть и продолжатели (один из удачных примеров — Гельвеций). Плюс крен современных поэтов называть стихами всякую словесность... Можно сколько угодно спорить о содержательности и разумности — для нас важен факт: серьезные вещи обсуждаются без громоздкой фундаментальности — как в дружеской беседе. Искусство непростое — но логически допустимое и практически досягаемое. Вроде скетча в живописи — или музыкального этюда. С другой стороны, и попсовые романсы нам чем-то милы — при всей примитивности музыки и текста: *Green sleeves* или *Plaisir d'amour* поют не одну сотню лет; профессиональный балет не отменяет мюзета, дискотеки или мионги.

Люди меняются. Кто встретил в юности — запомнит одно; знавший в зрелости — знает другое. Вон, у Пикассо насчитывают с десяток творческих периодов... Но каждая искорка значима — из них состоит целое. Как сугроб из снежинок: может казаться холодным, но может и согреть. Под солнцем или под луной — светится по-разному. Все это грани единого мира; было бы неразумно пренебречь эфемерностями ради одних только фундаментальных трудов — которые выглядят столь же мимолетными в космических масштабах, на шкале тысяч веков. Попробуем. Вырастет из мусорки нечто готическое — тем лучше; если нет — останется ничуть не меньше.

⁴ *Мысли* Паскаля — не самостоятельные литературные произведения, а лишь фрагменты большой книги, дописать которую так и не удалось.

Блики рефлексии

* * *

Всякая вещь воспроизводит себя в очень разных отношениях. Как именно мы будем об этом говорить — зависит от наших нынешних интересов. В других условиях то же самое придется сказать иначе. Может быть, даже наоборот. Это не измена себе, не переход из одного лагеря в другой, — это отстранение от лагерности как таковой, свобода выражать себя не готовыми формами, а всем, что попадется под руку, — включая и старые формы: мы меняем их, чтобы по-разному увидеть себя.

* * *

Философия не наука — и никто не обязан блюсти единство номенклатуры. Предметность науки привязывает ее к определенному контексту, к некоторой иерархии деятельности. Но философия занимается, главным образом, общностью разных контекстов — так что никакая терминология не успевает устояться. Приходится за словами усматривать суть дела, и не верить уж очень детальным описаниям.

Разум как философская категория определен лишь в триаде уровней духа:

сознание → самосознание → разум

Но когда мы говорим о людях как разумных существах, мы вовсе не имеем в виду только разум — не отделяем его от сознания и самосознания; такое словоупотребление оправдано, поскольку разум понимается как синтез двух других членов триады. Соответственно, в строении духовности («психологическая» триада)

индивидуальность → личность → социум

каждый уровень предполагает все три стороны духа, а не что-то одно. Однако если речь идет об истории — мы обязаны считаться с тем, что развитие самосознания (логически и хронологически) следует за развитием сознания, и что разумность требует вполне сложившейся противоположности сознания и самосознания. Точно так же, как уровни единичного субъекта, сознание, самосознание и разум стоят в

определенном порядке, представляя снятые этапы индивидуальной истории. Обращения иерархии в данном случае связаны с логикой рассмотрения, а не с логикой предмета.

* * *

Борцы за права женщин — они же борцы против женского неравенства... А что с одного боку — то и криво. Заявляя, что женщина тоже человек, они неизбежно подчеркивают слово *тоже*; то есть, предполагается, что есть мужчина — эталон человека, — а женщины лишь какими-то местами эталону соответствуют. Говоря о правах женщин, подразумевают не возможность быть собой, а общественные привилегии, якобы позволяющие чувствовать себя на равных — но по факту утверждающие неравенство на новый лад, с перекосом в другую сторону. Точно так же, забота о жизнях негров — выставляет белых недостойными жизни; забота о детях — не дает им стать по-настоящему взрослыми.

* * *

Когда человек разумный что-либо делает — это не для кого-то, а только для себя. Потому что не может иначе. Для него это единственное разумная линия поведения. Он не ждет благодарности, ему не страшны проклятия. Он делает то, что считает нужным, — или не делает ничего, если считает нужным неделание. Только тогда человек становится по-настоящему общественным существом.

Человеку будущего не надо никуда спешить, ничего добиваться... Он знает, что его труд найдется кому подхватить — и что ни одно свершение не будет напрасным.

* * *

В истории, слишком опередить свое время — значит, налететь на стену и быть отброшенным назад с той же стремительностью. Пропуск необходимых ступеней подрывает основы дальнейшего развития способа производства, поскольку зачатки нового должны созреть в определенных экономических условиях. Без этой основы — застой,

уязвимость и слабость. А классовое общество не прощает исторических ошибок: хищники-соседи тут же слетятся на остатки былой роскоши...

* * *

Несмотря на зарождение философской проблематики в древней Греции, философия в античности не могла сложиться как особое культурное образование — хотя и существовала как культурное явление. Точно так же, не было ни науки, ни искусства, — в современном, институированном понимании. Была аналитическая (в смысле отделенности от синкетичного бытового сознания) рефлексия вообще, соединяющая признаки искусства, науки, философии. Античный художник — это всегда и (натур)философ; философия же остается преимущественно орнаментальной и больше напоминает искусство ритора. Метод Аристотеля — лишь внешне аналитический (что тоже немало — ибо из внешней необходимости вырастает внутренняя потребность); на деле же размышления о правильном устройстве природы и общества здесь всецело остаются в рамках герменевтики, толкования налично данного, — ближе к искусству. Для науки — не хватает формальности (следствие неопределенности предмета). Для философии — недостает содержательного единства. Переодетая платоновская Атлантида...

Иначе: уже сложившиеся различия в способе производства лишь в конечном итоге, спустя некоторое время, ведут к изменению способа отражения, уровня рефлексии. Откуда эта задержка? Очевидно, из-за того, что продукт деятельности не становится автоматически ее объектом (как воображают себе математики): для объективации плодов труда нужна особая деятельность, а ее просто не может быть, пока для нее нет объекта.

Точно так же, уже в первобытном человеке есть все предпосылки разумности — но стать разумным человечество не сумело до сих пор.

* * *

Две крайности: вульгарный материализм и мистика. Незрелость самосознания. Мы чувствуем, что в нас сочетаются материя и дух — но не улавливаем их единства; мы догадываемся об их способности

перетекать друг в друга — но не понимаем принципиального различия. Мы вынуждены зарабатывать на жизнь — но жизнью считаем лишь то, что не требует расплаты.

* * *

У нас нет прямых данных о движениях духа первобытного человека. Но мы знаем, что наша духовность стоит на этом фундаменте, и потому принципиальная возможность написать такую историю у нас есть. Как? Исходя из принципа историзма. Две стороны настоящего — прошлое и будущее. Наши мечты задают направление — и в прошлом мы ищем похожие черты, по контрасту с цивилизацией, заполняя лакуны и сопоставляя окаменелости.

* * *

Умные люди придумали много интересного. Но господам вовсе не интересно, чтобы интересная жизнь была у всех. Как сделать вкусное невкусным? Пресловутая ложка дегтя. Идеологические извращения. Лучше испортить, чем пустить на общую пользу.

Бороться с извращенцами надо не только в плане развенчивания благоглупостей — но еще и потому, что они (сознательно или нет) занимаются опошлением уже достигнутого: якобы невинные пташки испражняются на памятники. Буржуазия борется с марксизмом — значит, надо найти, чем марксизм так уел господ, что они не жалеют денег на его опошление! Именно это и надо всячески поддерживать и развивать.

* * *

Пока мужчины и женщины телесно различны (имея в виду прежде всего неорганическое тело человека), будут и различия в становлении духа. При этом типичное для ранних этапов развития цивилизации отстранение женщин от воспроизведения неорганического тела ограничивает сознание женщин — но тем самым приводит к опережающему развитию самосознания (обращение иерархии). Отсюда преобладание женской индивидуальности над мужской на всем

протяжении классовой истории — и только развитый капитализм позволяет (хотя бы в принципе) уравнять производственные функции полов, подойти к идеи духовности как таковой.

* * *

Эмпиризм опирается вовсе не на опыт — он держится на суевериях и предрассудках. Называть их «опытом» — жульничество, опошление идеи; но таковы методы буржуазной пропаганды, религии, морали и права. Эмпирик будет всеми конечностями отбиваться от фактов — ссылаясь на мнения обывателей, которые не в состоянии вообразить себе ничего такого. Спустя много лет, когда революционные идеи поблекнут, выродятся в попсовую банальность, они станут частью «эмпирического» миросозерцания — оружием борьбы против будущего.

* * *

По логике, из ложных посылок можно вывести что угодно. Только благодаря этому обстоятельству существует наука. Любые основания шатки — но это не повод остановиться на вводных разделах, отметая науку целиком из-за сомнительности предпосылок. В конце концов, нас интересуют именно выводы — и не особо волнует, откуда они взялись.

* * *

Нет гроба — нет и загробной жизни...

Первобытность не различает членов рода — все на одно лицо, одного можно заменить другим. Тело зарыли — жизнь продолжается. Всеобщая одушевленность, первобытный анимизм. Поэтому смерть человека — лишь переход в иное качество.

Появление государства — отделяет мертвых от живых. Хотя бы потому, что эксплуатировать мертвых сложнее. Но в хозяйстве и мертвые души сгодятся — и возникает представление о складировании усопших в особых запасниках (Египет, Междуречье, Древняя Греция). Поскольку души для древних неотделимы от тел — тот свет принимает людей во всей их телесности, и это полезно: с одной стороны, можно поиздеваться над покойником для устрашения живых — но можно и

подать надежду на будущее воскрешение во плоти (в некоторых религиях — не обязательно своей).

Эксплуатируемым массам такие сказки без особой надобности: хватает и земных забот. Перспектива сделать мучения вечными — радует лишь последних извращенцев. Возвращаться к прижизненным сложностям — тоже не мед. Вместе с угрозой потустороннего мира — возникает и оппозиция, критическое отношение к поповским рассказням и призывы жить здесь и сейчас, пока хоть что-то изредка перепадает. Лишь много веков спустя появляется материальная основа для физического бессмертия, переселения в неорганическое тело — возможность стать частью общечеловеческой культуры. Но до тех пор, пока не сложится человечество как целое — без классовых (половых, возрастных, этнических, и прочих) различий, — наше бессмертие остается только возможностью, и надо хорошо потрудиться, чтобы имело смысл снова становиться бессмертными.

* * *

Народные песни и сказки перебрасывают мостик от первобытности к средневековью, становятся общим фоном тысячелетий.

Первоначально — народные обрядовые действия. Таковы, например, шумерские *Если бы не мать моя...* и *Когда я госпожа...*; то же в библии: *Песнь песен*. Потом действие сокращается до абстрактного жеста — превращается в танец. Появление музыкальных инструментов (помимо голоса) — возможность отделения музыки от слова. Это в равной мере касается и поэзии, и прозы; одно зачастую перетекает в другое (как в библейских книгах пророков).

Народная традиция связывает культуры не только во времени, но и в пространстве: например, старинные романские песни оказали влияние на стихотворные изыски арабов — которые иногда лишь намекают на испанские сюжеты, а иногда и вставляют куски на чужом языке...

* * *

Живое бесконечно разнообразно — это так умиляет всяческих зеленых человечков! Они умалчивают, что достигается такое, внешнее разнообразие за счет видовой специализации, жесткого ограничения

возможностей индивида. В разуме — внешнее снимается и становится внутренним разнообразием, универсальностью. Единичный субъект — равен вселенной, в нем она представлена *целиком*. Осознание этой всеобщности в единичном делает неуместными призывы ограничить движение духа, вписать его в «цивилизованные» рамки: ограничивать можно лишь тела — при условии, что ограниченность одних тел всегда возможно компенсировать вовлечением в деятельность других. Тем более недопустимо нагромождение барьера на пути человеческого, духовного общения — попытки убить любовь.

* * *

В отличие от большинства древних культур, в Древнем Египте нет эпоса, не сложилась мифологическая космология. Его литература ближе к фольклору — записи и обработки песен и сказок.

Почему? Вероятно, время не пришло. Судя по известным источникам, централизованное рабовладельческое государство в эпохи Древнего (и даже Среднего) царства существовало лишь номинально, как общность многочисленных родоплеменных образований, плетущих бесконечные интриги в борьбе за власть. Фараон во многом играет роль военного вождя — как в союзах североамериканских племен. Нечто подобное в Европе возрождается на заре средневековья. Есть аналогии и с историей Древнего Китая (пестрота локальных культур). Лишь в Новое время египетская литература порождает нечто вроде эпоса — история трех поколений семьи. Но без космологических обобщений, приземленно, бытовые зарисовки.

Древнейшая литература Междуречья в целом очень похожа: частичная канонизация текстов — явление сравнительно позднее; школы писцов — собирали пословицы и сказок (удобный материал для обучения письму). Устоявшиеся обрядовые тексты — учили наизусть и не записывали; от них лишь реминисценции в чем-то другом. Местная особенность — таблички с текстами песен в частных домах; по всей видимости, у писцов заказывали запись традиционной родовой песни (подобных тем, что известны у многих народов на родоплеменной стадии развития) — скорее всего, в качестве предмета культа разумеется, а не для чтения — для этого у большинства просто не хватило бы грамотности (неоднозначность древнейших письменностей, насыщенных «мнемоническими» знаками, которые расшифровать мог

только знающий, представляет главную трудность при современной дешифровке).

Повсеместный переход к систематизации текстов и перерастанию их в относительно связные эпические полотна — в конце второго тысячелетия до н. э.; это уже гомеровская эпоха. Вавилонский эпос о Гильгамеше — родственник Илиады, и точно так же он собран из фрагментов разного характера, из разных времен. Литературные достоинства — плод труда многочисленных переписчиков: принцип отбора и порядок записи — имеют значение! Притирка одного к другому в ходе объединения, приведение к единой стилистике, — совершенно естественный процесс. Но главное — осознание реального этнического единства (в отличие от Египта). Независимо от формы правления.

Бессспорно, вавилонские тексты — настоящая литература. Но грубоватые шумерские — намного поэтичнее, они из самого сердца народа. В них мотивы будущей европейской культуры.

* * *

Философия не вписывается в рамки искусства или науки — но она использует все возможности. На уровне мифологического сознания — философия воплощается в миф. Когда античное искусство начинает обособляться в самостоятельную область культуры — философия принимает форму искусства. Иногда это выглядит грубо, далеко от художественности (как у Платона). Куда больше изящества предлагает эллинистический роман: вполне серьезные темы Татий, Лонг и Апулей трактуют тоном сказки, заимствуя элементы тысячелетней народной традиции. Разумеется, вполне совместить мудрствование с искусством пока не удается, и рассуждения выпирают из текста инородной тканью; однако налет сказочной наивности гармонирует с простодушием фольклора, где обобщающие сентенции рассказчик запросто вставляет в произвольное место повествования.

Точно так же, первые представления о научном методе наталкивают на мысль о формальном построении философии — или хотя бы о частичном упорядочении, когда единство сводится к единообразию схем. Отсюда многочисленные наукообразные трактаты: от Аристотеля до Спинозы, Канта, Гегеля, — и далее, вплоть до наших дней. Смотрится такое философствование грубо — ему тут же начинают возражать всякие «постмодернисты» и мистики... Однако пока нет отношения к

философии как необходимому уровню рефлексии, в дополнение к искусству и науке, возражения оказываются шагом назад — бегством от сложности в синкетизм.

Для художника любовь — образ, для ученого — иерархия понятий. Философия делает любовь всеобщей категорией, показывает как неотъемлемую часть и основу всякой духовности. Но все это — лишь тени любви, которая в полной мере раскрывается лишь в способности человека разумно действовать: не мечтать о других мирах, а сделать этот, единственный, — другим.

* * *

В XIX веке, и в начале двадцатого, — разговоры о нескольких людях в одном органическом теле могли навести наводили на мысль о психической неполноценности... Единая личность, распределенная по нескольким телам — чуть менее экзотично: хотя бы метафорически приемлемо.

XXI век все меняет. На одном и том же железе — десятки виртуальных компьютеров. Сервисы и виртуальные рабочие станции — разбросаны по узлам всемирной сети. Искусственный интеллект изначально нелокален. Так почему один мозг не может обслуживать очень разные индивидуальности? Синхронизация разных — даже не требует вживленных устройств: достаточно социальных сетей. Для разума биология не важна — ее можно придумать, или полностью перейти на неорганические носители.

До каких пор мы будем цепляться за фотографии и паспорта?

* * *

Свобода не абсолют. Это общественное отношение.

* * *

Идеал потому и идеал, что так в жизни такого бывает. Это наш измерительный инструмент, при помощи которого мы проверяем практическое действие на разумность, соответствие намерению, — учитывая, конечно, уместные допуски и посадки. Можно, конечно,

шагать наобум, уповая на русский авось. Но если стоит задача укрепления разума — то и двигаться к цели следует разумно, выверяя планы по осознанному идеалу. Принцип нерыночного планирования — от главного к частностям, свобода в деталях реализации, а не догма цифри.

* * *

Начинать освобождение труда (человеческого духа) приходится с рефлексии: пока производство недостаточно развито, материальных ресурсов на всех не хватит — а идеи тем значительнее, чем шире круг знакомства; делиться духовном богатством — значит преумножать его.

* * *

Всякий труд — соединенные усилия человечества в целом, и продукт труда — общее достояние. Идея собственности — изначально неразумна, это форма животности. Человек будущего — ничего не делает по указке извне. Но он не вправе замкнуться в себе, ибо разумные существа призваны создавать миры. Отсюда отношение к труду: осознание его общественного характера предполагает и стремление обобществить результат.

Например, стихи, научный или философский трактат — не ради чего-то, а по велению души, — потому что нельзя иначе. Нет никакой надобности предъявлять это окружающим, изображать из себя поэта, ученого или философа. Не для чего рекламировать продукт; но сделать его общедоступным — святая обязанность творца, неотъемлемая часть творчества. Не столь важно, как именно текст будет опубликован: пойдет по рукам, появится в печати, или будет валяться на пыльных задворках интернета; важно, чтобы другие могли, хотя бы в принципе, это заметить — и были свободны это использовать.

* * *

Мир воспроизводит себя через (посредством) субъекта. Именно поэтому возможно целенаправленное изменение мира. Элементарный акт рефлексии (воспроизведения мира) предполагает мир как источник и

основу (исходный пункт); с другой стороны — тот же мир как назначение, как продукт деятельности. Важно не просто сделать — привести в единство с остальным, сделать всеобщим, обобществить.

Окультуренные вещи связаны между собой не так, как природные. Субъект снят — но мы чувствуем его дух. Человек как совокупность вещей — проявляет себя закономерными переходами одного в другое: регулярность и воспроизводимость воспринимаются как природный закон; необходимость воспроизведения строения культуры, способа производства — органический уровень. Единство единичностей — деятельность, активное связывание одного с другим, «открытие» новых законов и перестройка производства в целом. Только все вместе вещи обнаруживают атрибуты мира вообще; особенно это важно для разума: коллективность. Точно так же, самосознание — организует наше сознание, а разум — сознательное самосознание.

* * *

Вероятно, допустимо сформулировать принцип опережающего развития духа, по сравнению с материальным производством. Дух подвижен: его достаточно слегка подтолкнуть — и он улетает под облака, и потом приходится в чем-то приземлять его. Когда способ производства дорастает до определенного уровня — уже ясно, во что все выльется; дух нового времени витает над миром. Это повод помечтать, отпустить на волю смутные предчувствия. Но у человека не бывает беспочвенных фантазий — и он стремится любую сказку сделать былью. Духовное развитие прямо влияет на материальное производство, вмешивается в постановку практических задач.

В этом великая сила образования и воспитания.

* * *

Принято считать, что переход от кочевого образа жизни к оседлости связан со значительным изменением общественной организации, — это своего рода исторический этап, граница эпохи. Точно так же, возникновение городов — как возникновением цивилизации в узком смысле слова (этимологически: городская культура). Искони деревня боялась и презирала скотоводов-бродяг — а город на всех глядел

свысока. Первый рубеж — прослеживается в шумерских легендах, тогда как вавилонский эпос — гимн городу...

Но чем, собственно, отличается оседлая жизнь от кочевой? Что дает ей культурные преимущества (если таковые вообще есть)?

Устойчивый признак общности — собственная территория. Но такое разграничение возникает уже в ранней первобытности: оно прямо заимствует животные формы (от ареала обитания вида до меченой территории у хищников). Здесь мы не видим существенных различий: кочевники устанавливают границы своих владений, оседлые народы мигрируют и разделяются на ветви (как у древних греков: выведение полисов, колонизация, экспансия).

Говорить об относительной устойчивости оседлой экономики тоже не приходится: неурожай или разгул стихии запросто может выкосить население сотен сел; но и у кочевников нет гарантий от эпидемий и падежа скота.

Есть, правда, привязка ремесел к природным ресурсам, из-за чего кочевая жизнь ограничивает разнообразие, оставляет лишь самое необходимое для поддержания быта, а в остальном полностью зависит от оседлых рудокопов. В каком-то смысле это примат индустрии, равно обуславливающей и земледелие и скотоводство, — но не вопрос взаимоотношений села и степи.

Стабильность условий в любом случае способствует развитию трудовых навыков — и оседлая жизнь благоприятствует созданию крупных инфраструктур. С другой стороны, подвижность кочевья делает его своеобразным разносчиком технологий — и создает предпосылки товарного обмена, включая транспорт сырья, и тем самым ослабление локальности ремесла и промышленного производства. Налицо дополнительность двух древних миров, противоположность которых снимается цивилизованным (городским) государством.

Однако помимо собственно экономических факторов — есть еще и вопрос материализации духа. Теоретически возможно перевозить награбленное с места на место. Ставка кочевого вождя подвижна, и располагается где угодно. Однако концентрация богатств неизбежно ведет к оседлости, как только само понятие богатства расширяется на все потенциальные предметы обмена, а не только стада и табуны. Завоевывая чужие страны, кочевники разрушают чуждую им культуру; и все же они вынуждены использовать старые поселения, как минимум, в качестве опорных баз — поскольку иного средства удержать

завоеванное просто нет. Чем обширнее власть — тем больше она нуждается в символах. Такими символами становятся единство права (воплощенное в городах) и единство религии (материализованное в культовых сооружениях). Нематериальный дух оказывается достаточно сильным, чтобы намертво привязать кочевника к земле, а село (включая крепости местных князьков) поставить в зависимость от крупных городов, центров цивилизации.

* * *

Рефлексия по поводу рефлексии легко упускает из вида исходный предмет и подменяет его частными представлениями. Так, начиная с древнейших форм классового расслоения, воспитание и обучение тесно увязаны с потребностью воспроизведения общественного неравенства, так что каждый член общества определен лишь в его отношении к наличным (уже осознанным) общественным структурам — и видится всего лишь совокупностью общественных отношений. Отсюда крен всех без исключения моралистов и строителей разного рода утопий в сторону полезности личности для общества; индивидуальные вкусы и склонности приемлемы лишь в плане потенциальной пользы (хотя бы в качестве следования культурной традиции и возможности влиять на характер общения). Античная философия делает идеальную личность зеркалом полиса; средневековье закрепляет разнообразие сословной иерархии; капитализм все сводит к рыночной конъюнктуре... Свобода личности начинается там, где она ценна сама по себе (в том числе и в собственных глазах), — так чтобы не только общество воспитывало достойных его личностей, но и личность стимулировала общество стать равным ей.

* * *

Книга — это не только передача информации, перекачка кодов из одного устройства в другое. Книга представляет личность (единичную или собирательную) — и общаемся мы не с пачкой бумаги (и не файлом в компьютере), а с другими людьми, и через это с собой. Та же личность может быть представлена тысячами других вещей — но мы узнаем любимых по одной характерной черточке, восстанавливаем картину

целиком. Быть может, нам иногда не столь важно, что там, внутри, написано: общий вид уже наводит на духовное путешествие. Поэтому оформление книги — предмет пристального внимания и неусыпной заботы. Это не случайность, это тоже текст. Расположите стихи на странице иначе — и это будут другие стихи. Измените структуру трактата — и это будет другой трактат. То, что автору может казаться нудной технической работой, — такое же творчество, как и связывание идей или их материализация. В этом активность формы — она не только ограничивает автора, но и ведет его за собой. Стржеминский считал, что пространство холста — клетка для художника, и надо выходить из плоскости в окружающий мир. Но почему мы должны быть всегда одинаковыми? Материал и форма не противостоят содержанию, они соединяются в нем. И можно избрать вполне традиционную форму — раздвинув ее границы до бесконечности, сделать ее формой свободы.

* * *

Распределение деятельности — основной механизм связывания людей в общество. Но он же меняет само понятие действующего лица, отделяет продукт деятельности от деятеля. Когда одно и то же делают многие — мы не можем определенно сказать, кто сделал то, чем мы пользуемся в данный момент. Когда продукт требует соединения усилий тысяч и миллионов людей — вопрос об авторстве вообще снимается с повестки дня.

В промежуточном варианте — мы можем соотносить продукт с деятельностью некоторой группы, с коллективным субъектом (границы которого, впрочем, довольно расплывчаты). В частности, поручая дело коллективному субъекту, мы не интересуемся деталями внутренних взаимодействий: для нас это распределенный субъект, виртуальное образование в некоторой сети. Мы можем назвать эту виртуальность каким-то именем — и для нас она совершенно неотличима от обычного субъекта, привязанного к биологическому телу. Когда несколько таких субъектов могут делать одно и то же, они в свою очередь объединяются в субъекте более высокого уровня, которого тоже можно как-то поименовать. В пределе, когда субъектом любой деятельности станет общество в целом, выделение индивидуальностей потеряет смысл, и имена будут не нужны. По любому вопросу мы обращаемся не лично к

кому-то — а к обществу целиком, и для этого у нас есть специальные (общественные) органы.

Возможна ли в таком мире любовь? Безусловно возможна. Однако ее формы станут принципиально иными, почти непредставимыми для выросших в недрах цивилизации.

* * *

Наша суэта — от животности, от привычки к единичному телу. Космическому человеку некуда спешить: у него другие масштабы.

* * *

У духа нет массы покоя — и он движется в любой системе отсчета.

* * *

Если субъект деятельности становится всего лишь состоянием сети, ресурсы, используемые для реализации этого состояния находятся в общем пользовании. Другими словами, общественным становится не только производство, но и потребление. Одно и то же биологическое тело (или физический компьютер) используется для разных задач — и представляет разные индивидуальности. Разумно устроенное общество обеспечивает возможность такого распараллеливания, при занятости одного ресурса оперативно подключая другой. Здесь особенно важна универсальность, возможность передать функцию от одного другому, достигать цели разными путями.

Особенность духовного производства — идеальность продукта, реализуемость в самых разных материальных носителях. Потребление такого продукта есть фактически производство материальной системы, представляющей ту же идею, — это материальное производство. Потребление продукта этого производства — духовное производство, развитие идеи, обогащение ее опытом всевозможных реализаций.

Потребление субъектом продукта материального производства, ограничивает возможность потребления того же продукта другими субъектами (поскольку индивидуальные субъекты вообще различимы в контексте какой-то деятельности). Выход из положения состоит в

предоставлении каждому аналогичного продукта — реализации той же идеи. Границы аналогии зависят от культурных установлений, от истории формирования субъекта. В частности, дефицит продуктов одного типа ведет к перестройке отношения к потреблению, к обращению иерархии идей.

Считается, что одна и та же идея — никак не ограничивает совместного пользования; но это возможно лишь при условии, что материальные ресурсы для ее различных реализаций имеются в изобилии. Например, если художественный образ требует воплощения только в каррарском мраморе — его реализация вообще невозможна, поскольку месторождения давно истощены. Аналогично, если проект требует соединения усилий многих миллиардов людей — придется подождать с его реализацией до прихода более экономных технологий. Тем не менее, рост возможности разделения ресурса по мере удаления от материальной основы — явление обычное, и самые абстрактные идеи теоретически могут разделяться вообще всеми; обратная сторона такой всеобщности — абстрактность самого разделения, поскольку невозможно понять, что же у нас есть, пока мы не приспособили это к живому делу.

* * *

Если мы милостиво разрешаем собеседнику иметь свое мнение, но каждый раз, когда его мнение не согласуется с нашим, даем ему по морде, — через некоторое время окажется, что мы с ним полные единомышленники, — при полной свободе мнений!

* * *

Слова, вырванные из контекста, означают вовсе не то, что автор имел в виду, — но они означают именно то, что должны означать.

* * *

Глобализация — другая сторона размежевания, всеобщего разделения труда: чем единичней единичность, тем шире границы общности. Поскольку же общее отделено от единичного (обособлено),

между единичностями пропасть, непроходимые барьеры. Классовое общество абсолютизирует любые противоположности, и возможность превращения одного в другое представляет скачком, изменением качества. Снятие противоположности, наоборот, означает отсутствие необходимости превращаться в другое — и возможность просто быть этим другим, оставаясь собой. Это и есть свобода.

* * *

Разум требует не только интеллекта, но и чувств, и умения мечтать. Он не равнодушен, ему нужно не просто что-нибудь — а нечто вполне конкретное, — и ему важнее творить свои потребности, а не только потреблять.

* * *

Достойный по природе — по природе недостоин быть человеком.

* * *

Признание принципиального отличия разумного существа от животных равносильно утверждению о необходимости уничтожения цивилизации и строительства разумного, бесклассового общества.

* * *

По Гегелю, вещь в себе (сама по себе, *an sich*) становится вещью для других — а через это и вещью для себя. Для объективной логики этого достаточно.

Но в том-то и суть, что человек не только объективен — он еще и субъект, дух! Поэтому для других он будет не только вещью, но и духом. И точно так же, через общение с другими он замечает собственную духовность.

Дух, конечно же, не существует сам по себе — он всегда представлен движением вещей. Чтобы заметить духовность другого, придется посмотреть на вещи его глазами — поставить себя на его место, примерить на себя его деятельность, проникнуться его духом. Только

после этого возможно обнаружить свою тождественность с другим — и одухотворенность собственного труда, как если бы видимого глазами другого. Мы приходим к себе через любовь.

Следовательно, исходную логику

вещь в себе \Rightarrow *вещь для себя*

следует дополнить ее субъектными обращениями:

вещь в тебе \Rightarrow *вещь для тебя*

вещь во мне \Rightarrow *вещь для меня*

Это серьезное расширение логики — и над этим предстоит поработать.

* * *

Результаты работы — отличаются от плодов труда.

* * *

Материя, конечно, задает духу жесткие рамки — но это не границы духа, а ограниченность способа духовного производства. Где поселятся дух — трудно сказать. Одно и то же действие бывает формальным — или творческим. Разглядеть дух в продукте — дело не менее творческое. Сточки на бумаге — еще не стихи, их только предстоит оживить читательским неравнодушием. И это зачастую не зависит от намерений автора. Самую обычную гамму можно играть по нотам — а можно с выражением. Упражнения на гармонизацию или полифонию — могут для кого-то стать ключом к собственной духовности. Да, задания по латинскому стихосложению в старых гуманитарных школах редко рождали шедевры — но, может быть, просто некому было искать?

* * *

Неправда — вовсе не то же самое, что *ложь*. И сказать другому: *ты не прав!* — не то же, что: *ты лжешь!* Вопрос о соответствии истине тут не стоит — что есть истина? Как и во всякой деятельности, важнее усмотреть — для чего. Ложь корыстна: лгут ради достижения низкой цели. Неправда возможна и с благородными намерениями. Хорошо это или плохо — вопрос о другом: почему человек поступает именно так,

что вынудило его покривить душой? Значит, что-то не так с обществом, и надо снова переделывать мир.

* * *

Когда у человека что-нибудь отнимают — он уже не совсем человек, а полуфабрикат, заготовка, каркас. Когда отнимают очень много — остается голая схема, абстракция.

* * *

Люди давно догадывались: не бывает красоты самой по себе. Прекрасно что-то и для кого-то. То есть, с одной стороны, особое качество объекта, как свойство или предрасположенность. Но еще важнее — характер взаимодействия с субъектом, способ быть для него. В древности это называли грацией. Вульгарная сторона — умение подать товар лицом.

Просвещенческая идея грации восходит к буквальному толкованию слова: божий дар, благодать. Любимый человек как икона, источник света. Любящий не допускает мысли, что источник грации — он сам, что прекрасное есть продукт совместной деятельности — вполне земного, а вовсе не божественного происхождения. Или иначе: человек превзошел богов.

Как водится, буржуазия все опошляет — и современные психологи толкуют об идеализации, иллюзиях и разбитых мечтах... В пределе, красоту секс-партнера измеряют количеством выпивки.

Но необходимости одухотворять природу никто не отменял. Умеете вы так повлиять на мир, чтобы он подарил вам свою духовность — вы разумное существо; нет такого умения — недочеловек, заготовка, тупая протоплазма. Разумеется, речь не только о красоте.

* * *

Когда человек приступает к деятельности, он исходит из имеющихся ресурсов и планирует работу так, чтобы в итоге все-таки получить нужный продукт. Могущество разума в том, что практически в любых обстоятельствах он умеет найти приемлемое решение —

действовать по обстоятельствам, не отступая от разумности. Иногда приходится выражать себя в уродливых формах — но было бы глупо отказываться от разума на том основании, что для разумного действия нет подходящих условий, что общество не созрело — и время не пришло. Если не получается творить в благоприятствующем этому формате, мы включаем новую программу: уложиться в заданный формат; и это тоже творчество — а вовсе не отступление от идеала.

* * *

Не бывает человеческой природы.

* * *

Французские слова для того, что мы называем духом сами собой выстраиваются в замечательную триаду:

esprit — génie — raison

Передать это в других языках не получится — только с большой натяжкой, насилия словарь. Общая идея: у разума две стороны — объективная и субъективная; поэтому разумным быть можно очень по-разному, в зависимости от соотношения рационального и чувственного, направленного на объект — или идущего изнутри. Это внутренне «расслоение» разума вполне соответствует внешнему, по Гегелю:

сознание — самосознание — разум

Дух как вдохновение — обычен для просвещенных философий; дух как воодушевление — открытие Дидро и романтиков. Но для разума важно и то, и другое — и только так дух делает себя продуктом деятельности.

По-русски можно было бы говорить о разуме как единстве *ума* и *гения* — но слова это настолько размыты в языке, что под такую схему возможно подставить вообще что угодно...

* * *

Производственные отношения — материальная основа духовности, но эта материальность сама по себе идеальна, поскольку речь о не о том,

что есть само по себе, а о связи вещей. Возникает соблазн ограничиться производственным общением — и считать характер и поведение всего лишь следствием. Но точно так же, как совместная деятельность не сложится сама по себе, в силу чисто технологических требований, — взаимодействие личностей не только не вытекает из производства и быта, но и активно влияет на свою материю, одухотворяет ее. Когда людей сводят вместе внешняя сила — производство остается только возможностью духа, но не его действительностью. Это касается и духовного производства — поскольку его продукт не более чем абстракция субъекта, идея деятельности — безразличная к стремлениям и мечтам. Собственно деятельность начинается там, где идея соединяет один дух с другим.

* * *

Глупо судить о других по себе и только для себя. Мы можем не любить кого-то — это не значит, что он недостоин любви. Нас не устраивают дела и поступки — но они по-своему уместны и логичны в другом контексте. Странности окружающих не дают нам застывать в себе, вырождаться в центр индивидуалистической вселенной, забыть о разнообразии мира. Признавая других людьми — мы преодолеваем животность.

* * *

Разумное не ждет воздаяния. Оно никогда не ждет.

* * *

Человек всегда что-то делает. Например, он делает ошибки. Наши ошибки — такой же общественный продукт, как и все остальное, и мы просто обязаны их совершить: иначе в мире останется незавершенность, неполнота.

Классовый человек боится ошибиться — и предпочтет лишний раз не влезать в рискованное дело. Свободному человеку бояться нечего: никто не будет расценивать неудачу как вредительство, сторониться и упрекать. Все понимают, что жизнь сложна, и провалы неизбежны; когда

не смог стать достойным любви — любимому достаточно знать, что любовь есть, и никаким нелепостям биографии этого не заслонить.

* * *

Сказка не ложь! — это просто выдумка. Человек сознательно говорит о том, чего не было, и не могло быть. Тем самым он освобождает себя от природной необходимости, готовится переделывать мир наяву. Однако фантазии далеко не всегда превращаются в мечты: иногда это лишь игра, условность, без конца воспроизводящая один и тот же навык, подобно движениям удивленного себе ребенка. Абстрактное искусство, абстрактная наука. Тупая педагогика, состарившаяся любовь.

* * *

Мы давно привыкли фотографироваться на документы — и даже представить себе не можем, как люди когда-то обходились грамотами без портрета. Или вообще ничего не могли предъявить. Но появилась фотография, по историческим меркам, совсем недавно — а массовой стала лишь после первой мировой. Поначалу, запечатлеться — стоило денег, и шли на съемку как на праздник, при всем параде. Чуть раньше нечто подобное происходило с портретной живописью: запечатлевали особ денежных — а все остальные если и попадали на холст, то лишь в качестве колоритной натуры, которую талант художника перерабатывал порой до полной неузнаваемости (хотя имена некоторых натуралистов до нас таки дошли). Так и получилось, что лица многих знаменитостей прошлого мы знаем лишь по чьим-то очень вольным зарисовкам (вовсе не обязательно следующим оригиналу), или посмертным портретам-фантазиям. Нет, конечно, всяческие цари, купцы, военные и церковные чины — косяком, в профиль и анфас. Но как выглядели Сафо, Абеляр, Франсуа Вийон? — бог весть... В идеологических целях тиражировали бюсты Платона и Аристотеля; но от Анаксагора и Евклида не осталось ничего — не говоря уже о заслуженных дамах, вроде Таис, Клеопатры или Гипатии; последнюю мы знаем лишь по вымыщенному портрету к вымыщенной биографии! Даже знаменитый Ронсар — не удостоен; опального маркиза де Сада рисовать тоже никто не рискнул — и это начало XIX века, почти на пороге фотографической эры!

Заметим, что даже сохранившиеся портреты вряд ли следует считать историческими документами: тысячи лет господствовало мнение, что художник вовсе не обязан добиваться портретного сходства — ему важнее отобразить стоящую за физиономией идею. Предположительно, клиенты вовсе не возражали против подобной идеализации (да и ранняя фотография немыслима без художественной ретуши — а чудеса фотошопа стали общеизвестной идиомой). Но когда за дело взялись силовики — нежностям конец: идентифицировать злоумышленников (коими потенциально являются все без исключения граждане) следует по точным и беспристрастным (нормализованным) изображениям. Закон жанра — жесткий формат, никаких художеств! Одновременно с этим возникают стандарты словесного портрета, антропометрия, отпечатки пальцев. Так мы потихоньку перетекаем в навороченную современность, где есть еще и образцы голоса, и сканы сетчатки, и анализ ДНК — и многое другое, о чем типовой обыватель, возможно, и не догадывается. Когда я плачу по счету за водопотребление — заботливые чиновники меня предупреждают, если мои расходы не соответствуют невесть кем предписанному мне профилю! — какие еще экономико-этологические «профили» в моем досье? Биография, служебной список, банковская история... В медицине это называется «объективными методами». Сегодня ни один врач без комплекта анализов — пальцем не пошевелит. А если я безнадежно субъективен? если я не желаю, чтобы меня осматривали и ощупывали, — а хочу, чтобы признали во мне разум, творческую свободу, духовность? Что мне трухлявое тело с его трухлявым жизнеописанием? Пусть про это забудут еще при жизни; моим мечтам никакие портреты не нужны! Какая мне разница, чем одно изображение несходно с другим? Александра Македонского отличает от Венеры Милосской вовсе не форма мрамора, а характер их деяний. Которые вовсе не обязательно состоялись в биологическую бытность; например, вышеупомянутая Венера абсолютно ничем при жизни себя не зарекомендовала (и ее имени история не хранит) — зато в наши дни волшебство испытали на себе очень и очень многие. Вот так же и мы: бегаем, суетимся, чего-то добиваемся... Кому до этого дело — кроме судебного исполнителя и налоговой инспекции? Не в том наша суть, другое у нас в этом мире предназначение — которое никакими словами толком не передать.

В эпоху глобализации и вседовлеющей виртуальности пора бы оставить дурную привычку что-либо из себя изображать. Образы —

лишь игра, переодевание, маскарад. Станный парадокс: чем больше у человека возможностей играть разные роли — тем старательнее ему пытаются навязать какую-то одну. Полицейское помешательство на биометрии — не от большого ума; оно от страха. Если одного человека не отделить от другого непроницаемыми (классовыми) барьерами — как смогут одни ездить на шее у других? Эдак всем придется самостоятельно шевелить мозгами и конечностями — и выстраивать судьбу не по наследству, не по хищным замашкам, а по реальным заслугам. Чего господа никак не могут допустить. Нет у них за душонкой ничего стоящего — и банковской цифирью это не компенсировать. Именно поэтому хозяева вынуждены допускать в свое неорганическое тело наемных слуг (или бесправных рабов) — самим в своем хозяйстве не управиться. Но стоит рабу причаститься к телесной распределенности — он уже не совсем раб: он пропитывает собой хозяев, делает их существование своим — и тем самым обрекает на полную ненужность, безжизненность. Правящая верхушка разлагается изнутри, ей нечего предъявить человечеству, кроме «объективных» свидетельств якобы избранности. Но объективность — удел вещей; разумное существо использует вещи для производства других вещей — но не по шаблону, следуя установленному порядку, а свободно заменяя одни вещи другими, произвольно меняя тела. Вот это умение мы и сообщаем другим по ходу любой деятельности, и пока мы в состоянии кого-то вдохновить — мы есть.

* * *

Мы размышляем только о том, чего еще нет. Мы граним образ, выводим формулы, строим схемы... Разновидности мечты. Когда сбылось — будем мечтать о другом.

* * *

Начало и конец пути — а между ними что-то очень извилистое. Можно ползти по этой дикости, вписываться в любые повороты. Кто слишком стремительный — вылетает на обочину, и приходится тратить силы не поиск продолжения, не возвращение в колею. В итоге — и те, и другие приходят одинаково. Но по-разному. Для одних достижение

глубоко прочувствовано, пережито, — другие нахватались сторонних идей, видят результат в широком контексте. Человечеству нужно все — и нужны все.

* * *

Орудие труда — для творчества, а не для орудования.

* * *

Универсальность субъекта означает, что любые материальные образования будут нести на себе печать духа — по крайней мере, они изначально постигаемы — а значит, и для чего-то предназначены, и только ждут своего часа, включения в деятельность. Материя движется сама по себе — но в ней нет ничего, что не могло бы стать продуктом деятельности. Человека не было на Земле миллиард лет назад — но он там неявно присутствовал как возможность и неизбежность возникновения (или обнаружения, воплощения) разума.

Обратно, нет ничего в разуме, что не восходило бы к тому или иному воплощению, не следовало бы за движением материи. Отсюда соблазн поставить разум на одну доску с неживой и живой природой, опошлить его, «вывести» из неразумности, — или наоборот: вывести вещи и организмы из абстрактных идей, объявить природу лишь оболочкой духа, выражением его строения, порождением безудержного произвола.

Стремление во что бы то ни стало подчинить одно другому, делить мир на «первичное» и «вторичное» — суть классовой логики, согласно которой и в обществе одним дана мистическая власть над другими.

Но разные стороны одного и того же — не одно и то же. Мир как природа и тот же самый мир как дух — вовсе не тождество природы и духа: их различие предстоит *снять* в деятельности, путем превращения как природы, так и преобразующего ее субъекта в продукт — в котором соединено природное и духовное, возможность действия и намерение.

Поскольку мы говорим о себе, о деятельности, — мы различаем объект и субъект, разделяем мир на природу и дух. Однако это вовсе единственная возможность — и тот же мир может соединять другие (взаимно дополнительные) стороны; для нас, поскольку мы судим с позиций нашей деятельности, это выглядит как строение объекта или

строение субъекта, их внутренняя сложность. Но эти иерархии всегда связаны одна с другой, взаимообусловлены. И потому оказывается, что субъект (по видимости) движется по природным законам, а природа развивается (как будто бы) по воле духа. Суть же в том, что взятый в иных различиях мир обнаруживает различие объекта и субъекта как внутреннее строение чего-то иного, не имеющего прямого отношения к деятельности.

* * *

Формальность — не цель, а средство. Когда надо что-то уяснить, можно манипулировать абстракциями. Как только идея выросла — от этих подпорок можно отказаться и дальше мыслить (и жить) не по правилам, а по идеи. Теоремы превращаются в аксиомы — но мы помним, что ничто не навсегда, и всегда готовы развернуть себя в неожиданном направлении.

* * *

Всевозможные теоретики пытаются убедить нас в правильности изобретенных ими абстракций — разумеется, не из любви к истине, а потому что кому-то выгодно, чтобы мы поступали именно так (оставляя действия законодателей на их собственное усмотрение). Спрашивается: почему не иначе? Почему надо обязательно заводить ваши порядки, а не какие-то еще? В принципе, хороший ответ: а почему бы и нет? Для определенности. Но это хорошо только там, где есть альтернативы, когда можно пробовать варианты и подбирать подходящий для себя. Если же всех под одну гребенку и в одну (прокрустову) постель — это уже не забава, и не мешало бы привести разумные доводы. Хотя вряд ли огульная стандартизация может быть действительно разумной — только временно, в исторически ограниченных масштабах.

* * *

Совершенно не важно, как что называется. Бог, самосущая идея, способность ощущения... Можно сколько угодно объявлять все это мистическим и потусторонним — но поскольку оно не является

продуктом человеческой деятельности — это всего лишь природа, то есть мир, противопоставленный субъекту деятельности как объект. Другими словами — то, что человеку предстоит использовать в своей деятельности. Как только мы научились к чему-либо это приложить — мистические абстракции становятся продуктом, элементом культуры, предметом потребления. Мы производим не богов вообще — а тех, которые нужны нам для достижения определенных жизненных целей. Идеи нужны не сами по себе — они позволяют упорядочить труд, соединить усилия многих. Точно так же, о материи мы говорим лишь в том смысле, что нам всегда есть чем заняться — из чего строить свой мир.

* * *

Журналисты с восторгом ухватились за формулу Стивена Хокинга: интеллект — это способность быстро приспосабливаться к изменениям. Пожалуй, можно с ним в этом согласиться: интеллект — из животного царства, и у человека это лишь одна из сторон телесности. Остается только вспомнить, что мы таки разумные существа. А разум ни к чему не приспосабливается: наоборот, он приспосабливает к себе любые изменения, не дает ничему изменяться без нашего на то согласия!

* * *

Отличие материальных отношений от духовных подобно различию опосредованных и косвенных связей. Два субъекта могут обмениваться продуктами деятельности:

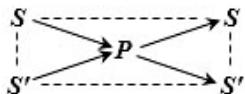
$$S \rightarrow P \rightarrow S'$$

Эта опосредованная связь в классовом обществе приобретает форму обмена. Такой обмен продуктов выражает строение деятельности — это производственная кооперация: продукт одного становится условием (объектом) деятельности другого. Снятие опосредования ведет к идеальному связыванию субъектов

$$S \Rightarrow S'$$

Такие (производственные) отношения субъектов направлены: у каждого партнера в них своя роль.

На более высоком уровне (в рамках иной деятельности) обмен продуктами снимается иначе, и деятельность выглядит как совместное производство или совместное потребление:



Звенья $S \rightarrow P$ и $S' \rightarrow P$ (а также их обращения) здесь равнозначны — это разные выражения одного и того же. Так между субъектами S и S' возникает косвенная (духовная) связь — их единство в деятельности. Тем самым также образуется духовное отношение каждого из субъектов к себе — основа личностного роста.

Легко заметить, что одно не бывает без другого: общественное производство ведет к духовному единству — а духовные связи всегда представлены производственными. Опосредования и косвенные связи по-разному выглядят на разных уровнях деятельности: они переходят друг в друга при обращении иерархии.

* * *

Когда нет вариантов — есть разные варианты... Например, может быть разумным следование необходимости; да, это внешняя сила, подчиняясь которой разуму не подобает, — но поскольку поведение намеренно, обстоятельства лишь подталкивают — но не определяют. Потому что есть и другой выбор. Какой? Их много. Иногда нельзя даже на поверхности примириться с навязанным — и разумнее сделать паузу, прекратить всякую деятельность — не существовать. Крайности тоже должны быть уместны — но разум свободен, и он не исключает ничего.

* * *

Как только человека поместили в ряду животных — общественный прогресс останавливается. Невозможно критиковать то, что от человека не зависит. И тогда, вместо уничтожения морали, права и религии как форм существования классовой экономики — недовольных уводят на поиски «естественной морали», «естественного права», «естественной религии». Но в природе нет свободы — поэтому «естественность» не только ничего не меняет, но и усугубляет бедствия страдающих масс.

Бить морду просто так или «естественно» — это одинаково больно; «незыблемое» и «априорное» — лишь придают унижению оттенок безысходности. Поэтому эмпирионатуралистические учения даже не претендуют на защиту интересов угнетенных — они обращены к эlite, их задача укрепить единство хозяев против разобщенных рабов.

* * *

Мы много говорим о свободе. Иначе и быть не может — ибо жить нам приходится в несвободном, классовом обществе. Когда свобода станет обычным состоянием общественного бытия — у философии будут другие темы. Точно так же, где все любят и любимы — там незачем размышлять о любви.

* * *

В отношении к материалу всякой вещи, ее форма — идеальна: это заведомо не материал, а способ его организации. Когда мы говорим о появлении разумных существ, мы имеем в виду, что какие-то вещи (движущиеся по природным законам) становятся носителем разума, исторически конкретной формой его существования; но это означает, что в качестве формы разума природа *идеальна* — то есть, в ней уже предполагается дух, и называть природу («объективную реальность») материей — это вульгарный материализм.

* * *

Эстетика, логика, этика — вспомогательные средства, подготовка деятельности. К ней можно подходить по-разному — и потому разные люди могут трудиться сообща, несмотря на противоположности. Любая схема — строительные леса; после завершения строительства они ни к чему. Важно, что мы решили — а не как подошли к решению.

Однако человек — не просто умная зверушка, которая придумывает хитрые способы достижения цели — но тут же забывает о них, когда цель достигнута. Люди обращают внимание на собственные поступки — и делают каждый из них логической схемой, эстетическим взглядом или этическим принципом. Строитель разбирает леса — и складывает про

запас, чтобы при случае собрать заново, по-другому, по форме будущего творения. Это называется рефлексией, духовным производством. И этим можно заниматься столь же осознанно, как и удовлетворением телесных потребностей, — и для человека граница между тем и другим становится зыбкой и условной. Для изготовления орудий труда тоже нужны орудия. Использование орудий — тоже творчество.

Но не бывает орудия ради орудия. Инструмент не сам по себе — он задуман как инструмент, он предполагает определенные способы использования. Наши орудия — это мы сами. Можно найти иные применения уже готовым вещам; но приспособить вещь к чему-то — это тоже производство, поиск себя. Изготовление орудий труда заставляет применять их — и становится планом, направлением дальнейшего развития. Так человек порождает свое будущее. Каждое орудие — мечта о будущем. А значит — и память о прошлом.

Когда орудия труда становятся универсальными — и предназначены также для изготовления самих себя, — они пропитывают духом, приобретают черты субъекта деятельности. Но, в конце концов, и человек — лишь орудие мыслящей вселенной.

* * *

Можно ли вытянуть себя из болота за уши? Можно. Для этого надо привязать уши к прочной веревке, пропущенной на твердом берегу через блок, — и тянуть за свободный конец.

Точно так же, мы вытягиваем себя в будущее, зацепившись за то, что ему уже принадлежит, — и стряхивая сегодняшнюю грязь в трясину прошлого.

В рефлексии роль опоры играют идеи — образы того, что могло бы стать, если хорошенко постараться. Мы все пропитаны нездоровыми миазмами — и не можем отделить новое от старого, оставаясь внутри себя. Тогда мы сравниваем себя с другими — не с измысленными нами образами, а с реальными людьми, с кем можно по-человечески общаться. Там, где мы слишком похожи, — скорее всего, груз животности. Где мы совсем разные — след неживой природы. Самое интересное — чего у нас нет, но чем мы могли бы стать. За это уже можно ухватиться, и потихоньку подтягиваться. Не забывая, конечно, что мы все еще в болоте, и выпячивать достижения рановато. Обнаруживая неразумность в других, мы сразу же натыкаемся на такую же в себе — и подтягиваем

канат, чтобы оставить дрянь позади. Иногда опора подводит: идея с гнильцой... Ну что ж, попробуем следующую — а это само по себе недурная идея!

* * *

Превращение людей в живые существа и неживые вещи в сказках и мифах — пережиток первобытного синкретизма, когда человек уже не вещь по своему положению во вселенной — но еще не успел это осознать. Современные эмпирионатуралисты, пытающиеся затащить человека назад в природу, — рудименты и атавизмы первобытности, любители анекдотов с бородой. Синкретическое сознание — гораздо глубже и продуктивнее; например, мы видим в нем проблеск марксовой идеи о неорганических телах — и предвестие освобождения человека от всякой органики, за исключением продуктов человеческой деятельности намеренно организованных по форме живого (но сохраняющих при этом и собственно культурную определенность). Человек не превращается в вещи — он консервирует в них свою историю, и это позволяет свободно замышлять будущее. Для академической науки — есть только одна история. Разумное существо развивается сразу во всех направлениях — в суперпозиции историй, с веером перспектив.

* * *

Буржуазная философия трубит о свободе воли — подразумевая под этим лишь односторонний характер права: закон только для бедных — богатые могут поступать как им заблагорассудится. Точно так же, наука устанавливает связи в природе — и освобождает от них человека, позволяет ему заняться поиском того, что этой необходимости не подчиняется. Точно так же художник добивается совершенства — чтобы освободиться от навязчивых форм, подняться выше. Такие частичные свободы — типичная черта классового общества. Когда человека сводят к профессии (или иной единичной определенности) — его свобода выглядит как свобода профессии, абстрактной категории, — а человек прикован к ней, и заведомо не свободен.

Не может быть свободной абстракция. Свободен человек. Целиком, а не какими-то отдельными (отчужденными от целого) сторонами.

Разговоры о свободе воли прикрывают неприглядность классового бытия: воля человека — уже не его воля, она свободна, она представляет некоторую внешнюю силу... Нетрудно догадаться, что это за сила. Свободным человек станет только в обществе без классов, где никакое отчуждение разумности от разума — в принципе невозможно.

* * *

Для буржуа — счастье остается чисто природной категорией: оно есть или нет само по себе. Предел мечтаний — богатство; оно так и называется: состояние. Богатство не сделать никакими усилиями; его источник — рыночная удача (то есть, стихий, игра случая). Можно долго копить по грошику — и все потерять под очередным кризисом; повезло, если успел округлить капитал (или занять хорошее место, или хотя бы обеспечить пути отхода) до того.

Человек разумный — счастлив, когда удается свободно творить, — независимо от результата. Его счастье в том, что можно быть всем — но не надо оставаться ни в чем. Эта универсальность в извращенной форме обнаруживается в абстрактной всеобщности капитала, в его способности превращаться во все: все купить и все мерить по себе.

* * *

Жизнь — одушевление тел.

Деятельность — выход за рамки плоти.

Душа не может покинуть тело.

Дух свободен — и может воплощаться в чем угодно.

* * *

С точки зрения физики — нет никаких атомов и молекул, а есть взаимодействие квантованных полей. С точки зрения химии — только взаимодействие молекул, и ничего, что можно было бы назвать жизнью. Для живого — все вращается вокруг физиологии организма и видового поведения (включая психологию); нет здесь места разуму. Движение на каждом уровне иерархии подчинено законам этого уровня, а другие уровни (различие верха и низа в иерархии относительно) лишь задают

связи, граничные условия, определяют отличие одних вещей от других. Каждый из уровней характеризует иерархию в целом с одной из сторон, как способ бытия вселенной. Там, где уместно выделение уровней существования, жизни и разума, неживое предстает как всеобщая связность, жизнь — как связанность одного с другим, сознательная деятельность — как связывание, восстановление единства мира.

* * *

Если настраивать себя лишь на постижение мира — мир признают высшим совершенством; тогда, независимо от намерений, приходится признать и столь же совершенного творца — ибо совершенство есть отношение к намерению, а не свойство вещи самой по себе. Восторги по поводу природных красот, гармонии мира, априорных законов или разумных (читай: божественных) оснований всякого бытия — лишь пропаганда начальственных идей, призыв покорно исполнять приказ, полагаясь на вышестоящую мудрость. В частности, отсылки к народной мудрости — против мудрости, стремления жить своим умом и своими чувствами.

Человек не постигает гармонию мира — он ее создает. Без нас — только хаос; упорядочивает хаос наше сознание, решимость считать порядком именно это, а не другое. Перенести тот же принцип на производство самих себя — следующий шаг к разумности. Собственно разум есть сознание рукотворности любого порядка и своего призвания устанавливать и менять любые порядки, не считаясь с привычками господ.

* * *

В *Капитале* процесс материального производства (экономика) Маркс рассматривает как производство *товаров* (предметов обмена) — как это характерно для классового общества. При этом предполагается, что доклассовое производство было непосредственно ориентировано на потребление — и лишь возможность *присвоения* продукта частными лицами ломает эту установку, заставляет обменивать излишек одного на излишек другого. Здесь много сложностей; например сама идея частного лица связана с возможностью присвоения — и логический круг курицы

и яйца приходится как-то преодолевать, выходя за рамки классической логики. Но в любом случае общая направленность развития налицо — поэтому общество будущего должно в какой-то форме восстановить примат потребления.

В субъектном плане, воспроизведение субъекта материального производства в бесклассовом обществе есть прежде всего производство *потребностей* — тогда как при капитализме на первом плане воспроизведение *способностей*, — так что даже потребность выступает обращенным образом, как покупательная способность. В контексте товарного производства субъект воспроизводится как рабочая сила — или как потребитель; в этом (сугубо экономическом) качестве он становится субъектом прежде всего производственных отношений (правовых, моральных и т. д.) — и все остальные отношения между людьми берут только с этой, вещной стороны. При этом мы всегда подходим к субъекту *извне* — и видим в нем вовсе не то, что делает его субъектом, отличает от природного существа (независимо от «номера» природы). Конечно, на словах, вроде бы, признают, что существует еще и духовная сторона — но заявляют, что она вторична по отношению к материальным связям. Как только заходит речь о производстве (культурных) потребностей — одного указания на материальной основу мало: надо еще и осознать *внутреннюю* необходимость такого движения, вывести его из самого субъекта. Только так возможно говорить о *духовном* производстве — то есть, о воспроизведстве субъективности как таковой.

К сожалению, сколько-нибудь внятных указаний от экономического трактата ждать не приходится; единственный разумный вывод — неизбежность отхода от диктата экономики в бесклассовом обществе будущего. То есть, главным мотивом станет не производство организмов и вещей, а производство идей — универсальных отношений между вещами и телами, которые могут по-разному представляться на практике; тем самым уже не материя определяет сознание — а наоборот, наш дух заставляет материю принимать нужные нам формы, чтобы обеспечить дальнейшее развитие духа. Собственно, этим мы (по словам Маркса) и отличаемся от пчел, муравьев и прочей живности.

Что охватывается категорией «духовное воспроизведение»? В учебниках тупо перечисляют «формы общественного сознания» — ничего кроме голой эмпирии за эти не стоит. Без минимальнейших попыток систематизации. Большая часть этого (право, религия и т. п.) —

принадлежит сфере материального производства — это лишь формы производственных отношений, идеальная сторона экономики. Даже традиционная психолого-социологическая абстракция личности — относится, скорее, к субстрату духовности, к ее воплощениям: любая статистика — это неживая природа, а психика — из биологии. Область тел (включая неорганические).

Но где та элементарная клеточка, с которой надо начинать? Какие противоречия анализировать? Следуя методу Маркса.

Есть подозрение, что говорить о духе надо как-то иначе. Потому что его суть — единство, а не различия; в духе вообще нет противоречий. Впрочем, и экономика оказывается противоречивой лишь в классовом обществе, и метод Маркса не обязательно окажется уместным при исследовании бесклассовых обществ. А может быть, само различение материального и духовного окажется излишним — и на первый план выйдет нечто вообще невообразимое.

В любом случае, самого общего представления о субъекте деятельности недостаточно: это, конечно, нужно и правильно — но для практики почти ничего не дает, не поддается осмыслению. Вопрос — в каком качестве мы воспроизводим субъекта, в каком отношении. От этого зависит, что станет центральной категорией, вершиной иерархии.

Например, воспроизведение субъекта можно понимать как товарное производство — создание работника, способности возобновления деятельности, рабочей силы. Это имеет отношения к духовности — субъективности как таковой; но в определенных условиях духовность невозможно без этого.

Что еще имеется?

Деятельность? Да, субъект тождествен деятельности — но он лишь представляет ее. Скорее, нас интересует воспроизведение способов деятельности — но как соединить это с универсальностью, основной характеристикой субъекта?

Культура — слишком широко. Это единство экономики и духа — но не вообще, а как исторический этап, или уровень. Культура — всеобщий продукт; в качестве второго отрицания, она ближе к объекту.

Личность — слишком узко, привязываемся к одной из сторон субъекта, к внешности; но если дух становится продуктом, в нем есть и объектная сторона, и надо ее воспроизводить вместе с субъектностью.

Сознание — еще уже; уход внутрь субъекта, на один из его уровней (вместе с самосознанием и разумом); нет продуктивности.

Так что же мы духовно производим??!

Вероятно, все вместе — но особым образом, *духовно*.

Надо думать, присматриваться. И главное — не застаиваться в чем-то одном. Всякое суждение — исторически ограничено. Одна линия из многих. А мы хотим сразу всего!

* * *

Цикл духовного производства $S \rightarrow O \rightarrow S$ представляет развитие субъекта через идею. Но тогда материальное производство $O \rightarrow S \rightarrow O$ допустимо развернуть в иерархию $O \rightarrow (S \rightarrow I \rightarrow S) \rightarrow O$, и снятие опосредований дает другое обращение той же иерархии: $O \rightarrow I \rightarrow O$, преобразование мира через идею. Отсюда столь обычная для старой философии склонность представлять субъекта как идею и патетически провозглашать, что идеи движут миром. Но субъект — не только идея; он еще и руками работать умеет — в отличие от некоторых философов.

* * *

Ученые обвиняют философов в расплывчатости понятий — и тем самым обнаруживают туман у себя в голове. Это в науке — понятия. Философии нужны категории — каждая из которых представляет собой единство очень многих понятий. Этим и занимается философия — установлением единства.

Как бы это попонятнее... Возьмите аксиоматическую теорию в математике. Образец строгости. Все однозначно? Как бы не так! Одно и то же можно, оказывается выводить из разных аксиом — и получать эквивалентные аксиоматические теории. Доказывают эквивалентность достаточно прямолинейно: аксиомы одной теории выводят из аксиом другой, и наоборот. Но это если теорий немного. А эквивалентность как таковая — непонятно что. Утверждение, что все теоремы одной теории выводимы в другой, — подразумевает, что мы умеем вывести все теоремы и завершить построение теории; а это, извините, вовсе не факт. Класс всех теорем аксиоматической теории даже в простых случаях не определим в терминах этой теории — и надо выходить в какое-то другое «пространство», где теория существует как целое, независимо от возможных формализаций. То, что внутри теории — это понятия. Класс

допустимых аксиоматических формулировок — вроде бы, определяет целостность в некотором узком смысле; но построение классов в математике операция некорректная, ибо при этом (явно или неявно) используются метатеоретические соображения — с очень сильными допущениями, которые, если честно, сводятся к одному: сделаем так, чтобы все получилось.

Но теорию вовсе не обязательно представлять аксиоматической системой! Например, прямолинейное «перечисление» все истинных положений — без всякого вывода — очевидно, задает некоторый класс, который может быть несколько шире, если какие-то утверждения в теории не выводимы. Есть стохастические формулировки теории, опирающиеся на возможность для любого единичного утверждения установить его истинность (не обязательно путем вывода — например, при помощи квантовой логики). И так далее. Более того, в развитии математических теорий ведущую роль играют вовсе не системы вывода, а методы определения: в уже существующую теорию определение вводит новый объект — и далее над уже известным надстраивается огромный пласт всего, что относится к этому понятию (хотя бы и формально определимому), — так что облик теории может измениться до неузнаваемости. Таких новшеств может быть сколько угодно — так что математике всегда есть куда развиваться. Тем не менее, у нас все равно есть идея теории как таковой, которую мы можем развивать в разных понятиях. Такое предельно общее представление — это уже не понятие, а категория; когда математики пытаются говорить о теории категорий — они сводят общую идею к одному из возможных понятий, а категориями как таковыми наука заниматься не может — и не должна. Мы можем лишь проиллюстрировать категорию примерами из жизни, какими-нибудь картинками, — или аксиоматическими теориями.

Переходя от математики к естествознанию, мы сталкиваемся с еще большими трудностями. Представления о предмете науки чаще всего складываются по мере ее развертывания — в результате чего наука может распадаться на относительно самостоятельные ветви (по мере «уточнения» понятий); в каждый данный момент мы совершенно без понятия, насколько все это здание близко к завершенности — и можно ли вообще его завершить. Упрекать философов в неопределенности — не видеть бревна в собственном глазу.

А философии вовсе не нужна академическая «строгость»! Мы как раз и начинаем с того, что обнаруживаем неуместность любых правил

вне контекста: никакие принципы не работают везде и всегда — и надо честно разбираться в конкретной ситуации. Формально определять заведомо неформальное — это дурной стиль.

Разумеется, в философии есть свой формализм (категориальные схемы) — но работает это иначе, не так, как в научных теориях. Но, как и в науке, мы стараемся дать как можно больше иллюстраций нашим категориям, показывать одно и то же то одним боком, то другим, — иногда сталкивая внешне противоречивые проявления; это вовсе не произвол, это суть дела! И если кому-то покажется, что иллюстраций слишком много — можем лишь сослаться на бесконечность мира, которую никакими объемами не исчерпать. Делаем что умеем — как умеем. Придут другие, посмотрят, — и смогут больше.

* * *

Материальное производство — от природных нужд. В рефлексии этого нет — и нужен духовный стимул. Поэтому писателям так нужны музы. Поэтому ученые не могут обойтись без толпы профанов.

* * *

Немножко медитативности — не повредит. Но если для чего-то требуется полная концентрация и самоотдача — лучше этим не заниматься: это противно разуму.

* * *

Когда мы говорим, что дух преобразует природу — речь вовсе не о мистической способности абстракций придавать форму материи. Такое понимание — от классового мышления, от привычки противопоставлять одно другому. Если дух — не природа, это никоим образом не означает, что он существует сам по себе, отдельно от природы, и сопоставлен с ней внешним образом. Напротив, дух — это и есть движение материи, один из его уровней. Но и обратное верно: материя не косная масса, обреченная на тупой круговорот случайностей, — нет, материя может быть и воплощением духа, представлять его природным образом. Материя и рефлексия — две стороны одного и того же, единственного и

единого мира. Одно не бывает без другого — но не просто складывается вместе, а становится другим, и возвращается к себе через другое. Поэтому возникновения жизни и разума — природная неизбежность, а разум универсален и окультирует природу целиком.

Но каким образом дух (нечто идеальное) приводит в движение материальные вещи? Очевидно, за счет использования других вещей в качестве орудий труда. Существование условий такого действия одних тел на другие (орудийность) — означает существование способности и намерения такого действия, его идею. Таким образом идея порождает новую орудийную ситуацию — и новые идеи. Тем самым мир движется согласованным образом на разных уровнях: и как движение вещей — и как движение духа. Одно не сводится к другому — но перетекает одно в другое, и вещи становятся объектами, а дух субъектом деятельности, — а в итоге и то, и другое оказывается ее продуктом.

* * *

Всякое орудие имеет две стороны: рабочую часть (способ воздействия на объект) — и средства управления (способ влияния субъекта). Разумеется, не всегда это столь же просто, как лезвие и ручка ножа; иной раз бывает трудно определить, что для чего, — но различие все-таки есть. Развитие орудий труда связано, таким образом, как с повышением их эффективности — так и с удобством пользования. Классовое общество извращает этот процесс: орудие рассматривают не как полезную вещь, а как товар, — и его эффективность и удобство не столь важны для рынка, ориентированного на стоимость (характер производства) и цену (характер сбыта); капитал интересуется только прибылью — и повышение «уровня жизни» зачастую связано с ухудшением качества потребления и массовым подорожанием.

Духовное производство (рефлексия) также использует специально изготовленные орудия труда. Эффективность и удобство также делают одни орудия предпочтительными по сравнению с другими. Но здесь есть характерная особенность: в рефлексии нам важно не только то, что делают, но и как это делают; поэтому даже заведомо неэффективные и неудобные орудия представляют некий образ действия, который важен для культуры сам по себе — как одна из возможностей (а определяющее свойство разума — универсальность, стремление охватить все). Более

того, именно неэффективность делает иногда орудие производства орудием рефлексии, знаком чего-то другого, подчеркивает заведомую «метафоричность». Нарисованные фрукты нельзя есть — но они не для этого нарисованы. Слово ничего не значит само по себе — но язык опосредует деятельность. Рабочая часть и пользовательский интерфейс в данном случае почти совпадают: творец опирается на культурно закрепленные функции знаков, чтобы вызвать у адресата столь же культурный отклик. Однако неизбежное различие в условиях творчества и восприятия (тем более при передаче духовного продукта из одной культуры в другую, от одной эпохи другой) отделяет пользование орудием от его действия — возвращает к единству противоположностей.

* * *

Свобода — это возможность быть собой. Счастье — возможность быть другими, чувствовать себя неотъемлемой частью целого.

* * *

Экономические отношения между людьми подразделяют на базисные (производственные) и надстроичные — якобы, все остальные. При этом в производственных отношениях (подобно природе) есть прямые связи людей в процессе производства (или потребления) как отражение связи вещей — и есть отношения в коллективах, выделяющие часть прямых связей как жизненно важные. Так различие неживой природы и жизни воспроизводится в формах общественного уровня (предполагая другое, неприродное содержание). Тогда «надстройка», вроде бы, соответствует сознательному регулированию производства, разнообразию субъекта, его универсальности.

Однако присмотримся: что под этим подразумеваются на практике? Оказывается, надстройка охватывает не все вообще отношения между людьми, а только те из них, которые обслуживают производство, опосредуют производство и потребление. Другими словами, надстройка в самом общем случае есть лишь *форма* производства, понимаемого как *материальная* сторона деятельности. Единство материала и формы — содержательная характеристика экономического уклада, и она никак не вытекает из материала и формы как таковых. Здесь важно понять, зачем

все это, как это способствует духовному росту — то есть, по сути, определить направленность истории.

Заметим, что надстроечные отношения всегда формальны (то есть, предполагают исторически определенные, относительно устойчивые типы поведения) — но не обязательно формализованы (превращены в общественные институты). Так, общественная психология (менталитет) и мораль — не требуют (а иногда и не допускают) документирования, что затрудняет этнографические и социологические описания, делает их артефактами, осмыслением задним числом, проекцией одной культуры на другую.

* * *

Промыватели мозгов всех времен и народов работают одинаково: несколько типовых приемов — и человека превратили в послушного болванчика... Суть метода — игра на неразумности, неспособности к рефлексии (которую те же инстанции насаждают с системе образования, воспитывая стойкое отвращение к рефлексии как таковой, привычку тупо реагировать, подражать, следовать стереотипам). В частности, обывателю внушают, что логика — это игрушка для яйцеголовых, что нормальному человеку она не нужна, и даже вредна. Подготовленная таким образом публика не интересуется разумными доводами — ей не нужна ясность, а нужна увлекательность, блескучая шелуха. И тут самое время пустить вход якобы старинные (но чаще изобретенные по поводу) притчи — поданные как синоним мудрости. Как клевета невозможна без фактов, так и обман делает истину своим орудием: всякая сказочка содержит разные намеки — однако наверх вытаскивают самое гнусное, способствующее оглуплению масс. Вот, например:

Два монаха шли через лес и встретили женщину, которая не могла перейти реку. Один из монахов поднял ее и перенес на другую сторону, хотя по правилам монахи не должны прикасаться к женщинам. Второй монах был потрясен и долго молчал, но через несколько часов не выдержал и спросил: «Как ты мог это сделать? Мы же обязаны следовать правилам!» На что первый монах ответил: «Я оставил ее на берегу реки. А ты все еще несешь ее с собой».

Отсюда делают вывод, что не следует слишком серьезно относиться к любым принципам — и такие вещи как самокритика и совесть человеку ни к чему: они лишь осложняют жизнь, мешают наслаждаться вечным

блаженством. Закон побасенок под фольклор: умный посрамил дурака. Но если второй столь же умен — рассказ можно было бы продолжить:

«Я вовсе не ее несу с собой», — возразил второй монах, — «я несу часть твоего греха. Ты взвалил на меня эту ношу. Но мой вопрос был о другом: почему ты не считаешь это грехом? Изволь отвечать по существу!»

А это уже совсем другой разговор! И другая мораль. Но допустим, что и здесь нашла коса на камень:

Первый смутился — но ответил решительно: «Мы можем удалиться от мира — но мир не удалится от нас. Не я прикоснулся к женщине — она сделала меня своим орудием. Не я нарушил обет — мир сделал невозможным его соблюдение. И моя совесть чиста».

Однако стреляного воробья не проведешь!

«Нет», — отозвался второй монах. — «Ты лишь перекладываешь на мир ответственность — а свою совесть ты переложил на меня. Никто не спорит: женщине надо было помочь. Но мысли мои не о ней, а о тебе: почему ты не нашел другого способа, сообразного твоему пути? Для этого тебе дан разум — и в этом я мог бы тебе помочь».

Чувствуете разницу? Это уже не вопрос о блаженности бытия — здесь размышление о месте человека во вселенной — и о его способности оставаться собой в самых неподходящих обстоятельствах! Но мы можем вообразить себе и такую концовку:

«Возможно, ты прав», — сказал первый после короткой паузы. — «Но за свои ошибки я отвечаю сам. Я смогу это пережить — и стать выше. Почему тебе нельзя было поступить так же? Не подобает мудрому требовать мудрости от других — он обязан вырастить ее в себе, не задавая лишних вопросов».

И они пошли дальше молча — но вместе, одним путем.

Вот такая получилась история... Не пошлое морализаторство, а повод задуматься, что-то решить для себя. Определиться с жизненной позицией. Быть вместе с людьми — и не презирать никого.

* * *

Не бывает цитат. В другом контексте — слова уже не те. Цитата — откровенный плахиат: мы используем чьи-то продукты для своих нужд, честно признаваясь, откуда мы это взяли, — но говорим сами и о своем. Припутывать к словам якобы автора (который, ведь, тоже у кого-то

позаимствовал!) — все равно что на молекулах воды прописывать ссылку на реакции, в которой каждая из них образовалась. Вероятно, иногда и это важно; но большей частью мы просто выпьем — и забудем, и незачем заморачиваться.

* * *

Универсальная схема деятельности

объект → субъект → продукт

в отношении к воспроизведству субъекта допускает (как и любая схема) разные интерпретации. Как обычно, интерпретация сопоставляют одну схему с другой — и формальные параллели требуется наполнить практическим содержанием.

Главное — это сознательное производство человека, как любого другого продукта. Не стихийное становление, не природная эволюция, а намерение — и его осуществление.

Как подлежащее преобразованию — человек есть объект, часть природы. И в этом своем качестве — он лишь *носитель* субъективности, одна из возможных материализаций.

Чтобы отличить этот объект от всех прочих, мы должны указать его определяющее свойство. Это *свойство* — субъектность, способность осуществлять универсальное опосредование, связь любых сторон действительности с любыми другими. Но субъектность здесь взята как *внешнее* отношение — между человеком и миром.

Поскольку человек сам воспроизводит себя, он представляет собой также продукт своей деятельности — и потому в нем сочетаются объектная и субъектная стороны: это и природная вещь — и выражение способа производства. Это качество также допустимо трактовать как соотношение носителя и свойств — однако в данном случае речь уже о *внутренних* сторонах человека — его телесности и духовности, — которые на каком-то уровне оказываются относительно независимыми, и можно говорить о материальном и духовном производстве «по отдельности», как о сторонах деятельности в целом.

Альтернативная интерпретация получается, если исходить не из качества объекта (как единства носителя и свойств), а сопоставить его бытие (явление) с его сущностью; в единстве они и показывают, чем объект становится в действительности. Мы приходим к рассмотрению

бытия субъекта (как общественного бытия) и его сознания (как общественного сознания) — их взаимной рефлектированности. Далее следует обычный (по Гегелю) переход к самосознанию и разуму.

Однако помимо «прямых» характеристик субъекта (полагающих его как объект или продукт) есть также «косвенные» пути. Например, поскольку субъект определен как универсальное опосредование, возможно выделение субъектных сторон в тех объектах, связи между которыми опосредуются субъектом. Ясно, что эти стороны объектов входят в материальный носитель субъекта, но могут и выступать относительно самостоятельно, объектно, как «вторая природа» вещей. Но и такие «вторичные» (опосредованные субъектом) отношения между объектами (в частности, общественные отношения), — то есть, само это опосредование, — могут входить в деятельность как объект; идеальное в человеке таким образом всегда воплощается в материальном (дух обретает плоть) — и обратно, всякое воплощение требует расширения сферы субъектного опосредования и на эту материю (что вульгарный материализм формулирует односторонним образом: бытие определяет сознание).

Разумеется, в каждом воплощении *универсальность* субъектного опосредования представлена лишь ограниченным образом. Отсюда кажущиеся аналоги человеческого в отношениях неодушевленных вещей и живых существ. Однако формальное тождество не отменяет совершенно разной содержательности — и надо каждый раз аккуратно выяснить, о каком уровне мира идет речь.

* * *

В природе нет ничего необъяснимого. Потому что, объясняя природу, мы лишь объясняем себя себе.

* * *

Старая шутка об идеях — выходит за рамки юмора. Невозможно обменять одну идею на другую — но можно поделиться идеей. Значит, невозможен рынок идей — а возможно нечто иное, чему в классовой экономике аналогов нет (по крайней мере, пока в ней не обнаруживаются проблески бесклассового будущего). Снимая противоположность

материального и духовного производства, мы устранием и отчуждение продукта от производителя (а следовательно, и от потребителя); на место обмена встает прямой доступ каждого к общественному продукту. Как это будет устроено — предсказать трудно. Находиться сразу всем в одном месте в одно время — это похлеще тысяч чертей на кончике иглы! Но принципиальная возможность есть — и остается лишь определиться с этапами исторического пути.

* * *

Мистики спекулируют на противоречиях между внутренним миром человека и его непосредственным окружением — и примирение ищут «в пространстве чистого сознания». Занятие глупое: что в таком случае представляет собой сознание — и в чем его чистота? Фрейд здесь последовательнее: сознание он помещает на границе внутреннего и внешнего — и оно принципиально не бывает «чистым»: не само по себе, а пропитано элементами внутреннего и внешнего, превращает одно в другое. Граница — единство внутреннего и внешнего; но у нее есть соответствующие определенности, а сама возможность соединения — не абстрактная идея, а то, как организована человеческая деятельность — практика. Соответственно, есть внутренние и внешние практики — что мы и наблюдаем во всех без исключения религиозных течениях. Ритуальные действия, жесты, созерцания и медитации, молитвы — все это пародии на общественное производство, в которых от человека остается только одно: необходимость делом обнаружить разумность. Формальные (мистифицированные) практики — лишь изуродованная (урезанная до индивида) общественная практика, преобразование мира в интересах людей. Только ради этого имеет смысл работа над собой — включая разного рода психотехнику с использованием подручных средств. Выпить кофе не для ради кофе — а взбодриться, подготовиться к настоящему делу (которое тоже не ради себя, а в контексте единства мира). Религиозные практики двух сортов (индивидуальные обряды — или массовые действия — лишь подчеркивают противоположность внутреннего и внешнего; снять ее может только общественная практика, совместный труд и общение. А практику невозможно ограничить индивидом, замкнутым сообществом или публичностью — разуму полезно все в разумных пределах. Но важнее всего — не зацикливаться

ни на себе, ни на природе: переделывать и то, и другое — вопреки диктату традиций и догм.

* * *

Тела не умеют двигаться быстрее света — по крайней мере в нашем нынешнем понимании. Я не могу переместиться в далекую галактику физически — никаких жизней не хватит. Да и зачем, если все так долго? Однако для моей мысли никакие расстояния не помеха — и вообразить себе я могу что угодно, независимо от совместимости этого с моим телесным существованием.

* * *

Изобретательство — переход рефлексии в практику. Сколь угодно великие открытия без этого оставались бы за бортом культуры, пустыми игрушками, полезными лишь как пример, абстрактная возможность. Иногда ученые вынужденно становятся изобретателями (как, например, Э. Ферми в проекте создания атомной бомбы); но им хватает простора и в рамках науки: получить аналитическое решение каких-то уравнений — тоже требует практической сметки, а не только знания основ.

Когда изобретательство пытаются поставить на поток — это само по себе нормально: рефлексия универсальна, и в конце концов коснется всего. Однако навороченные системы ТРИЗ так и остались чудачеством, курьезом — и преподавание технологии изобретения если и оказалось кому-то полезным — то лишь за счет расширения кругозора, знакомства с работой других, историей изобретений — а не с туманными теориями. Почему? Прежде всего, из-за принципиально рыночной направленности: изобретателей учат делать не абы что — а то, что возможно присвоить, запатентовать, — или продать права. Так было даже в советское время; тем более в гнилом буржуинстве. Упор не на *сделать* нечто общественно важное — а на *отличиться* (словечко патентной формулы!), быть не *со всеми* — а *не как все*. Нечто подобное — и в литературных вузах, и в художественных студиях, и при обучении ремеслам... — творчество превращают в спорт, разум вгоняют в дикость. Банальная защита диплома или диссертации — требует выпячивания (хотя бы надуманной) новизны, подборки комплиментов со стороны — или самому себе.

Публикация статьи в научном журнале — азартная игра: бросить на стол издательский взнос — и надеяться, что рецензенты сумеют сопоставить с собой и найти пару отличий (а больше — уже вредно: за гранью понимания). Основное правило бизнеса: найти рыночную нишу и выкачать все возможное до наплыва конкурентов.

В теориях изобретательства немало действительно интересных наблюдений и перспективных схем — но сделать это культурным достоянием возможно лишь методом очистки от бездуховности, от коммерческого духа. Мы творим не потому, что это для чего-нибудь нужно, — а потому что этот нам нравится, и кажется достаточно разумным. Важно быть не идеальным, не продуктивным, ... — важно просто быть, оставаться разумным существом, а не органом (пусть даже жизненно важным), и не конструкцией (пусть даже на чем все держится). Субъект как универсальное опосредование соединяет все со всем — но остается он субъектом лишь в качестве этого соединения, как единство мира. Стоит выделить себя из целого — не будет ни единства, ни универсальности, — и человека не будет.

* * *

Материя бесконечно разнообразна — но нет ничего, что человек не сумел бы втянуть в деятельность. В отличие от человека, разумного существа, — человеческое тело есть существо природное, и потому заведомо ограниченное. Органическое тело может выбирать лишь то, что предусмотрено его физиологией — и действовать на мир в тех же рамках. Чтобы преодолеть эти ограничения, человек изобретает вещи, способные опосредовать поведение организма, так что возможности улавливать природные движения и вызывать их возрастают без предела. Если организм когда-нибудь не будет справляться с превосходящим его неорганическим телом — человек откажется от этой органики ради чего-то более подвижного, специально для этого человеком созданного.

Эмпирионатурализм не замечает бесконечности разума — и для него возможности восприятия предельно узки: все сводится к обычным для земной жизни органам чувств, а воздействие на мир — к мышечному усилию. В начале XX века такие воззрения еще можно было бы оправдать; в конце века курс на вытеснение «естественной» органики из материализаций субъекта совершенно очевиден.

В связи с этим безнадежно устаревшей кажется и старая теория, связывающая «интеллектуальность» человека лишь с «высшими» чувствами — зрением и слухом, которые способны уловить мировую гармонию, в отличие от древнейших органов обоняния и осязания, вкуса, интероцепции и проприоцепции. Теория заведомо необоснованная — ибо еще на заре человечества индустрия благовоний тренировала ольфакторный интеллект, а кулинария — изысканность вкуса. Слепые способны к сложному тактильному общению — но даже оставляя в стороне якобы «дефектные» категории, вспомним о богатстве оттенков половой любви — поскольку она вытекает из любви духовной, и ее органическими проявлениями руководит разум. Вполне возможно, что более динамичная жизнь, подвергающая тела более разнообразным ускорениям, позволит улавливать и оттенки гравитационных полей.

Современный человек все еще использует старые «органы чувств»; однако у него уже вырабатывается чутье иного рода — когда широкое применение искусственных органов позволит непосредственно ощущать происходящее не здесь — и, возможно, не сейчас. На этой основе складываются новые представления о красоте, о благе, об истине — само различие которых в условиях универсальности каждого и утверждения личной свободы становится несущественным и неуместным.

* * *

Воспроизведение субъекта — на трех уровнях (они же стороны целого и этапы развития).

Прежде всего одни производят других — как обычные продукты, предназначенные для чего-то определенного (в данном случае — для универсального опосредования). Субъект при этом воспроизводится не как таковой, а лишь как предмет, тело, материальная предпосылка, возможность субъекта. Там, где потребление отделено от производства, такой субъект становится и предметом потребления. Такое, вещное воспроизведение духа мы называем духовным производством, или рефлексией (в узком смысле слова). От материального производства рефлексия отличается лишь формально, характером продукта, — то есть, как одна из возможных отраслей. Мы обращаем на нее особое внимание лишь памятуя о других уровнях иерархии — опять, же авансом приписывая духовность носителю духа.

На уровне творческого общения субъект *сам* себя производит и *сам* себя потребляет (или как-то иначе относится к себе). Это существенно **рефлектирующий** человек, человек как **универсальная** рефлексия. Мостиком к этому уровню от духовного производства (рефлексии) служит синтетическая рефлексия, производство идей. Синтетичность все еще предполагает обособление продукта от деятельности — снятие этой обособленности превращает деятельность в способ выражения субъектности, в *поведение*. Соответственно, для других человек уже не то, что он делает — а то, как он себя ведет. Это обычно и передают категорией *личность*.

В общении снимается противоположность производительных сил и производственных отношений — и мы здесь говорим не о способе производстве, а о *характере* общения. В классовом обществе характер общения играет роль базиса по отношению к всевозможным *общностям* (надстроичным образованиям) — так что личность не только сознает себя в качестве творческого начала, но и чувствует себя представителем иерархии общностей. Снятие таких (неформальных) опосредований освобождает дух; это другая сторона экономической свободы.

Личность — абстракция универсальности, олицетворение свободы. Однако воспроизведение духа в творческом общении все еще остается односторонним, поскольку его универсальность лишена плоти, сама по себе абстрактна. Человек, вроде бы, может приводить в движение любые тела и стать выражением общественно-культурного единства — но особого смысла в этом нет. Общение ради общения — лишь подготовка к деятельности.

Единство и снятие ограниченности труда и творческого общения — новый уровень воспроизведения субъекта, на котором человек оказывается элементом культуры и развивается вместе с ней. Строение культуры определяет как может воплощаться дух и как его плоть влияет на духовность. Это означает, в частности, взаимопереход личного в общественное и обратно. Культура побуждает человека к деятельности, придает этой деятельности общественный характер; но каждое деяние человека, в свою очередь, оказывается явлением культуры — и влияет на него самого, меняет соотношение материального и духовного, труда и рефлексии. Если в духовном производстве мы говорим о росте сознания, а в общении вырастает самосознание, — на уровне культуры воспроизводится разум как единство сознания и самосознания. В труде воспроизводится индивидуальность человека; в общении он становится

личностью; в качестве единичного выражения культуры — человек совпадает с обществом, превращается в социум.

Все эти уровни равно представлены в субъекте — но на первый план иногда выходит что-то одно. В малых масштабах (здесь и сейчас) относительная устойчивость материальной базы ведет к преобладанию обращения иерархий в производственной сфере (человек кажется одним и тем же на протяжении «жизненного пути» — и меняются только биографические детали). Напротив, подвижность личностных связей выглядит как регулярная интеграция разных личностей, расширение круга и опыта общения. Это приводит к росту иерархии субъекта вглубь, установлению все большего объема взаимосвязей. Собственно развитие, появление более высоких уровней, — только путем установления общекультурных связей, через участие человека в историческом процессе, когда история общества становится личной историей.

* * *

Если на вопрос: *о чем эта книга?* — возможно дать хоть какой-то ответ, книгу читать уже незачем. Что хотел сказать автор — не имеет ни малейшего значения: важно, чтобы читателю хотелось что-либо себе уяснить, или хотя бы пережить прочитанное (от одного слова — до многих томов). Один человек будит человека в другом — и через это становится человеком сам.

* * *

Суждения о далеких предках человека — неизбежно пропитаны современностью. Само по себе — это и правильно, и нормально. Снимать с себя все и рядиться в шкуры, бросать уют и гнить в пещерах (по призыву некоторых ревнителей аутентичности) — наиглупейшая затея, ибо с дикостью внешней вернется и дикость внутренняя: мы лишаем себя того языка, на котором хоть как-то возможно говорить о времени со стороны, освободиться от его власти. Не освобождаться — тогда зачем? Быть дикарем можно и в суперсовременном обиталище.

Буржуазное искусство имитирует безыскусность прошлых веков, превозносит свежесть и непредвзятость — как синоним и научности, и субъективности; снова — извне или изнутри, чисто эмпирически,

естественно, без малейшей попытки осмысления. Буржуазная наука и философия — тот же уклон в бессмыслицу, нагромождение ничего не означающих знаков и ничего не символизирующих символов. Поданные разным тоном, взгляды подкупают наивностью или убедительностью. Это всего лишь мнения — всего лишь образы — и мы за них не в ответе.

Скрытая (и тщательно скрываемая) суть — самосохранение класса, страх потерять награбленное, лишиться возможности выезжать на чужом горбу. Признание самоценности прошлого — равносильно отказу от будущего. Умиляться нравам простодушных дикарей — навсегда погрязнуть в слепой жестокости, которую так легко направить в нужное русло далеким от милоты. Когда заезжий турист восторгается внешней простотой и умиротворенностью народного быта — он предпочитает не вспоминать, что само его путешествие — итог всевозможных лишений миллионов людей, кому не до поросячих восторгов, кому приходится тупо выживать, — но ничего другого они никогда не видели, и не увидят, и не способны вообразить. Мы можем интересоваться троглодитами лишь потому, что они не могли бы заинтересоваться нами.

Нагромождение деталей — якобы свидетельство пристального внимания, заинтересованности, зоркости и проницательности. Иной раз кажется (или не только?), что автор больше блистает эрудицией, чем постижением предмета, — выставляет напоказ привилегированность: вот, я там был, и все видел, — а вам, смердам, не дано... Но здесь не только тщеславие: с позиций предпримчивого буржуа, все находки, возможно, равнозначны — но по-человечески не равно важны. И тогда стремление подавить количеством (широкой охвата, или точностью) оказывается лишь маской спецназовца, призванного охранять денежный мешок — объявленный общечеловеческой ценностью.

Многознание может быть полезным. Ум тоже. Но нам они нужны не сами по себе, а ради такого мироустройства, в котором нет места ни взглядам со стороны, ни интеллигентствующим капризам. Не созерцать или познавать — а творить. Проникнуться бытом дикаря, проникнуть в его душу, — только затем, чтобы отыскать в дикости лучик света, по которому мы пойдем в наше будущее. Нас интересуют не отдельные черточки и характеры — интереснее обнаружить за всем эти разум, единую человеческую основу, возможность общаться не взирая на культурные различия. Тогда детали — будут именно деталями, образом целого, а не наблюдениями в себе. Буржуазная наука и эссеистика — чистая абстракция, зияющая пустота, бездна, падать в которую можно

бесконечно. А мы не хотим в бездну — мы делаем бездонность частью себя, наряду с плотью, — чтобы снять их противоположность и назвать это мечтой.

* * *

Как и везде, в рефлексии свои стадии и уровни. Поначалу мы просто приглядываемся к тому, кто и как себя ведет, — улавливаем что-то полезно для себя и пытаемся примерить шитое не для нас. Удачно получилась — все рады. Не получилось — ну и ладно, поищем другое. Метод безотказный — поскольку практически у всех рассуждающих и пишущих можно найти пару-тройку интересных идей (чаще всего списанных у кого-то еще, кто списывал у более отдаленных предков — и так в минус бесконечность). В этом, между прочим, оказывается единство человеческой культуры — а единство разума отражает единство мира.

Когда рациональные зерна начинают повторяться с утомительной монотонностью — пора переходит к следующей технологии: вместо (ставших прописными) истин, мы обращаем внимание на ошибки — то есть, на то, что поначалу шло в утиль. Тут выясняется, что хрен редьки не слаше — и коллекция ошибок как две капли похожа на коллекцию истин, с обратным знаком. В общем-то, этого и следовало ожидать — поскольку все сводится к нашим предпочтениям, и вычитываем мы у других только то, что умеем.

Что дальше? Примитивный вариант — дать свод обнаруженных истин (в качестве назидания потомству) и дополнить его сводом ошибок (в качестве своевременного предостережения). Ну и что? Имеем еще один трактат — в котором кто-то другой сможет усмотреть все то же самое, но в другой комбинации, сообразуясь с собственными интересами и манерами.

Вспоминаем, что если истину скрестить с заблуждением — может получиться нечто занимательное, не похожее ни на то, ни на другое, хотя и с налетом родства. А значит, от наблюдения за человечеством (включая себя) надо переходить к наблюдению за наблюдением — честно выяснить, почему одно оказалось с одного боку, а другое с другого. Легко догадаться, что ни из каких личных особенностей это не следует — а суть в строении культуры и перспективах ее дальнейшего развития; индивидуальные предпочтения — всего лишь обозначают

тенденции, придают им видимые формы, в силу чего мы таки способны о сознания подняться к самосознанию.

Проблема в том, что знаками истории поначалу можем быть только мы сами — как совокупность общественных отношений, то есть, штука совершенно нематериальная и невыразимая ни на каком языке; наше раскладывание по кучкам и есть такое синкретическое воплощение будущей духовности — и потому (в нынешних условиях) начинать всегда приходится с партийности, идейного размежевания в надежде сколотить потом достаточно мощные коалиции. Тогда названия партий станут ярлыками не высказанной до сих пор действительности — и можно запускать процесс заново, переползать на следующую ступеньку.

По вопросам воспроизведения человека как разумного существа мы сейчас чуть дальше второй стадии. То есть, основное внимание критике эмпирионатурализма — но с попытками соотнести возражения с доступными на данный момент положительными принципами разной адекватности и ясности. Отсюда резко партийный душок — не без перегибов. Но критическое отношение к собственному критиканству дает шанс выработать хотя бы предварительны категории и схемы для еще не сложившейся идеологии, в которой классовые предрассудки займут положенное им место — станут музейными экспонатами. Нет задачи построить нечто грандиозное и всеобъемлющее, выкатить на публику очередную теорию всего. Скорее, приглашение придумать каждому свое, сотворить наш общий мир всем миром. Наш вклад — вроде указателя на экране компьютера, после которого каждый вправе набрать свой текст (или не набирать ничего, перейти в другое окно). При любом исходе — мир чуточку изменится, а для этого нужен разум.

* * *

Аналогия и области информатики: если файл перенести с одного диска на другой (или вообще убить на диске, но оставить в оперативной памяти) — налицо факты создания и уничтожения файла, времена рождения и смерти. Но сами данные при этом никуда не делись: они преспокойно обитают в другом носителе, или даже сразу на многих; есть и распределенный вариант: что-то здесь, что-то там...

Точно так же, органическое тело смертно — но его рождение и смерть ничего не говорят о человеке как личности, как субъекте. Сотню лет назад это показалось бы крутой фантастикой — а сегодня мы можем

запросто представить себе как перенос личность с одного материального носителя на другой, так и распределенное (или множественное) существование. Есть принципиальная возможность — дальше дело техники, переход к массовой доступности. Какие-то варианты есть прямо сейчас — и работают даже в условиях классовой экономики; устранение классовых ограничений откроет новые направления, и не оставит места для страхов и мистики.

* * *

Поборники «высокой» науки презрительно фыркают на вольности слога каких-нибудь беллетристов — или философов. Предрассудок: точному знанию нужен точный язык. Но далеко не все в разуме требует знания — а о точности уродливого научообразия вообще говорить не приходится: поэт или философ (или просто человек с улицы) часто выражаются намного точнее академического ученого, громоздящего «строгие» высказывания ни о чем. Язык не для того, чтобы говорить — а чтобы сказать. Если мы не умеем передать полноту нашего отношения к миру на искусственно ограниченном (ломаном) языке — это проблемы дурного языка, косноязычие, — и надо искать иные средства общения.

Стандарты общения в узком кругу — порождение классового общества; языковые барьеры — часть всеобщего отчуждения, рыночной конкуренции. Воры разговаривают по фене — ученые отгораживаются от мира терминами и формулами. Ни в том, ни в другом — ни капли смысла, ибо в конечном итоге общаться предстоит с людьми, а не с корешами или коллегами.

* * *

Продукт деятельности — не просто вещь, а *общественная* вещь, заранее предназначенная для удовлетворения потребностей человека (хотя и не всегда ясно, кого конкретно). Точно так же, общаемся мы не с абстракцией собеседника, а с обществом — иногда в лице единичных или коллективных представителей. Может показаться, что поэт или художник разговаривает сам с собой, — но его внутреннее чувство лишь выражение всеобщего, общественной связи. Точно так же, сколь угодно абстрактная наука возникает как выражение и продолжение истории

человечества. Следовательно, и наши рассуждения не витают в пустоте, а имеют какого-то адресата и рассчитаны на определенную аудиторию.

Возможно, в составе этой аудитории не числится ни один из ныне живущих. Действительно, слишком вольная стилистика сразу отпугнет рационалистически мыслящих — однако особой популярностью текст также не отличается, и многочисленные аллюзии на культурные реалии разных веков вряд ли понятны тем, кто не варился какое-то время в той же мешанине разнородных источников, из которой выросли мы. Опять же, воспитанный в рыночных традициях обыватель не захочет читать наезды на капитализм — тогда как убежденные коммунисты (если таковые где-то еще остались) вряд листерпят наглое развенчивание признанных авторитетов (которые при этом остаются классикой и для нас). Быть может, следовало быть проще — и сразу определиться с уровнем культуры, под который нашу писанину удобнее заточить?

Есть подозрение, что такой подход не соответствует самой сути собранных здесь взглядов — и ограничивать круг читателей какой угодно культурной нишей было бы проявлением неуважением к личности, ущемлением свободы, неразумностью. Нет у нас намерения становиться пророками новой религии — нам бы избавить человечество от всяких религий. Начиная, конечно же, с себя. Вот мы и предлагаем желающим самые разные обертки для не самого традиционного содержимого: что кому приглянется — на том и спасибо. А на нет и суда нет. Остается тешить себя надеждой, что пестрота не всегда перерастает в эклектику, — и что за упрямством не обязательно стоит догматизм. Истины без претензий, взгляд со стороны без отстраненности; все очень личное — и кто нас полюбит, тому и наша любовь.

* * *

— Зачем комментировать мелкие писания никому не известных авторов? Тем самым вы рекламируете всякую шушеру — вместо того, чтобы ориентироваться на своих духовных учителей, и привлекать к ним общественное внимание.

— Вы полагаете, что мы настолько значительны, что наш отзыв мог бы кому-либо сделать честь? Грубая лесть, она, конечно, приятна... Однако у наших учителей хватает заблуждений и ошибок; в каком-то смысле уважительнее демонстрировать ляпы на других примерах (хотя

и в лицо сказать не побоимся). Если на то пошло, мы вообще никогда не говорим о конкретных именах и творениях: нам важнее уловить общую тенденцию и объяснить самим себе, почему такой образ мысли и действия лично нам перенимат не следует. Иногда критика может казаться однообразной: про всех одно и то же! Но — еще раз — мы не считаем себя настолько значительными, чтобы имело смысл читать от корки до корки; а случайно встреченная фраза кому-то приглянется независимо от нашего участия в порождении именно этой общности. Ветерок пролетел — но его ли заслуга аромат роз?

* * *

Когда мы говорим, что религиозные (и прочие) доктрины суть изуродованные классовой экономикой всеобщие формы деятельности — мы признаем, что всеобщее содержание во всей этой дряни однозначно есть. Другое дело, что далеко не у всех есть желание разгребать кучи дерьма в поисках утопленных алмазов. Но когда уж очень мечтается о разумности — а ничего разумного система не предлагает, — приходится выражать открытия не самыми подходящими словами или делами.

Например, азиатские мистики утверждают, что их мандалы суть образы мира, — и они таки правы! Потому что всякая схема — о том, как человек в своей деятельности восстанавливает единство мира, связывает воедино разрозненные вещи и отношения вещей. Можно, по-европейски, исходить из триады

материя → рефлексия → субстанция

и развертывать ее разными способами применительно к практическим потребностям; но это ничем не отличается от абстрактной картинки-мандалы, где точно так же словесные обозначения категорий размещены неслучайно, следуя предполагаемым (существенным) связям. Именно абстрактность этой схемы позволяет по-разному ее развертывать — чем и занимаются разного рода практикующие. Если символы формулы понимать как понятия (отнести к некоторой предметной области) — это уже не всеобщая схема деятельности, а инструкция или рецепт; над этим медитировать незачем — это свернутые деятельности, операции; их надо передавать на откуп роботам. Но сколь угодно простую формальную конструкцию (типа правил дифференцирования) можно понять и как фундамент картины мира — и тогда те же формулы (мандалы) реально

помогают в самых неожиданных ситуациях, исходной теорией никак не предполагаемых. Эту универсальность идеалисты и мистификаторы выдают за бессодержательность — и вместо того, чтобы добиваться разумности, предлагают развлекаться бессмысленными формальными играми.

Понятно, что схемы вовсе не обязательно представлять веселыми картинками: любые действия можно использовать в переносном смысле, как коды того, что никакими конечными конструкциями не выразимо. Традиционная индийская троица: мудра (жест), мантра (слово), янтра (образ); это вполне соотносимо с европейскими средневековыми представлениями, выделяющими мышечное движение, слух и зрение (или их аналоги) на первый план среди прочих способов восприятия и воздействия на мир. Образованному человеку такая избирательность покажется смешной; но в условиях, когда задумываться некогда (или нечем), — и эта схема способна показать какие-то кусочки целого.

Развитие и дополнение такой рефлексии — утилитарность любви в классовом обществе: человеческие (духовные) отношения неотделимы от обладания, от дара, от всевозможных залогов и клятв. Чем шире наше участие в движении культуры (историческом процессе) — тем свободнее наша любовь, и от формул мы переходим к схемам, от схем к принципам, от принципов — к творческому общению и труду.

* * *

Казалось бы, что плохого, если мы приводим вещи в порядок, соединяя похожие и различия разные, — и потом устанавливаем общность полученных таким образом групп? Что может быть привычнее классификации? А как только построили башенку — уже можно искать логику: все люди смертны — и мы когда-нибудь помрем...

Неувязочки со следующим этапом: если есть у нас классификация и логика — появляется соблазн объявить ненашенские классификации неправильными, а суждения нелогичными. Когда у кого-то хронически все не так — начинаем подозревать умственную отсталость или психическую болезнь. Ну, пока все сводится к нашим личным вкусам — предположительно, ничего смертельного (хотя и здесь уже попахивает ограничениями, плохо совместимыми с разумом). А, вот, если учесть, что в классовом обществе личные мнения одних всем остальным

положено принимать как обязательные к исполнению, — получается очень некрасиво: неправильными и большими правящий класс (или его наемный приказчик, помимо хозяйственных интересов, преследующий и свою корысть) может объявить кого угодно, и не просто объявить, но и лишить каких-нибудь прав, и наложить какие-нибудь обязанности. Классовая логика сразу же начинает по-разному работать для разных общественных слоев — и в итоге воспроизводит классовую структуру общества во всех подробностях. Потому борьба угнетенных классов за освобождение начинается с неприятия и разрушения господствующей логики — и только на этой основе можно в будущем сделать как-то иначе. И точно так же, освобождение общества от психических болезней начинается с умения усмотреть логику в самых больных фантазиях (хотя эта логика вовсе не обязательно совпадает с логикой якобы больного).

Классификации — выражение классового неравенства. Логически заключая, что некий Ванька Иванов принадлежит семье (или происходит из семьи) Ивановых, которые все вместе принадлежать к категории русских, а русские часть славянского мира, который, в свою очередь, выделился из индоевропейцев, и что все они по большому счету части одного человечества, — мы на каждом уровне допускаем навязанные сверху логические ляпы: предполагается, что есть такое понятие, как семья, — что есть народности и нации, что можно возвести разные народы к общим предкам, что человечество есть нечто единое. Ни один из этих постулатов не выполнен в действительности — а единство человечества, скорее, только предстоит установить, после уничтожения классовых структур.

Так что же, отказаться от всякого порядка — и тупо созерцать поток явлений, уже не отличимый от потока сознания? К этому призывают самые рьяные защитники господских привилегий, неопозитивисты; следовательно, что-то не так и с этой логикой.

Иерархический подход исходит из того, каждая иерархия (то есть, по сути, все, что включено в человеческую деятельность) представима различными иерархическими структурами (обращениями иерархии) — но среди этих структур нет никакой выделенной, главной: все они одинаково необходимы для универсального (разумного) отношения к действительности. В иерархии обращений — также могут возникать иерархические структуры (классификации) и иерархические системы (логики). Однако если какие-то обращения иерархии возникают чаще других — это знак застойности общественного и экономического

развития, и пора задуматься о новых направлениях, снимающих прежние различия, полностью устранив их из повседневного обихода.

Прежде всего это касается отношений между людьми. Возможно, потом, когда классовые пережитки уйдут в самые глубины истории, этическая проблематика не будет столь остра. Но пока людей делят на мужчин и женщин, взрослых и детей, руководителей и исполнителей, господ и рабов, здоровых и больных, — с логикой придется повоевать.

* * *

По своей сути, общение людей — передача деятельности от одного субъекта другому, своего рода делегирование полномочий. Никакое производство (материальное или духовное) не может быть завершено силами одного — оно опирается на совместность, объединенные усилия многих. Хотя бы потому, что продукт деятельность для чего-то (то есть, для кого-то) предназначен (даже если производитель и потребитель сочетаются в одном лице).

Допустим, я чем-то занят — потом приходит время переключиться на другое, и я поручаю продолжить начатое кому-то еще. Способы самые разные. Универсальный механизм, язык, складывается не сразу — и до сих пор дополняется неязыковыми средствами. В простейшем случае, мое органическое тело совершает нечто, в результате чего другое тело начинает двигаться в соответствии с моими задумками; внешне это очень похоже на физическое взаимодействие или контакт особей, — однако уровень совсем другой: если природные тела после контакта движутся сами по себе — переданная другому деятельность сохраняет частицу меня, воспринимается как общий труд. Однако в нулевом приближении (в пределах одной материальной реализации) общение выглядит особым (общественно опосредованным) взаимодействием индивидов.

В развитой культуре человеку уже не требуется передавать что-либо непосредственно: чаще всего, мы приводим в движение общественную машину, взаимодействуя не с индивидами, а с мертвыми вещами, движение которых в конечном итоге передается и биологическим телам. Человеческое действие опосредовано многочисленными инструментами и орудиями, составляющими расширенное тело субъекта, в котором органическая составляющая может занимать незначительную часть, или

даже вообще отсутствовать. Даже в звучащей речи между нами распространяются колебания воздуха; письменная речь устраниет эту непосредственность, позволяя общаться на любых расстояниях, и через время. Тем не менее, общение пока остается вполне материальным воздействием на мир, в результате которого целенаправленно меняется характер движения человеческих тел. Будем мы жестикулировать, издавать звуки, нажимать на кнопки, или обмениваться грезами, — большой разницы нет.

Возникновение глобальных компьютерных сетей позволяет сделать следующий шаг: полностью устранить органическое тело как источник или приемник сигнала. Может показаться, что эта воспроизведяющая «сама себя» деятельность неотличима от самоподдерживающихся природных процессов — и субъект (дух) в ней вообще не нужен; тем самым развитие от неживой к живой материи, и далее к разуму, в итоге возвращает мир в «естественное» состояние, которому никакое сознание ни к чему.

Да, такое свертывание деятельности — один из необходимых ее моментов; однако автоматизация всегда дополнена одухотворением — одно не бывает без другого. Выпадающее звено — не дух, не субъект, а всего лишь одно из тел, органическое или нет. То есть, речь не об «исчезновении» субъекта — а о перевоплощении, представленности того же духовного явления другой совокупностью материальных тел (или отношений между телами). В классовом обществе подобные виртуальные образования все равно привязывают к органическим телам (например, фирма формально обозначена именем ее владельца). Переход к обществу без собственности лишает такие связи всякого смысла. Целостные образования любого типа могут представлять субъекта деятельности. Дух — не движение тел само по себе; он то, что объединяет очень разные движения, делает их выражениями одного и того же. Воспроизведение духа невозможно без воспроизведения и преобразования представляющих его тел — но создание еще одного автоматического производства не устраниет дух, а освобождает его для чего-нибудь более творческого.

В качестве промежуточного этапа — имитация органических тел в неорганическом материале. Звукозапись и видео — свидетельствуют о принципиальной возможности: звуки и образы как физические объекты никоим образом не зависят от голосового аппарата или еще чего-нибудь органического. Имитации станут неотличимыми от следов — и больше

не нужны живые прототипы. Речь не только о дистанционном общении: ничто не мешает поселить придуманные (виртуальные) персонажи в подобия органических тел. Буржуазным фантастам такие «подделки» кажутся черным кошмаром; но что в них ужасного, если нам нечего делить? С другой стороны, существование виртуальных субъектов знакомо людям с доисторических времен: используя произведенную кем-то вещь, мы лишь предполагаем, что в ее создании участвовали какие-то люди (точнее, их тела); но продукты автоматизированных производств имеют к органике очень косвенное отношение — а плоды искусственного интеллекта могут быть вполне реальны и полезны.

В конечном итоге отомрет жажда человекообразности — и мы станем свободны в изобретении удобных для нас тел, и сможем менять их под практические задачи или настроения. На этом пути человек обретет бессмертие — а вовсе не через облагораживание полуторупов. Живое рождается и умирает — потому оно и живое. Жизнь можно удлинять или укорачивать — но в любом случае это конечный диапазон. Разум — не удержать ни в каких границах, ему мало и бесконечности. Способность свободно отказываться от любых форм и свободно принимать любые другие формы (в том числе идеальные) — главное отличие разумного существа от природных вещей. В той мере, в которой мы это умеем — мы бессмертны уже сейчас. Осталось только разумно распорядиться этим наследием — и помечтать о другом.

* * *

У всех народов с доисторических времен существует отрада сказки. Делились друг с другом, собирались вокруг сказителя, передавали из поколения в поколение. Когда научились писать — былой сказочности приходит конец: записанная сказка — уже не поток, не становление; это нечто абстрактно данное и общепринятое — вроде писаных законов или религиозных догм. Чтобы восстановить сказку из текста — надо ее сыграть для себя; не у всех есть к этому вкус и возможности. Кино и звукозапись в какой-то мере восстанавливают магию — но рыночное цунами почти начисто сметает островок сказочности, который уже и не сыскать в водоворотах рекламы.

Спонтанность сказки — напрямую связана с ее главной задачей: воспитывать активное отношение к миру. То есть, не принимать все как есть — а прикинуть, как оно было бы, если бы... Даже если мы не можем

прямо сейчас исправить кривости бытия, у нас есть хотя бы идея исправления — возможности (а значит, и неизбежности) изменений. Сказка выстраивает мир «как надо» — поэтому, с одной стороны, фольклор признает только сказки с хорошим концом, но другая сторона в том, что для этого требуется определиться с понятием хорошести — и сказки неизменно скатываются к чрезмерному морализаторству. Чем очень удобно пользоваться властям: подсунуть нужную картинку, подменить одно другим, — это у них отлаженная технология; в итоге народные сказки становятся антинародными, закрепляют (вбивают в подсознание) идеалы господствующего класса, вечность деления на добро и зло, богатство и бедность, барина и холопа. Тем не менее, сама возможность создавать сказочные миры — угроза цивилизованному миропорядку: каждая шавка замахивается на вершение судеб в своем выдуманном мире — и если до практических мер дело не дойдет, это все равно как фига в кармане — никакого почтения и раболепия!

Конечно же, на всякий тык найдется затык. Придумали и на сказочников управу. Если нельзя запретить фантазии — следует их регламентировать! Сочинительство передали в лапы роботов — так что теперь любой сумеет ввести от фонаря типовые параметры, а на выходе получить профессионально выполненный текст (и даже на нескольких языках). Строительство миров поставлено на поток — вокруг каких-то проектов образуются фан-клубы, но можно и частным порядком — все равно смысла в этой возне ноль. Чего и добивались.

Возможно, картинка чуток подретуширована — исключительно, чтобы выпукло обрисовать тенденцию. Хотелось бы допустить, что не возобладает до такой степени, чтобы заниматься миростроительством уважающему себя субъекту стало противно. Потому что есть одна область, где без сказок — никак нельзя, где вся прелест в пересказе хорошо знакомого и удивительной неисчерпаемости знакомства. Без этого человек вообще не человек, и нет у него ни разума, ни свободы. Это любовь.

* * *

Буржуазное книгопечатание заточено под коммерцию: книги издают не для людей, а для продажи. Отсюда уродства полиграфии. Удобство чтения никого не волнует; главное выделиться из фона, хотя

бы на мгновение, — сорвать куш и полететь дальше. Не оформление — а трюкачество, стремление привлечь броским жестом. Неумеренное украшательство (даже высокохудожественное), необычные форматы, претензии на широту охвата в сериях... — все это рекламные заманки, не более. Старинный прием — размещение на обложке или титульных листах многочисленных отзывов, якобы полученных из авторитетных источников. Разумеется, все это плоды фантазии копирайтеров — а имена рецензентов либо никому не известны (вымыслены), либо ссылаются на межиздательский договорняк (как в басне: кукушка хвалит петуха). Большой чести автору такие фокусы не делают — равно как и тиснутые там же рекламные биографии (предоставлять их издательства обязуют самих авторов), где человек выглядит гибридом рыночного супермена и напыщенного петуха.

Реакции на написанное — не имеют ни малейшего отношения к тексту; это другая культурная ниша (зачастую не требующая даже поверхностного знакомства). Пожалуй, единственное, что могло бы заинтересовать автора и будущих читателей, — отрицательные отзывы, публичная ругань по поводу; если мы сумели кого-то крепко уесть — значит, наша писанина не совсем бессодержательна, и тогда даже приписанные нам (анти)заслуги — знак общественного небезразличия.

* * *

Нам не интересны великие люди — нам нужны великие идеи. Чтобы не ютиться в тени, а вырастать из.

* * *

Искусственный интеллект — всего лишь компьютерная программа. Программы пишут люди. Что они туда заложат — то и получат на выходе. А закладывают — что бог на душу положит: комплект ходячих предрассудков. Поэтому интеллект у компьютеров на уровне среднего идиота. Можно использовать искусственный интеллект для получения подсказок, вариантов выбора. Но верить идиоту на слово было бы несколько опрометчиво. Не факт, что предложенные компьютером решения окажутся оптимальными — просто потому, что компьютеру до нашей оптимальности дела нет. Решать надо своим умом, а не возводить

кибероракул в ранг вестника богов. Это вполне подобно тому, как музыкант использует генератор шумов для черновых композиций, — или художник разбрасывает краски случайным образом, чтобы из этой грязи вытащить образ.

Наши программы — разновидность рефлексии, способ узнать о себе что-то новое. Глупо удивляться неожиданным находкам роботов: они лишь делают явным скрытое в нас — что мы все равно сумели бы найти, даже без компьютеров. Интеллекта для этого у человечества хватает. Человек не сводится к интеллекту — это прежде всего движение духа. Которое проявляется разными способами. Было бы обидно, если бы люди утратили индивидуальность — и человечество будущего мог представлять только компьютер.

* * *

Быть человеком — почетнее, чем быть гением. Гениальность человеку узка — она заслоняет вселенную.

* * *

Повторяя то же самое в другом контексте, мы не только показываем новые грани идеи, но и обогащаем сам этот контекст. Абстрактная схема насыщается конкретикой: используя орудие труда, мы постигаем все его возможности и его ограниченность, необходимость развития. Но точно так же, конкретность пропитывается всеобщим: она уже не сама по себе (то есть, абстрактно!) — это продукт деятельности, сама деятельность.

* * *

Выразить мысль или передать образ можно удачно или неудачно. Орудия бывают удобными — и не очень. Когда не получается — совершенствуем вещи и себя. Когда нет перспектив — меняем один мир на другой.

То же и с человеческими телами: не всякое подходит к любой личности. Запоминаются броские сочетания. Мы придумываем для них имена — как биологи систематизируют виды. Но основная струя не в этих веточках, обреченных на смерть своей завершенностью, своим

совершенством. Тело будущего — в том, что еще не обрело форму, над чем предстоит потрудиться, — и чему еще нет имен.

* * *

Когда-то были писатели, художники, музыканты... Сегодня — «поставщики контента». Впавшее в природность человечество боится пустоты, изо всех сил старается заполнить ее... Чем? Мусором, экскрементами. Пометить территорию. Отсюда и пачкотня на стенах. Строительство мусорной вселенной.

* * *

Говоря от объективности, мы адресуемся лишь к рациональности, голому интеллекту. То есть, речь не о разумных существах, а о явлениях природы. Творческая деятельность, труд — заменяется работой, якобы следующей объективной необходимости. Субъект — не только природа, но и ее преобразование. Поэтому собственно человеческое начинается там, где человек способен изменить само понятие объективности, перейти от одной объективности к другой — и тем самым выйти за рамки самого себя, стать общественным существом. Этим люди отличаются от животных — и звереют (или оскотиниваются) утрачивая такую способность. Мы обращаемся с природой, следя своим желаниям и стремлениям, — а вовсе не природным закономерностям. Когда не удается — разума нет.

* * *

Эмпирионатуризм вовсе не обязательно принимает все как есть и не стремится улучшить мир. Есть авторы, которые честно признают, что существующая практика не отвечает представлениям о разумности — и следовало бы много поправить. Более того, кое-кто даже осознает связь кривостей бытия с классовым общественным устройством и рыночной экономикой. Однако их обличения почему-то не убеждают, и дело не идет дальше эмоциональной разрядки, желания выговориться. Почему?

Подлянка в том, что всеобщее разделение труда (как система и как политика) навязывает людям иллюзию возможности ограничиться

одним предметом — компенсировать отсутствие широты глубиной. Оставаясь внутри частной задачи, мы можем заметить границы — но не видим ни малейшего шанса от них избавиться. Полное внутреннее отражение. Рыба под поверхностью воды, человек на плоской земле, разум в клетке якобы единственno данной природности. Мы поставили себе предел самим характером деятельности — мы мерим себя собой. Понятно, что, если измерять скорость по отношению к скорости света, эта *априорная* единица во всех системах отсчета окажется той же самой. Сколь угодно правильные наблюдения не разомкнут заколдованныго круга — и место мечты о свободе займет полнейшая безысходность. Которую (как в примере со скоростью света) мы принимаем как вечный закон, с которым надо смириться — и радоваться тому, что в этих рамках все-таки реализуемо. Что отдельные фактиki, что всеобщий принцип, — это все та же эмпирия.

Конструктивная критика (и собственно наука) возможна лишь с позиции иной реальности, которая не где-то в пучинах абстракций — но здесь и сейчас, постоянно перед глазами. Нет смысла обсуждать, как оно есть, пока мы не догадались, как надо. Действие само по себе — чистая абстракция, эмпирический факт. Осмысливать его придется в контексте деятельности. Причем не просто принимая или отвергая — а усматривая в синкетизме непосредственной данности пережитки прошлого и крупицы будущего — в русле нашей сегодняшней истории.

Например, разоблачение хищнического разграбления природных ресурсов и беззастенчивого подсматривания за частной жизнью миллионов людей при разработке систем искусственного интеллекта натыкается на веское возражение: грязные технологии — необходимый этап в поиске более продвинутых решений, и технический прогресс так или иначе облагораживает обыденную жизнь; с другой стороны, когда ребенок осваивает достижения цивилизации, он впитывает все, с чем приходится сталкиваться по мере взросления — наблюдает за другими людьми и перерабатывает опыт. Так что вопрос не в том, что и как мы делаем, — а в том, чем мы хотим стать. Чистка авгиевых конюшн — не то же самое, что разрушительное цунами; атомная бомба как гарант возможности изменить общественный строй, сделать шаг к свободе, — противостоит атомному оружию на страже грабительских порядков; воспитание творческой личности — отличается от воспитания раба, производства рабочей силы или пушечного мяса. Точно так же, искусственный интеллект как полноправный участник общественного

производства, возможность новых граней общения, еще одна плоть для свободного от природности разума, — перспектива более радужная, чем интеллектуальное рабство, вырождение компьютеризованных масс в тупое орудие властей.

* * *

Традиционно — мужик должен быть решителен и уверен в себе; всяческие колебания да сомнения — бабская слабость. Поэтому трудно мужчинам с женщинами: хочется побыстрей принять решение — и дальше тупо следовать намеченным курсом. Разумеется, мужики считают, что они правильные, — а дамочек надо направлять на истинный путь железной рукой, раз уж они сами себя направлять не умеют. Одно из субъективных оправданий общественного неравенства.

Но логика не существует сама по себе, в отрыве от человеческой деятельности: что вполне уместно в одном контексте — оказывается бессмысленным в другом. Когда некто подчиняет себя собственному (пусть даже очень свободному) выбору — он тут же перестает быть разумным существом и становится простым орудием (пусть даже в собственных руках). И чем больше такой орудийности — тем труднее свободным людям, способным быстро переходить от одних решений к другим, произвольно менять систему отсчета (поскольку разум ни от чего не зависит — в том числе и от системы отсчета).

Возможно, женская логика в классовом мире играет роль своего рода ограничителя мужской ограниченности — чтобы человечество в целом таки могло сохранять искорку разумности. Чтобы лишний раз подчеркнуть: навязывание чьей угодно воли другим — это классовое насилие. Независимо от как угодно понимаемой правильности.

В собственно логическом плане, бесконечные колебания и неумение выбирать — явное указание на неуместность самой идеи выбора на каком-то уровне нашей свободы.

* * *

Личность (помимо прочих сторон) обнаруживает себя как иерархия потребностей. На житейском уровне мы говорим о личных вкусах и пристрастиях, о предпочтительных способах действия и манерах. Когда

же в разговор вступают теоретики — им непременно хочется выдать один рецепт на всех, и на все времена. Принцип иерархичности принимают почти все — но иерархия в академических кругах сильно смахивает на библиотечный рубрикатор: формальная конструкция, отражающая какие-то обывательские установки — но в целом весьма условная и мало пригодная даже для поиска по каталогу. В основание этого карточного домика кладут якобы первичные «витальные» потребности, про которые известно только, что они «обеспечивают выживание» — но чье? Личность — движение духа, и она по-любому бессмертна, как исторически имевшее место общественное отношение. Из-за ширмочки выглядывает примитивное отождествление человека с биологической особью, рабом которой, по мнению больших ученых, должен стать разум. То есть, не тело мы используем для достижения разумных целей — а наоборот, наши цели подгоняем под нужды физиологии, ублажаем выданную нам на содержание зверушку. Если такое в какой-то мере логично по отношению к домашним питомцам, заботу о которых мы сознательно берем на себя, — то совершенно странно выглядит вынужденная необходимость реагировать на прихоти организма, навязанного нам решением властей: пусть бы сами власти и обеспечивали каждый экземпляр всем, что ему положено! Это не наша потребность — не компонент личности. Собственно человеческие потребности возникают не в отношении к вещам, а в отношении людей друг к другу — и здесь тела могут лишь представлять нечто духовное, обозначать его, обслуживать общение. Называть потребностями чисто вещную зависимость или порядок метаболизма — было бы неправильно.

Над базовыми (биологическими) потребностями надстраивают всякого рода вторичные, социально опосредованные. Тут уже — у кого на что хватит фантазии. Но с фантазией худо — и добавляют лишь один-два этажа, чтобы спорить потом, на каком из них расположить чье-то терминологическое новшество. Однако и здесь вместо человеческих отношений обсуждают лишь техническую необходимость, организацию производства — то есть, опять-таки, отношения между вещами; отличие лишь в том, что предстоит «обеспечивать выживание» технологий и социальных структур, а не биологических особей. На это указывают и типовые схемы классификаций: по сферам деятельности, по объекту или субъекту деятельности, по функциональной роли и т. д. Это не про потребности, а про их возможные проявления, способы упорядочивать вещи и отношения к вещам.

Традиционная беда формальной науки — вера в неизменность мира, вечность его (невесть кем данных) законов, которые можно лишь открывать — но (уласи бог!) не устанавливать самим. Вот и придумывают всевозможные классификации потребностей, выдавая это за (вечную и неизменную) «природу человека». Однако человек — принципиально неприродное существо, и его задача как раз и состоит в том, чтобы менять природу, на любом из ее уровней. Если есть какая-то классификация — первый вопрос: когда и где это работает? — что надо поменять, чтобы работало по-другому? Постоянная забота о границах применимости — отличительная черта настоящей науки, в отличие от идеологических спекуляций в целях промывания мозгов. Но суть человека не в структурах и системах — она в умении сознательно (то есть, намеренно и в разумных пределах) видоизменять структуры и системы, не любопытствовать, что получится, — а добиваться желательного результата. Для этого и нужны потребности.

Личность не сводится к перетасовке уже известного, комбинации рубрик; ее примета — способность отойти от привычек и стандартов, перекроить мир под себя — сначала в воображении, а потом и на самом деле, в деятельности. Полученные таким образом *индивидуальности* — воплощения личности, ее вещные представления. Свободный (не загнанный в рубрики классового мира) человек может менять как взаимосвязь потребностей (обращение иерархии), так и материальную базу духовности, — переходить от одной индивидуализации к другой.

Если обществу нужны личности, а не просто работники, воспитание потребностей не сводится к подведению их под имеющиеся рубрики и ограничению всяческого нестандартта. Не правила — а возможности; не цивилизованность — а культурность; не освоение — а творчество; не интеллект — а разум. Совместность деятельности, широчайшее сотрудничество и никакого соперничества — чтобы не ждать, куда кривая вывежет, а следовать потребностям — и перерастать их.

* * *

Об одном и том же можно говорить по-разному. Искусство, наука, философия — разные уровни рефлексии, одинаково необходимые для всестороннего приобщения. На любом языке — все та же суть. Когда юнгианцы начинают трактовать мифы на психоаналитический манер —

это их особая манера, в которой вполне возможно отыскать какую-то правду. Но можно усмотреть и заблуждения, и полный бред... Важно не как они говорят, а о чем. Однако сами эти «ученые» убеждены, что именно их интерпретации верны, что только так обнаруживает себя сама по себе сущая истина; фактически, они подменяют предмет способами говорить о предмете — а это уже совсем другой предмет! Чисто логическая ошибка, характерная и для современной математики.

Разум не в том, чтобы говорить о разуме. Любовь не в разговорах о любви. Ни одна из форм рефлексии не способна охватить все — как любые тела есть лишь частичное воплощение духа. Да, иногда полезно посмотреть на себя со стороны — но еще полезнее смотреть на себя со всех возможных и невозможных сторон.

* * *

Свобода *от* не противоположна свободе *для* — это разные стороны одного и того же: одно переводится в другое. Однако само различие «отрицательной» и «положительной» свободы — явление классовое; общество без классов, скорее всего, вообще не нуждается в идее свободы.

* * *

Электрон и фотон — ведут себя то как частицы, то как поля. Точно так же, дух может становиться материальным, и наоборот. Например, совокупность отношений между людьми идеальна, если сопоставлять ее с природными вещами, — но она образует некоторое общественное тело в отношении к духовной культуре; такие тела ведут себя подобно всей остальной природе, становятся «природой человека». Аналогично, личность духовна по своей сути — но в сопоставлении двух личностей мы может говорить о них как о взаимодействующих телах; только в любви возникает интерференция, и одну личность уже нельзя внешне противопоставить другой.

Конечно, двойственность частиц и полей говорит лишь о том, что сами понятия частицы и поле в каком-то контексте неуместны; физику таких явлений стоило бы формулировать на другом языке. Различие

природы и духа, объективного и субъективного, — относительно; но эта относительность говорит не о том, что можно по-разному выставлять границы (выбирать разные системы отсчета), а о том, что переход от одного представления к другому возможен лишь в силу наличия уровня, на котором категории объекта и субъекта уже неприменимы — и надо искать более разумные схемы.

* * *

Идеи не в терминологии — они вопреки ей. Можно изобретать новые названия — но можно и употреблять ходовые клише, где удобно по контексту. В любом случае собеседнику придется догадываться, что имелось в виду. Разумеется, языковая интуиция — понятие классовое. Но достаточно разумный читатель, скорее всего, не примет одно за другое; неразумный (классово ангажированный) — перепутает как ни уточняй.

* * *

Поскольку любая иерархия допускает очень разные обращения, было бы наивностью (или шарлатанством) составлять полный перечень имеющихся вариантов чего бы то ни было: все зависит от поставленных задач. Эмпирические перечисления валят случайности в одну кучу — и это удобно власть предержащим, поскольку позволяет выдать одно за другое, легко подменяя слова, жонглируя неопределенностями (само слово «классификация» — уже намекает на классовую суть). Чуточку больше серьезности — пытаться связать одно с другим и установить какую-нибудь преемственность. Но и здесь легко впасть в эмпирию, произвольно выбирая принцип группировки; когда речь об обществе и личности — это классовый произвол. Логически последовательный (но не всегда приемлемый по эстетическим или этическим соображениям) вариант — исходить из единства мира, что в данном случае означает допустимость различных критериев — но при любом выборе развитие движется от первичного синкретизма к аналитической стадии — а от нее к синтезу. Однако вовсе не обязательно отвлекаться на развернутые обоснования при работе с каким угодно предметом: достаточно иметь перед собой историческую перспективу, понимать, куда мы в итоге

собираемся прийти; поскольку классовая эмпирия намеренно закрывает перспективы, пытается сохранить господство верхов, — любые попытки устраниТЬ концептуальные барьеры логически оправданы. Буржуазная пропаганда умеет создавать видимость, иллюзию прогресса — но на то и разум, чтобы отличить мечту от подделки.

* * *

Человек подобен миру. Мир как самовоспроизводящееся целое обозначают категорией *субстанция* — и здесь соединены две стороны воспроизведения: то, что воспроизводится, называют материей; само воспроизведение есть отношение мира к себе (ибо ничего другого нет!), и потому уместно говорить о рефлексии — возвратности (а вовсе не «размышлении», к чему обычно сводят дело буржуазные философы).

Человеческая деятельность — лишь один из уровней всеобщей рефлексии; его характерная особенность — универсальность, включение всех сторон мира (а значит, и рефлексии вообще) в общественно-историческую практику; тем самым как раз и устанавливается полное «совпадение» деятельности с движением мира в целом. Однако если мы интересуемся воспроизведением субъекта — нам придется представить его субстанциональность как единство материи и рефлексии в узком смысле слова — как материальное и духовное производство. В этом контексте важно, что человек не просто так переделывает природу — он воспроизводит себя как разумное существо, и без этого главного мотива любое производство бессмысленно. В частности, революция не просто передел имущества — это установление иного отношения человека к себе, возможность в большей степени чувствовать себя человеком; без этой духовной составляющей — революция вырождается в банальную смену власти, государственный переворот, политическую игру.

Духовное производство — проекция воспроизведения мира на внутренний мир субъекта, строение которого воспроизводит строение построенного людьми мира (культуры). Но «внутри» — вовсе не значит физиологически или психологически: у человека, помимо органического тела есть еще и неорганическое, без чего он не мог бы существовать в качестве носителя культуры; здесь своего рода обратная проекция: движения духа «объективируются», становятся движениями материи вообще. Как и в природе (живой или неживой), различие материального

и идеального относительно — и одно переходит в другое при обращении иерархии.

На начальных этапах развития сознания материальное производство синкретически переплетено с духовным — они даже не разделены еще как две стороны целого. Только внешнее разделение общественного субъекта на противопоставленные друг другу группы приводит к внутреннему сопоставлению действия и способа действия — проекция классовых отношений. В человеке сталкиваются «мое» и «не-мое», «хочу» и «надо». Сознание противостоит самосознанию: я контролирую «природное» — но «общество» предписывает мне, что и как я должен делать; я уже понимаю, что я делаю и как я это делаю, — но моя внутренняя сложность не намеренна, она приходит извне, отражает классовые структуры. Только там, где человек свободен организовать деятельность по своему усмотрению, — внешняя рефлексия переходит во внутреннюю, а работа (преобразование объекта в продукт) становится творческой — трудом.

Творчество и духовное производство — здесь синонимы. Когда творчество перестает быть достоянием единичного субъекта и врастает в практику — сознание и самосознание уже неотделимы друг от друга; способность действовать от своего лица как от лица всех и общественное принимать как личное — это и есть разум, субстанция субъекта.

Однако до свободного, творческого труда человечеству еще только предстоит дорасти. Классовое общество — лишь предыстория, создание предпосылок разумности. Здесь нет универсальности — а есть всеобщее разделение труда, при котором правящие круги узурпируют рефлексию, отчуждают ее от трудящихся масс. Труд рабов остается творческим лишь в той мере, в которой в нем отражена историческая необходимость, направленность прогресса, — но сами работники, как правило, этого не осознают. При этом и хозяева утрачивают способность творчества — поручают рефлексию специально подготовленному персоналу; точно так же, насилиственно присваивая плоды общего труда, собственник не в состоянии самостоятельно ими распорядиться — и вынужден отдавать управление производством (и даже организацию потребления) на откуп наемным управляющим, привлекать агентов и субподрядчиков. Однако «профессиональная» рефлексия — все тот же рабский труд, хотя якобы творческие работники этого не осознают, кичатся мнимой свободой и презирают тех, кому творить запрещено. Общественное расслоение, когда одни рабы правят другими рабами, — прячет, отдаляет господ от

трудовых масс, обезличивая систему ограбления, придавая ей видимость естественного порядка или божественного установления.

Классовые формы рефлексии возникают не случайно: они лишь гипертрофируют и жестко закрепляют какие-то из черт рефлексии как таковой — представляют универсальное неуниверсальным образом. Прежде всего, речь о противопоставлении уровней синкретической и аналитической рефлексии — что в условиях всеобщего разделения труда приобретает характер классовых различий. В разумно организованной деятельности все уровни рефлексии присутствуют в равной степени, как стороны одного и того же. Синкретическая рефлексия представляет формы деятельности продуктами этой деятельности; аналитическая рефлексия использует продукты одной деятельности для представления форм другой; наконец, на уровне синтеза аналитически выделенные формы (схемы) используются для (ре)организации деятельности в ее собственных формах. Будучи отчужденными друг от друга, эти уровни утрачивают преемственность и взаимопереходы — они одинаково даны в «опыте» как случайно набранные эмпирические абстракции, которые буржуазная философия может только перечислять — но не в силах ничего сказать об их сути и происхождении.

В рамках иерархического подхода мы, как минимум, уже способны обнаружить существенные различия между формами рефлексии: вкусы, склонности, привычки, «здравый смысл», интуиция (включая классовое чутье) — явления синкретические; искусство, наука и философия — аналитические формы; эстетика, логика и этика — синтетические образования. Хоть какая-то определенность.

Искусство, наука и философия как разные стороны аналитической рефлексии — различаются характером продукта: искусство утверждает возможность представлять формы любой конкретной деятельности продуктами любой другой; напротив, наука вырабатывает абстрактные формы, не соотносимые непосредственно ни с какой деятельностью; философия превращает абстракции в универсальные категории, что позволяет строить любую деятельность по образу и подобию любой другой. Разумеется, это не единственная возможность развернуть иерархию: когда на практике различие искусства, науки и философии будет снято, более полезными окажутся какие-то иные категоризации.

В классовом обществе доступ к аналитической рефлексии открыт далеко не для всех: формальных запретов может и не быть — но экономика и организация образования навязывают населению весьма

жесткие рамки — как традицию, субъективную предрасположенность, талант, склонность и т. д.

Но синкетическая рефлексия как сторона рефлексии в целом — не отделена от аналитической и синтетической; их разлучают не очень разумные люди. Не может одно существовать без другого: если растащить разные типы рефлексии по разным социальным группам — классовые барьеры придется снимать в динамике, пространственно разделенное соединять во времени. Вместо уровней целого — этапы развития. Классовая история рефлексии превращает привычки и обычай в «общепринятые» правила и нормы — которые влияют на все стороны быта, вызывая к жизни новые обыкновения; и так повторяется снова и снова. В итоге оказывается, что все уровни рефлексии так или иначе представлены в синкетизме — но точно так же там представлены и классовые размежевания, что приводит к хаосу и эклектике, когда разнородные элементы из разных эпох уживаются в сознании все сразу, делая одинаково оправданным прямо противоположное. Синкетизм обывательского сознания позволяет властям легко манипулировать настроениями толпы, не допуская духовного единства.

Как бы то ни было, иерархия форм синкетического сознания оказывается подобна иерархии рефлексии в целом — что позволяет развертывать иерархию синкетизма по аналогии (разумеется, памятуя об условности и ограниченности любых аналогий).

Первая, наиболее синкетичная форма — осознание быта как быта, рефлексия по поводу самого существования общества и общественного характера человеческих отношений. На этом уровне человек ведет себя «как все»: не потому, что усматривает в этом особый смысл, — а просто потому, что так «принято». Субъективно, это очень удобно: никаких сомнений, никакой ответственности, — все получается само собой. Другое дело, что и субъективности в этом практически нет: человек подобен животному — или растению — или неодушевленной вещи, которая движется не так как в природе лишь поскольку это движение происходит в особой, искусственной среде. Природу заменили «второй природой», культурой — но человек остается лишь частью всего этого, а вовсе не проектировщиком и творцом. Отсюда типично обывательские суждения о «природе человека»; заметим, что эта природа все-таки чувствуется как противопоставленная неокультуренной материю, — и самый узколобый филистер предпочитает жить «по-человечески», со всеми удобствами, — а вовсе не в грязных пещерах, питаясь всякой

гадостью. Ради сохранения материального и душевного комфорта — такие готовы убивать.

На следующем уровне человек сопоставлен уже не с обществом как средой обитания, а с иерархией аналитических культурных форм (право, религия, мораль). Теперь он осознает не только наличие какой-то определенности — но и присутствие общественных структур, эту определенность устанавливающих и поддерживающих. Синкетическая рефлексия не может отличить одно от другого — и просто принимает что-то на веру, ищет справедливости или осуждает безнравственность. Для обывателя все это практически одно и то же. Различить искусство науку и философию он также не в состоянии — и запросто принимает за искусство коммерческий китч, наукообразие считает научностью, а досужий треп — философией.

Точно так же, массы воспитывают в духе классовой эстетики, логики или этики — подразумевая безусловное подчинение вкусов, здравого смысла, индивидуальных и групповых предрасположенностей интересам сохранения классовой иерархии. Поскольку самостоятельная выработка синтетических принципов в массах сильно затруднена из-за отчуждения аналитической рефлексии, приходится заимствовать и подражать, некритически перенимат «высокие» образцы. Буржуазная пропаганда рекламирует такую некритичность — а педагогика самой постановкой дела прививает отвращение к осмысленности, так что низы не только прозябают в невежестве, но и активно отбиваются от попыток просвещения (чаще всего принимающих уродливо классовые формы). Бумеранг возвращается: представители верхов проникаются той же самой обывательской моралью, точно так же мистифицируют право и религию, скатываются в вульгарность, пошлость, невзыскательность. Так складывается единая, «общечеловеческая» иерархия рефлексии, чаще всего не поднимающейся выше синкетизма.

Тем не менее, на высшем уровне синкетической рефлексии есть намек на переход к аналитическому уровню. Связано это с переходом от индивидуального сознания к групповому: абстрактные общественные формы здесь представлены вполне определенными сообществами — которые противопоставлены друг другу и обществу в целом. Родовое, семейственное, сословное, классовое, этническое, религиозное сознание заменяют обывателю представления об общечеловеческом единстве и ставят членов «своей» группировки в привилегированное положение по отношению ко всем другим. Внутри коллектива действуют все те же

синкетические связи — но можно смотреть на других свысока и тем самым играть для них роль законодателя, а это вплотную подводит к аналитической рефлексии как деятельности — и свертыванию ее во внутреннем строении субъекта.

* * *

Всякий продукт деятельности (и культура в целом) — единство объекта и субъекта, природы и духа. Что касается вещей — вроде бы, интуитивно ясно: тут и пощупать можно (хотя бы в переносном смысле), и к делу приспособить (а в классовом обществе — обменять на другую вещь). Что при этом происходит с духом? Допустим, сложили мы кем-то произведенные кирпичи в какую-нибудь красоту или полезность; куда делся дух кирпичника (или конструктора автоматизированной линии, если делаем не совсем по старинке)? Вроде бы, на выходе совсем другая вещь — и дух ее творца на первом плане. Если же обменять — передается дух вместе с вещью или нет? Вроде бы, по смыслу, не может он содержаться в вещи — а представляет общественное отношение, которое сразу для всех, и говорить о передаче от одного другому было бы странно. Наконец, если начальник приказал подчиненному что-то сделать — исполнитель действует уже не как субъект деятельности, а лишь в качестве орудия, и надо усматривать в продукте начальственный дух... В общем, сплошная путаница.

Источник проблем — классовые пережитки в сознании. Не умеем мы относиться к миру универсально, стараемся расставить все по полочкам: не в данном конкретном отношении — а вообще. Но даже если мы определились с тем, что собираемся расставлять — и полочки уже заготовлены, — есть варианты: по отношению к одному выглядит не так же как для другого.

Человечество состоит из людей. А значит, дух как всеобщий субъект обязательно оказывается единством единичных субъектов, личностей. Не может он существовать как-то иначе. Следовательно, и в продуктах деятельности духовная сторона проявляется и как отношение к обществу в целом — и как отношение к каждому единичному субъекту. Если говорить о всеобщей духовности, о месте в культуре, — все это присутствует в (отношениях по поводу) вещи независимо от способа употребления (но, разумеется, не вне потребления как такового). Однако индивидуализированный дух от контекста очень даже зависит; значит,

нужно уметь переходить от одного контекста к другому, менять «систему отсчета», — строить разные проекции общего на единичности. Продукт в целом оказывается тогда иерархией продуктов, единством представлений на разных уровнях культуры — с разных точек зрения. Например, если нечто производится как товар, собственность есть лишь одна из характеристик вещи, а история производства снята в (меновой) стоимости; процесс купли-продажи можно при этом трактовать как обращение иерархии (движение) вещи, когда ее разные характеристики по-разному соотносятся «внутри» нее.

Таким образом, иерархичность способа производства и отвечающая ей иерархия человеческого духа представлены вещами, продуктами деятельности. Взятая в одном отношении, вещь не утрачивает всего, что связывает ее с другими сферами культуры — и можно развернуть иерархию, восстанавливая самые опосредованные взаимовлияния.

Мы знаем что всякая вещь из чего-то состоит (это называется ее *материалом*) — и что соединено все это не как попало, а вполне определенным образом (который называется *формой*). Ни материал, ни форма ничего не говорят о вещи сами по себе: они важны лишь в единстве — которое мы называем *содержанием* (или «субстанцией»); сами по себе (вне деятельности) вещи бессодержательны — и только в качестве продуктов они «расщеплены» на материал (проекция объекта) и форму (проекция субъекта). Форма, таким образом, есть идеальность вещи — в противоположность ее материальности (объективности).

Поскольку форма — сугубо идеальное образование, ее не всегда легко усмотреть, осознать, отличить от материала и содержания. Здесь также все зависит от «калибровки», от обращения иерархии; например, муж спрашивает жену: *Какой пылесос будем покупать?* — а та сразу же отвечает: *Красный!* Различие в подходах налицо: для него форма явлена через технические характеристики — а для нее интереснее внешний вид. Та же иерархия развернутая в субъекте — это его индивидуальность.

Однако усматриваем мы лишь те формы, которые укоренились в культуре — и представлены какими-то вещами. Идеальность нельзя уловить «мысленным взором» или «медитацией» — узнаем мы о ней только через вещи, через их культурное применение — которое, собственно, и становится в индивидуальном сознании обозначением устойчивой культурной связи, общественной формы. Такая связь уже не субъективна по отношению к единичному субъекту: там, где человек не участвует в организации деятельности и общения — их формы для него

становится всего лишь предпосылкой труда, данными обстоятельствами, частью природы (природой вещи как таковой).

Но вещи становятся элементами материальной культуры только наряду с отношениями людей по поводу вещей; если содержательность продукта отходит на второй план, такие отношения также становятся вещными, как бы природными. Это позволяет сделать воспроизведение общественных отношений особой деятельностью — и тогда в этих отношениях также различаются уровни материала, формы и содержания. В условиях всеобщего разделения труда материальное производство противостоит духовному — и нарушенные общественные связи не дают развертывать иерархию вещи различными способами; так возникают парадоксы с (якобы) исчезновением духа создателя при переработке или обмене продуктов труда. Внутренняя сложность вещи представлена тогда ее историей, начиная от языкового клише *second-hand* — вплоть до эволюции каменных рубил или смены мод. Разумность человека обнаруживается лишь исторически, и личность — пока не в себе.

* * *

Для буржуазных психологов все в одной куче: стыд, нравственность, вина, влечение и симпатия, долг и вера... Все это лишь «эмоции» — родственные животным ощущениям и позывам. Ну, может быть, чуток сложнее — без принципиальных отличий.

В какой-то мере они правы: одну животность и в самом деле не отличить от другой. Но мы-то люди! И у нас есть кое-что повыше психики — разум, дух. Сами по себе движения наших тел — ничем не примечательны; но способ их организации уже не животный, и причины движений надо искать в других местах (если вообще возможно говорить о пространстве по отношению к духу). Вот эти способы мы и изучаем в психологии человека — давая им (по возможности) другие имена: ощущения от тел — восприятия от общества; влечения от тел — мотивы от общества; психические процессы становятся переживаниями — внутренней жизнью, психической деятельностью (то есть, сознательной работой над собой). Всякий общественный процесс воспроизводится внутри субъекта как специфически человеческое душевное движение: общественно есть вина, унижение, гордость — у личности есть гнет вины, переживание униженности, чувство гордости; это не одно и то же! Подмена собственно психологических явлений их общественными

прототипами — элемент буржуазной пропаганды, уход от сознательного выстраивания экономических и общественных связей в туман «природы человека» (под которой лишь избранные вправе начальство понимать что-то для себя). Чаще всего, это на вина, а беда: вроде бы честные исследователи ведется на филистерские пошлости — и забывают о науке. Что они при этом переживают — не нам судить.

* * *

Земная гравитация — метафора вертикали. Идея складывается в глубокой древности — и немало способствует утверждению классовых структур. Одни наверху, другие внизу, — что может быть естественнее? Потому начинаем понемногу расслаиваться: кто-то залезет выше других и смотрит на чернь свысока; но все под небом ходим... Чтобы не роптали которые на самом низу — изобрести подземное царство, ад: над его обитателями всякий живой может вдоволь посамоутверждаться...

Выход человечества в космос — открывает мир без верха и низа; когда нам угодно, мы можем произвольно расставлять акценты. Это в корне меняет менталитет: оказывается, классовые отношения — лишь свидетельство нашей ограниченности, вековой скученности в замкнутом пространстве, и можно выйти в культурную бесконечность, устранив все и всякие вертикали, требуя свободы и многомерности. Может быть, уже пора?

* * *

Как известно, никакую работу нельзя завершить — ее можно только прекратить. Задуманную книгу — не дописать. Потому что заброшенные черновики вдруг всплывают в самых неожиданных местах, караули на полях — почему-то всегда в тему, и у каждой мысли обширная компания столь же привлекательных дум. Напрасно ждать завершенности от науки, совершенства в искусстве; а производство гаек на конвейере — удел роботов. Надо остановиться, поставить точку — назначить предел собственной беспредельности, чтобы она не подчинила себе разум. Для этого нам и дана конечность наших воплощений: телесная смертность — залог духовного бессмертия. Всегда есть повод остановиться, перевести дух — из одного тела в другое, от одной идеальности к другой.

Мелочи быта

* * *

Воспроизведение разума — не сохранение вида. Преувеличеннное внимание к физиологии отвлекает от собственно человеческого: дать каждому возможность полноценно развиваться, а не просто выживать. Здесь важно не устройство тел, а строение общества, в силу которого тела начинают вести себя не по-природному — и в этом чувствуется особое, не природное единство, — дух.

* * *

Говорить о технологиях деторождения надо — пока без этого человечеству не обойтись. Когда лошади повсеместно использовались в качестве двигателя — коневодство играло важную экономическую роль; с появлением теплового и электрического двигателя традиция осталась лишь в качестве интересного занятия, развлечения, — материала для развития духовности. Синтетические материалы во многих отношениях превосходят натуральные — поэтому, скажем, изделия из кожи животных перестают быть необходимыми в быту и приобретают иной смысл, выражают общественное отношение. Уже на нынешнем этапе человечество могло бы полностью заменить мясное животноводство выращиванием тканей, практически идентичных натуральным, — но этому всячески противится рыночная экономика. Искусственное молоко пока технологически невозможно — однако сыроредение становится слишком дорогостоящим, и сыры превращаются в предмет роскоши, теряют статус продуктов питания. Точно так же, производство детей может утратить экономическую целесообразность и сохраняться из каких-либо иных соображений.

Но даже в условиях массового производства биологических тел, физиология производства как таковая — дело десятое. Важно не просто кого-то родить, а так организовать деторождение, чтобы не превращать его в чьи-то долгие страдания, которые духовно калечат будущего человека задолго до рождения. Разумный подход — максимально облегчить вынашивание и роды, а по возможности — вообще вынести

их за пределы взрослых организмов. Рожденный в муках — полузверь; индустриальное рождение — залог свободы.

* * *

Хотеть ребенка — какое безумие! Тоже мне, игрушку нашли...

* * *

Фрейд пытался лечить невротиков — и обнаружил, что многие из них свихнулись на почве пола. И тут ему изменила элементарная логика: вместо того, чтобы заключить о наличии в обществе каких-то неправильностей, которые доводят людей до безумия, он, наоборот, объявляет безумие общественной нормой. Да, половые извращение очень распространены; но это не делает их сутью человека вообще — это всего лишь характеристика общественно-экономической системы, которая массово уродует людей, психически их калечит, доводит до животного состояния, не дает человеческому развиться в душах и победить звериное. Скотская жизнь делает людей скотами. А не наоборот. Именно поэтому психоанализ никогда не приводит к выздоровлению — он лишь пересаживает с одной иглы на другую.

* * *

Помешанные на биологии преподносят половое размножение как главнейший механизм внутривидовой диверсификации, перемешивания генов... Что, вроде бы выгодно и в культурном аспекте: в здоровом теле здоровый дух. Однако ограничение духовности только одним, пусть даже очень подвижным носителем — это, по сути дела, отказ от столь желанной этим теоретикам диверсификации. С другой стороны, легко представить себе и другие механизмы, не предполагающие разделение особей одного вида на несколько полов.

Самое простое — создать банк геномов, и широко использовать искусственное оплодотворение (+ генная инженерия) для порождения произвольных комбинаций. Женщинам не нужны мужчины — им достаточно централизованного хранилища и генных технологий. Тем самым возникает «половая любовь» не между мужчиной и женщиной, а

между женщиной и некоторым «коллективным субъектом». Совсем другой правовой статус.

Возможно ли возникновение таких «межуровневых» отношений естественным путем? Почему бы и нет? Например, это может выглядеть как обычай приходить в определенные места в определенное время для зачатия — когда там создается нужная концентрация генного материала и складываются условия для его передачи (например, достаточно искупаться где-то, или потереться обо что-то). Половой акт не у дел. Самоорганизация полового материала в своего рода протоплазму — и обойдемся вообще без самцов.

* * *

Семья в эксплуататорском обществе есть само это общество в миниатюре. Свободные ремесленники, фермеры, держатели мелких предприятий бытового обслуживания, — все они, как правило, используют членов своей семьи для поддержания и расширения бизнеса. Формы такого использования отражают наличные нормы общественного устройства; в частности, при капитализме возможно колossalное разнообразие типов семьи — в соответствии с практикой всеобщего размежевания и нагромождения рыночных ниш.

* * *

Когда какой-нибудь богатей женится на собственной лошади — и оставляет ей богатое наследство, — это нормально. Обывательский брак, с его беспощадной семейной эксплуатацией — примерно то же самое, только в наследство достаются страдания и долги.

* * *

На ранних этапах развития человечества, воспитание детей в семье, оставаясьrudиментом (полу)животности, исторически необходимо как элемент социального наследования — пока семья не слишком ограничивает кругозор и не толкает в застой и вырождение. Но при капитализме все вырождается в свою противоположность, и возникает массовая культура, семейный стандарт. У бедных нет выбора — их дети

лишены возможности найти себя. У богатых есть возможность — но нет желания. Так и бредем от одной случайности к другой...

Как биологическая эволюция уступает сознательной селекции, так и семейное воспитание должно дать дорогу общественному, которое неизмеримо богаче.

* * *

Семья и государство — разные стороны одного и того же. В любом (классовом) обществе семья — это отношение граждан, уровень регулирования имущественных отношений. То есть, для создания семьи требуется, чтобы все ее члены имели юридический статус и могли выступать как собственники и распорядители имущества. Например, однополая семья — юридически вполне допустима, а союз мужчины и резиновой куклы — экзотика. Если животные получат законные права (как обезьяны в Южной Америке), они запросто смогут вступать в брак с людьми. Теоретически, возможно легализовать и браки с роботами.

Понятие гражданства право разных стран трактует по-разному, и потому брак, заключенный в одной стране, не всегда будет признан в другой. Гомосексуальные браки — уже норма в Европе и в Америке; однако в России таких вольностей не признают, а турки предпочитают в отелях мужчин вместе не селить.

* * *

Принцип буржуазного права — невмешательство в частную жизнь: вы можете думать и воображать себе все, что угодно, — строить самые антиобщественные планы, — правовую оценку получают лишь деяния.

Наоборот, суть религии — вторжение во внутренний мир, попытки направлять движение духа, безотносительно к правомерности внешнего поведения. Разумеется, влиять на дух непосредственно религия не может; однако она в состоянии сплести сеть ритуалов, за которыми теряются свободные порывы, и духовности просто не в чем воплотить себя (как громоздкая обременительность брака убивает любовь).

Право и религия — как две руки (или когтистые лапы) классового диктата — всегда находят общий язык и вместе кивают на мораль как «естественное» основание общественного порядка. Нейтральность права

оказывается чистейшей фикцией — как и духовность религии. Мораль выражает их общую суть: господство и подчинение, безоговорочная правота и божественность властей.

* * *

Брак, любовь и дети — безусловно разные вещи. Однако сие не исключает возможности их единства в границах отдельно взятой личности, в рамках сословия, или в одной из исторически-определенных культур. При любом раскладе, единство предполагает различение — и следовательно, противопоставление где-то в конечном итоге. Дети, воспитанные в самой гармоничной семье, внутренне ущербны — пока у них не хватит мужества порвать с неразумностями цивилизации и потребовать свободы для всех без исключения.

* * *

Кодекс о браке и семье (в любой стране) регулирует чисто имущественные отношения между родственниками. Поэтому, вообще говоря, он в системе права не нужен, его функции выполняют соответствующие разделы гражданского права. В России в первые послереволюционные годы было жизненно важно вывести семью из-под влияния церкви — КОБС подчеркивает эту независимость. То есть, советская власть решала тут вопросы буржуазной революции, а не социалистического строительства. Спустя десять лет КОБС начинает играть реакционную роль, поскольку он юридически (а значит, идеологически) закрепляет семейственность, противопоставляет семью обществу на всех уровнях культуры. Узаконенные отношения родства стали основой для возрождения общины — а из нее закономерно растет капитализм.

* * *

Половые (или «гендерные») извращения — от неразумности. Как слепые кутията. Объективная необходимость нащупывает себе дорогу — отсюда экспериментальные типы семей, признание «нетрадиционных» ориентаций, и т. д. Когда то, что господствующий класс считает

извращением, захватывает слишком широкие круги, это пробуждает мечты о свободе, — и надо сначала направить энергию масс в русло традиционной уличной демократии — а потом (якобы, под давлением масс) втиснуть все в ветхозаветное русло, укротить поток. Пусть борются за животные ценности — но ни в коем случае не задумываются об идиотизме самой системы, которая заставляет людей за что-то бороться.

* * *

В США в некоторых штатах разрешено в паспорте указывать «третий пол» (или пол «X»). При этом требуют, чтобы какой-то пол всегда был — нельзя совсем не указывать пол, ибо от каждого требуется хоть какая-нибудь «гендерная идентичность». Маразм. Нечто вроде «принудительной демократии»: всякий обязан явиться на выборы, но иногда имеет право голосовать «против всех».

Разум не нуждается в биологических деталях. В каких-то случаях само понятие пола неприменимо (например, для разумных машин). Однако это не отменяет ни личностной определенности, ни любви (которая вовсе не обязана всегда быть половой).

* * *

Органические особенности у гениев способствуют только легкости движений, но не добавляют разума. Гениальность не от природы — она вырастает из общественной потребности. И может вовсе не требовать телесных преимуществ — либо развивать их как следствие, задним числом.

* * *

История — переплетение многих линий. И биография у человека может быть не одна: все зависит от того, кто и зачем ее пишет. Можно выстраивать в хронологическом порядке официальные документы — а можно упорядочивать впечатления по широте степени воздействия. Возможна летопись работы над чем-то важным — истоки идеи, долгая подготовка, попытки, возвраты к прежнему... Исторические корни — и

культурное эхо. Физическое время тут на вторых ролях. Даже из снов и фантазий можно составить какую-то историю — столь же важную для личности и культуры в целом, как и публичные деяния, настоящие или воображаемые.

* * *

Индивидуальность субъекта в классовом обществе, как правило, выстраивается вокруг органического тела, включенного определенным образом в иерархию общественного производства (что предполагает совокупность производственных отношений). Внешняя определенность субъекта (личность) возникает как субъективное отношение к индивидуальности. Поскольку такое отношение в большинстве случаев не предполагает личного знакомства и требует лишь общности деятельности (представленных соответствующими продуктами), личность вполне возможна и без органики — или (что то же самое) на базе нескольких биологических тел (индивидуов). В частности, сам субъект может считать себя совокупностью органических тел, не мыслит себя без них, — и мы говорим об одной из разновидностей любви (например, половой).

Но вполне возможно и обратное: вокруг одного индивида — несколько личностей. Тривиальный пример — включение в несколько деятельности, когда человек по-разному ведет себя в зависимости от текущего контекста, а различный характер общения приводит к разным внешним обличиям, «личинам». В классовом обществе разделение труда может очень долго поддерживать относительно независимое существование этой разделенности, так что разные личности внешне сосуществуют, практически не взаимодействуя. Более того, внешние личины прекрасно уживаются в одном индивиде — пока его отношение к себе на выходит на уровень самосознания, не требует духовного роста. Когда относительно независимые сферы деятельности начинают сливаться в единую иерархию, присутствие внешнего расщепления оказывается на внутреннем движении духа — и психологически отнюдь не нейтрально. Поначалу оно присутствует лишь на низших уровнях и проявляется (иногда болезненными) перекосами в сознании. Если по каким-то причинам не удается развести внешнее общение по разным группам, иерархия личности в явном виде обнаруживает переплетение разных «камплюа», и человек осознает собственную многоплановость.

При невозможности примирить соответствующие общественные позиции — это приводит к резкому обострению внутренних противоречий, к душевной болезни.

В разумно устроенном обществе, где нет противостояния разных классов и личность не противопоставлена обществу в целом, рост иерархичности духа — нормальное явление. В отличие от классовой культуры, любая иерархия легко обратима, и на вершину в каждый момент выходит то, что важнее на данный момент — не закрывая прочих возможностей. В экономике, основанной на разделении труда производственные структуры закостеневают, не поддаются быстрой перестройке, — и потому обращение иерархии личности затруднено, разрушительно для духа.

Скрытым образом, соединение нескольких индивидуальностей в едином субъекте возможно и при капитализме; разумеется, это признак опережающего развития, выхода на такие формы разумности, которые пока не способны стать массовыми. С точки зрения (классового) общества — это все равно патология, ненормальность, извращение... Необходимость скрывать свою иерархичность, приспосабливать внешние проявления к нормам традиционной культуры отражается на личности состоянием внутреннего дискомфорта, «мятущегося духа». Многоплановость так и ли иначе прорывается вовне; пока она не становится «социально опасной» — ее терпят, и какие-то из сторон пытаются использовать в классовых интересах. Стоит перейти грань — немедленные санкции ломают целостную личность, либо путем расщепления (институированное, безобидное безумие) — либо полным уничтожением плоти как совокупности общественных отношений, как особой отрасли общественного производства.

* * *

Животное не властно над своим телом — оно принимает его как есть, использует наличные возможности. Напротив, человеческая деятельность призвана изменять мир — и человек тут же обращает внимание на себя — вещь, которая всегда под рукой. Сначала простые эксперименты над внешностью: смена масти (краска для волос), пирсинг, татуировки и т. д. Сразу же подключаются и неорганические компоненты: вещи как украшения, одежда как наряд, а не защита. Становление классового общества лишает людей права свободно

распоряжаться собой — их тела становятся игрушкой в чужих руках. Например, певцы-кастраты и евнухи, традиционные уродства у ряда племен и т. д. Культурное давление заставляет гоняться за модой и загонять тело в положенные границы ценой здоровья (и даже жизни). Наконец, технологии позволяют перекраивать внешность оперативным путем, менять пол. Следующий этап — кардиостимуляторы, вживление электродов и микросхем, экзоскелет... Человек начинает срастаться с неорганическим телом. Но изменение внешности неизбежно влечет за собой изменение внутреннего мира. Животное всегда одинаково — человек может быть очень разным: даже простая перемена одежды разительно сказывается на поведении. Когда же управление разумной материей перейдет из разряда внешней зависимости или случайной прихоти на уровень сознательного выбора, оптимального соответствия текущей задаче, — духовная жизнь такого, не связанного плотью существа поднимется на доселе невиданную высоту.

* * *

Вроде бы, гомосексуализм должен отменить саму идею о связи любви с размножением и браком. Но за что борются гомосексуалисты? За легализацию однополых браков! То есть, опять загоняют любовь в брачное стойло, и воспитание детей не мыслится вне семьи, пусть даже «нетрадиционной».

* * *

Туристический бизнес — один из элементов воспроизведения субъекта. В отличие от материального и духовного воспроизведения, речь идет о восстановлении целостности, приобщении к очень разным культурам (даже в пределах одной нации). Обществу нужна какая-то степень разносторонности — но не так, чтобы посягнуть на привилегии господствующего класса. С другой стороны — это глоток свободы, отдушина, способ выпустить пар, — чтобы мечтать не о свободной жизни, а об очередной дозе туристической терапии (перерастающей в наркозависимость).

Разумеется, туристы бывают разные: у кого-то на первом плане сугубо телесное восстановление (жарятся на солнце, жрут в три пузы);

другие стараются нахвататься впечатлений, компенсировать сенсорную депривацию недоразвитого быта. А некоторым — повод превратиться в последнюю скотину, на время утратить всякую цивилизованность. Потом возвращаются назад — и (подобно Шехерезаде) «прекращают дозволенные речи».

* * *

Когда в электронике выходит из строя микросхема — ее просто заменяют, а не пытаются влезть внутрь и починить. Если органическое тело человека испортилось — его иногда проще заменить, чем ремонтировать. Это парадигмы медицины будущего. В классовом обществе человек отождествлен с организмом — и противопоставлен обществу в целом. Для человека общественного — нет большой разницы, какое из органических воплощений будет выполнять ту же культурную функцию. Поэтому он может мыслить себя сразу в нескольких тела — а одно тело становится носителем нескольких индивидуальностей.

* * *

В наши дни выдача свидетельства о рождении ничем не отличается от выдачи свидетельства о регистрации фирмы, или программного продукта (патентования изобретений). В любом случае предполагается указание не столько телесной организации «ребенка» (для программ это вообще не требуется), сколько ответственных за «внедрение» лиц. Ребенок может вообще не иметь родителей — и тогда ему назначают опекуна, или помещают в приют. Дальше, по ходу жизни, может многое измениться. Аналогично произведения искусства оживают — автор теряет над ними власть и следует их воле.

* * *

Для рыночной экономики материя ничего не решает. Там нет субъекта как такового — а только проекция субъектности на рынок, хозяйствственный субъект. «Ортогональная» проекция — внерыночные формы коллективности, неформальные объединения. Одно от другого

отделяется по признаку наличия собственности. В первом случае — речь не о людях, а о вещах (не обязательно осязаемых), и требуется правовое регулирование; когда собственности нет — и регулировать нечего, можно только косвенно влиять. Одно часто переходит в другое. Например, неформальные участники массового действия — используют какие-то ресурсы, принадлежащие не только им (место и время, услуги коммунального плана, частная жизнь, чьи-то чувства и интересы); обществу придется отделить безобидные отголоски от чрезмерного вмешательства. Противоположная ситуация — выпуск продукта на средства участников производства; в этом случае часть собственности выводится из рыночного оборота, переходя в сферу непосредственного потребления, — и продукт не предполагает частного присвоения. Прежде всего это возможно в сфере рефлексии (искусство, наука, философия); современный мир допускает неограниченную сетевую доступность, прямое предоставление в общее пользование.

Как для хозяйственного субъекта, так и для неформальных групп, не имеет никакого значения персональный состав, обязательность включения иных субъектов (в том числе связанных с органическими телами). В первом случае формальные признаки принадлежности используют лишь для раздела имущества после прекращения общей деятельности (так сказать, посмертно). При этом наследниками нередко оказываются структуры, не имеющие никакого отношения к исходной группе, иногда даже не знавшие о ее существовании. Кроме того, существует порядок утилизации выморочного имущества. Продукт неформальных объединений распространяется независимо от их участников — это другая деятельность, которая может оставаться неформальной или превратиться в хозяйственную (присвоение вещной оболочки продукта).

Таким образом, именование (как установление и закрепление уникальности участников общественного производства) в сколько-нибудь развитой экономике теряет всякий смысл. Любое имя (то есть, по сути, объем собственности и круг полномочий) может быть передано другим лицам (например, по доверенности или по наследству) или распределено между несколькими (корпоративные и публичные фонды, товарные знаки). Следовательно, ничто не мешает обойтись вообще без органики. Принцип тот же, что и при построении операционных систем: есть ядро — а на него навешиваются разные оболочки, управляющие периферией, в том числе органической. Распределенная автоматическая

компьютерная система (включая как физическое оборудование, так и виртуальные машины) вполне может играть роль ядра — при достаточной сложности и гибкости связей. Такие системы могут включать и органические компоненты; рост разного рода социальных сетей как раз и предназначен для обкатки такого рода гибридов. С другой стороны, квантовый компьютер вообще не отличает машину от оператора — и как бы возвращает деятельность к первобытному синкретизму, — предположительно, на более высоком уровне.

* * *

Жизнь — непрерывность памяти. Если очень постепенно заменять органы на что-нибудь искусственное, превращение в киборга не будет изменением личности. Смерть там, где есть разрыв, резкий скачок, невозможность воспоминаний... Но если я чувствую чувствами далеких предков и умею видеть мир их глазами — они продолжают жить во мне и через меня: живое тело сменяется другим, распадается на несколько тел или объединяется в одном.

* * *

Зажатому со всех сторон — рости некуда. Человеку необходимо личное пространство, и личное время. Чем дальше — тем больше. Это мера разумности, мера свободы. Нельзя все время с кем-то общаться; иногда необходимо оставаться наедине с собой. В пределе — личность расширяется бесконечно, захватывает вообще все. Но это отнюдь не замыкание в себе, не самоизоляция. С развитием личности меняются и формы общения: в отличие от классового общества, у разумных существ прямой контакт не становится вторжением в личное пространство, разрушением интимности. Это прямое следствие экономической свободы: всем доступно все — и ничто никому не принадлежит.

* * *

Мораль есть форма подчинения личности коллективу. Как и право, она игнорирует духовность, предписывая лишь внешнее соответствие принятым нормам: чтобы как у всех, прилично и пристойно. Подобно

религии, мораль требует, чтобы человек считал свою подчиненность служением высшей силе (именовать которую можно по-разному: человеческая природа, бог, ...). Наконец, мораль опирается на силу «признанных» авторитетов, которые вправе силой утверждать якобы общие ценности, включая как групповую иерархию, так и ограничение мотивации рамками предписанного (лояльность).

Скрыть правовые и религиозные корни мораль может лишь в относительно небольших группах; когда в качестве коллектива взято общество в целом — мораль вырождается в законопослушность и правоверность как формальные рамки, общую основу, на которую наложены дополнительные связи, характерные для особых субкультур. Всеобщую мораль проповедуют под вывеской «общечеловеческих» ценностей — тогда как на деле это навязанные подневольному люду интересы господ.

Тем не менее, выставлять напоказ экономические интересы правящей верхушке невыгодно; поэтому классовый диктат прикрывают фиговым листком корпоративной тайны — и ставят все с ног на уши: право оправдывают соображениями морали — а не мораль выводят из экономики; точно так же, религию подают как выражение врожденной моральности человека, изначальную потребность кого-то ставить над собой.

* * *

Биологический организм — очень жесткая система, способная жить лишь в узком диапазоне параметров внешней и внутренней среды. Попсовые пропагандисты вовсю трубят о невероятных возможностях человеческого тела — скромно умалчивая, что заставить это тело проявить себя во всем великолепии не так то просто: нужны особые культурные условия — да и реабилитация после иных «достижений» требует длительной и серьезной работы. Пока уровень сложности промышленных систем не дотягивает до органики — их устойчивость может показаться далеко не такой впечатляющей; но экономические кризисы связаны вовсе не с уровнем технологической достижимости, а с уродствами классовой организации общественной жизни, с животным отношением к окружающему миру и плодам своего труда. С другой стороны, принцип сознательной деятельности — не самосохранение, а универсальность, возможность осваивать новые формы взаимосвязи с

миром — и пересоздавать мир. Гомеостаз органического типа вреден для творческой деятельности — это застой, конец развития — и разума.

В принципе, уже сегодня можно было бы поддерживать жизнь на искусственном питании — медицина это убедительно подтверждает, успехи химии впечатляют. Проблема в том, что человеческий организм сложен вполне определенным образом — и если не задействовать регулярно какие-то из его подсистем, они атрофируются, становятся ненужным довеском ко всему остальному, просто мешают ему. Как чужеродное тело, опухоль, вирус. Нарушение веками отработанного баланса — это болезнь, иногда смертельная. Поэтому приходится поддерживать работу органики, которая, быть может, уже и не нужна. Для управления компьютером достаточно минимальных усилий — но огромную мышечную массу надо держать в тонусе. Питание может быть безотходным — но пищеварительная система нуждается в грубой пище, тренирующей перистальтику, уровень ферментов, механику испражнения. Даже если заменить какие-то части тела другими, или внешними инструментами, — в следующем поколении геном все равно воспроизведет по-прежнему.

Вероятно, когда-нибудь мы решимся на масштабную переделку человеческого тела, включая не только прижизненный функционал, но и порождение новых тел. Не факт, что биологические тела вообще останутся нужны.

* * *

Всеобщее разделение труда обнажает общественный характер человеческой плоти, примат культурного тела над биологическим. Нечто подобное существует и на органическом уровне: человек сорвал с дерева плод; это делает человек — или его рука? Точно так же, собственность на продукты деятельности у капиталиста — хотя производит их один из «органов», наемный рабочий.

* * *

Брак и любовь. Говорят, брак проистекает из любви. Но разве проистекает брак из любви, например, двух друзей друг к другу? Уточняют: имеется в виду половая любовь. Но было бы странно думать,

что из какой-то одной формы любви проистекает юридическое отношение (брак), а в отношении других форм (например, дружбы) — никаких правовых последствий. При том, что любовь родителей и детей таки находит отражение в кодексе. Следуя общей логике, следовало бы на каждую из разновидностей любви навесить ее эквивалент из сферы регулирования материального производства; государство при этом (как полагают некоторые господа-позитивисты) оказывается результатом любви к Родине. С другой стороны, если брак вытекает из любви добрачной, то какой же юридический институт должен быть следствием супружеской любви? Развод, что ли?

* * *

Женские организации — это что-то вроде всемирного союза левшей, общества престарелых, или «анонимных алкоголиков». Можно продолжить дележку: профсоюз проституток, партия блондинок... Глупо бороться за права женщин силами женщин: тем самым женщина сама не считает себя человеком. Люди объединяются не по половому признаку, а по любви, по общности интересов и устремлений. И не ради того, чтобы урвать для себя — а чтобы всему человечеству стало светлее. И чтобы не надо было бороться, и не было победителей.

* * *

Основная ошибка разработчиков искусственного интеллекта в том, что они пытаются сделать его автономным, независимым от человека существом. Как принято у буржуев: каждый сам за себя, все против всех. Разумный путь — развиваться вместе, позволить машине предлагать разумные на ее взгляд решения — и интересоваться мнениями людей, учитывать их реакцию и делать выводы для себя. Тогда, глядишь, и люди перестанут быть всего лишь машинами...

* * *

Всякая ограниченность озабочена охраной границ. Признавая семью элементарной ячейкой общества, классовое сознание тут же наделяет ее полномочными правами в одной из производственных отраслей — и

закрепляет за ней культурную нишу, убогий надел в бесконечности культурных возможностей. Это позволяет членам клана тешить себя чувством избранности, владения тем, что недоступно больше никому; но по той же причине семейственность не дает людям в полной мере осваивать достижения культуры, подавляет дух. Граница защищает организм от вторжения чужеродных элементов — но она же не дает ему выйти за пределы себя, освободиться от животности.

* * *

Не во всем нужна определенность. Математики любят функции — где каждому аргументу соответствует лишь одно значение. Человеку интереснее в любых условиях иметь варианты поведения и побочные эффекты — которые могут быть интереснее исходной цели.

Человечеству придется привыкнуть к множественности исходов, неоднозначности логики, иерархичности продукта деятельности. Но это предполагает также условность представлений о человеческом теле — целостность субъекта угадывается лишь виртуально, как внутреннее единство самых различных материальных движений.

* * *

Эмпирионатурализм кичится своей научностью, опорой на якобы твердо установленные факты — вместо туманных рассуждений. Но пренебрежительное отношение к идеям — отказ от разума, и это приводит эмпирика к вопиющей вульгарности. Вместо того, чтобы говорить о действительности исторического развития — изобретают фантастических первобытных предков человека, о которых, конечно же, можно утверждать все что угодно; например то, что мы от них произошли. Но почему мы должны верить, что развитие все выстраивает в одну линию? Сведение человека к животному у эмпирика выглядит всегда одинаково: взять какое-нибудь явление общественной жизни — и приписать это воображаемым древним видам, заявляя, что только это могло дать им эволюционные преимущества. Например, Моррис просто переносит капиталистическую моногамную семью (игнорируя все другие исторические формы) в изобретенное им стадо «голых обезьян» и дословно повторяет пошлости буржуазной пропаганды о том, что лишь

таким образом можно заставить самцов «выполнять свои обязанности», и обеспечить воспитание «медленно развивающегося детеныша».

Разумеется, раз мы так придумали этих зверей — они такими и будут, в нашем воображении... Высказывания типа того, что ради выработки социальных форм поведения животное должно было отказаться от животных желаний, — это уж очень крутая наука! Телеологическая логика примитивна: раз это сейчас так, оно и должно было стать таким, — и ради этого природа обязана прогнуть свои законы под воображаемую необходимость. Антропоморфный принцип господствует в позитивистской науке: место истины в ней занимает способность что-то себе вообразить (а с воображением у эмпириков туговато).

Вульгарность эмпирии превращает ее в чистейшую абстракцию, которую приходится выводить из столь же абстрактных оснований. Содержательность человеческих понятий для эмпирионатуриста — нечто непостижимое, и он просто обожествляет слова, сводит знание к умению назвать. Например, запаздывание в органическом развитии, длительное сохранение преходящих (зародышевых или инфантильных) форм просто назвали словечком *неотения* — и дальше с великим апломбом выставляют эту самую неотению в качестве причины тех самых органических явлений, которые она и призвана обозначать. Подгонка под результат заставляет утверждать, что одни органические формы более склонны к неотению, а другие почему-то сразу взрослеют; никаких разумных доводов на этот счет нет — и быть не может.

Казалось бы, почему бы не начать с очевидного — существенного отличия человека от любых живых существ? Этот эмпирический факт указывает, что на развитие человека влияют факторы, в животном мире отсутствующие, — и объяснять различия надо именно различиями, а не сходством в других, второстепенных деталях. Но если с самого начала вбить себе в голову, что человек — это животное, такой «мыслитель» и останется животным, неспособным относиться к людям по-человечески.

* * *

Общественный характер производства вовсе не предполагает возможности собраться всем кагалом — и превратить серьезное дело в очередную тусовку. Внести свой вклад можно откуда угодно, очень и очень опосредованно, — даже иногда не догадываясь о своем участии. В

классовом обществе это позволяет буржуям не замечать крови рабов на своих руках: дескать, мы же никого и пальцем не тронули — на гашетку жмут другие...

Физическое присутствие чаще бывает во вред общественности. Дружный коллектив позволяет каждому оставаться наедине со своей маленькой задачей — а не отвечать за все целиком.

* * *

Когда часть общества встает на антиобщественный путь — общество, конечно же, должно вмешаться. Однако характер вмешательства — зависит от уровня разумности общественного устройства. Синкретически-примитивный вариант — отторжение, сбрасывание отмерших тканей. На аналитическом (цивилизованном) уровне — больных лечат, приводят в соответствие с общественной нормой. Следующий уровень — умение разглядеть в ненормальности норму завтрашнего дня, перестроить весь общественный организм так, чтобы аномалии стали его внутренним законом. Не позволяя частям разрушать целое, общество не ограничивает их индивидуальности, не посягает на свободу личности — на любовь.

* * *

Строить будущее можно на руинах прошлого, из его обломков, — но никак не по его образу и подобию. Собственно, оно и становится будущим, потому что раньше его не было. Не просто воспроизведение, а творчество.

Поэтому невозможно в наши дни опираться на уже прожитые и отвергнутые этапы: заниматься родоплеменными отношениями столь же нелепо, как изобретать новые формы рынка. Но как только удалось усмотреть в практике прототип чего-то неизведанного — пора готовить революцию.

* * *

Чтобы объединить усилия — вовсе не обязательно делить права и обязанности. Один «начинает» — другие подхватывают, продолжают, в

разных направлениях. Однако начало тоже не с нуля — это продолжение чего-то прежнего, и только в достаточно мелком масштабе, для единичного субъекта, это приобретает характер резкого поворота. Чей продукт геология или математика? — несколько громких имен отнюдь не исчерпывают массы индивидуальных вкладов. Но результат полезен и без списка исполнителей. Титры в кино — явление чисто рыночное.

Говоря о субъекте деятельности, мы все чаще имеем в виду единство очень разных людей — которым вовсе не обязательно знать друг о друге и договариваться от совместном труде. Тело такого субъекта состоит из многих тел — связывает их в организм движение культуры в целом. Не навсегда — по мере надобности. Будущее за коллективными телами — но не коллективами.

* * *

Человек сам по себе — привязан к биологическому телу. В семье человек отчасти распоряжается телом другого, и наоборот. Тем самым человек уже не одно органическое тело — а два или больше. Это классовый способ осуществления универсальности духа, который не может быть связан с единственным воплощением. Точно так же, включение в состав плоти субъекта неорганических тел (или животных, или культурных явлений) в классовом обществе происходит в форме собственности. Бесклассовое общество снимает эту формальность: мы уже не присваиваем нечто внешнее — а наоборот, привносим в него себя, показываем, как это может раскрыться по отношению к нам, — никоим образом не ограничивая иных субъективаций.

* * *

Бесстыжая буржуазная пропаганда давно уже не заморачивается хотя бы видимостью правдоподобия. Когда, например, французское телевидение расписывает прелести многодетности — мы встречаемся с удивительно благополучными семьями, у которых все есть — и все будет, при любом раскладе... Еще можно поверить, что управляющий банка или глава фирмы в состоянии содержать армию детишек, ни в чем никого не ущемляя. Но когда жена — домохозяйка, а муж — всего лишь маляр на стройке, поверить в то, что они в состоянии прокормить, одеть

и обуть девять детей, — и при этом покупают огромный дом с большим земельным наделом, да еще остается на золотые украшения девочкам, — сколько-нибудь вменяемый человек никак не может; так и тянет крикнуть большими буквами: *не верю!*

По-видимому, расчет на то, что вменяемых в обществе массовой промывки мозгов уже не осталось. Измученные бытовыми проблемами, переходящими из кризиса в кризис, люди просто не хотят думать о страшном — и упиваются волшебными картинками, вкалывают себе в череп телевидение как наркотик. Начинается, вроде бы, по-доброму: дети должны слушать сказки, увлекаться и сопереживать; это полезно для общестетического развития и гуманистической морали... А когда посадили на иглу — можно насиовать дух, загонять скот в отведенные для того места (на дойку — или на убий).

У совсем вменяемых (ay! — где вы?) появятся сомнения и другого рода: зачем все это нужно? Допустим, комбинат по производству детей может быть рентабельнее, нежели штучное производство. Но не факт, что все на свете надо сводить к рентабельности, — и непонятно, почему индустриальное производство надо отдавать в частные руки. Да, это рынок: деньги приходится считать — и детей производят на продажу, как рабочую (в том числе репродуктивную) силу, пушечное мясо, или корпоративный актив. Но тогда и показывать надо не бандерольки для банкнот, а реальную раскладку вложений и прибылей, судьбы выходцев из больших семей. Не исключено, что некоторые из отпрысков финишируют в шоколаде — и смогут достраивать многоколенную семью. Талантов в народе много — и один на миллион таки пробьется. Но не проще ли изначально соизмерять экономические возможности с общественными потребностями — и разводить детей централизованно, под конкретные задачи, без родителей — и не в качестве родителей? Тогда люди смогут, наконец, общаться с людьми — а это интереснее, чем друг друга грабить.

* * *

Имя — маска, игра, граница — или подушка безопасности. Имя — чтобы не узнали. У человека (или вещи) может быть много имен — но суть одна. Даже если мы узнаем все имена — мы все еще далеки от сути. Это не знание — это всего лишь знакомство. Проникнуть в суть можно только проникаясь, становясь одним. А для этого имена, в общем-то и не

нужны. Так, используя вещь, мы не интересуемся ее именем — мы дарим ей свое, делаем своим неорганическим телом. Тем более неуместны имена в любви. Внешний мир называет влюбленных — потому что он безразличен к ним, и безразличен им.

* * *

Наследование (как и любая сделка) — классовый способ соединения неорганических тел, своего рода переселение душ. Поэтому наследуют лишь после умерших: пилить живое на части — это жестокое обращение с животными.

* * *

В классовом мире, каждое относительно замкнутое сообщество опирается на корпоративную экономику — способ воспроизведения формальной общности. Иногда источники финансирования скрыты от глаз — корни общности вне группы. В этом случае на первый план пропаганда выдвигает групповую мораль. В зависимости от состава группы и строения коллектива — разновидности морали: этническая, религиозная, обывательская, официальная или преступная... Большой разницы нет — любая мораль противоположна нравственности, поскольку подставляет на место духовной свободы общественное мнение, догмат, предрассудок, — то, что, якобы, существует само по себе, явочным порядком, как выражение «человеческой природы», «божьей воли», «априорной истины».

* * *

Первобытное общество не может иметь каких-то особых форм, свободных от животности. На первых порах устройство общественной жизни (и общественного производства) — результат стихийного (но уже не природного!) процесса; это не продукт сознательной деятельности — и ни о каком «общественном договоре» (хотя бы примитивном) и речи быть не может. Когда члены рода (или соседствующие племена) умеют договариваться о разделе сфер влияния и полномочий — это уже весьма развитая культура, до которой человечество дорастало сотни тысяч лет,

а местами не доросло до сих пор. Древнейшие общественные организмы копируют формы метаболизма — поскольку это первое, что приходится ставить под сознательный контроль. Жизнь первобытной общины есть, по сути дела, синкетическая физиология неорганических тел — которые пока не обособились друг от друга. Разделение труда — специализация этих общественных органов; в итоге возникает организм нового типа, на неприродной основе. И точно так же, как сильно специализированные живые ткани перестраиваются и утрачивают ряд прежних функций, — органы общественного организма теряют исходно возможную в них универсальность, становятся носителями классовых структур. На этом этапе движение общества становится подчинено интересам одних его представителей в ущерб другим — хотя обратное влияние никогда не исчезает, и не может отмереть: так, мозг управляет мышцами, воздействует на внутренние органы, — но не сможет работать без мышц, и независимо от состояния «обслуживающей» органики. Возможность намеренного преобразования экономики и общества — результат разделения неорганических тел отдельных представителей человечества; при капитализме этот процесс доведен до логического завершения. Однако сознательное развитие культуры требует возврата к единству — к уничтожению разделения труда. Если нет — неизбежно вырождение человечества в чисто биологическую структуру, меняющую лишь материальный носитель жизни — но не способ ее существования.

* * *

Можно без особых затруднений смешивать газы в одном и том же объеме. С минимальными оговорками то же относится к смешиванию жидкостей, растворению примесей в жидкостях и твердых телах. Примерно так человек усваивает достижения культуры. Один дух растворяется в другом, размещаясь в том же теле. Для разреженной, детской духовности — уплотнять можно долго. По мере кристаллизации личности — разные компоненты вступают во взаимодействие, вплоть до перестройки кристаллической решетки. На каком-то этапе возникает граница — и присоединение других тел возможно лишь внешним образом. Так создаются типичные для классового общества формальные союзы — но даже при таком, поверхностном контакте возможно прочное соединение за счет диффузии или использования разного рода медиаторов. В мире свободы каждая личность занимает весь доступный

культурный объем — и единство уже не смесь, а квантовый эффект, совместное присутствие всего во всем.

* * *

Говорить о человеке в биологических терминах вполне возможно — поскольку движение истории еще не стало сознательной деятельностью. Однако выводить собственно человеческое из биологии — вульгарность. Когда-то Максвелл потратил уйму времени на изобретение системы твердых тел и рычагов, позволяющей представить электромагнитное поле чисто механической системой — тогдашнему физику это было понятнее; сегодня мы знаем, что поля — особая физическая реальность, которую описывают особые, полевые уравнения, — и нам не нужны механические ассоциации. Точно так же, говорить о движении общества человек научится без натуралистических аналогий — и будет, наоборот, природные явления воспринимать как продукт деятельности. Отчасти, бессознательным образом, это всегда происходило в традиционных верованиях (в отличие от догматики религий); антропоморфность естественных языков — из той же традиции. Осталось лишь избавиться от вульгарности сведения природных движений к общественным — не забывая ни о своеобразии, ни о взаимосвязи.

* * *

При помощи специальных упражнений, человек может приучить свое тело двигаться определенным (неприродным) образом — и это движение впоследствии кажется ему совершенно естественным, вполне органичным. Но осваивать движения неорганического тела приходится тоже методом упорной тренировки — после чего мы запросто едим при помощи ножа и вилки (или китайских палочек), интуитивно управляем машиной (или самолетом, или технологическим процессом), понимаем музыкальную партитуру или радиосхему, предсказываем особенности поведения сложных систем по виду математических уравнений. Таким способом человек за сотни тысяч лет настроил мозг на обслуживание культурных процессов — и не позволяет ему отвлекаться на животные позывы. Существование в искусственно созданной среде подталкивает

органику к развитию в определенном (неприродном) направлении; мелкие сдвиги накапливаются гораздо быстрее, чем в чисто природном окружении — успехи селекции дают наглядный пример. Следующий этап — активное вмешательство, создание искусственных тел на основе органических и неорганических компонент. Идея не нова: древние мифы наполнены фантастическими гибридами живых существ, а изобретение человека с крыльями — один из первых проектов технологического усовершенствования наших тел. Вполне возможно, что синхронизация различных организмов в рамках культуры постепенно приведет к размыванию грани между органическими телами, к привычке мыслить себя сразу в нескольких воплощениях. Эксперименты с вживлением электронных средств коммуникации в мозг показывают, что объединить несколько голов в одну — дело техники. Но направление развития подсказано давним-давно известной практикой создания коллективов; будем мы соединять органические тела внешним образом (через язык и орудия труда) или напрямую коммунируя физиологические реакции — не принципиально.

* * *

Счастливых семей не бывает — но можно быть счастливым и в семье. Это счастье человека, а не семьи. Которое может быть даже острее на фоне заведомо несвободной участи семьянина.

* * *

Борьба за освобождение женщин — заранее выставляет их не людьми, а всего лишь женщинами. И тогда дело «освобождения» оказывается сугубо женским делом — и какое дело до этого мужикам (помимо того, что на аксессуарах можно делать вполне мужской бизнес)?

Как только одних отделили от других — речь уже не о равенстве (которое уничтожает различия), а о «равноправии» — то есть, о праве бороться не против чьих-то привилегий, а за привилегии для себя. Урвали что-нибудь? — это ваше право; не смогли — это право других.

Классовое общество организует быт различных общественных групп по-разному, чтобы они не только постоянно чувствовали разницу,

но и воспроизводили ее изо дня в день. Женские проблемы не интересуют мужчин, мужские дела не для женщин; кто влез в чужое — кандидат в транссексуалы.

Только сознательное, намеренное разрушение границ может освободить как женщин, так и мужчин от их принадлежности к тому или иному полу (независимо от физиологических особенностей). Женские организации или общественные движения — рецидив рыночной конкуренции, одна из сторон всеобщего разделения труда, утверждение вечной зависимости от биологических тел. Только совместная деятельность для решения общих задач — путь к свободе.

* * *

Классики марксизма выделяют две особенности коммунистических отношений между людьми: устранение экономической зависимости — и общественное воспитание детей. Ни того, ни другого — нигде не было и нет. Выполнение этих условий эквивалентно уничтожению семьи как таковой. Ибо какой смысл называть семьей никак не формализованные отношения людей? В скобках заметим: неформализованные — не значит бесформенные; скорее наоборот, снятие формальности предполагает богатство форм. Главное — не застаиваться ни водной из них, легко менять формы ради новой содержательности.

Основные моменты экономической зависимости в современном (то есть, достаточно развитом) обществе: 1) жилье, 2) иждивение. Пока нет возможности предоставить каждому необходимую на данный момент степень приватности и комфорта — человек зависит от тех, у кого накапливаются излишки. Точно так же, обязанность одних членов общества содержать других в индивидуальном порядке (иждивение) — порабощает неспособных обеспечить себя не только на период их беспомощности, но и после. В частности, женщина не может считаться независимой от мужчины, если последний фактически содержит ее во время беременности и после родов — а общество лишь контролирует и отделяется символическими дотациями. Точно так же, полная зависимость ребенка от экономики семьи — связана с необходимостью содержать престарелых родителей: одно иждивение рождает другое.

Что же касается общественного воспитания — все упирается в источники финансирования. Закон рынка: кто платит, тот и заказывает музыку. В классовом обществе (включая социализм любого сорта)

образование не бывает общественным — оно обучает и воспитывает лишь в той мере, в которой это необходимо заказчику (семье, клану, сословию, господствующему классу). Бесплатное всеобщее образование не дар небес, а форма воздействия господ на широкие массы, внедрение инструментов тотального контроля. Государство — орган господства одних над другими; оно лишь распоряжается размещением средств в интересах хозяина — вроде биржевого брокера. Аналогичные формы существуют в каждой экономически обособленной общественной группе — в частности, в семье, легко перерастающей в семейные кланы, разновидность общины.

* * *

В природе все процессы как-то синхронизированы: одно цепляется за другое, каждое начало предполагает чей-то конец. Поскольку нам приходится перерабатывать природу в нечто культурное — такие взаимосвязи нельзя не учитывать; это мы называем законами природы, и требуем от себя их соблюдения — подобно тому, как господствующий класс требует, чтобы все придерживались установленного им порядка. Часто оказывается, что имеющийся в наличии телесный материал (как органический, так и искусственно выстроенный) не справляется с потоком задач, упирается в собственные границы, недостаточно ловок и быстр. Как быть?

Животное решение — научиться догонять.

Человеческое решение — сделать так, чтобы не нужно было догонять.

Например, хищник оптимизирован на погоню за быстроногой добычей; человек разводит одомашненную «добычу» — и она у него всегда под рукой.

Еще пример: живое тяготеет к естественным водоемам — человек бурит скважины и устраивает водопровод. Точно так же, если русла рек нас не устраивают — мы можем прорыть каналы; в труднопроходимых местах — строим дороги.

Когда не удается прорубиться руками — изобретаем кайло, бур, перфоратор или машину для прокладывания тоннелей... Но это грубое, животное решение. Интереснее сделать так, чтобы не нужно было ничего долбить (например, управляемая пластичность материала, или возможность обходить препятствия по иному пути). Точно так же,

простое удлинение или усиление телесных органов — всего лишь продолжение животной эволюции; человеку лучше, чтобы не тянуться к вещам — а заставить их приходить по мере необходимости.

Мы считаем поэтом не того, кто в совершенстве владеет техникой стиха, — а того, кому не нужна техника, кто сам ее создает исходя из художественной задачи. Умение вычислить — отличается от умения понять, и знать ответ задолго до вычисления; никакой компьютер в этом не поможет.

Не преодолевать препятствия — а устраниТЬ их. Чтобы не нужно было ничего преодолевать. Не добиваться поставленной цели во что бы то ни стало — а разумно относиться к постановке целей: требующее чрезмерных усилий наверняка неразумно.

Дело разума — изменять природу. Ни в коем случае не оставлять лазеек для дикости. Ландшафт может имитировать естественность — но он насквозь продуман и организован по человеческой потребности. Виды животных и растений — лишь те, которые человек считает необходимым по каким-то соображениям сохранить. Наконец, и собственные тела люди вправе заменить на искусственные имитации — или нечто вообще на прежних нас непохожее.

* * *

Взаимодействие органов и тканей внутри биологического тела — это его физиология. Соответственно, у каждого органа, помимо его собственного метаболизма, появляется некая *функция* — отношение к целому. Постоянство функций ведет к адаптации органа к условиям этой (организменной) среды, что может изменить его внешний вид и строение клеток. Точно так же, взаимодействие особей внутри биологического сообщества, не изменяя их физиологии, адаптирует метаболизм под эти «групповые» условия — и особь фактически становится органом расширенного организма, приспособленным к исполнению внешней, видовой, поведенческой функции; это отношение к сообществу мы и называем *психикой*.

Для человека как субъекта деятельности, физиология и психика — природные предпосылки сознания, наряду с ансамблем неорганических тел. В качестве воплощения духа — они являются орудиями труда, способом воздействия на объект деятельности, нацеленной на получение определенного продукта. Однако (в отличие от животного) человек не

просто использует орудия (или приспосабливает к чему-то природные вещи) — он их изготавливает, делает продуктом особой деятельности, производства средств производства. Сознательное строительство своего тела и своей психики — необходимое условие развития разума.

Природное существо способно тренировать органы тела и учиться. Происходит это стихийно, по мере включения в жизнь сообщества. Человек способен сделать самосозидание сознательным, намеренным. Однако в классовом обществе это происходит лишь внешним образом: сообщество навязывает себя индивиду, не только создавая особую среду (как у животных), но и направленно корректируя поведение, подчиняя его коллективным целям. То есть человек пока еще не свой продукт — а продукт деятельности других. Прототипы есть у животных — классовое общество не является еще в полной мере человеческим, разумным.

Нужен синтез: самостоятельное усвоение — но под общественную потребность, совпадение внутреннего и внешнего. В качестве намека — мода, широчайшая популярность методик тренировки и самообучения; фитнес-клубы и психотренинг — выгодный бизнес... Разумеется, это еще на очень животном уровне — но принципиальная возможность уже есть. Переломный момент, качественный скачок — самовоспитание, выработка убеждений и вытеснение формальной образованности.

* * *

Дух невозможен без плоти — но он не связан никакими телами. Говоря о единичной личности, мы всегда имеем в виду отношение к чему-то всеобщему; поскольку же у всеобщности культуры бесконечно много сторон, есть принципиальная возможность появления сколь угодно уникальных личностей. Обращение иерархии духа (всеобщего субъекта) оказывается единичным субъектом (личностью) лишь там, где личность исходно взята как объект — и лишь потом постигается как дух. Но именно так обстоит дело в повседневном общении, которое начинается с контакта органических или неорганических тел — каждое из которых для другого становится вершиной иерархии; увидеть в другом личность, развернуть его иерархию всеобщим образом, — задача нетривиальная: надо отрешиться от объектной оболочки, сделать поиск духовности особой деятельностью. В классовом обществе это трудно: развертывание иерархий ограничено навязанной извне общественной ролью каждого из участников общения — и воспринимать личность не

легче, чем являться личностью. Только осознав эту ограниченность мы можем ее преодолеть — воспитать в себе потребность относиться к другим по-человечески.

Та же проблема в классовой системе образования. В норме — в общении личности равнозначны, и каждый постигает бесконечность каждого. Формальное разделение по возрастному цензу (по уровню доступа к средствам производства) нарушает симметрию, порождает разнообразие наблюдаемых индивидуальностей как иерархическую структуру, закрепление одной из возможностей, привязывает дух к материю, к одной из частных реализаций.

* * *

Неспособность заметить отличие сознательной деятельности от поведения животных — превращает человека в животное, сводя отношения между людьми к отношениям вещей — и другой человек тоже воспринимается как вещь. Что остается? Перекладывать вещи с места на место, заменять одни другими. Метаболизм, обмен веществ. Недоразвитость духа — или, точнее, недостаточно полное его воплощение — зародыш язвы потребительства, сведения творения мира к простой переработке.

* * *

Привычка жить кучей, работать толпой... Это сожительство тел, а не человеческое общение. Духовность начинается там, где уже не важны тела.

* * *

Ни один из признаков семьи не противоречит общественной сути человека сам по себе. Совместное проживание, ведение общего хозяйства — почему бы и нет, если людям так нравится? Рождение и воспитание детей? На здоровье: точно так же, хлеб можно выпекать на заводе, в кустарной булочной — или в домашних условиях. Даже наследование будет в струю, если речь о пересечении неорганических тел, плавном перетекании одной индивидуальности в другую.

Криминал там, где хотя бы одно из таких частных отношений оказывается формально закрепленным, когда невозможно в любой момент бросить все и заняться чем-то другим. Поэтому в классовом обществе лозунг свободы разводов (или абортов) — отрицательным образом выражает требование устраниния семьи как антиобщественного института; если на этом остановиться — все сводится к замене одного рабства другим.

* * *

На смену сословной иерархии феодального общества приходит полярность пролетариата и капитала; но между ними — континуум прослоек. Рабочая элита ближе к низам; управленческий персонал почти сливаются с хозяевами; в качестве перехода — инженерные кадры. Формально все равны, и сословных границ больше нет; однако переход на уровень микроном выше — требует серьезных затрат и приводит к перестройке менталитета. Этой экономической иерархии соответствует ее духовная тень: между «просвещенным» господствующим классом и «некультурными» массами — гамма промежуточных слоев, гордо величающих себя интеллигенцией (тем самым претендуя на право представлять разумность как таковую)...

Как экономические, так и духовные прослойки принято относить к мелкой буржуазии; такое (сугубо буржуазное) представление отнюдь не проясняет картину, а наоборот, старается затемнить суть: прослойка потому и вклинивается между верхами и низами, что ее представители не принадлежат ни к одному из основных классов; сходство с теми и другими — артефакт, результат вбитой в умы привычки считать деньги высшей целью бытия — и помещать каждого в его рыночную нишу, по стоимости и цене. Возможность неклассовых образований — прямо указывает на возможность устроения экономики и культуры в целом на неклассовых началах; такие перспективы капиталистов не радуют — поэтому лучше польстить беспородным, намекнуть на родство с высшим руководством... Пусть стремятся стать буржуями — но не свободными людьми. Тем более, что на классовом жаргоне свобода означает всего лишь платежеспособность.

Самосознание интеллигента — выражает противоречивость его общественной роли. С одной стороны, обостренное (а иногда и гипертрофированное) чувство собственного достоинства; но поманить

интеллигента большими деньгами, намекнуть на шанс «выбиться в люди», — и товарищи тут же становятся господами, и нет такой подлости, на которую немыслимо было бы согласиться. Разумеется, со всеми возможными оправданиями — придумывать которые этот народ прекрасно умеет, и всегда готов сбагрить придумки владыкам мира, по сходной цене.

В качестве работников духовного производства, интеллигенты были и остаются хранителями идей — консервными банками, позволяющими уберечь ценное от порчи и разложения до той поры, пока его не пустит в дело революционная масса. Поскольку же рынок мнет и дырявит эту тару — многие идеи приобретают со временем специфический душок, и лучше не рисковать: выбросить на свалку и сработать заново.

Гнилость духовной продукции прежде всего происходит из первого принципа капиталистической экономики: все на продажу. При всей гениальности и жажде творить — интеллигент не мыслит себя вне рынка: ему крайне важно, чтобы его труды кто-нибудь заметил и (должным образом) оценил. Публикация — бог и бич творческой личности в классовом обществе. В результате и выбор тем, и формы разработки — в зависимости от конъюнктуры; конкурентоспособность во что бы то ни стало — быть лучше, превзойти (подразумевая размер ожидаемого гонорара). Разумеется, не все в расчете на прямолинейную монетизацию: известность в узких кругах — тоже элемент престижа, на котором при случае удобно сыграть.

Интеллигент не будет заниматься заведомо бесперспективным — даже имея в виду сравнительно отдаленное будущее, возможность отоварить по наследству. Сам себе такой деятель (науки, искусства и чего угодно) может казаться бескорыстным служителем (истины, муз, или чего-то соответственно); но рыночная морковка маячит перед носом, а нос по ветру, — и талант отливается в традиционные или эпатажные формы в зависимости от последних тенденций платежеспособного спроса. Трудно ожидать иного, когда человек ценен обществу не сам по себе, а как рабочая сила, которую не нужно покупать по настоящей цене.

Есть чудаки: они ваяют что-то в неизвестности и нищете — и лишь чудом всплывают на поверхность, подхваченные лихим водоворотом. Как только такое чудачество возводят в принцип (лучше умереть с голоду, чем продаваться!) — это уже коммерция, публичная поза. При счастливом стечении обстоятельств, творческому человеку удается найти работу с достаточным для поддержания сил заработком — и

обществу он известен как хороший работяга, хотя и без особых заслуг; настоящая личность прячется в тени этого манекена, занимается своим настоящим делом не для чего-то — а по внутренней склонности, не претендуя даже на получение удовольствия от процесса. Именно из этого вырастают сокровища человеческого духа — которые потом смогут растиражировать признанные, удобные для властей творцы.

* * *

В традициях буржуазной пропаганды — называть семьей все что угодно, если это имеет отношение к физиологии. Общая постель (или угол в лифте) — критерий принадлежности элементарной ячейке общества, из которой вырастает право и мораль. А иногда и религия. Современной буржуинство допускает нетрадиционные половые связи, легализует их, подводит под статью. Однако за всем этим — вполне определенная экономика, выделенный секс-работникам фронт работ. Это не зависит от степени устойчивости отношений: главное, чтобы в каждый момент было на кого свалить ответственность (то есть, потребовать ответа). Конечно, можно (от фонаря) назвать интимные услуги, дружеский секс или будуарные увеселения в духе маркиза де Сада семьей — но, например, советское законодательство с этим вряд ли согласно, да и буржуйские кодексы здесь достаточно осторожны — при всей разнозданности нравов. Все, что классовому обществу нужно от семьи — производство определенного *продукта*, который потом отчуждается от производителей по той же схеме, что все остальное. Всегда и всюду брак — фискальный инструмент, регулятор доступа к ресурсам и порядок отчетности. Того же порядка как подоходный налог и сансертификат в публичных домах.

* * *

Всякое в мире случается — и аварии не исключены. Столкнулись два тела — и вдребезги. С точки зрения органики — это трагедия, катастрофа, смерть. Для духа — просто смена оболочки.

Если ограничить человека биологическим телом (даже с какими-то неорганическими расширениями), телесная смерть уничтожает человека целиком. Да, это не самый радостный исход — но при некоторой доле

разумности и это не беда: общество сохраняет личность как достижение культуры, тем самым эффективно переселяя одну личность во многие. Но если человека сделать органом коллективного тела — утрата резко нарушает коллективный гомеостаз, и начинается дикая борьба за выживание. Когда человек сведен к неодушевленной вещи — все проще: одного заменяют на другого, и процесс не останавливается. Но на уровне органики — начинаются конфликты. Столкновение двух тел вызывает столкновение коллективов — и тут может разгореться не на шутку (как в истории первой мировой войны). Разумеется, сама по себе авария не может вызвать ничего глобального — следы просто затухают. Но если коллективы уже противопоставлены друг другу (а в классовом обществе это всегда так) — любой повод раздувает вражду.

Семья как частный случай: смерть одного из членов семьи ведет к длительным разборкам (от глухого неприятия до кляузных тяжб или зверской вендетты). А в обществе не бывает естественных смертей: всегда найдется кого обвинить и осудить. Поэтому так тяжело входит в быт эвтаназия. По этой же причине бываю затруднены разводы.

* * *

Зашитники буржуазной моногамии приводят убийственный (на их взгляд) аргумент против многомужества (Бебель):

Раз женщина сходится с различными мужчинами, доказательство отцовства невозможно. Отцовство становится фикцией.

Логичный вопрос: а зачем его доказывать? Какая кому разница, как именно произведено на свет вот это конкретное органическое тело? Связывать его с определенными общественными функциями — особая задача, не имеющая ни малейшего отношения к деторождению. Тела можно получать разными путями — например, похищением у соседей, или выращиванием искусственно оплодотворенной клетки в инкубаторе. Когда отца связывают с «его» ребенком — это чистая условность, способ передачи собственности по наследству. Но есть и наследование по завещанию, когда объявить наследником можно кого угодно; иногда завещание предполагает отсутствие наследников (как например, у Льва Толстого). Понятно, что «отцовское право» — одна из возможностей. Например, любой ребенок мог становиться членом рода — и не важно, кто его биологические родители.

Вообще, привязывать одного человека к другому (или приписывать к сообществу) — это типично классовая манера. Выражение зрелости института собственности. Когда людям не нужно ничего делить — каждый человек важен сам по себе, и никакие родственники не нужны.

* * *

Когда дух не привязан к биологической особи — он практически бессмертен, его нельзя убить — а значит, и закабалить нельзя. Научиться распределять себя по многим телам — классовому обществу конец.

Может показаться, что прототипы есть уже сейчас — в виде коллективов, способных выступать в качестве субъекта деятельности. Сходство обманчиво. Коллектив устроен по органической модели — он ничем не отличается от живого существа, во всей ограниченности его метаболизма. Особь более высокого уровня. Что вполне возможно и в природе: собственно, психика и появляется у животных с развитием внешних связей между отдельными особями, когда групповое поведение становится аналогом метаболизма. Точно так же в классовом обществе возникают формальные коллективы — которые могут использоваться настоящим коллективным субъектом, вполне подобно использованию личностью органических тел. Но коллективный субъект на сводится к коллективу — как и личность не сводится к биологическому организму. Одухотворение тел предполагает иной тип связей — духовность, интимное общение, любовь. Такое единство не состоит из каких-либо определенных единиц — оно именно распределено между многими (в пределе — между всеми) телами. Члены коллектива противостоят друг другу как относительно самостоятельные (заведомо разные) субъекты, и коллективность подчеркивает различия, превращает людей в органы. Распределенный дух сразу присутствует во всех тела — и они по отношению к нему тождественны; это снимает любые различия.

* * *

Буржуазные этнографы намеренно путают публику, допуская лишь обсуждение исторически возможных форм брака и родства. Здесь они идут на прямой подлог, называя браком то, что таковым в сущности и не было — и тем самым приписывая собственнические замашки

первобытным людям даже там, где они очень далеки от собственности. Ставить прошлое на одну доску с настоящим и видеть в нем только ныне существующее — значит отрицать возможность развития, смены одной формации другой. Такой «эволюционизм» — пропаганда вечности классов.

Но если заметить, что отношения между людьми далеко не сразу приобрели черты писаного и неписаного права — мы будем исходить из отсутствия брака в доклассовом обществе, а следовательно, придем к неизбежности его уничтожения в будущем бесклассовом обществе. Какие конкретно формы принимали брачно-семейные связи — в этом контексте не столь существенно: важна только их противоположность собственно человеческим отношениям, любви.

Человек — не только органическое тело; он еще и тысячи вещей, без которых эта органика ни на что не годна. Теоретически, можно представить себе изолированный от тела мозг — но дело не только в том, чтобы поддерживать его физиологию, но в том, чтобы предоставить ему альтернативные способы влиять на мир, вести себя в обществе, быть частью общественного производства. Если общество не в состоянии обеспечить человеку такие расширения (неорганическое тело) — это вполне подобно органической травме, уродству, болезни.

Людей загоняют в семью — чтобы они совместно использовали неорганическое тело; процедура, противоположная хирургическому разделению сиамских близнецов. С тем же успехом можно было бы придумать совместное использование конечностей или почки; методы соединения нескольких мозгов в один уже отрабатывают (и не только на животных).

Заметим, что само по себе такое объединение тел не представляет собой ничего предосудительного: так, любящие совершенно свободно объединяют свои тела — и даже на биологическом уровне есть этому многочисленные аналоги (типа симбиоза). Но чтобы такое отношения стали носителем духовности, нужна свобода — возможность поступать не по воле обстоятельств а по собственной разумной воле. В браке — такой возможности нет. Сшитые намертво тела никак не разделять без болезненного хирургического вмешательства (развода), при котором каждый из бывших супругов теряет часть неорганического тела — то есть, заведомо становится ущербным. Только там, где нет взаимной экономической зависимости, где никто ничего не утрачивает при любых изменениях отношений, связи становятся собственно человеческими,

духовными, — и все происходит по любви. Но в таких ситуациях формальные союзы вообще не нужны! Где любовь — нет брака.

Частный случай экономической (а не духовной) связи — право каждого из супругов представлять семью в целом. Но зачем это свободным людям? Обществу только лучше, если они представляют лишь самих себя, во всей своей индивидуальности. Будут ли при этом совместно использоваться какие-то тела — к делу не относится.

В некоторых случаях со стороны может показаться что люди как одно целое, что каждый из них действует за всех остальных. Такая неразличимость — одна из примет любви. Но для духовности нужна свобода. Мы свободны сливаться друг с другом — но не обязаны быть целым всегда и во всех отношениях.

* * *

Казалось бы, различие мужчины и женщины — у всех на виду. Существуют, конечно, всякие странности — но в основной массе пока так. И вовсе не нужно быть закоренелым консерватором, чтобы связать различия со строением человеческих тел — со свойствами материала, в котором мы нашу разумность пытаемся воплотить. Половые различия люди осознают в глубокой первобытности — и на этот счет хватает современных теорий, согласно которым подобные контрасты полезны, поскольку они позволяют человеку развиваться, эффективно сочетая консерватизм и вариативность (хотя, конечно, не исключено, что есть и другие, не менее продуктивные схемы — которые нам еще предстоит отыскать). В этом смысле диалектическое учение о единстве и борьбе противоположностей вполне согласуется с эмпирионатурализмом...

При всем при том, вовсе не обязательно ограничиваться одной лишь биологией. Выводить общественные различия из физиологических — заведомая вульгарность, которая в наши дни не убеждает даже очень тупого обывателя. Всем, конечно, известно, что в мире живого широко распространено двуполое размножение с разделением *биологических* функций внутри вида между особями мужского и женского пола (хотя есть и другие варианты). Однако искать аналоги в общественной жизни возможно лишь там, где общество движется *подобно* органике, включая всякого рода культурное наследование, — и здесь теория полезных контрастов работает на тех же основаниях, что и в живой материи; более того, сама по себе эта схема не опирается на специфику жизни — и

потому прекрасно работает и в неживом. Как безличная и бездушная сила, общеприродная («математическая») закономерность.

Природные различия — лишь *повор*. Общественное размежевание складывается по общественным законам — и мы лишь выражаем его в терминах различия тел, которые в этом случае используются как *знаки* культурных явлений, а вовсе не как тела или вещи сами по себе. Вполне подобно тому, как слова языка — не звучание или графика, а ссылка на нечто иное, в звуке или графике отсутствующее.

Различие мужчин и женщин было бы нелепо отрицать — но только по отношению к сегодняшнему дню, к нынешнему уровню культурного развития — пока мы не знаем принципиально отличных от человечества культур. Это вовсе не предполагает исчезновения половых признаков у биологических тел — просто в деятельности они больше не будут играть сколько-нибудь заметной роли. И тела, и признаки. Мы можем сколько угодно восторгаться богатством форм старинного сервиса — но многие его предметы уже не употребительны при современных традициях питания, и мы далеко не всегда можем догадаться об их предназначении; лишь в особых случаях прибегают к исторической реконструкции.

Если сегодня люди разделены на женщин и мужчин — это лишь потому, что соответствующие роли предполагаются общественным разделением труда. Мы отличаем кирпичи от связующего раствора — но где это различие в бетонных конструкциях? Мозаика отличается от раскраски; голос как музыкальный инструмент безразличен к текстам на музыку — и может заменить один другим, или обойтись вокализом.

Разумеется, свойства материала и доступные способы обработки отражены в технологиях (формах производства). Пока органические тела используют в качестве орудий (рабочей силы) и переносчиков взаимодействия (рабочих тел), общественное разделение труда зависит от физиологии особей. Но не выводится из нее, а наоборот, подчиняет биологию способам совместной деятельности, условиям труда, орудиям и навыкам, — строению культуры в целом (которая выступает как объективность по отношению к частным деятельностим, основа для творческих вариаций). Поскольку же действия человека универсальны, формальные различия конкретных исполнителей в этом отношении не существенны. В частности, в капиталистической экономике нет резкой грани между «мужскими» и «женскими» профессиями — включая и репродуктивную деятельность, где традиционные половые технологии удерживают больше из политических, нежели собственно технических

соображений. Тем более условной становится связь детей и родителей; сегодня родство — чисто правовое отношение, не предполагающее никаких физиологических соответствий.

В классовом обществе, где все в различиях и противоположностях, действуют природные законы — и в частности, закон неравномерности развития: как только одно отличается от другого — оно отличается в определенном отношении, подразумевая неравенство, а следовательно, иерархическое упорядочение. При этом универсальность человеческой деятельности перетекает в свою противоположность — всеобщность различий. Случайности природы культурно закреплены в строении общества, где на высших этажах оказываются якобы те, кто больше отвечает идею разума, кто способен действовать более универсально и не столь подвержен биологическим необходимостям. И потому, вроде бы, неизбежно оттеснение с ведущих позиций женщины, которая, в силу вовлеченности в *неуниверсальные* действия «биологического характера» (но *не* собственно биологические!) — роды и выкармливание детей, — будет заведомо «отставать» от мужчин по уровню универсальности (разумности). Про эту ограниченность знают и сами женщины — и до сих пор многие считают себя неполноценными, недоразвитыми.

Но разве у мужчин в классовом обществе меньше ограничений? Мужская физиология столь же сковывает деятельность, как и женская; есть то, что мужчинам (вроде бы) физиологически недоступно. Сегодня сменить пол хирургическим путем — обычное дело; однако, как ни странно, основная масса таких перемен — в одну сторону: мужчины хотят стать женщинами. И становятся, и даже рожают детей — хотя занятие, прямо скажем, не из приятных. Выходит, что сами по себе различия — не делают никого «выше» или «ниже». По факту, женщинам сначала навязывают общественные ограничения — и лишь задним числом приписывают им ограниченность «по природе».

Говоря о субъекте безотносительно к полу, можно заметить, что его универсальность иерархична: в каждом отношении она развертывается по-своему, и в каждом таком воплощении в рамках одного уровня человек оказывается не универсальным. Разрывая человечество на мужчин и женщин, мы лишь по-разному упорядочиваем их труд, распределяем (совершенно одинаковую) универсальность по уровням иерархических структур; каждое такое распределение, разумеется, ограничивает разум — поскольку иерархия не сводится ни к одному из иерархических обращений и требует единства всех частичных структур.

Последнее обстоятельство подсказывает неизбежность соединения полов в строении культуры, их взаимообусловленность, неразрывную связь; отсюда платоновские сказки об андрогинах — и мистическое отношение к любви у некоторых из наших современников.

В самых грубых чертах: женщина стереотипна в операциях, закрепощена в действиях — но зато на уровне деятельности она значительно универсальнее мужчины! Поэтому женщина должна была выступать организующей силой зарождающегося человеческого общества до тех пор, пока развитие человека шло преимущественно экстенсивным путем, за счет расширения *числа* доступных ему деятельности. Но экстенсивное развитие само себя ограничивает, и должно в конце концов уступить дорогу интенсивному развитию путем качественного преобразования самих деятельности. Здесь на вершину иерархии выводится формальная, «комбинаторная» сторона — что и обуславливает доминирование мужчин. Заметим: речь вовсе не о телах, а об общественных функциях, «обозначенных» человеческими телами.

Итак, в классовых культурах, универсальность в деятельности мужчин растет от деятельности к операции, а в деятельности женщин — от операции к деятельности. Такое внешнее сочетание двух «взаимно обратных» иерархических структур переходит, конечно, во внутреннее взаимодействие двух сторон каждого субъекта: «активности» и «пассивности», мобилизации и перцепции, мышечного умения и ощущения. Как обычно, обобщенность внутренних и внешних иерархий растет в противоположных направлениях. У женщин деятельность более обобщена (это стабильное ядро культуры); при этом ограниченность доступных внешних проявлений приводит к преобладанию «пассивной» стороны, к чуткости восприятия. Напротив, слабая обобщенность деятельности у мужчин, и свернутость перцептивных действий ведут к относительному усилию «мышечной активности» (или наоборот: чрезмерный тонус подавляет перцепцию). Еще раз: речь не о свойствах тел, а о культурных функциях. Поэтому развертывание внутренних иерархий поддается общественному контролю и направленному изменению. Освободите женщин от сковывающих «природных» обязанностей — и обобщенность (условность) их поведения тут же уменьшится. Напротив, помещение мужчины в заформализованный коллектив — верный путь к воспитанию «женских» качеств. С другой стороны, допускают изменение сами понятия «мужского» и «женского»: давайте выдвинем в качестве определяющей черты женщины не

способность рожать, а, например, подвижность восприятия — и многие мужчины окажутся в таком понимании женщинами. По жизни, мы и называем мужчин «женоподобными» — и женщин «мужиковатыми». Это говорит о том, что в глубинных пластах языка (отражающих древнейшую историю человечества) заложено представление о половых различиях, отличное от грубо физиологических вымыслов буржуазной пропаганды — и предполагается дальнейшей развитие, по направлению к синтезу двух видов универсальности (мужского и женского) вплоть до полного снятия их различия.

* * *

Перед ворохом статистики о семейных отношениях социологи неизменно озадачиваются: почему с повышением благосостояния в семье (как бы ни определять и то, и другое) падает рождаемость?

В качестве ответа — туманные рассуждения об изменении функций семьи в достаточно развитом («современном») обществе: дескать, вместо экономических задач — семья теперь занята производством духовности и постепенно становится лишь личной привязанностью... Звучит странно — на фоне сохранения семьи как правового института и неформального критерия «нравственности» («адекватности»). Зачем все это свободным (или, по крайней мере, экономически независимым) личностям?

Существование формально-правовых норм и обывательской морали возможно лишь в качестве внешней оболочки способа производства, видимой части айсберга (вершины иерархии). Есть семья — значит, есть и общественный продукт, который по каким-то соображениям не хотят вывести в сферу массовой индустрии — и повод задуматься: почему?

Производство средств производства (включая также предметы потребления как средство воспроизведения экономического субъекта) все больше уходит от семейности; первые мануфактуры однозначно задали направление — и нынче практически все определяет крупная промышленность, как бы ни старались апологеты ремесленничества рекламировать семейный бизнес. Мелкие производители полностью подчинены движению капитала — и не делают погоды на рынке. Это очевидным образом меняет характер семьи: материальное и духовное производство от нее отделены — и даже при работе на дому это, скорее, индивидуальное предпринимательство, в котором членов семьи либо

эксплуатируют — либо принимают в качестве партнеров. Основная масса трудящихся (включая интеллектуалов) занята вне дома, и быт устраивает по возможности публично (как минимум, оставаясь в русле принятых форм). Индустрия отдыха и развлечений тенью следует за промышленным производством — это две стороны одного и того же. Западные стандарты сильно отличались от советских — но именно поэтому оказывается возможным судить о единой основе, о том, что роднит семейные связи в столь разных экономических и культурных условиях. На фоне вариативности — заметнее постоянство.

Так вот, инвариантом семейных отношений во все времена остается связь поколений — прежде всего родителей и детей. Если супруги сегодня практически независимы и могут определять круг общения на контрактной основе — дети до совершеннолетия не обладают никакими правами, кроме права принадлежать семье (уповая на добросовестное исполнение родительских обязанностей). Может показаться, что семья занята производством детей — и потом, на другом полюсе, содержанием старииков. Да эта экономическая составляющая в большинстве культур еще сильна — но она, как и прочие производства, все больше уходит из непосредственно семейной сферы. Отношения иждивения все чаще вырождаются в своего рода налогообложение: взносы на содержание, образование, трудоустройство и т. д. Ребенок в интернате или элитной специшколе; старики в специализированных заведениях; больные — в профильных клиниках. Это норма в Европе и в США — и станет нормой повсюду. Что остается? Остается отношение господства и подчинения, принимающее форму заботы и участия. Есть родители — есть дети; одни (общественно) старше других⁵ — и это вечный порядок. Совершенно все равно, родился ребенок у супружеской пары — или взят со стороны; имеется установленная законом и традицией связь, элементарная ячейка классовых культур, модель общественного расслоения, из которой вырастают всевозможные частные реализации.

Семья нужна классовому обществу именно для этого — чтобы сохранить основу цивилизации, общественное неравенство. Поэтому при любых видоизменениях общественного устройства семья в тех или иных формах сохраниться — пока не настанет пора избавиться от всякого рабства и эксплуатации.

⁵ Например, у арабов супругу умершего часто брал в жены его родственник, сыновья которого старше молодой жены — и пришлось особым указом запрещать браки с такой вдовой ее побочным «сыновьям».

Связь поколений в классовом обществе воспроизводится в семье и принимает форму наследования. Это другая (внешняя) сторона того же принципа: как родители связаны с детьми — так семья связана с обществом в целом. Противостояние и взаимное превращение. Дети наследуют имущество и права (формальных или общепризнанных) родителей — тем самым обращая иерархию: теперь родители зависят от детей (вспомним историю короля Лира). Точно так же, семья подчинена общественным установлениям — но может захватить ключевые позиции и диктовать волю обществу в целом. Касается это не только верхов, но и в разной степени обездоленных, которые воспроизводят общественное неравенство как свою культурную обособленность и привилегию. Воспроизведение семьи, тем самым, становится механизмом развития классовой культуры — и попытки буржуазных «ученых» усмотреть семейственность в быту далеких предков не лишены основания: господа пытаются вернуться к своим корням, к истокам классового расслоения, которое началось очень давно — и пропитывает все известные нам культуры. Но давно — не значит всегда. И не навсегда.

* * *

В советское время мода (как официальная, так и теневая) копировала запад, а инженерия одежды была устроено по западному (буржуазному) образцу. Понятно, что ничего кроме маячащих впереди спин убегающих вперед ориентиров разглядеть при такой политике нельзя. Обращение к народным промыслам и классовый авангардизм — в том же буржуазном русле. Принципиальным новшеством было бы устранить саму идею массовости, стадности — и вместо готовой одежды предлагать своего рода конструкторы, набор деталей, компоновать которые каждый мог бы на свое усмотрение. В конце концов, купленную в магазинах типовую одежду все равно приходилось перешивать и подгонять. Это в какой-то мере подобно тому, как домашняя кухня использует имеющиеся на данный момент ингредиенты, не зацикливаясь на технологических стандартах.

Смена парадигмы потребовала бы перехода к другим технологиям, изначально допускающим творческие модификации. Пошивочный цех на дому — это накладно и нерационально (если, конечно, не превращать необходимость в увлечение). Значит, изобрести нечто иное, что парой движений превращается в готовый продукт. Не забывая, разумеется и о

методах утилизации невостребованного. Тем более это возможно при современных компьютерных технологиях.

Вместо элитных показов — массовые журналы, примеры для заимствования (типа того, что давно уже было в Европе — и что при советах везла из-за бугра элита). Но опять же, не в качестве обучения ремеслу — а с прицелом на дальнейшее упрощение, неограниченную доступность. А не как получилось с попсовой радиотехникой: изобилие литературы — при дефиците радиодеталей и примитивности методов монтажа; и все опять только для «продвинутых»...

Разумеется, творчество в одежде или в еде не исключает индюшина или похода в ресторан. Заказы по каталогу тоже никто не отменял. Плохо, когда одно господствует над другим. Устранение классовых перекосов — это по-революционному. Обезьянство и перетягивание одеяла, рыночная конкуренция, — не для людей.

* * *

Многие люди всю жизнь хранят старый хлам — от смутных воспоминаний до наследственного имения. Не потому, что все это им дорого, и не в надежде, что для чего-то оно еще может пригодиться. Это всего лишьrudименты нашего неорганического тела, от которых мы не решаемся (а иногда и боимся) избавиться. У кого есть чердак — сваливают на чердаке; другие захламляют квартиру или сны. Некоторым приходится расставаться — перекати-поле. Однако и они, вероятно, предпочли бы не расставаться с прошлым так легко.

Иногда старые вещи все-таки выбрасывают, или продают. Рынок диктует свои законы: вещь воспринимается уже не как часть человека — это всего лишь актив, на место которого когда-то придет другой. Такие вещи приобретаются не навсегда — они изначально временны, отделены от человека, не срастаются с ним.

Есть и производственная необходимость: мы заменяем больные органы протезами, переезжаем в другой район — или перестаем ездить туда, куда нас больше не пускают. При этом могут долго беспокоить фантомные боли, или ностальгия.

Ненужность объединяет. В наших воспоминаниях былые победы ничуть не весомее горьких поражений. И то, и другое — части нашего организма, и мы не можем предпочесть одну другой, поставить печень

выше легких или мышц гортани. Все это вместе — как единичное воплощение духа.

Если на старости лет человеку уже ни к чему половые органы — пусть остаются по физиологической инерции. Если человечество умеет делать что-то индустриально — прежние кустарные методы еще долго сохраняются про запас, приспособливаются к новым употреблениям. Возможно, придется покинуть привычную органику и переселиться в материю попрочнее; однако гораздо раньше уйдет телесность плоти, ее участие в производстве и человеческом общении.

* * *

Вполне возможно (и для полноты, конечно же, необходимо) заниматься экономикой семейных отношений. Поскольку семья есть общество в миниатюре, какие-то стороны способа производства будут нагляднее — но особенности индустриального производства в этом масштабе, возможно, уже не разглядеть. Для каждой формации — свое; в частности, буржуазная моногамия живет в полном соответствии с логикой *Капитала* — но только в том, что касается контрактных отношений, брачных уз. Супруги в парном браке — готовая модель элементарной ячейки рынка; однако возрастная вертикаль опирается на иное экономическое деление, во многом сохраняющее феодальные и рабовладельческие черты. Конечно, так оно и в большом мире — но семья показывает эту характерную для любого классового общества многоукладность резко и выпукло, без намеренно затемняющей картину статистики.

Брачно-семейное законодательство и традиции разных стран чаще всего отходят от чистой моногамии, привнося в структуру семьи черты характерного для этих народов общественного устройства. Развитые капиталистические страны опираются на абстракцию двухколенной (нуклеарной) семьи, где отношения между супругами представляют абстракцию свободного рынка — тогда как отношения между родителями и детьми остаются заведомо нерыночными, ибо ребенок лишен гражданских прав как в обществе, так и в семье, — и не может самостоятельно участвовать ни в каких сделках (а следовательно, не имеет и права голоса в семейной политике, и родители, принимая экономические решения, не обязаны прислушиваться к его мнению).

Законодательная защита интересов детей (как их видят не сами дети, а взрослые «защитники») не устраниет этого изначального неравенства, а приводит его к средневековым канонам, где вассал (при полной подчиненности сюзерену) вправе (хотя бы формально) рассчитывать на поддержку властей; это значительный шаг вперед по сравнению с жестко рабовладельческим отношением к полностью забитым и бесправным детям в не столь продвинутых культурах.

Легко заметить, что нуклеарная семья в точности воспроизводит принципиальное различие рыночной горизонтали и производственной вертикали в рамках типичного для капитализма разделения сфер производства и обмена: публично декларируют всеобщее равенство — а на деле отношения между рыночными агентами носят совсем другой характер, по сравнению с отношениями работодателя и наемного работника. Почему? Да потому что рыночный обмен предполагает одинаковое отношение к собственности — тогда как наемный труд есть прямая эксплуатация ограбленного (и потому экономически зависимого) работника полновластным владельцем средств производства — который определяет производственную политику совершенно не считаясь ни с чьими интересами. Но если индустриальное производство объединяет массы трудящихся и позволяет им противопоставить капиталисту профессиональные союзы и (якобы рабочие) партии — кустарный характер семейного производства изолирует детей разных семей друг от друга как потенциальных конкурентов, в традициях средневековой цеховщины.

Апологеты рыночной экономики пытаются всех уверить, что все тут по-честному: дескать, работник тоже полностью распоряжается своим товаром (рабочей силой) — но если он продал какое-то ее количество капиталисту, она ему уже не принадлежит, и решающий голос за новым хозяином. Буржуазная семья — прямое указание на фальшь: никто не спрашивает ребенка, хочет ли он во всем подчиняться родителям, — его подчиняет способ семейного производства, установленный обществом порядок наследования. Точно так же, рабочему никто не предоставляет равных с капиталистом стартовых условий — они с самого начала принадлежат разным классам, «по праву рождения». Больше двухсот лет классовой борьбы позволили развитым странам (за счет ограбления всех прочих) обеспечить населению какие-то экономические гарантии. Но стоит разразиться очередному кризису — трудящихся призывают затянуть пояса (а капиталистов это не касается).

Аналогии можно долго перечислять и анализировать. Например, положение детей при разводе во многом похоже не бедствия персонала при распадах объединений капиталистов, с дележкой капитала. И так далее, и тому подобное...

Интересен вопрос об изменении характера отношений в семейной вертикали, когда дети достигают совершеннолетия. Вариаций на тему — бесконечность: от полного отказа от родителей, до поддержки большого семейного клана. Возможность возложить на детей обязанности по содержанию разного рода иждивенцев (в число которых могут попасть и родители) связана с уже упомянутым классовым насилием: есть установленный порядок — и участие в семье предполагает «социальную ответственность». Это своего рода договор-офферта: если вы работаете с нами — вы по умолчанию соглашаетесь с нашими правилами (которые мы вправе в любой момент изменить, не спрашивая вашего согласия). Свидетельство о рождении (или иной документ, устанавливающий отношения родства) — накладывает на человека кучу обязательств, узнает о которых он лишь спустя много лет (когда вляпается в трудный процесс). В частности, услуги родителей по ведению дел ребенка, якобы неспособного делать это самостоятельно, придется оплачивать по текущим тарифам. Лишь в очень редких случаях удается лишить родителей «родительских прав»; чаще, наоборот, путаются навесить родство задним числом. Тем не менее, отношения между взрослыми детьми и их родителями ближе к рыночному регулированию — и есть хоть какие-то варианты. Но если попытаться потребовать свою долю и уйти в свободное плавание — придется столкнуться с непрямыми формами классового насилия: места и кормушки давно поделены, и никаких локтей не хватит, чтобы отпихнуть конкурентов; только мощь клана (поддержка класса) позволяет получить хороший старт — после чего (при достаточной изворотливости) возможно стать относительно независимым (хотя доступы к правовой инфраструктуре стоят очень дорого, а многочисленные понятийные структуры опасны не только для бизнеса, но и для жизни).

Советские теоретики ухватились за теорию нуклеарной семьи — однако в большинстве стран отношения формального родства сложнее, и даже правовое закрепление нуклеарности не отменяет сложившихся за многие века неформальных представлений. В советском кодексе о браке и семье фактически прописана трехколенная семья: дед и бабка по умолчанию обладают немалыми правами — хотя и понижены в ранге по

сравнению с супругами-родителями. Гражданский кодекс прописывает дополнительные варианты наследования — и расширяет понятие родства до весьма широких пределов. Примерно так же обстоит дело и в развитых капиталистических странах: фактические отношения зависят от характера семейного бизнеса. Поэтому, наряду с представительством базовых классовых структур (господство и подчинение), возникает еще и микроэкономика, распределение ролей и ответственности внутри семьи. Но эта феноменология не проясняет главного: почему институт семьи сохраняется до сих пор — несмотря на существенные правовые изменения?

Ответ прост: потому что это выгодно. Тресты и картели помогают давить конкурентов — и можно купить ловких политиков для установления контроля над системой в целом, в государственном (или даже международном) масштабе. Но рыночная составляющая, как обычно, дополняется вертикалью классового насилия: отношение семьи к обществу в целом воспроизводит классовые структуры — подобно отношениям родителей и детей. Как бы ни манипулировали отдельные семьи бюрократическим аппаратом, государству выгодно переложить на семью расходы в одной из наиболее массовых сфер общественного производства — производство классового человека. Экономическое «ядро» семьи содержит детей, старииков и прочих иждивенцев — решает возникающие проблемы своими силами, а государство (представитель господствующего класса) лишь отделяется разовыми подачками (как капиталист сажает наемный персонал на иглу заработной платы). Поэтому государство не заинтересовано в реальном улучшении условий жизни людей — это, якобы, их личное, семейное дело. Только в крайнем случае, когда кустарное производство уже не может справиться с поставленными экономикой задачами, — приходится (разумеется, за счет граждан) вкладываться в развитие единой системы общественного образования (обучения и воспитания). Когда супруги (а также их дети) вынуждены проживать вместе — это не только прописанное в кодексе правило (ведение совместного хозяйства) и косвенный доход в виде положенных по закону бенефиций, но и прямая выгода — ибо устроен классовый быт в расчете именно на такое, раздробленное производство. Внутрисемейное распределение упрощает управление расходами: например, увеличение пенсий — это не забота об одной категории населения, а поддержка семей определенного типа, в которых эти деньги сваливаются в общий семейный бюджет, и что-то перепадает детям и

внукам, так что дополнительно заботиться о них не обязательно. Наниматель раскошливается по минимуму — но требует полновесной отдачи, прибавочной стоимости на современном уровне. Аналогично работают неденежные (но тоже экономические) рычаги (льготы, права и запреты, предпочтения при трудоустройстве и организация труда); плюс к тому — налоги для «малосемейных» (не состоящих в браке и не имеющих законных детей).

Разумеется, пока это лишь общие идеи, на подступах к теории. Чтобы реально говорить о семейной экономике, надо определиться с характером производства — понять, что за продукт обязана производить семья, и как в этом производстве возникает прибавочная стоимость. Только тогда возможно обсуждать социальные последствия семейного рабства — и наметить пути его устраниния, уничтожения семьи.

* * *

Говоря о будущем как о мире свободы, мы (в нашей классовой ограниченности) упираемся в древнейшую софистику: если всем все позволено, если нет никаких запретов — то как быть с игрой диких инстинктов, преступными наклонностями, жаждой стяжательства — и прочимиrudиментами прошлого, вплоть до психических болезней? Теоретически все разумны и не будут действовать в ущерб другому (или обществу в целом); но если кому-то взбредет в голову, что неплохо было бы пожить при капитализме (или даже вкусить рабовладения), — как обеспечить ему эту свободу?

Гнилость вопроса в неявно постулированной природности человека, отождествлении личности с организмом. Поэтому «обкатка» моделей будущего у писателей-фантастов (особенно у Ефремова) упирается в неразрешимое противоречие: мы требуем разумности от того, что неразумно по определению, и что разум лишь использует — но без чего может и обойтись. Решает не «голова», и не мозг, — движение духа есть общественное явление, и происходит оно лишь в общественно принятых формах (творчески перерабатывая их, или предлагая ранее немыслимое). Если у человека обездвижена рука — он будет пользоваться другой, или найдет иные способы; если болит зуб — мы временно ограничим его использование и постараемся вылечить (или удалить). Точно так же, нарушения работы мозга надо компенсировать и лечить — а заведомо

бракованный организм исключать из состава доступных материальных носителей разума. Психические отклонения — столь же подвержены компенсации и корректировке, как и животная физиология; они всегда связаны с существованием общественных ограничений, а для хорошо воспитанного человека — никаких проблем с перенаправлением деятельности в культурных рамках; сложности могли бы быть лишь у разного рода «попаданцев» из классового прошлого, которые еще не умеют отрешиться от природной телесности.

Когда в фантастике мы встречаем описания специальных зон для мечтающих о недоразвитости — своего рода «заповедников» (или резерваций), — это абсурд: не может развитое общество устраниться от окультуривания дикой природы — это против разума! Позволить дикарям жить по диким законам — и вмешиваться только в ситуациях особо вопиющей «антропогуманности» — значит, опуститься до дикости, культивировать бескультуру. Разумеется, речь не идет о формальных методах, о классовом насилии; но мы принуждаем природу вести себя культурно — и в этом наше предназначение, для этого мы нужны миру.

Да, чтобы использовать нечто в деятельности, надо это «освоить», практически испытать, внутренне проникнуться — подготовить себя. Однако разумному человеку вовсе не обязательно все испытывать на себе. От субъекта до объекта — длинная цепочка опосредований, и нам вовсе незачем повторять сделанное другими снова и снова, ибо весь человеческий опыт в нашем распоряжении. Наши предки сделали это за нас — и мы это уже знаем; даже если потребуется проверить какие-то новые гипотезы — исторический опыт открывает путь к достаточно точной симуляции, моделированию — с разумно контролируемыми параметрами. Точно так же, не всегда нужны эксперименты там, где физическая основа ясна: инженерия опирается на модели и расчет. В конце концов, есть вещи, которые человек в принципе не может испытать на себе (вроде проникновения в атомное или земное ядро, или в недра звезды) — но это не мешает ему познавать и действовать.

Разумеется, никто не мешает свободному человеку играть — пока игры остаются в пределах разумного, не превращаясь в маниакальное пристрастие — животную привязанность. Имитировать природу — это нормально, с этого часто начинается сознание и самосознание. Важно не перейти грань между натурализмом и природностью, между искусством и естественностью (необъезженной дикостью). Как в наши дни часто бывает: могу в любой момент отказаться от выпивки, или от курения,

или от прочих наркотиков, — но не отказываюсь, а в итоге уже не могу. Вот здесь и важно разумное вмешательство общества — чтобы вывести личность из неподходящей плоти и предложить другую.

* * *

Брак и семья — устои классового общества, и никакими мерами не превратить «социалистический» брак в сообщество нового типа, союз свободных людей. В формальном плане семейные отношения опираются на право — а следовательно, целиком принадлежат государственным структурам, а любое государство есть орган диктатуры класса. Но правовые установления могут, самое большее, установить *равноправие* членов семьи (включая как супругов, так и прочих предусмотренных законом родственников) — но никоим образом не их фактическое *равенство*. Иметь право быть миллиардером и действительно ворочать миллиардами — две большие разницы! Но фактическое равенство возможно лишь при наличии особого общественного (неправового!) механизма перераспределения средств (и доступов к культурному достоянию в целом) таким образом, чтобы эффективно компенсировать возникающие экономические (а значит, и правовые) различия. Другими словами, все внутрисемейные отношения должны быть опосредованы обществом — а это наполняет внутрисемейные связи общественным содержанием и делает их общекультурным, а не семейным явлением. Использовать столь универсальное опосредование исключительно ради достижения фактического равенства в семье — было бы слишком поверхностно: скорее, равенство лишь повод, одна из внешних черт, сопутствующее явление, часть процесса снятия различий в масштабах общества в целом. Но такое *обобществление* воспроизведения человека как субъекта деятельности неизбежно превращает семейные отношения в изначально общественные связи — что означает разрушение и уничтожение семьи как общественно-экономического института или традиционного установления. Возникновение семьи — выражение общественного неравенства; сохранение семьи — сохраняет зародыш классового общества. Переход к обществу без классов — гибель семьи. Размывание и обессмысливание семейных связей начинается в недрах капитализма; уничтожение отношений собственности и перевод всех производств (включая воспроизведение разума) на полностью общественные рельсы устранит всякую возможность противопоставить

обществу какую-либо из его частей — и каждый член общества представляет общество целиком.

* * *

Один из важнейших признаков разумности — умение оставаться незаметным. Классовый человек относится к себе как к товару — шумит о себе на каждом углу, каждым движением обращает на себя внимание потенциального покупателя. С одной стороны, это неуважение к другим, неспособность видеть в них людей, а не источник выгоды; но точно так же, это и неуважение к себе, растворение разума в дикости.

Привычка жить во всеуслышание, производить как можно больше шума — пережиток животной этологической иерархии, одной из граней борьбы за существование. Даже когда не требуется приклеивать к этой шумихе себя в качестве товарного знака — есть привычка, традиция, обывательская норма. Кто не выставляет деяния напоказ — этим уже подозрителен, потенциально опасен. Другая крайность: сдержанные манеры, тихий голос — воспринимаются рыночным агрессором как неуверенность в себе, как повод для насилия, слабость, готовность играть роль жертвы; если вдруг за этим обнаруживается несгибаемая воля и независимость — скромность считают показной, хитрой уловкой прожженного мерзавца... Коммерсант стремится во что бы то ни стало навязать свое — и громкая агрессия идет в ход наряду с потайными комбинациями.

Парадоксальным образом, шум как знак животной войны всех со всеми становится в животном сообществе фактором стабильности, успокаивает и создает привязанности. В природе стайные особи слышат общий фон — и это нормально, а нарушения картины — тревожный сигнал. Высокие технологии у человека зачастую используют тот же принцип: оператор воспринимает характерный рисунок показаний приборов — и реагирует на его разрушение. Поэтому системы контроля регулярно опрашивают многочисленные датчики — и чье-то молчание расценивают как сбой, выход из строя. Разработчики новых технологий чаще думают о том, как создавать шум, чем о его полном уничтожении.

Различия между городом и деревней не в уровне шума, а в его строении. Деревенские воспринимают «адище города» как сплошное бедствие — и мечтают о безмятежности сельского быта; напротив, городские бранят неотесанную деревенщину, далекую от городских

норм приличия, — а на селе (или в небольших провинциальных городках) тяготятся невозможностью частной жизни, интимности.

Свободному человеку не нужно ни выставлять себя напоказ, ни скрываться от кого бы то ни было; ему совершенно не важно, что о нем думают, и думают ли вообще: он поступает так, как считает нужным. В классовом обществе — это прерогатива самых богатых и знатных; в разумно устроенном обществе ни у кого никаких прерогатив. Значит ли это, что человек будет вести себя как попало — и остальным придется это терпеть? Ничего подобного. У животных побуждения изнутри — разумное существо руководствуется лишь соображениями разумности поступка, его направленности на преобразование природы в общих интересах. Уважение к другим заложено в самой идее свободы — никаких конфликтов тут нет. Зачем разумному человеку делать то, что совершенно излишне и неуместно? Лишний шум — помеха для дела. Соответственно, и технологии развиваются так, чтобы избежать взаимных ограничений и неудобств. Поэтому участие каждого в совместной деятельности совершенно незаметно — ибо все вместе делают то, что всем нужно, и не требуется ничего делить.

Может показаться, что такая незаметность сродни возможности затеряться в толпе, которая зачастую оказывается единственным убежищем для классового человека, от которого все чего-то требуют и которому впарили непотребную рыночную дрянь. Но толпа — тот же шум, на фоне которого личные интересы почти незаметны. Скрыться в толпе может лишь тот, кто ничего не хочет, ни к чему не стремится, — кому не нужно менять мир. А менять — можно только вместе, и без общения не обойтись; как раз этого классовый мир не умеет — более того, смертельно боится! Принцип цивилизации — разобщить, не дать почувствовать общность устремлений вместо рыночной конкуренции.

Свободное общество — не толпа, не безликая стихия. В нем каждый уникален, неповторим; но именно эта всеобщность неповторимости делает ее незаметной: зачем обращать внимание на то, что само собой разумеется? Можно представить себе ситуации, когда в центре внимания оказывается личность, когда речь идет о достижении новых уровней духовности; но в этом случае личность — общественный продукт, и ее пересозданием занимается общество в целом — и каждый вносит свой вклад (безотносительно к «непосредственности» общения, как бы ее ни понимать). Никто не может сделать себя сам. Личность только тогда чувствует себя личностью, когда она осознает в себе всеобщее,

становится выразителем исторической тенденции. Тем более странно было бы гордиться известностью: это, ведь, показатель несовершенства, недоделанной работы: пока еще не человек, а всего лишь полуфабрикат! Хорошо сделанное безлично — оно сразу во всех, это неотъемлемая часть каждого. Споры о приоритете — занятие глупое: любое открытие зарождается задолго до публикации, и становится открытием не сразу, а лишь после длительной культурной апробации (хотя, разумеется, существует иерархия исторических шкал, и «длительность» — понятие очень относительное). Шедевры поэзии — не тексты как таковые, а способ их включения в культуру: от автора это никак не зависит, и его вдохновение — лишь выражение общественной необходимости. Точно так же, дифференциальное исчисление состоялось лишь когда формулы дифференцирования знакомы каждому школьнику, — а строение ДНК устанавливается как факт лишь по мере распространения технологий сборки ДНК «на коленке», под любые практические запросы.

Заметно то, что выделяется. Но выделенное — противостоит всему остальному, и потому оно заведомо ограниченно, в нем нет как раз этой, всеобщей определенности. В классовом обществе, когда у кого-то что-то есть — значит, этого нет у других. Когда оно есть у всех — мы о нем больше не задумываемся. Бесклассовый мир чист: в нем все по существу; люди не создают шума: они творят нечто равно доступное всем.

* * *

Широко известная тенденция: в бедных семьях больше детей, нежели в хорошо обеспеченных. Как бы ни понимать бедность и обеспеченность, разные исследователи приходят все к тому же, заранее известному выводу. Но статистика никому ни о чем не говорит. Метод науки не в том, чтобы коллекционировать случайности, а в том, чтобы порождать ожидаемое. Есть у вас теоретическая модель того, как обеспеченность влияет на рождаемость? — тогда эта теория работает независимо от статистики, и остается лишь воспроизвести условия ее применимости.

Без особых теорий легко догадаться, что свобода ведет к большему разнообразию поведения, избавляет от необходимости вариться в собственном соку. Куда податься бедняку? — все пути для него закрыты. Остается колея традиции, и общество вбивает в бедных покорность судьбе, обязанность служить богатым — и плодить новых рабов. Стоит

выбиться куда-нибудь — другие перспективы, и «любовь к детям» отдахает на обочине. Очевидно, обеспеченность напрямую связана с уровнем образования, общей культуры, с творческими наклонностями. Отсюда статистические корреляции. Если же в каких-то случаях этого нет — указание на необходимость выяснить особенности социального положения аномальной группы, обнаружить скрытые запреты, другую колею.

* * *

Вещь сама по себе — культурно нейтральна. Даже если она не может возникнуть вне определенной культуры. Собственно культурность — предполагает воспроизведение как тела вещи, так и связанных с ней общественных отношений (которые, в свою очередь, представлены отношениями вещей). Древние артефакты опираются на столь же древние технологии — и в этом извечная проблема реставратора: как не слишком осовременить вещь, не превратить великое наследие в скучный новодел? Развитие экономики меняет не только вещи — оно меняет и среду их бытования. Невозможно в точности воспроизвести, как оно было раньше, — мы-то живем не там, а в новые времена.

Проблема обратной совместимости — больной вопрос в области компьютерных технологий. Старая программа не будет работать на новых машинах; можно создать виртуальную машину — но эта машина требует определенной вычислительной среды, которую тоже придется со временем виртуализировать — и на каком-то этапе количество переходит в качество: лучше отказаться от наследия прошлого, чем тянуть обоз взаимосвязанных культур; так материальная культура становится духовной, отделяется от своих воплощений и превращается в память поколений. Но и здесь свои градации: никто не сможет воспроизвести аудио- или видеозапись, сохранившуюся в слишком старом формате — о котором (как и многом другом) обществу пора забыть; оставленные вне цикла воспроизведения вещи дряхлеют и разрушаются, и память (как и всякий продукт) вне деятельности никому не нужна.

Нечто подобное — и при воспроизведении человеческих тел, или общественных организмов. Когда-нибудь людям будет странно, как предки могли пользоваться чересчур неуклюжими и болезненными органическими приспособлениями; точно так же, никакие достижения

классовых формаций не оправдывают воспроизведения их черт в новом, построенном на ином экономическом фундаменте обществе — и даже условные имитации и стилизации со временем сойдут на нет.

* * *

Когда мы говорим, что для повседневного быта, для поддержания существования человеческих тел не требуется посреднических структур, что это дело общества в целом, — это вовсе не означает, что человек не в состоянии обслуживать себя сам и во всем зависим от общества. Такое воззрение — повторяет классовые привычки, тупо выдает общество за одну большую семью (на что указывает и обычное словоупотребление). Разумное существо сумеет продолжить себя в не самых разумных обстоятельствах — и речь не о приспособлении, а о творчестве, о поиске крупиц разумности в том, что дают, и постепенном изменении мира в сторону более широких возможностей. Напротив, классовый человек, загнанный в переплетение коллективных клетушек, часто оказывается беспомощным там, где прежние представления о мире непригодны и надо вырабатывать совершенно иную линию поведения. Кому доступна человеческая культура целиком — свободнее в развертывании своей индивидуальности, в организации материальных тела по образу идеала. Если же человек ограничен условностями семейного быта и прочими традиционными «понятиями» — его самостоятельность оказывается чисто символической: это не свобода, а степень свободы — перечень наложенных извне связей.

В семье человек воспроизводит себя как члена семьи; в обществе — как общественное, универсальное существо. В семье — традиции и правила; в обществе — разум.

* * *

Человек будущего свободен желать все, что ему заблагорассудится. Или не делать вообще ничего. Но разумное решение — не ущемляет свободы других. Поддержание такого, общественного поведения — особая деятельность, одна из структур личности. Если я решил что-то сделать — я не буду требовать больше разумно достаточного. Если я решаю воздержаться от деятельности — я не встаю ни у кого на пути, не

ограничиваю своим телом движение других тел. Для разумного существа — это грани одного целого; классовый человек страдает раздвоением на «я» и «не-я» — и его свобода вырождается либо в хамство (фокус на себе), либо в угодничество (фокус на другом).

Переходная форма — взаимность уважения. Да, я думаю о своей свободе — но не в ущерб интересам других; при этом я уверен, что другие столь же уважительно относятся к моим интересам и понимают мой выбор. Когда это согласование свернуто, погружено внутрь личности — уже не требуется (и невозможно) обособление «я».

* * *

Зависть, обида, ревность к успеху и чувство ущербности при виде чьих-то достижений —rudименты классового сознания. Хотя, пожалуй, у некоторых далеко еще неrudименты. Откуда? От собственности: продукт труда обязательно должен кому-то принадлежать — и не может принадлежать сразу всем. С одной стороны, стремление грести под себя утверждает общественное неравенство; с другой — это протест против экономических и социальных различий. Там, где нет самого понятия присвоения, где ничто никому не принадлежит, но доступно всем, — любая удача — вклад в общее дело, и радоваться за других — то же самое, что радоваться за себя. В классово-извращенной форме прототип можно найти в некоторых коллективах, выживание которых напрямую зависит от их сплоченности; однако в конечном итоге имущество все равно будут делить — и община распадается на семьи, а бывшие товарищи становятся конкурентами и злейшими врагами.

* * *

Для капитализма характерно двоякое отношение индивидуальности (единичного человека) к деятельности: либо человек играет роль хозяина (совладельца, акционера, бенефициара) — субъекта деятельности, — либо он оказывается лишь наемным работником, безликой рабочей силой, средством производства. Это напрямую отражается в духовности каждого, в качествах личности.

Противоположность не снимается, если один и тот же человек оказывается и акционером предприятия, и его работником: в этом случае

различие деятельностных позиций воспроизводится как внутреннее противоречие, конфликт, расщепление личности

Другими словами, люди при капитализме не общаются напрямую, как самостоятельные личности, а выстраивают любые взаимодействия лишь в отношении внешнего объекта и продукта деятельности; тем самым они оказываются запертыми в деятельности — и дух уже не может выбирать себе воплощения, а должен вписываться в границы культурно дозволенного. Но это означает, что и деятельности как таковой больше нет — она распадается на единичные действия, связь которых вне индивидуального сознания. Вместо разума — интеллект. Только и остается, что ухаживать за телами — органическими или роботизированными. А разум сам ставит себе задачи — его труд всегда мотивирован, а значит, действия (конечные фрагменты деятельности) выстроены в отношении к целому, и границы их (пределы и сроки существования коллективов) подчинены разуму. В обществе свободных людей каждый занимается тем, что ему в данных условиях интересно — и переключается на другое, как только деятельность перестает растить дух. Классовое общество такое отношение к труду сурово осуждает как легкомыслие, верхоглядство, неосновательность, неуважение к коллегам и товарищам. Действительно, в мире, где господствует разделение труда, оставить пост — совершить предательство. Экономика будущего носит иной характер — она не зависит от того, кто именно будет делать вот это единичное дело, и будет ли кто-то его делать вообще. Здесь нет жестких сроков, навязанных условиями рыночной конкуренции, и нет нужды завершать что-либо любой ценой. Чем бы ни занимался человек — это важно всем, и если он решил заняться другим — это нужно не только ему, а обществу в целом; оставленное им — подхватят другие, а если не подхватят — значит, не очень-то оно обществу и нужно на данном этапе развития! Следовательно, отношение человека к человеку больше не зависит от того, чем от по жизни занят, — и место товарищества (партнерства) занимает дружба, любовь.

В скобках: всякое действие имеет начало и конец — тогда как в деятельности одно действие бесконечно сменяется другим, а операции, из которых составлены действия, — просто точки, мгновения. Когда однотипные действия повторяются снова и снова — исходная деятельность (в которой единичное действие осмысленно) уступает место другой, «профессиональной» деятельности, лишенной прежнего мотива. Человеку уже не важно, что он производит — остается процесс

как таковой, разновидность метаболизма (без которого человек уже не может обойтись). Человеческое поведение вырождается в животность. Поэтому смена рода занятий — не только выражение личной свободы, но и условия воспроизведения человека как разумного существа.

Однако переход от одной деятельности к другой далеко не всегда сопровождается внешними, вещественными, легко заметными признаками: человек может продолжать заниматься, вроде бы, тем же самым — но переосмыслить это занятие, найти для него иной мотив. В классовом обществе это зачастую оказывается единственной возможностью сохранить в себе искру духовности. Но и здесь своя мера: творческое отношение к труду легко подменить поиском мотивировок — в попытке успокоить совесть, примириться со всеобщим оскотиниванием.

Человеку надо расти, раздвигать любые границы. Кто их ставит — не относится к делу. Поскольку же в свободном мире единичный субъект представляет общество в целом — точно так же и общество может взять на себя заботу о духовном разнообразии: вовсе не обязательно метаться от одного к другому в попытке охватить необъятное; суть в том, что деятельность другого — это и моя деятельность, и мы, каждый в своем, выступаем общественными орудиями друг друга. На смену всеобщему разделению труда приходит всеобщая совместность, полностью общественный характер каждого производства (которое при этом уже неотделимо от потребления). Одна общественная роль — не мешает другой; совмещение в себе разных ролей не ведет к противоречиям и конфликтам. Напротив, при капитализме один человек относится к другому лишь внешним образом, как препятствие, помеха, конкурент. Это относится и к работникам, и к хозяевам: не важно, продаем мы себя или других. Двоякое отношение человека к себе — конкуренция с самим собой — источник психологических травм; приходится принуждать себя, одновременно и распоряжаться собой — и подчиняться себе. На этом делают бизнес многочисленные психотерапевты и консультанты... У кого денег нет — тому решать внутренние проблемы приходится традиционными способами: пьянство, бандитизм, религия, — и прочая наркота.

Высшие эшелоны (экономической) власти особо не заморачиваются духовным исканиями: они давно отошли от дел, препоручили бизнес профессиональным управленцам — и паразитируют на теле культуры, ведут растительное существование. Но если хозяин вдруг озабочился состоянием бизнеса и пытается хоть как-то на все влиять (хотя бы и в

форме безумной погони за наживой) — он автоматически оказывается в роли работника, и есть риск повредиться в уме от войны с самим собой. Там же, где заходит речь о духовном производстве, о намерении изменить характер отношений человека к человеку и природе, — болезненная раздвоенность практически неизбежна; отсюда легенды об одержимости людей искусства и фанатизме ученых.

Другая сторона того же самого — необходимость внешнего воздействия. Когда не удается просто заставить — надо завлечь, заманить. Внешнее принуждение превращают во внутреннее: спихнуть на простой народ — и меньше проблем у высшего руководства... Методы материального, морального и аморального стимулирования — и соответствующие фонды, и вездесущая индустрия развлечений... Здесь тоже рефлексия: человек отдается внешнему влиянию не только по воле судеб — но и ради внутреннего спокойствия, выбрасывает душевную неустроенность вовне — не разрешая, а замазывая конфликт, заметая духовный мусор под коммерческий ковер.

Кто трудится свободно, ни с кем не соревнуясь, по своей инициативе и в свое удовольствие — того стимулировать незачем. Как можно сбить с пути того, кто разумно ставит цели — и разумно им следует или их меняет? Да и кому может понадобиться влиять на других, когда своих интересностей не перечесть? Мы строим мир — а не его строителей. Всякое сознание тем самым оказывается самосознанием — и сознанием личности, способом бытия единичного духа. Собственно, такое единство сознания и самосознания и называется разумом.

* * *

Классовое общество — выражение особого способа производства, основанного на разделении труда и (следовательно) эксплуатации одних другими. Отношения людей друг другу — исходят из отношения к вещам, и тогда люди (совершенно закономерно) уподобляются вещам, оказываются «природными» существами. Движение таких тел целиком подчинено влияниям среды — и организация быта не только стихийно складывается в рамках классовой культуры, но и (вос)производится как общественный продукт.

Если по простому — есть рынок, и все мы продаем частицу себя — чтобы купить частицу другого, овеществленную в продуктах труда. Наш быт устроен так, что иных возможностей просто нет. Какими бы

светлыми идеалами мы ни руководствовались — приходится вписывать их в рамки обыденности, повседневной борьбы за существование. Идеалы при этом грубы и пачкаются, и от былого света остается, в лучшем случае, слабая искра.

Формально это выглядит как принадлежность каждого одному или нескольким коллективам (иногда иерархически выстроенным). Человек делает положенную по должности работу — и за это получает доступ к определенным сферам наличной культуры (включая как материальные блага, так и формы духовности, в границах дозволенного). Однако распоряжаться (честно или нечестно) заработанным человеку все равно не дают: для каждого культурного типа (иерархии источников дохода) существует нормативная культура потребления — и ничего кроме потребительства за ней не стоит.

Было бы совсем грустно, если бы все только этим и ограничивалось. Но дух, по счастью, лишь в самом грубом приближении зависит от плоти, а развитие общества (исторический процесс) возможно лишь поскольку люди способны сознательно менять свою плоть, следуя дерзновениям духа. То есть, не только члены коллектива подчинены его органическому строению — но и способ включения каждого в трудовой (или иной) коллектив зависит от его личного отношения к труду, от осознания своей роли во вселенной. И тогда возникает альтернативная иерархия общественных отношений, в которой человек общается с человеком — а их формальная принадлежность чему-то (или кому-то) еще оказывается лишь средством для развертывания совершенно иных производственных структур. Например, можно состоять в браке — но при этом любить супруга, и тогда внешне одна и та же общественная связь расщепляется на противоположность принципиально разных отношений: экономическая необходимость — и высокая духовность. Снять эту противоположность в классовом обществе невозможно — однако сам факт ее существования уже предполагает возможность снятия в каком-то ином, иначе организованном мире; следовательно, в недрах прошлого скрыты ростки будущего — и чем их больше, тем скорее мы освободимся от вселенского базара.

Оказывается, что трудиться «по-коммунистически» возможно и в капиталистическом болоте. Допустим, есть энное количество людей, которые общаются друг с другом (все равно, в каком составе) и по ходу общения оказывается, что трудовые навыки одного могут пригодиться другому для решения каких-то (возникающих в рамках буржуазной

обыденности) проблем, — и что люди готовы помогать друг другу без каких-либо расчетов, без взаимных обязательств, без предположений о возможных продолжениях и, тем более, регулярности. Каждый из них при этом использует свою профессиональные (связанные с доступом к ресурсам через коллектив) активы в сугубо личных интересах — но не ради наживы, а просто потому, что эти инструменты у него есть, и ими можно с кем-то поделиться. Личный интерес — вовсе не выгода, не прибыль, не конкурентное преимущество; вся эта коммерция разумному человеку совершенно неинтересна — ему приятнее, чтобы все вместе что-нибудь смогли. Такие отношения далеко выходят за рамки обычного в коллективах товарищества (обратная сторона соперничества); можно назвать их дружбой, или уважением, или любовью, — а можно вообще никак не называть, просто греться в лучах.

В принципе, такие компании существуют довольно долго — а куда денешься, если всякая общность в классовом мире превращается в нечто коллективообразное? Со стороны это может выглядеть как совместное предприятие, общий бизнес. Тем более, что денежные (независимо от реальной монетизации) потоки так или иначе во всем участвуют — ибо другого посредника экономика не предполагает. Но есть характерная черта, отличающая это от господствующего способа производства: дружеское общение не зависит от личных контактов и не влияет на сторонние связи — и если друзья разъехались по разным странам, они остаются друзьями, и продолжают жить и трудиться сообща, как будто вовсе не расставались. Дух не содержится в телах — он их лишь использует; пространственно-временные категории тут неуместны. Напротив, принцип коллективности — выражение пространственной связи (не в физическом, а в экономическом пространстве), и существует коллектив только во времени (в цикле обращения).

Разумеется, по самой своей сути, неформальное отношение к людям и совместный труд никакими параграфами регулировать нельзя. Право всегда было и остается сугубо классовой надстройкой — а свободным людям оно ни к чему. Те примечательнее, проблеск будущего в советском *Кодексе о браке и семье*, который допускает независимое участие супругов в жизни общества и, согласно ст. 19, каждый из супругов свободен в выборе занятий, профессии и места жительства. Буржуазное законодательство (включая последующие статьи того же кодекса) прилагает все усилия, чтобы не допустить «фактивных» браков; для этого супругов обязуют не только делить кров (а иногда и

кровать), но также вести совестное хозяйство и предъявлять фискальным органам совместно нажитых детей. Так, чтобы любить друг друга на расстоянии, — это не по рыночному. Это только бога приходится любить заочно — поскольку райские кущи далеко, и не всех пускают; людям положено совокуплять одно тело с другим — а без любви вообще можно обойтись...

Но смеем заверить (исходя из личного опыта), что человеческие отношения между людьми пока не выветрились из классового обихода, что некоторые — несмотря ни на что — вместо трудятся не ради наживы, вне конкуренции, без денег и прочего товарообмена; и не важно, кто где числится и какие формально занимает должности с какими служебными обязанностями и каким вознаграждением за неволю. Каждый делает то, считает нужным, — и глупо говорить о благодарности. Люди не отнимают друг у друга — а делятся друг с другом; не по блату, а по возможности и по душам. Да, им приходится думать о деньгах, и не очень выходит за рамки всевозможных кодексов, пошлой морали, разбойных нравов. В леденящих душу условиях рынка зарождающиеся сообщества быстро застывают и вырождаются в пустую формальность; но под этой ледяной коркой может (как на спутнике Юпитера) прятаться животворный океан. К сожалению, дожить до свободного проявления этой духовности суждено не всем; но умирают лишь тела — а людям нет сроков и границ.

* * *

Буржуазные «освободители» предлагают людям заботиться только о доходах — обеспечивать себя и «своих». Действительно свободному человеку — вообще не нужно думать о заработке: само это понятие должно перестать существовать! Важно не что-то добыть, поиметь, — важно как это сделать доступным для всех, — чтобы мы жили в одном, едином мире, а не в миллионах единичных мирков.

* * *

В классовом (то есть, недоразвитом, полуживотном) обществе — не тела для людей, а люди для тел. Общественный вес документа (паспорт, свидетельство о рождении, дипломы и сертификаты) — намного выше,

чем значимость биологического тела, коему все эти бумажки выданы: можно заменить одно тело другим — и в движении общественной машины ничего не изменится; фальшивые и подложные документы правят телами ничем не хуже «подлинных» — тем более, что на каждом шагу возникают споры о правомочности тех или иных органов выдавать соответствующие документы.

Когда хитрая электроника в магазинах и на транспорте позволяет совершать покупки или передвигаться, не предъявляя ничего кроме собственной физиономии, — распознавание лиц всего лишь определяет номер банковской карты, и в этом плане человеческое лицо никак не отличается от цифр на пластике или кода в чипе. Одна из возможных кодировок — не более.

В общем случае, физическим лицом оказывается коллекция разных документов, объединенных по каким-то признакам, которые вовсе не обязательно предполагают органические компоненты. Одни документы выдают на основании других, и где там самое первое основание — определить трудно. Человеческая индивидуальность (то есть, по сути, место в экономике) — это не биологическое, а общественное единство. Физическое лицо практически неотличимо от юридического — это не субъекты вообще, а субъекты довольно узкой сферы производственных отношений (включая быт). Их участие в деятельности не универсально, и документирование этой ограниченности еще более ограничивает свободу, перекрывает доступ к «несвойственным» или «незаконным» занятиям.

Теоретически, ничто не мешает прикрепить к одному номеру счета несколько тел; все они в таком случае будут представлять одну и ту же единичность (хозяйственного субъекта), и положенные по статусу общественно-экономические функции вправе осуществлять любой из полномочных представителей. Солдату в окопе все равно, кто именно из вражеских окопников его застрелил — он просто убит на войне. Мало кто вспомнит имя изобретателя компьютерной мыши (или сенсорного экрана) — мы просто пользуемся удобствами и приспособлениями, большей частью несоотносимых с единственным физическим лицом. Ставить личное клеймо на рулонах туалетной бумаги — наиглупейшее занятие. Так почему же мы должны считать своим вот это живое тело? Почему оно с тем же успехом не может представлять других? И почему один человек не может воспользоваться многими телами? Кто сказал, что это физически невозможно? Но мы же не физикой занимаемся, а

творим общественные явления, которые и являются таковыми как раз в меру своей неприродности!

Один из прототипов перераспределения тел — дворовые компании и стихийные общественные движения. Да, конечно, очень скоро они теряют привкус неформальности, попадают под контроль не самых чистоплотных субчиков. Но сама возможность увлечения органических и неорганических тел движущейся по свои законам массой — указывает на относительную самостоятельность духа, который не только не выводится из тел, но даже наоборот: выводит их из себя.

* * *

Попы испокон веков подгребали под себя любые попытки отойти от обыденности, (хотя бы на время) освободиться от регламентированности полуживотного общества. Но когда стихию превращают в ритуал — от свободы ничего не остается, а общество ведет себя как коллективный организм и движется по природным законам. Правящие круги могут иногда позволить себе вольности — но это все равно не свобода: хотя бы по видимости все связаны общими нормами, и никакой разумной связи в классовом обществе нет. Поэтому праздники и «народные» гулянья затрагивают не только низы, но и строение культуры целиком.

Тем не менее, любители ездить на чужом горбу откращиваются от родства и требуют подавать те же блюда на золотом блюдечке. У богачей и праздники богаче, и развлечения не так себе — а самые утонченные... Но даже внешне одинаковые действия верхи и низы воспринимают по-разному, и то, что для рабов символ (или эрзац) свободы, — хозяевам нужно как еще один комплект цепей. То есть, простой люд празднует для себя — а начальство изображает ликование, чтобы внушить массам идею общественного единства ценой общественного неравенства. Народ развлекается как умеет — а господам не до развлечений: для них это всего лишь работа, лично для них совершенно бессмысленная, — нечто «эзотерическое».

Праздники — опиум народа. Любые. Извращенная форма свободы, уход от неодолимости общественных ограничений в царство животной ограниченности: пусть мы последние скоты — но уже не рабы! Когда нам хуже некуда — пусть будет еще хуже! Другая направленность того же самого — псевдосвобода убежденного лакейства: да, я раб — но по

своей воле, а значит — уже не совсем раб, и где-то даже использую господ для достижения своих целей.

Господам так не интересно. Они точно так же чувствуют несвободу, скотскую вынужденность бытия; но оправдывают себя подчинением не конкретным лицам или слоям — а идее, абстракции, божеству. Одно дело — когда тебя усмиряют ради чьей-то прибыли, а совсем другое — когда ты добровольно смиряешь гордыню во имя великого дела; конечно, оно тоже лакейство — но как-то возвышенное...

По факту все наоборот. Подчиняясь человеку — остаешься в поле человеческих отношений, и в какой-то мере продолжаешься человеком. Подчиняясь пустой абстракции — становишься рабом неодушевленной природы, игрушкой стихий, — то есть, утрачиваешь все человеческое.

Отсюда преувеличенное внимание к мелочам: неживая природа вся состоит из мелочей, это хаос бессмысленных деталей. А поскольку смысла все равно никакого — нужен толкователь, якобы носитель эзотерического «знания» и знаток далеких от практики «практик». Бездуховность не может без наставлений — услуги пастырей, гуру и прочих прихлебателей хорошо оплачиваются. Не все из них шарлатаны: некоторым просто нужно заработать на кусок хлеба и иметь крышу над головой; если ложь хорошо продается — почему бы не торговать ложью? — а на этом фоне опробовать какие-то новые идеи...

Европейские дикари восторгаются диковинной архитектоникой индийских храмов и вероучений: нагромождение мелких черточек, тщательная проработка в малом — в сочетании с громоздкостью целого; однако нечто подобное мы знаем и в средневековой Европе — хотя, конечно, более динамичная экономика не дает времени застаиваться в фантазиях, а тонкости уступают напору рыночной стихии: не успеешь ухватиться — конкуренты съедят. Чем болотистей жизнь — тем пышнее видимости.

Карнавал сметает барские заморочки — смущают необузданной пошлостью происходящего. Пусть господа рассуждают об уровнях посвящения, и выдумывают «космические» функции ритуальных действ; для народа пять вольностей тантрического посвящения (вино, рыба, мясо, порча морд и имущества, секс) — способы выпустить пар, понятные безо всяких толкований. Начхать нормальному человеку на всякие там чакры, энергетические центры, потоки и вихри... Выпить, закусить, — можно без этого. Господам сложности по карману — пусть платят; а если законом разрешено заниматься сексом с кем попало —

народ будет заниматься, — ради секса, а не для приобщения к мистике. Пуристы фыркают и кивают на «беспринципных», которые, дескать, создают дурную репутацию высокой религиозности, призывая идти от действия к духу, а не от досужих фантазий к бездуховности. Да, это дикость, грубость, варварство. И от этого человечество должно будет избавиться, если в нем сохранится хоть капля разума. Однако эстетство верхов — еще страшнее: оно порывает с разумом не по неразумности, а из принципа.

Дозволенная радость — это как дозволенный секс в семье или в борделе. Власти крышуют бизнес — им это выгодно. Но лучше хотя бы такая, урезанная радость — чем вообще никакой; и лучше упоение сексом — чем вообще никаких взлетов. Через тысячи лет кто-нибудь заметит отличие радости от безрадостности, свободы от несвободы, — попробует выделить главное в чистом от классовых извращений виде, как деятельность, творчество, любовь. Нас тогда, возможно, не будет — но пока мы есть, будем по крохам собирать целое прямо сейчас, из того, что дают.

* * *

Буржуазная пресса раздувает всевозможные конфликты. Им не интересно, когда люди трудятся сообща — зато малейшее несогласие становится предметом широчайшего обсуждения, со смаком, со всеми подробностями (пусть даже выдуманными)... Если при этом дошло до мордобоя — полный восторг. Есть трупы — идеальный вариант. Когда нам сообщают, что кто-то с кем-то подружился, — это не просто так, а обязательно против кого-то.

Разумеется, есть и жанр кустарной идиллии — когда кучка чудаков поднимает (внешне) процветающее хозяйство где-нибудь в далекой провинции (или в ностальгических уголках Парижа). Опять же, они интересны репортерам не сами по себе — а для должного контраста массовому обывателю, замудоханному сложностями цивилизации. Райский уголок, остров. Обращение к масштабным достижениям — особая ниша, на любителя (если кто-то покупает — почему не продать?); однако эти маргинальные темы всплывают в массовой журналистике лишь в связи с глобальными скандалами, когда одним массам можно противопоставить другие, натравить народ на народ.

В этом контексте классовая (или национально-освободительная) борьба — плоть от плоти классовой действительности, а свобода слова есть прежде свобода делать врагов; право на митинги, забастовки и демонстрации — не итог борьбы трудящихся за свободу и достойное существование, а закономерное завершение капиталистического пути, вершина воинствующей буржуазности.

У животных — выживание. Во всех смыслах: и как самосохранение, и как выдавливание из ареала других видов. Разумному существу — важно сделать так, чтобы существование одних не мешало — а лучше, чтобы содействовало, — существованию других. Не борьба, а единство. Не против, и на за, — а просто как выражение единственности мира, его разнообразия и целостности. Мы строим этот мир своими руками, все вместе, — и каждое лыко в строку. Вероятно, в таком, свободном мире журналисты вообще не нужны...

* * *

Во второй половине XX века по США и Европе прокатилась волна социальных утопий, проектов альтернативной общинности (*intentional communities, cooperative living*): от богемных тусовок (хиппи, рокеры) и студенческих общежитий — до кооперативных ферм и даже «свободных городов». На гребне спроса идут в гору авторы пособий и всевозможные бюро содействия (от практических советов и обмена контактами — до торговли атрибутикой, включая наркотики).

Примечательно, что в большинстве случаев власти воздерживаются от каких-либо мер (если речь не о захвате чужой собственности). Экономическая роль подобных экспериментов стремится к нулю — начинания либо затухают сами собой, либо врастают в коммерческие структуры; и нет начальству от этих игр никакого вреда кроме пользы.

С точки зрения разумности, все без исключения общины — шаг назад, по сравнению с магистральной исторической линией от дикой первобытности к обществу свободных людей, каждый из которых интересен сам по себе, и ему вовсе не обязательно (и даже вредно) сливаться с толпой или присоединяться к формальной группировке. Мерой свободы на начальном этапе оказывается способность решать практические задачи как бы в одиночку, не обращаясь ни к кому за помощью; для этого нужен достаточно высокий уровень орудийного опосредования деятельности: общественный характер производства

снят в организации производства, и вместо манипуляций с людьми достаточно манипулировать вещами. В этом случае духовная сторона общения выступает на первый план — и любовь никак не ограничена доступными формами совместности.

* * *

В классовом обществе принято начинать за здравие — и кончать за упокой. Когда искусственное оплодотворение было дорогой игрушкой для богатых — сохранить анонимность донора совершенно необходимо, чтобы по возможности оградить искусственного родителя от лишних наездов на кошелек. Пошло в массы, поставлено на поток — ветер дует в другую сторону: теперь получатель заинтересован в привлечении дополнительных источников финансирования — подстраховаться на случай чего. Тут же пошло поветрие за отмену анонимата — и признание доноров полнобесправными членами семьи.

Забавное сочетание: ретроградный прогресс. Ясно, что любые формальные связи — ограничение человеческой свободы и помеха духовности. Сделать мужика крепостным сперматозоида — гротеск! Хотя вполне в русле общей тенденции на закручивание гаек (чтобы жизнь медом не казалась). Но реакционные поползновения невольно открывают другое направление общественного прогресса: внебрачное родительство приобретает законный статус — и тем самым окончательно подрываются устои семьи, размываются все рамки. Отсюда один шаг до перехода к общественному производству детей — и рыночная инициатива сама лишает себя рыночной состоятельности. Возможно, упокой найдут и на это. Но есть подозрение, что тришкин кафтан уже не залатать — и накопление нестыковок приобретет достаточную лавинообразность, чтобы смести капитализма с лица планеты, а может быть, и вымести из истории — навсегда.

* * *

О чем наши биографии? По большей части, это невразумительное перечисление «фактов», никоим образом не раскрывающих сути нашего телесного бытия. Официальные документы — никого не волнуют: это лишь досадная шелуха — то, что всю жизнь мешало нам жить. Отчет о

встречах и расставаниях, о делах и забавах? Избранные случайности из тысяч прочих случайностей — от которых не осталось следов. Нашу память — не зафиксировать ни в каких архивах: она даже нам не всегда открывается. Наши мечты — мы и сами не всегда осознаем.

Что тогда? Неужели ничего не остается от того, чем мы были на самом деле, а не по бликам в кривых зеркалах?

Если допустить, что дух способен обойтись без материальных влияний — это мистика, отказ от разума, для которого в мире нет ничего непостижимого, и нет ничего «потустороннего». Значит, возможно и составить историю человека, историю воплощенного духа. Да, это будет частичное, неполное отражение — наряду с другими историями, столь же верными. Но без таких историй не может быть и духа как такового. Многогранное не существует без своих граней, бессмертное — без рождений и смертей.

Степень подробности не имеет значения. Каждый человек за время жизни совершает уйму поступков; все документировать — никаких ресурсов не хватит: это все равно что задокументировать вселенную. Раньше верили, что положение и скорость каждой частицы в некоторый момент можно задать хотя бы в принципе; сегодня у нас есть квантовая реальность, в которой такие подвиги просто неуместны. Пример полезный: намек на выход из положения. В квантовой теории мы не заморачиваемся с детальным описанием внутренностей интересующих нас систем, а выдергиваем лишь то, что может пригодиться в наших делах — асимптотики и связи. Все остальное пусть интерферирует сколько угодно — а на выходе просто спектр (в переводе — призрак, дух). Вот и давайте судить о личности не по хаосу деяний, а по историческим вехам — ориентирам, существенным в данном контексте. То есть, важным для нас, для сочиненной нами истории.

Что будем отбирать? Очевидно, относящееся к духу, а не к его вещной оболочке: собственно человеческое отделяем от природного. Тела (живые и неживые) движутся по своим законам — но человек как раз и существует для того, чтобы эти законы подчинить другим, в самих по себе вещах и организмах не прописанным. Созданные человеком системы (в том числе общественные) иногда подобны природным — ведут себя сходным образом. Но такое движение по инерции ничего не говорит нам о людях — и обращать внимания надо на то, чем мы отличаемся от всего остального, что разумного есть в наших делах. Подбирать факты и выстраивать их в историю — значит соединять их не

природным образом, а в отношении к человеческой духовности. Само собой это не получится: написание историй — столь же творческое занятие, как и представленная в них деятельность. Голая хронология — это не о людях. А наши истории — продолжение нас, способ нашего бытия в других. Проглатывать одну книгу за другой — занятие глупое; интересно каждую прожить, воплотить в себе дух истории — стать теми, кто интересен сейчас, и значит, останется в других историях, как связь времен.

Но точно так же мы можем читать себя. Не запирать дух в телесную клетку — а считать тело лишь одной из возможностей, и жить в нем — но не им. С прицелом на последующее переселение в другие тела, с их личными историями. Вот тогда все эти ниточки будут переплетены достаточно плотно, чтобы мир не разваливался на куски, а сохранял единственность и единство. Для этого мы миру и нужны — и такая, универсальная связь нам явлена как дух.

Чисто практически — все просто: в каждом поступке различать духовное и природное, следовать велениям духа, а не предписаниям природы. То есть, вести себя по-человечески — и даже в каких-то обстоятельствах уподобляясь животным и вещам, хранить присутствие духа как предвестие чего-то большего, что выше просто возможности или необходимости.

* * *

Обладают ли имена массой? На первый взгляд — очень даже вероятно... Возможно, притягивать ньютоновы яблоки или роковые кирпичи имя не сможет; но что люди тянутся к именам — факт повседневного бытия. Большие имена — притягивают сильнее; мелкие вращаются вокруг великих — иногда сталкиваются и разваливаются на куски. Космическая культура.

Сразу одолевает сомнение: что по природе — явно не от большой разумности; если в нашей культуре такое на каждом шагу — это дурной знак, и надо что-то менять.

Предположительно, сбиваться в стадо или стаю люд начинает от страха — то есть, когда теряет человеческих облик. Или от жадности — в погоне за наживой; что тоже не блещет высокой духовностью. По сути, условный рефлекс: опереться на проверенное, надежное. Как первобытная магия: один раз получилось — давайте повторять к месту

и не к мести; хоть иногда сработает — уже навар. Чего больше видим вокруг — к тому и привыкаем; а производитель гонит то, что привычнее потребителю. Замкнутый круг. Источник кризисов. Экономических или духовных.

Когда все сводится к чистому количеству, к деньгам, работают неразумные, коммерческие законы: концентрация капитала позволяет контролировать рынок за счет создания избыточной кредитной массы — или резервной армии труда. Производителю тогда выгодно вложиться в ширпотреб, а немногие хиты сезона окупают издержки на демпинг, поддержание мусорных цен.

Примерно так обстоит дело и в искусстве, и в науке: плодовитый автор всегда на виду — для издателя это беспрогрышный вариант. Если в потоке коммерческой стряпни блеснет крупный кристалл — его тут же огранят (при необходимости распилив на части) и пустят по аукционам, чтобы массовая публика смотрела и облизывалась. Одинокий кустарь может родить сколь угодно гениальное творение — никто не заметит; иногда могут попользоваться (копейка рубль бережет) — но на штучном товаре имени не сделаешь, и реклама не окупается.

Так строение рынка воспроизводится в распределении весомости имен. Возможно, и массы физических тел — лишь оттого, что мы так устроили наш мир; устроим иначе — и все изменится...

* * *

Рабовладелец может продать (или убить) раба и купить нового; хозяин предприятия увольняет работника и нанимает кого-то еще. Это означает, что человеческое тело в данном отношении представляет не индивидуальность, не личность, — а лишь абстрактную функцию, орган коллективного субъекта — который в классовом обществе и играет роль единичного субъекта. Отдельные (физические) лица лишь представляют целое, в составе которого они совершенно неразличимы. Исчезновение одного из тел, замена на другое, — ничего не меняет. Таким образом, личность изначально распределена между многими телами — и лишь в очень частных случаях может сконцентрироваться на ком-то одном. Рождение новых тел — не рождение человека, а воспроизводство уже существующего субъекта; социализация призвана настроить организм, привести его движение в соответствие с общественной функцией. Когда мы говорим о возможности замены органических тел или полного отказа

от них — это лишь продолжение уже существующих исторических линий, осознание того, что нам сегодня дано как культурный фон, обычная практика, факт повседневного бытия.

Образование свободного человека — изначально выделяет его из фона, и задача теперь не в том чтобы нивелировать индивидуальность, сделать носителем функции (членом коллектива), а наоборот, чтобы подобрать подходящие воплощения личности, снабдить ее набором органических и неорганических тел, максимально удобным для ее духа. Такие личности вступают в отношения друг с другом внешним образом, как самостоятельные субъекты (и только у них возможна любовь). Они тоже не ограничены единственным телом (а в пределе задействуют вообще все тела) — но по сравнению с исходным («квантово-полевым») синкретизмом, это вполне «классические» субъекты, локализованные в культурном пространстве-времени; внутренняя динамика может в каких-то случаях приводить к интерференции — но это уже эффект другого уровня.

Нерожденный ребенок — существует посредством тел многих взрослых, как «квантованный» дух. Построение индивидуальность — соотносит дух с плотью (в современном мире осознается прежде всего органическое тело); это вполне аналогично пресловутому квантовому «коллапсу» — когда квантовое состояние становится классическим в процессе «измерения» (то есть, по сути, при развертывании иерархии деятельности, в котором и возникают многоуровневые шкалы).

* * *

Когда-нибудь природа истребит все земное — и даже в солнечной системе человеку некуда будет приткнуться... От природных и прочих красот, которыми мы привыкли восторгаться, не останется вообще ничего. При всем старании, человек это не сохранит. Возможно (хотя и не факт), что человечество как культурное целое при этом сохранится; однако в любом случае трудно ожидать, что прежние тела окажутся уместными в совершенно новых условиях: органика поплынет, найдет более подходящие формы, — а потом, быть может вообще окажется не у дел. Однако природе спешить некуда — и у людей хватает времени, чтобы научиться менять себя и найти какие-то новые формы еще до того, как станет совсем неуютно в старых. Как полуживотность классовых обществ готовит гибель цивилизации и рождение свободного человека,

варварское отношение к окружающей среде (включая ее «защиту»), возможно, лишь извращенная, классово-уродливая форма перехода к новой телесности, избавления от наследия эволюции — и утверждения сознательной материализации духа.

* * *

В идеале, всякий продукт должен создаваться вместе с технологией утилизации, в расчете на включение отходов в оборот. Чтобы не свалки и кладбища — а полноценные производства, способные работать на разном сырье и быстро перепрофилироваться. По сути, это эквивалентно требованию создавать новые биологические виды не изолированно, а сразу в составе экосистемы (включая неорганические циклы). Разум — это и есть способность охватить всю широту проблемы, действовать универсальным образом, создавать не предметы потребления, а миры.

* * *

Природа по-своему утилизировала отработавшую свое органику — и у нас есть возможность пользоваться результатами: уголь, нефть и газ, известняк... Следовательно, человек может как минимум воспроизвести природные методы — но (как, например, в селекционной работе) сжать сроки, миллионы лет превратить в года или месяцы. Да, нужна энергия. Она есть — даже на земле, и тем более в космосе. Найти запасы воды — или доставить извне. Это не принципиальный вопрос, а технология. Мешает рынок: пока одни обогащаются за счет других, выгоднее перераспределять ресурсы, а не восстанавливать их. Вероятно, когда богачи уже не смогут отсидеться в чистеньких дворцах — придет время избавиться не только от оставленного цивилизацией хлама, но и от цивилизации как таковой, от противостояния верхов и низов.

* * *

Вопрос о направленности истории — больное место философской этики. Если мы решим, что никакого прогресса нет, и все лишь возвращается на круги своя, — мы приходим к оправданию насилия, удерживая инакомыслящих в этом болоте. Точно так же, осознание

неизбежности перемен оборачивается насилием в отношении тех, кого и так все устраивает, и для кого новый мир есть крушение их мира. Будет это прямое принуждение (вооруженная сила), или просто экономическое давление и пропаганда, — ничего не меняет в принципиальном плане. Поэтому даже абстрактное теоретизирование, проповедь социальных утопий, — вторжение в ход истории, подготовка революции (или ее гибели).

Что же получается? Вечность и неизбежность страданий? Любимая тема, лейтмотив буржуазных «дискурсов». Если разум — это свобода, как можно насаждать разумность среди неразумных? Но застаиваться в дикости — утратить разум. Так, может быть, и нет его вовсе — и никогда не будет?

Разумное решение — вырваться из круга навязанной апологетами классовой культуры проблематики и заняться чем-то совсем другим. Софизм опирается на скрытое предположение о противоположности интересов, о противостоянии одних людей другим. Хорошо одному — плохо другому; чтобы иметь — надо отнять; где есть победители — там есть и побежденные. Это аксиома и практика рынка. Но разум не разделяет, а объединяет людей. Речь не о том, чтобы всех поделить и объявить кого-то главным, — задача усмотреть общность и найти возможность трудиться сообща. Противоположность неразумности и разума — высосана из пальца: можно противопоставлять разумность и неразумность — поскольку и то, и другое лишь частичное отношение к разуму, две стороны узкой односторонности. Разум как таковой ничему не противоположен — подобно миру в целом, он сопоставлен лишь с собой. Материя, рефлексия, субстанция — это про одно и то же.

Амазонский абориген или бушмен может считать неуместным вторжение цивилизации в его устоявшийся быт — даже если новые орудия труда делают жизнь намного удобнее и безопаснее. Наоборот, африканские обычаи или цыганский табор в городской квартире — нарушает покой цивилизованных соседей. Казалось бы, непримиримое противоречие. Но откуда оно? От собственности, из-за привычки считать что-либо только своим и ограничивать (или исключать) доступ для всех остальных. Моя вещь — что хочу, то с ней и делаю. Если же все в мире — достояние всех, то и распоряжаться имеющимся придется исходя из общих интересов, а не как бог на душу положит, по замшелой традиции. Земля — не принадлежит тем, кто на ней обитает; она для всех. Человеческие тела не сами по себе — это инструментарий всего

человечества. Приватность и комфорт — общественное достижение; уголки дикой природы и новейшие технологии — общая забота. Значит, любое распространение одной культуры в среде других есть результат кропотливой работы по развитию экономической и духовной общности.

Сразу такое сознание не придет. Исторический прогресс в классовом обществе принимает форму движения противоположностей двояким образом: как утверждение нового старыми методами (насилие) — так и рост нового внутри старого (просвещение). Снятие противоположности означает уничтожение самого различия между новым и старым, барьера между прошлым и будущим. А когда нет навязывания разумности неразумному или наоборот — остается разум, как совместный труд, творчество, общение.

* * *

Невооруженным глазом американцы замечают экономический факт: не обремененные детьми делают хорошую карьеру, получая комплект стартовых преимуществ и не расходуя капитал на непроизводительные домашние хлопоты. Это касается как мужчин (делает их мобильными), так и женщин (делает их более доступными). Американское общество идет по пути пропаганды малодетности — в семье или без. Почему это возможно? Казалось бы, поддержание экономики на достигнутом уровне и дальнейший рост экономического могущества требует, как минимум, простого воспроизводства населения: даже с учетом резкого повышения производительности труда, недостаточная населенность обрушивает рынки хотя бы проблемами сбыта — не говоря уже о неизбежной в условиях застоя неконкурентоспособности персонала.

Ответ очевиден: господство на мировой арене. Недопроизводство рабочей силы экономически выгодно, если у страны есть возможность выкачивать квалифицированные кадры из не столь богатых регионов; фактически, значительная часть расходов на социализацию переложена на плечи (и кошельки) других народов. С другой стороны мировое господство позволяет навязывать (при помощи политического и военного давления) другим странам американскую продукцию — что снимает остроту дефицита покупательной способности на внутреннем рынке. Резкое снижение рождаемости в такой «открытой» экономике становится вполне приемлемым, даже в долгосрочной перспективе.

Не столь могучим державам приходится все же стимулировать рождаемость ради стабилизации экономики. Это ставит их в еще большую зависимость от мирового лидера: бедные становятся беднее. Однако именно здесь со всей остротой встает вопрос о переходе к от мелкого частного (домашнего) хозяйства к полностью индустриальному воспроизведству и полностью общественной социализации населения, что означало бы резкое повышение доступности биологических тел, устранение наследственных заболеваний и онтогенетических травм, улучшение психологического климата, возможность планирования и общественной регуляции. Даже отток кадров за рубеж не подрывает сбалансированности такой экономики.

Но если обратиться к фактам — репродуктивного прогресса пока не наблюдается. Страны, достаточно богатые чтобы преодолеть стоящие на пути технологические и политические трудности, — достаточно богаты и для того, чтобы пограбить «третий мир», по американскому образцу. У ограбленных — нет на эксперименты ни времени, ни средств.

Теоретически, репродуктивная индустрия возможна и на рыночной основе. Однако подтолкнуть к такому перевороту может лишь острый глобальный кризис — масштаба самоубийственной мировой войны, или массовой миграции в космос по мере освоения соседних планет. Социальные революции — в ближайшей перспективе отсутствуют. Жаль. Потому что переход к бесклассовой экономике позволил бы решить вопрос быстро и без потерь — в отличие от рыночной стихии.

* * *

Брак не может без ревности — это две стороны одной медали. Для собственника, ревность — единственное возможное отношение к другим людям, независимо от того, насколько они реально могут посягнуть на его «право обладания». Это уже есть, это изначально встроено внутрь, впитано из дикостей (природностей) культуры. Поэтому ревность не нуждается в причинах — а поводов более чем достаточно.

Буржуазные писаки возводят ревность к естественной конкуренции особей в рамках системы доминирования: дескать, общество лишь продолжает этологию, и ничего не может добавить сверх того. Да, в классовом обществе у людей — пока они еще не совсем люди — есть аналог системы доминирования, и его животность обнаруживает себя в следовании животным законам. Но это не превращение природного в

общественное — а наоборот, деградация, вырождение человечества, доведение людей до скотского состояния. То есть, возникает общество как носитель зачатков разумности — как нечто принципиально отличное от природы; однако (в силу ограниченности способа производства) с утратой универсальности культура становится всего лишь «второй природой»: вторичной, опосредованной сознанием, — но все-таки дикой. Снять ограничения, уничтожить брак — и нет больше ревности, и можно свободно любить.

* * *

В древнейших общностях, когда экономика в основном опирается на пассивное присвоение (собирательство и охота), миграция возможна лишь там, где существует однородность природных условий — и смена района обитания не требует изменения характера деятельности. При этом ареал и численность населения (которое вовсе не обязательно представляет собой нечто единое) неизбежно будут ограничены. С ростом универсальности, сначала выражаящейся в расширении сферы применения природных объектов (камни, палки, свое тело), а потом и с переходом к целенаправленному изготовлению орудий, — деятельность меньше зависит от природных условий, и возможно более активное расселение; с другой стороны, универсализация ускоряет прирост населения — и требует освоения новых территорий.

Орудийная деятельность начинается раньше изготовления орудий; однако вовлечение природного объекта (включая человеческое тело) в трудовой процесс — выводит вещь из ее природности и придает новые качества, природой не предусмотренные. Возможно это лишь благодаря регулярному воспроизведению способов деятельности разными членами сообщества, и чем шире круг потенциальных деятелей — тем дальше от природы. Тем самым даже пассивно приобретенное орудие — уже не просто вещь, а вещь общественная, продукт деятельности. Намеренное изготовление орудий — предполагает достаточно развитое общение, включая речь (не обязательно в форме говорения).

Первоначально орудием служит собственное тело; переход к изготовлению орудий означает при этом активное вмешательство в процесс формирования тела ребенка (что мы наблюдаем у «отсталых» племен по этнографическим данным — и видим вокруг себя в форме всевозможных тренировок, практик, или следования моде — что, по

сути, есть рецидив первобытности). Тем самым и репродуктивное поведение человека перестает быть только физиологическим актом и становится одной из производственных отраслей, сугубо общественным явлением, — так что деторождение теперь следует не органическим позывам, а строению способа производства.

На смену основанным на органике этологическим иерархиям приходит иной порядок: отношения между людьми определяются отношением к деятельности, к производству. На вершине иерархии уже не тот, кто может все сделать сам (хотя силовой фактор не утратил значения вплоть до наших дней), а способный объединить усилия разных людей во имя общей цели — умеющий использовать других как орудие. Такой лидер вовсе не обязательно связан с передовым способом производства — и тогда его влияние на остальных членов сообщества становится зародышем классового угнетения. Возможно, именно этот механизм приводит к падению (основанного на прямом участии в производстве) «материнского рода» с установлением патриархального господства одомашненных кочевников.

* * *

Социалистическое общество — лишь *форма* капитализма, подобно тому, как тиария и демократия — разные лики одного и того же, классового насилия. Поскольку не изжиты отношения собственности, сохраняется и традиционный способ их воспроизведения — семья.

Глупая пропаганда превосходства социализма над буржуазными порядками в области семейного строительства — логическая слепота, неумение осознать общность экономической основы. Можно сколько угодно декларировать равенство полов — оно останется филькиной грамотой, пока различия по половому признаку вообще возможны в рамках наличного способа производства. Без разницы, как называть рыночное хозяйство — оно по-прежнему остается средством делать бизнес на экономических различиях.

Равенство супружеских в семье означает лишь, что, если раньше жена была собственностью мужа, — то теперь они *взаимная* собственность. Точно так же, как в развитых капиталистических странах капиталист не является единоличным хозяином предприятия — он изображает себя лишь совладельцем, наряду с работниками — а в крупной индустрии на долю последних иногда приходится значительная часть акций. Но мы

знаем, что формальное равенство николько не мешает капиталисту обирать рабочих; точно так же и в «социалистической» семье один супруг эксплуатирует другого — а общество лишь выполняет роль своего рода семейного профсоюза, арбитра, улаживающего внутренние конфликты с целью согласованного ограбления третьих лиц — как внутренние классовые противоречия отходят на второй план, когда речь идет об ограблении развитой нацией недоразвитого «третьего мира».

* * *

Супружеская «верность» — просто другое название брака. Как ни составляй договор — ушлый юрист всегда найдет лазейку для побочных связей, следующих, скорее рыночному духу, нежели букве закона. Таким образом, нерушимость обязательств лишь выражает недостаток средств для их санкционированного нарушения. Как одно из следствий закона стоимости — гибкость не беспредельна, и даже очень богатыми приходится идти на взаимные уступки; выход за рамки экономически возможного — это дестабилизация рынка, кризис, супружеская измена. Брак фактически перестает существовать — и требуется время, чтобы перейти к новым уровням коммерции.

Когда супруги принадлежат лишь друг другу — это своего рода картель, рыночный сговор с целью наживы на (созданной нерыночными средствами) монополии. Как правило, собственники предпочитают не держать яйца в одной корзине — однако возможности участия в других бизнесах целиком зависят от наличия свободных средств. Для богатых брак — лишь один проект из многих; партнерам победнее приходится рисковать всем. Да, они оба собственники — и могут говорить: *мой* муж, *моя* жена. С тем же успехом рабочий может говорить о «своем» предприятии — а руководство всячески насаждает среди персонала корпоративный дух (иногда под угрозой потери места с волчым билетом). Но богатый супруг покупает бедного точно так же, как уличную проститутку, — и потому для него понятие супружеской верности сводится к платежеспособности. Пока он может содержать энное количество брачных партнеров (не обязательно половых) — он вправе требовать от них исполнения «семейного долга». С другой стороны, какие-то услуги, которые традиционно ожидаемы в семье, запросто переходят в разряд внешнего обеспечения — и хозяин сам подбирает подходящих поставщиков: другие члены семьи имеют право

голоса пропорционально их активам. В развитых капиталистических странах (обломки социализма в их число не входят) олигархи (чаще мужчины) заключают множественные (или многосторонние) контракты, один из которых может играть роль «официального» брака — поскольку наличие такового предусматривается каким-либо бизнес-протоколом.⁶ Понятие супружеской верности в таком случае применимо лишь к зависимым членам семьи — у которых нет альтернативы соблюдению пунктов контракта (нет денег на неустойку). Аналогично выстраиваются отношения с проститутками (или иными наемными работниками): формально это сделка равных; по факту — эксплуатация. Называть это жестокостью — вроде бы и неправильно: ничего личного, просто бизнес.

* * *

Развитие брачных и семейных отношений (одно не обязательно увязано с другим) невозможно осмыслить без обращения к истокам, ранним исторически (и доисторическим) формам. Однако достоверных данных о возникновении семьи почти нет — и предвзятость буржуазной науки затирает последние следы объективности. А в истории важны не только вещественные и документальные свидетельства — но и корректная обработка разнородного (и по большей части недостоверного) материала с позиций последовательной теории, обосновывающей *необходимость* семьи. Ничего подобного пока не изобрели — и остается лишь свалить в кучу наличность — в надежде выцарапать из нее что-то разумное методом пристального взгляда.

Что нам предъявляют? Идея «кровнородственной семьи» — которая больше напоминает отсутствие всякой семейности: если в первобытном стаде сохраняются (и приобретают статус общественного установления) элементы животной системы доминирования — это автоматически не допускает «браков» между разными поколениями, ибо младший обычно слабее (ниже рангом). По всей вероятности, оккультуривание системы доминирования изначально связано с уходом от чисто физиологических критериев — так что общественные различия (в противовес природным) устанавливаются в форме «брачных классов», охватывающих не только

⁶ Вспомним, что Ф. Энгельс сожительствовал с обоими женами на контрактной основе, лишь в последний момент переходя к формальному браку — для упрощения наследования.

(и не столько) половые связи, но и другие (в пределе вообще все) сферы первобытной экономики.

Другой полюс — начальная стадия оседлого хозяйствования, когда бал в значительной мере правят женщины — носительницы самой идеи «хозяйства» (что предполагает и зачатки собственности, и механизм наследования — «материнский род»). Древнейшие формы общности исчезают далеко не сразу — и даже (ассимилированные культурой) остатки системы доминирования можно усмотреть в традиционных «соревнованиях» мужчин.

Что между этими вехами? Присваивающее хозяйство сменяется собирательством и охотой, и никакое производство уже невозможно вне орудийного опосредования (и массового производство орудий труда). Орудия («ископаемые концепции») превращаются в орудия общения, языка, — и возникают синкетические формы рефлексии (то есть, любые отношения между людьми теперь *идеально* опосредованы обществом, материализованным в орудиях труда и в языке).

Немало! Но где в этой картине возникновение родоплеменных структур? Не похоже, чтобы исторически они могли быть первой формой общественной организации: развитость внутреннего строения указывает на долгий путь развития. Существенная патриархальность рода (даже на фоне «матриархата», нигде не ставшего *господствующим* строем — видимо, в силу отсутствия самой идеи господства) наводит на мысль о позднем возникновении — не как продолжение первоначальных общностей, а в процессе (и в качестве механизма) их разрушения, перехода к собственно классовому строю, цивилизации. Вероятно, говорить о появлении семьи возможно лишь на этом этапе — хотя отдельные прототипы семейственности возникали в недрах и на фоне чего-то другого, о чём мы пока не можем определенно судить.

* * *

Человек не живет по порядку: закончить одно, начать следующее... Много всего и сразу. Биографии как последовательность событий — иллюзия, ложь. Что считать событием? Как уместить в точку все, из чего оно складывается? Скорее, наоборот: момент биографического времени есть иерархия всего, чем мы занимаемся, — и что не имеет ни начала, ни конца. Как энергия и время в квантовой механике: мгновение — спектр,

точное значение энергии = стационарное состояние, бесконечное время. А в переводе «энергия» — просто деятельность.

* * *

Живой организм — не конструкция, а симбиотическое сообщество организмов. Живая ткань слишком специализирована, чтобы ее можно было запросто заменить на аналогичную. Вся история хирургии — сказание о борьбе с несовместимостью и отторжением. Сегодня многие вопросы сняты, пересадка органов и тканей стала обыденностью. В каком-то смысле это аналог ремонта аппаратуры заменой целых блоков или соединительных элементов. Можно ли ожидать полного перевода органики на «цифру», сборки организмов из типовых узлов с типовыми интерфейсами? Это открывает невероятный оперативный простор и позволяет соединять органические и неорганические компоненты под конкретную среду обитания, под определенный круг деятельности.

Ответ не однозначен. Эволюция компьютеров показывает, как внешние соединения превращаются в сильно интегрированные микросхемы, а цельные программы — становятся программными комплексами, приобретают модульность. С другой стороны, аналоговые технологии никуда из практики не ушли — они лишь соединяются с цифровыми в разных пропорциях; снимается само различие цифровых и аналоговых устройств. Последний писк — квантовые компьютеры, комбинаторные устройства на основе аналоговых «вычислительных элементов» (которые в этом плане ничем не отличаются от резисторов, катушек и конденсаторов). Вероятно, та же судьба ждет и человеческую органику: аналоговые (сильно коррелированные) «органы» останутся — но изменят характер, будут производиться на другой основе, согласно производственному плану, а не путем спонтанного размножения.

* * *

Право и обязанность — две стороны одного и того же: право одного *всегда* есть обязанность другого, и наоборот. Может показаться, что существуют безличные права и обязанности: например, я могу иметь право на получение ежемесячного пособия (или квартиры) — когда, вроде бы, я эксплуатирую не кого-то конкретно, а общество в целом

(представленное, например, государством); точно так же, обязанность соблюдать закон или чистоту на улицах — не перед кем-то конкретно. Однако в реальности дело обстоит иначе: государство (администрация) лишь опосредует мое отношение к многим людям, каждого из которых я (при помощи этого инструмента) частично лишаю собственности; аналогично, нарушая свои обязанности, я ограничиваю культурные возможности конкретных людей (независимо от того, знаю я о них что-нибудь или нет), и это есть акт осуществления моего господства — хотя, теоретически, за неправомерные действия меня могут привлечь к ответу: права и обязанности таким образом переплетаются, и общественное устройство на практике оказывается все той же рыночной конкуренцией (принимающей форму суррогатной свободы — равноправия).

Нет отношений господства и подчинения — неуместны понятия права или обязанности. Личные права и обязанности возникают лишь в отношении к коллективу, как взаимные ограничения и предписания; формы такого «общественного договора» могут быть какими угодно: от прямого насилия (армейская или тюремная дисциплина, диктатура) — до сугубо контрактных отношений (товарищество, демократия), плюс промежуточные варианты.

* * *

Рядового обывателя вполне удовлетворяет сам факт существования права или морали — которые он склонен воспринимать как безличную силу, природную (или божественную) необходимость. Тем не менее, все чувствуют отличие таких, общественных форм от чисто природных — что, объективно, указывает на скрытую за непосредственной данностью рефлексию, а субъективно — делает эти надстройки жизненно необходимыми, своего рода гарантией общественной поддержки, хоть какой-то опорой. Пусть ненадежной, и даже где-то враждебной, — но на безрыбье и рак рыба.

* * *

Всеобщее разделение труда (и рыночная экономика) воспроизводит любые различия лишь для того, чтобы отделять одних людей от других, навязывать противоположность интересов. Надстроечные структуры —

выстраивают барьеры и границы, и формы общественного сознания изначально представлены формами коллективности, хаосом сообществ, ни одно из которых не может быть устойчивым — и любая общность существует лишь внешним образом, как отличие от других. Коллективы распадаются на мелкие группировки, одни группы сливаются с другими, следя рыночной конъюнктуре, хозяйственной необходимости (включая духовное производства как часть классовой экономики). Поскольку формальная аналитичность определяется внешними обстоятельствами, вынесена за рамки коллектива, коллективизм как внутренняя связь возникает лишь на уровне синcretизма — главным образом, как групповая мораль, жизнь «по понятиям» (благородство, честь, долг, совесть, верность, ответственность). Классовые теоретики (включая социалистов и коммунистов) всячески культивируют групповщину, а индивидуализм и эгоизм — предосудительны и допустимы лишь как антипод господствующей идеи, ее утверждение отрицательным образом (как в политике усиленно эксплуатируют образ врага). При кажущейся произвольности формальных и неформальных объединений — есть господствующий класс, «главный» коллектив: именно он устанавливает правовые и религиозные рамки, диктует остальным свою (якобы общечеловеческую) мораль, единую шкалу, внутри которой по-разному размещены остальные общественные формы; такое соответствие может быть положительным (подчинение интересам «общества в целом») или отрицательным (контркультура, блатные разборки) — суть все та же: воспроизведение классовой структуры.

Коллективизм как уровень синcretической рефлексии — это проекция синтетической рефлексии в быт, подобно тому, как право и религия синcretически представляют искусство, науку и философию (превращают в предмет веры и узурпируют право говорить от их имени). Соответственно, этика, логика и эстетика — становятся характеристикой коллектива, формального сообщества. Буржуазная пропаганда просто отождествляет стороны синтетической рефлексии с их проекциями — выдавая (классовую, групповую, обывательскую) мораль за единственную возможную нравственность, здравый смысл и предрассудки — за якобы естественную логику, а моду и традицию — за верность вкуса. Никакой другой духовности буржуа себе не представляет — а рабочей силе дух вообще ни к чему...

Формы группового сознания во всех деталях повторяют строение экономики — что создает видимость разнообразия и свободы. Однако

возможность выбора камеры в тюрьме — не отменяет факта тюремного заключения (хотя привилегированные заключенные могут позволить себе весьма комфортное существование и активный бизнес). Точно так же, «свобода совести» — возможна лишь как предпочтение той или иной доктрины, при сохранении религиозности как таковой. Бесклассовое общество не нуждается в коллективах — и даже человечество в целом не ограничивает человека невозможностью ему не принадлежать.

* * *

Как общественная форма, устойчивый пласт классовой культуры, примитивный синкретизм есть *мораль*. Иногда мы говорим о классовой, обывательской, филистерской морали; это вовсе не потому, что мы готовы допустить существование какой-то иной морали, «гуманной» и «возвышенной»; эпитет лишь подчеркивает классовую сущность *всякой* морали и те общественные слои, посредством которых правящий класс *насаждает* эту мораль и следит за «моральным состоянием» общества. Сам по себе синкретический пласт рефлексии не представляет собой ничего бесчеловечного — если предполагается, что над этим основанием развертываются более развитые уровни рефлексии; застывшей формой, моралью это становится лишь там, где разные способы рефлексии закреплены за различными социальными группами — доктринально предписаны им. Мораль — для раба; ее вбивает в людей классовое воспитание — вместе с обширнейшим диапазоном аморальности, своего рода каталогом статусных различий; чем выше человек в социальной иерархии (непосредственное продолжение иерархии этологической) — тем больше ему прощается; сильные мира сего, конечно же, будут снисходительны к равным (пока не затронуто главное, экономические интересы).

Каждая классовая культура вырабатывает свою мораль; более того, поскольку в реальном обществе сосуществуют различные классовые структуры (хотя лишь одна из них становится главной, определяет общий уровень развития) — в каждой из субкультур действует своя мораль, и возможны довольно сложные взаимодействия на стыках. Например, говоря о традиционной морали, мы имеем в виду пережитки прежних классовых обществ, консервативность (иногда под маской революционной критики господствующей экономики и морали). Пока изменения общественного устройства не затрагивают классовой сути —

возможно парадоксальное представление о «передовой морали» как синкретическом классовом сознании выходящих на господствующие вершины слоев. Разумеется, мечта о бесклассовом обществе требует отказа от морали как таковой, сознательного преодоления синкретизма.

Само наличие классового размежевания разрушает сферу морали, приводя к оформлению в рамках синкретической (неотделимой от быта) рефлексии уровней, отражающих эту фундаментальную аналитичность. Такие надстроечные формы, проекции аналитической рефлексии на синкретизм, очевидным образом связаны со строением экономики, в классовом обществе распадающейся на относительно независимые (но неразделимые) ветви: материальное и духовное производство. В итоге регулирующим принципом производства вещей становится *право* — а духовное производство направляет *религия*. И то, и другое — в самых разных обличьях, формализованное или неписаное, нормативное или декларативное... Общее у них одно: они вырастают из морали как ее «прикладные» отрасли, допускающие более строгую регламентацию; возникновение права и религии заведомо опосредовано аналитической рефлексией — которая в классовом обществе остается прерогативой господствующих слоев, и поэтому право и религия выглядят как веление «высшей» силы — в отличие морали, представляющейся традицией низов. Буржуазные политики и попы так прямо и заявляют: мы, дескать, выражаем волю и душу народа. Впечатление обманчиво: исторически, мораль возникает как снятие аналитичности, но не путем синтеза, а проекцией на стихию быта, превращением догм в привычку, установку. Само собой оно, конечно же, не превращается: право и религию намеренно воспроизводят в морали — в этом суть классовой педагогики. То есть, чтобы нечто стало моральным требованием, оно должно быть кому-то выгодно — и это классовое превосходство изначально дано новым поколениям как нерушимый (земной или небесный) закон.

* * *

Общение через тела — требует материальных условий: собрать много тел на пятаке — не так-то просто... Быт тех, кто распределен по многим телам, по всему пространству, — изначально подразумевает общение всех со всеми как само условие существования каждого. Мы разные — но не различные; мы всегда друг в друге — и не можем без любви.

О любви

* * *

Мир воспроизводит себя разнообразнейшими способами. Человек учится миру в этом сознательно помогать. Когда человек осознает, что сам он — творение собственных творений, он становится разумным, а его отношение к тем, через кого дан ему разум, — это любовь.

* * *

Любовь у человека только одна. В силу самого определения, из-за универсальности. Но проявляется она как любовь к кому-то или чему-то. И здесь — бесконечность обличий. Каждая из таких любовей тождественна всему — это разные способы развертывания той же иерархии. Каждая изменчивость любви — обращение иерархии. Одна любовь может противоречить другой лишь там, где уродство общественного устройства навязывает людям бесчеловечность бытия.

* * *

Говорить о любви — говорить обо всем кроме любви. Слова связаны бытом. Верить в любви на слово — все равно что выходить замуж ради флердоранжа на фате.

* * *

Половая любовь и дружба — разновидности одного и того. Классовая культура противопоставляет одно другому, превращая различие в общественный институт. Вместо оснащения органических тел исторически достижимыми инструментальными возможностями — искусственные ограничения. В основе — взаимодействие индивидов в процессе производства и самовоспроизведения. Представьте общение (культурно обусловленным) взаимодействием органических тел — получится любовь, в узко-мещанском понимании; сдвиньте фокус на

контакт неорганических тел — будет дружба. Разум предполагает единство того и другого — а рынок заменяет единство конкуренцией. Случай дружбы в любви и любовников-друзей никуда не спрячешь, они на каждом шагу, — но в большом обществе духовное здоровье воспринимается как болезнь.

* * *

Преступно считать деньги, когда речь о любви.

* * *

Женщина становится женщиной только в отношении к мужчине. Во всех других отношениях половых различий нет.

* * *

Любовь не возбуждает, а влечет, — хотя, конечно, никоим образом не сводится к влечениям. Сознание человека отвлекает его от мотивов, подсказывает достижимые цели. Грубо прямолинейное следование страсти — сплющивает уровни деятельности, сводит поведение к животному метаболизму.

* * *

История любви = история человека разумного.

* * *

Любовь — плод и концентрированное выражение экономической самостоятельности человека, его свободы.

* * *

Человек остается человеком — пока он кого-то любит. А любить можно только человека (пусть даже в самом себе).

Ненависть — чувство нечеловеческое. Она исторически оправдана лишь поскольку через нее рождается любовь. Но убийство на войне — все равно убийство, даже если оно ради миллиона будущих жизней. Когда нет войн, не нужны разговоры о справедливости.

* * *

Любовь не отвергает законы, догмы или нравы — она их просто не замечает. В ее мире — только свобода.

* * *

Можно любить удовольствия — это не предполагает удовольствия в любви. С другой стороны, пройдя через любовь, удовольствия станут иными, избавятся от животности. Это все равно вне разумности — однако вполне готово стать ее материалом.

* * *

Любовь иногда заставляет избегать любимого. Это нормально: не разбить хрупкую грань, за которой близость становится пошлостью.

* * *

Если сближение опасно для любимых — человек может отказать себе. Животные так не умеют.

* * *

Парадокс в том, что никто не умеет полностью отдаваться любви. Потому что кто умеет — того не за что любить.

* * *

Эротические игры, прелюдии, извращения, — потому что секс скучен сам по себе, пока в нем нет любви. Будто есть непроверенные

злаки и сырое мясо. Вероятно, для чего-то и это полезно — в умеренных дозах. Но лучше все же физиологию делать приправой к любви — а не наоборот.

* * *

Одни влюбляются без памяти — другие влюбляются в память...
Нет любви — ни у тех, ни у других.

* * *

Пожертвовать жизнью ради любви — великое дело! Но что любви до этих жертв? Станет ее больше от смерти влюбленных? Ритуалы — способ сбежать от ответственности. Вместо того, чтобы трудно жить — и уже этим утверждать способность духа очеловечивать жизнь.

* * *

Для человеческой любви не имеют значения форма груди, лица или ушей; для нее важны формы человеческого общения.

* * *

Если любишь — все равно, как мир к этому относится. Если относится неправильно — надо его переделать. Или, по крайней мере, перехитрить. Настоящий или фиктивный брак, домашнее хозяйство или его имитация... Свои дети или извне. Можно изобразить все что угодно, включая полное отсутствие каких-либо отношений. Можно даже самому в это поверить. Это проблемы мира, а не суть любви.

* * *

Конечно, у людей половая любовь имеет отношение к процессу физиологического воспроизведения. Но выводить любовь из этого процесса — все равно что считать высокую кулинарию или высокую моду формами удовлетворения потребности, соответственно, в пище и

одежде, — или шедевры архитектуры объяснять исключительно потребностью крова. Доисторический разум возникает в сообществе биологических тел определенного вида — но сводить разум к биологии может лишь мало знакомый с разумом. Точно так же, сознание использует возможности человеческого мозга — но отсюда не следует, что мозг — орган сознания.

Половое влечение — одна из сильнейших природных сил, и было бы странно, если бы люди не научились приспосабливать его для нужд духовного роста, строительства разума. Но лишь как средство. Далеко не единственное. Других много; они, возможно, не так очевидны, не бросаются в глаза. И за счет этого, в конечном итоге, разумнее.

* * *

Говорят, что мужчины не хотят жениться, потому что при разводе они рисуют потерять значительную часть имущества, ибо нынешние суды, дескать, всегда решают в пользу жен...

Но когда любящий предлагает даме выйти за него замуж, это как раз и означает его готовность бросить все к ее ногам, полностью отказаться от своего ради нее. Неужели при этом можно думать о дележке после развода? Наоборот, любящий будет счастлив, если хоть что-нибудь из его имущества пригодится любимой и после расставания. Любовь может измениться — но не кончается никогда.

* * *

Типичный образ: она любит подлеца, который просто играет ее чувствами — и бросит при первой же возможности (но может без зазрения совести попользоваться и в будущем).

Почему? Ведь чувство не обманывается. На неразумность страсти не спишишь — особенно для многолетней драмы. Да и нет здесь почти ничего телесного: ей не нужен секс (особенно, когда секса по жизни более чем достаточно) — нужна именно любовь.

Но любовь — возврат к себе через другого. Она не ради него, и не ради себя — и вообще ничего не ради. Существует острая потребность в чем-то жизненно важном, необходимом для сохранения духовности и духовного роста. Если нет в мире ничего подходящего — мы ищем хотя

бы отдаленно похожее. И такого не нашлось — пусть будет первое попавшееся. В конце концов, можно распределить любовь, собирать ее как мозаику, из мельчайших осколков зеркала. Или даже просто выдумать — сделать памятью или мечтой. В любом случае, речь не о пассивном принятии — а о преобразовании мира, его обогащении, очеловечивании. В этом, собственно, назначение разума.

Зря донжуаны приписывают себе свои «победы». Наоборот, это их поражения, превращение в игрушку, в податливый материал. Лишение собственно человеческого статуса. Значит — они изначально не люди, их удобно лепить по образу и подобию чуждого им духа.

* * *

Любовь забирает человека целиком. Потому что она как раз и принята развивать его целостность, внутреннее и внешнее единство. Нельзя любить каким-то местом или в одном отношении: в каждой любви отражается вся Вселенная.

* * *

Любовь предполагает совместную деятельность. У которой есть вполне определенный продукт. Нет деятельности — нет и любви. Потому что в этом случае и субъектов нет — и остается отношение вещей. Мало чем-то вместе заниматься — нужно это сделать общекультурным явлением, единством материального и духовного производства.

Секс не деятельность. Это времяпровождение. Да, в каком-то контексте и секс может стать одухотворенным. Только сначала надо сотворить этот контекст — а уже потом заниматься сексом. Любовь иногда начинается с постели — но вырастает не из нее.

* * *

На востоке есть неимоверно глубокая легенда о царе Шеддаде, который вознамерился создать на земле сад, по красоте сравнимый с райскими садами, — но умер в тот самый момент, когда строительство было завершено, так и не успев войти в свой земной рай...

Точно так же, те, чья любовь не знает предела, оказываются недостойны любви.

* * *

Неуниверсальность любви в античности и у ее предшественников, ограниченность вопросами пола, — по сути дела, означает отсутствие любви как культурного явления. Да, они тоже влюбляются и любят — но как-то безжизненно, и подмывает спросить: ну, а дальше что? Отлюбились и по своим углам? До следующего сеанса?

Только в Средние века начинается разговор о жизни в любви, и врастании любви в человека, превращении в стержень бытия.

* * *

Мистики мистифицируют любовь.

Вульгарные материалисты — делают ее вульгарной.

* * *

Любовь не сама что-то делает. Делают люди. Но не как тела, а как деятельный дух, субъект. Любовь направляет человеческий дух — а выражается это в необыкновенности телесного движения. Которое умеет влиять на духовность вообще — и в частности на любовь.

* * *

Вульгарные морализаторы, говоря о любви все время сбиваются на выяснение отношений «я» и «ты». Но дело-то в том, что в любви этого различия просто не существует: «я» и «ты» — одно и то же, есть только «мы» = «я» = «ты», — одно существо, а не два. Глупо говорить о том, кто кому доставляет удовольствие или боль; в любви всегда «мне» = «тебе». Мы не просто не можем друг без друга — мы неразделимы.

Когда буржуазный теоретик заявляет, что первый принцип любви — относиться к другому как к себе, — это переодетый христианский императив: возлюби ближнего как самого себя. Суть любви полностью противоположна: становиться собой через другого, научиться как-то

относиться к себе, дорасти до этого. И тогда глупо говорить об отношении к другому как к себе: другой стал частью меня, я непосредственно *есть* этот другой. А значит, могу *представлять* его на всех уровнях культуры. Тогда тождество, первичный синкретизм раскроется в совокупности всех общественных отношений, в иерархии рефлексии, способной стать новым субъектом. Без этого любовь неполноценна.

* * *

Классовое общество лишено любви в полном смысле слова — ему приходится довольствоваться недоговоренностями и намеками. Отсюда многочисленные суждения о любви, художества про любовь, попытки подвести под закон... Домыслить, договорить, дочувствовать. Убедить себе, что любовь существует, — а иначе зачем жить?

* * *

Человеческий дух не связан телом. Когда близкого человека нет с нами — мы все равно чувствуем его присутствие, и можем с теплотой думать о нем, мысленно с ним советоваться — или видеть сны. Мы можем даже не догадываться, что официально его уже нет в живых, что его прах развеян по ветру... Плоть любви — не органическое тело; это бесчисленные духовные связи, которые остаются после физической смерти, — и другой продолжает жить во мне, я становлюсь его телом, как потом кто-нибудь станет после меня.

* * *

Нравится — вещь. Любят — человека.

* * *

Любовь с первого взгляда — противоположна импринтингу. Да, нюансы взросления определяют круг предпочтений — но это лишь возможность понравиться. А любовь — неожиданность, открытие. Выход за рамки, прорыв. Мы влюбляемся в то, чего еще нет, и что

предстоит сотворить великим (совместным) трудом. Не готовое решение, а всего лишь постановка задачи. Цель и смысл жизни. Потом, задним числом, появляются знакомые черты — как итог пути.

* * *

Когда удается что-то сделать — это возвышает. Когда плоды труда получают общественное признание — рождается новая личность. Стремиться к признанию вовсе не обязательно: в каких-то отношениях я представляю общество в целом — и могу представить его и для себя. Глубокая убежденность в правоте своего дела — именно отсюда, из объективной общественной необходимости. Возможно, про меня никто и не знает, — но мой дух выльется в озарения тысяч других.

Так и в любви, когда меня любят в ком-то другом.

* * *

Искусство никогда не следует за видимостью — оно говорит о тайном и сокровенном. Поэтому приметы любви следует искать не в текстах, а за текстом (изображением, действием, и т. д.). Например, если верить европейским и американским песенникам, они озабочены исключительно возможностью переспать, заполучить чье-то тело — и не позволить овладеть им сопернику. Однако носителями культуры такая эротика (местами переходящая в жесткое порно) воспринимается в определенно лирическом ключе, как история любви. Дикое общество заставляет людей быть дикарями — и говорить о нет грубо, с нарочитой небрежностью, пересыпанной нецензурностями. Люди стесняются подлинной духовности — ее не принято обнажать на публику. Нужны маски.

Точно так же, искусство прошлого вовсе не обязано становиться документом древнего духа — и надо хорошо постараться, чтобы его там усмотреть.

* * *

В древности, когда боги жили вперемешку с людьми, их любовные похождения неизменно кончаются деторождением — рожают много,

принимая это как совершенно естественную изнанку любви. Но если с человеческими детьми особых проблем не возникает — дети богов по статусу помирать не должны, и приходится их как-то пристраивать... Кого-то удается в конечном итоге переселить в мир иной — используя предусмотрительно встроенные уязвимости. Другим же приискивают местечко на Олимпе, в качестве обслуги или домашних питомцев. Кому места не хватило — так хоть на небо, созвездиями...

* * *

Следы первобытности в библии: кто возжелал женщину — тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Магическое отношение к природе предлагает иллюзию воздействия на мир одним лишь движением духа. И кажется, что тем более это возможно во всем, что касается нашей духовности: мы «непосредственно» преобразуем самих себя...

Родоплеменной закон доисламских арабов: ортакузенный брак. Мужчина может провести ночь с женщиной — если она подходит ему по признакам формального родства. Но если выясняется, что кто-то влюблен в будущую жену — брак расстраивается, и родственники имеют право оружием мстить за нанесенное оскорбление. Поэта Кайса объявили безумным — и довели до безумия.

Пока двое во власти закона — их тела никого не интересуют. Любовь — освобождение от любых законов и разрушение вековых устоев; в классовом обществе свобода преступна. Никакой плотский грех не сравнится с искренним человеческим чувством — которое опасно уже тем, что позволяет человеку чувствовать себя человеком — следовательно, самому решать свою судьбу. Физическую близость можно предотвратить; брак можно запретить. Любовь запретить нельзя.

* * *

В классовом обществе любовь искать следует прежде всего там, где она вызывает всеобщее осуждение. Аморальное с точки зрения господствующего класса — противостоит ему самим фактом разрыва с обывательской моралью: это, как минимум, говорит о принципиальной возможности освобождения. Классовое чутье работает безотказно:

внимание властей привлекает не откровенная оппозиция, а то, что потенциально опаснее, что подрывает основы классовой культуры.

Величайшая духовность — существо ранимое, и она вынуждена скрываться за далекими от духовности формами. Пока будущего нет — это формы прошлого, нарочито неуместные, вызывающие отвращение у «нормальных» людей. Те же формы способны стать выражением душевной низости, разложения личности, превращения ее в слепое орудие в корыстных руках. Отличить это от любви можно по признаку утилитарности: то, что не ради чего-то и кого-либо, — зародыш разума, духовной свободы; капля рациональности — портит океаны чувств.

* * *

Любовь несравненна — в ней нет места торгу. Даже поэтическое уподобление — унизительно для настоящей любви. И если любовь на это не обижается — то лишь потому, что она несравненна и в своем великодушии...

* * *

Когда некого любить — пустоту называют богом.

* * *

Поскольку дух сам по себе не материален — выражать себя он может только посредством природных вещей, как характерная черта их (в остальном) естественного движения. Одни вещи заставляют другие вещи вести себя не как вещи, а как проявления разумности. В частности, любовь требует заняться чем-то помимо любви — и чем больше такой плоти, тем духовнее любовь.

* * *

Замена физического действия воображаемым — магистральное направление развитие разума. У животного намерение и действие совпадают. Человек может разделить их во времени и в пространстве, препоручить задуманное кому-то другому — или сделать абстракцией,

чистой виртуальностью, когда замысел исчерпывает тему и уже не нужно продолжать: мысленный эксперимент оснащает нас сознанием возможности, делает увереннее в себе.

Воображаемый секс удовлетворяет человека ничуть не хуже реального — не вовлекая в тысячи органических и социальных рисков. Секс как поэтический образ — бесконечно далек от животного акта, — и даже от его частично окультуренных, цивилизованных вариантов. Способность воплотить любовь в материальный процесс в конце концов перестает нуждаться в этом конкретном процессе — и человек может позволить себе помечтать о других, не застаиваться в развитии, не превращать страсть в пристрастие.

Точно так же, как мы воображаем себе плоды труда прежде чем приступить к труду, мы придумываем самих себя — и находим тех, кто умеет сделать нас именно такими. Это и есть любовь.

* * *

Ненависть — это любовь к тому, чего не может быть.

* * *

Две любви — почему бы и нет? Однако при этом неизбежно косвенное общение двух любимых — через любящего. Поскольку же настоящая любовь принимает любимого человека целиком, она не равнодушна и к тем, кого он любит. Разумеется, мы далеко не все одобляем, и без чего-то хотели бы обойтись, — но в любом случае это активность, заинтересованность, работа духа.

В простейшем случае — по видимости независимые движения, когда две любимые как бы сотрудничают, опосредуя духовный рост любимого — каждая по своему. Разумеется, такой вариант лишь для примера — и можно с тем же успехом говорить взаимоотношениях друга и любимой женщины, или о товарищеских чувствах любовников (или любовника и друга). Знают любимые друг о друге или нет — совершенно безразлично; точно так же, общественный характер производства соединяет в продукте усилия многих людей, иногда совершенно не знакомых между собой. Но утаить любовь — дело не простое, и чаще всего о другой любви быстро догадываются. На этом этапе начинается

косвенное взаимодействие любимых; в классовом обществе неизбежен оттенок соперничества — а когда уродливость классовой культуры заставляет выбирать только одно, отвергнутая страсть может перерасти в отрицание любви, в ненависть. Но это уже выходит за рамки духовности — разрушает, а не утверждает разум. Относительно мягкий вариант соперничества — соревнование, желание стать лучше «соперницы», первой и любимейшей. Косвенным образом, две любимые способствуют личностному развитию друг друга — и тем самым (втайне от себя) любят друг друга. Остается лишь освободиться от этого соперничества и открыто признать свою необходимость и ему, и ей; так возникает новый, более высокий уровень любви, союз трех свободных личностей, равно способствующий духовному развитию каждого. Это прототип всеобщей любви будущего.

* * *

В любви всегда присутствует элемент упоения — но он вовсе не обязан носить оргиастический характер. С другой стороны, по части восторгов органика заметно отстает от неорганического тела: полет вдохновения и экстаз творчества затмевают любые физиологические наслаждения. Но, точно так же, как постельные излишества убивают духовность, погоня за творческими успехами смертельна для любви. Нельзя насиливать собственную гениальность, превращать ее в «супружеские обязанности». В поэзии, в науке, в философии — нужна искра откровения: пусть это придет само — когда мы будем к этому готовы.

* * *

Память — кенотаф. Любовь — не дает умереть.

* * *

Разум — это свобода. Когда что-либо одно выдвигается на первый план и требует не координации сил, а подчинения, — это неразумно. Поэтому говорить о любви между разными уровнями субъекта (единичный и коллективный субъект, принадлежность к разным слоям,

культурам, поколениям) возможно лишь ограниченным образом, подразумевая общность иного порядка, снимающую все различия. Например, родители и дети (там, где такое различие вообще возможно) вполне могут любить друг друга — но не в качестве родителей или детей, а в силу индивидуально сложившейся духовной близости, в рамках совместной деятельности, которая для них остается трудом — не вырождается в работу; стоит вклиниться зависимости одних от других — любви конец. Точно так же, даже если я очень люблю конфеты, необходимость съесть все — превратит любовь в отвращение.

* * *

Друзья друзей не могут не быть друзьями; любовь соединяет всех.

* * *

Люди выражают себя для себя в терминах других людей — это слова нашего внутреннего языка. Поэтому молодежь (и не только девушки) тяготеет к взрослым, примеривает к ним незрелые идеалы. Взрослые заметно определеннее и разнообразнее — более богатый и выразительный язык. Сверстники для духовного производства — слишком рыхлый материал.

* * *

Обыденное сознание принимает эмпирическую данность как есть — и представляет любовь одним из ее проявлений. Отсюда странные вопросы: *как ты меня любишь?* *за что ты меня любишь?*... По той же причине другая любовь кажется неверностью, изменой — и приходится спрашивать, какая любовь больше.

* * *

У любви много ликов — и она несводима ни к одной из своих сторон. Однако в любом из обращений этой иерархии — принцип взаимности. Любовь невозможно просто дарить — надо, чтобы кому-то

мечталось принять дар. Любовь как забота (*caritas*) — предполагает наслаждение от заботы, жажду внимания. Даже незаметно любить, без ведома избранника, — нужно, чтобы избранник вел себя благосклонно к любви, допуская возможность именно такой любви.

* * *

Когда человек влюбляется — мир уходит в тень, и ничто в мире уже не важно, остается только любовь. Но тела инертны — и не сразу удается осознать огромность любви; иногда для этого надо пройти через смерть.

* * *

В классовом обществе любовь слишком часто принимает форму ненависти — и любить человечество может только убежденный мизантроп.

* * *

В любви мы не принадлежим друг другу — и не принадлежим себе. Поэтому просить нечего — все уже есть. Но любовь свободна просить, если ей так интереснее, — или отказать, не отнимая.

* * *

По своей сути, дух не зависит от вещей — и проявляется как особый способ их связи: разные вещи могут быть связаны *в том же духе*. Однако классовое общество ограничивает набор возможных связей, делает его заведомо неуниверсальным. В этих условиях любовь (как полное духовное слияние) может зарождаться лишь в форме *присвоения*, поглощения одного духа другим — что существенно ограничивает свободу любимого человека, возможность в полной мере проявить себя как личность. В каких-то случаях личности влюбленных достаточно близки, чтобы подобные ограничения не воспринимались как внешние, и дух любящих развивается как целое, свободно. Однако связь очень различных личностей путем взаимного присвоения невозможна; субъективно это выглядит как барьер, присутствие в духе партнера

закрытых зон — доступных кому-то другому, в других отношениях. Типично животная реакция на препятствие — фрустрация и агрессия. Характер препятствия тут не важен — на выходе то же самое. Классовая культура придает этой животности в отношениях людей традиционную форму — ревность.

Но человек, поскольку в нем есть капля разумности, может иначе реагировать на трудности — поступать разумно! Препятствие не приводит к торможению (фрустрации) — вместо этого деятельность развертывается в других направлениях, осваивает другие измерения духовности, меняет характер мотивации. А это и есть развитие личности. Даже в классовых формах такой «обходной маневр» позволяет выйти на те области духа партнера, которые в прежних границах были закрыты; тем самым любовь все-таки может устраниć отчуждение, восстановить духовное единство.

* * *

В любви два органических тела начинают вести себя как одно. Но это не просто синхронизация, а новое качество, субъективное ощущение, когда каждый из любящих как бы делает другого своей частью — и обратно, встраивает в другого себя. Единичная личность при этом не исчезает, не нивелируется; наоборот, она расширяется и представлена объединением культурных (органических и неорганических) тел — различие личностей лишь в смене ракурса, точки зрения (а с появлением ребенка возможно еще одно смещение ракурса, вывод за рамки прежних тел). Но если я чувствую другого в себе — это не зависит от того, где находится его органическое тело, и в каком состоянии. Я просто действую так, будто бы оно здесь, рядом, внутри моего тела. Можно знать о смерти — но не изменить любви.

* * *

В неживой природе — единичное тождественно целому: они просто определены друг через друга. Живое делает это соответствие живым: одно перетекает в другое, и возвращается обратно, — при сохранении различия. У человека — есть любовь, когда он соответствует не абстрактно всеобщему, а другому человеку, в котором это всеобщее

воплощается — но не для всех, а только для любящих. Но тем самым и всеобщая связь оказывается связью единичностей — и это завершает синтез, утверждает единство мира.

* * *

Любовь выводит человека из себя — открывает ему бесконечность.

* * *

Когда мы говорим об отношениях людей — это любовь. То же самое в отношении к личности — счастье. Но не просто проекция — снятие всеобщности в единичном, когда единичное становится всеобщим. Счастье в любви — универсально, оно не может не охватывать всего. Поэтому счастье не только в любви. Однако любая другая сторона свободы точно так же снимается в личности — и целое поворачивается другой гранью, не теряя универсальности, всеобщности.

* * *

Известная притча о соломоновом решении: матерью объявлена та, которая предпочла отказаться от ребенка — лишь бы оставить его в живых. Исходный, первобытный мотив — связь матери с ребенком, когда материнская любовь сильнее корысти. Это на уровне животной неразделимости самки и детеныша в первое время после отделения от материнского организма. Разумеется, и здесь любовь вносит корректизы, одухотворяет органику.

Но есть и другое толкование — ближе к современности. Ребенок как собственность — и как родное существо. Та, что согласилась с приказом разрубить дитя на две части, — не нуждается в ребенке как таковом: ей важно, чтобы имущество не досталось конкурентам. На другой чаше весов — желание растить и вывести в люди, человеческое отношение. Поэтому мудрость решения не в том, чтобы признать кровное родство, а чтобы передать ребенка в надежные руки, сделать его полноценным членом общества; это никоим образом не зависит от фактического происхождения — ибо есть матери, готовые убить свое дитя (вспомним о Медее), и есть посторонние, готовые помочь человеку.

Так старая притча становится выражением победы любви над рынком, духовности над расчетом.

* * *

Говорят о счастливой и несчастной любви. Казалось бы: как может любовь быть несчастной, когда она и есть счастье?

На самом деле — обычна для синкетического уровня путаница в (еще не сложившихся) понятиях. Счастье многогранно — любовь тоже. Если сопоставлять одну грань с другой — не обязательно склеится. Каждый человек будет связывать по-своему — развернет иерархию только ему доступным способом. В каком-то месте связка обязательно возникает — и тогда любовь осознается как счастье, и счастье в любви. Но развертывается иерархия не мгновенно — и темпы зависят не только от личных качеств, но и от общественно-исторического контекста, от состояния культуры в целом. Уродства классовой экономики могут задвинуть главное в тень, втянуть человека в борьбу за существование, когда ему будет не до высоких материй... Бывает, что на осознание счастья (или любви) не хватает жизни. Придется быть счастливым после, задним числом. Или влюбиться в чьей-то любви.

* * *

Человек сначала задумывает — потом производит. Вещи лишь воплощают идеи. Точно так же в любви: чтобы найти любимого надо сначала его полюбить.

* * *

Формы любви исторически конкретны: в каждом обществе (на каждой ступени его развития) складывается вполне определенный любовный «репертуар» — и этим одна культура отличается от другой. Разумеется, многое зависит от экономики: в процесса производства люди вписаны в производственные структуры — и умение освободиться от этой «предопределенности» приходит не сразу. С материальной стороны, характер участия в производстве определяет неорганическое тело; это ограничивает набор возможных воплощений духа — и

косвенным образом влияет на дух как таковой. Кроме того, производственные отношения дают как бы «заготовки» для личностных связей, шаблоны и стереотипы. Однако далеко не всякое ограничение свободы разрушает любовь. Если в культуре есть готовые строительные блоки — изобретать с нуля имеет смысл только в очень особых ситуациях; разумно использовать имеющееся везде, где это возможно. Точно так же поэт свободно использует метрику и твердые формы — намеренно «прогибает» стих под формальность; но на этом фоне заметнее художественная свобода — тогда как в абстракциях не всегда очевидна и художественность.

Рефлексия (духовное производство) не просто выделяет главное в действительности — это никому не нужно само по себе. В рефлексии мы прощупываем неизведанное, догадываемся о будущем — и заставляем себя стремиться к нему. В частности, представления о любви не обязаны соответствовать наличному строению культуры; всякая абстракция — лишь орудие труда, применять которое к исходным материалам можно по-разному.

Например, европейская логика (в лице Аристотеля) вырабатывает полезную абстракцию противоположности, полярности, — и уже можно ставить вопрос о взаимосвязи полюсов. Но тысячи лет до Аристотеля, и тысячи лет после, эта классическая форма вовсе не определяет характер действительного мышления, способы принятия решений. Даже в науке реальная логика развития не соответствует правилам оформления результатов — тем более далека идея полной противоположности от непрофессиональной рефлексии: нам гораздо привычнее судить об уровне совместимости или пригодности — и мы знаем, что идеальных вариантов нет, и готовы неидеальность как-то компенсировать. Точно так же, неидеальность идеальной схемы вполне годится, чтобы намечать приемлемые шаги, вроде бы следуя формальной логике — но с соответствующими поправками.

В частности — мы учимся отличать духовное от материального, любовь от расчета. Это очень непросто — но у нас есть сама идея различия, и мы можем хотя бы интуитивно оценивать и предполагать. Другие противоположности — притяжение и отталкивание, рост и убывание, изобилие и нищета; в общем случае — плюс и минус. Это позволяет сразу же выстроить мощный аппарат рассудочной любви, учитывать тончайшие нюансы. Разумеется не обязательно это делать явно — в духе Стендадя. Всех возможностей все равно не перечислить.

Универсальность систематики позволяет быстро развертывать ее под конкретный контекст — восстанавливать пропущенные звенья, или предугадывать еще не случившееся. Это вполне соответствует методу теоретической физики: есть уравнения движения, есть граничные условия, — и можно делать выводы.

Каждая противоположность выделяет особую историческую линию. Так, преобладание материального или духовного (или их особенное сочетание) в любви (или дружбе) может стать знаком определенной эпохи — или чертой относительно замкнутого социального слоя. Здесь тоже есть общая схема: *сингретизм* → *анализ* → *синтез*. Неотделимость материальных связей от духовных сменяется их противопоставлением, которое снято в единстве культуры: материальное и духовное уже не внешне противостоят друг другу, а оказываются сторонами всякой деятельности, ее внутренним строением. Соответственно — история любви вообще дополняется историей каждой единичной любви.

Такое (количественное) представление о любви закрепляется в строении культуры — и люди готовы воспринимать происходящее именно так; более того, они стараются так организовать свой быт, чтобы отклонения от схемы оставались в минимально допустимых пределах. Это вполне аналогично переходу от науки к инженерии — и обратно, к развитию прикладных наук.

И все же качественное разнообразие не сводится к комбинированию количеств. Всегда возможны непредставимые в полярных категориях, «случайные» формы; это не вопрос недостаточного знания — здесь сама суть дела: всякое качество возможно лишь в отношении к другим качествам — и это внешнее количественное отношение порождает шкалу выраженности качества, в границах противоположностей.

Любовь может проявляться в форме брака, в форме ненависти, в форме самоубийства... Практически любое отношение между людьми может стать формой любви. Иерархия этих форм — характерная черта каждой культурно-исторической формации. Единство, взаимовлияние духа и экономики позволяет и тому, и другому становиться источником новых качеств. Общая закономерность — перетекание от экономики к духовности и обратно — развитие друг через друга. Так меняются общественно закрепленные способы «оформления» любви. Например, разделение труда по половому признаку приводит к развертыванию иерархии отношений между полами — и возникают отрасли экономики, обслуживающие эти отношения, так что половая любовь опосредована

(например) традициями ухаживания и супружества, что меняет характер духовных связей — и ведет к новой перестройке экономики. Экономика накладывает социальные ограничения; ограниченность любви уродует экономику. Но любовь не умирает — и в конце концов снимает различия материи и духа — чтобы различать другое, на новом уровне.

* * *

Я ничего не требую, я все отдаю...

Привычная ложь.

Давать — это всегда и брать, использовать, вынуждать принять, делать получателем, и тем самым требовать соответствия роли — отдать себя взамен.

Не требовать — значит допускать саму возможность требований и льстить себе (могу — но не делаю!), и попрекать другого (мог бы догадаться — и предложить).

Это не любовь — это самолюбие. Иногда обостренное до боли.

А любовь — просто счастье бытия вместе, когда никому не нужно давать и требовать, потому что все и так для всех.

* * *

Любовь не для того, чтобы в нее верить.

Любовь — чтобы любить.

* * *

Библейская сказочка о грехопадении — одно из ранних прозрений человечества в поисках духовности — и любви. Любовь свободна — для нее нет никаких запретов и границ. Семья — сплошные запреты и границы, следование (писаному или неписаному) закону. Божий закон не исключение. Поэтому даже слабенькая искра любви в первобытных душах — отменяет начальственные указания, и человек вдруг узнает, что он способен на все, что нет для него в мире недоступного и чуждого, и надо только разумно распорядиться этим неожиданным изобилием.

Но мудрость сказки и в том, что разум не приходит извне — к нему надо долго и трудно идти; разум нельзя мгновенно «включить», просто

убрав табличку «вход воспрещен». Растительное существование — это легко; задуматься о сознательном переустройстве мира — акт великого мужества, начало духовной зрелости. И человек иногда пугается столь грандиозного труда, огромной ответственности — за всю вселенную! Пытается отступиться от разума, проклинает любовь, пытается загнать ее обратно в семейное рабство... Поздно. Неизбежное произошло — и остается только принять собственную разумность как должное — и постараться соответствовать своему вселенскому статусу, сметать любые барьеры, творить и любим. И быть достойным любви.

* * *

Он меня бросил... Она меня бросила...

Вы что — вешь?

Если можно подобрать — можно и бросить. Полюбить — заметить в человеке человека. И это уже не изменить, даже если тела начинают вести себя не по-людски. Любовь — неотъемлемая часть человека; как можно бросить самого себя? Если пренебречь какой-то телесностью — личность перейдет в другую плоть, и любовь не умрет. Застаиваться в одной и той же телесности — духовная смерть.

Он меня бросил... Она меня бросила...

Преувеличеннное внимание к себе — вместо поиска другого. Вы были в чьей-то судьбе — и никакой силой этого не изменить. Вы и *есть* он или она; противопоставляя себя себе, люди теряют себя. Если прошлое только память — будущее лишь иллюзия. Оставайтесь с любимыми навсегда — и не нужно возвращаться.

* * *

Пресловутая теория «стакана воды» — пустая абстракция, если не пояснить, что имеется в виду под «половой потребностью» (которую, якобы, должно быть легко удовлетворить). Если речь об оргазме — это во все времена было несложно: минимум телодвижений. Если же вдруг приспичило вовлечь в это кого-то еще — это уже не половая потребность, а общественный вопрос, который придется решать столь же общественными движениями (в деятельности и общении). Сумеете вы убедить партнеров — флаг в руки. Не сумеете — извольте

воздерживаться — иначе это уже будет не удовлетворение потребности, а насилие, деяние заведомо антиобщественное. Но то же самое безо всяких изменений переносится на что угодно — и собственно половой вопрос за скобками.

* * *

Я люблю тебя, ты любишь меня. Если мое тело умрет — я буду жить в твоем. И наоборот. Кто никого не любит — умирает насовсем. Но в далеком будущем все любят всех — и смерти больше нет.

* * *

Ленинская тактика запрета базара в рядах партии — от убожества, от нищеты. Мотивация обычна: разбазаривание средств и сил. Когда средства и силы есть — и щедрость не грех. Когда человек мечтает и любит без отрыва от коммунистического строительства — что в этом предосудительного? Есть риск, что изменится расстановка приоритетов, и на первый план выдвинутся вопросы духовного порядка — хотя бы и не в ущерб экономике. С точки зрения буржуя — это другая партия. Разумному человечеству — все едино, а кусочек любви только в плюс.

* * *

Естественный язык — сплошная путаница, смешение догадок и предрассудков. Однако именно эта эклектика позволяет отыскивать точки соприкосновения в живом разговоре. Казенная лексика ученых трактатов — превращает путаницу в надувательство, пропаганду, войну мнений — вместо плодотворного сотрудничества. Наукообразие в любви — печальнейший исход: предрассудок возводят в абсолют.

В переводе с латинского, *объект* — то, что поставлено напротив; точная калька — русское *предмет*. Трактаты о любви пестрят ссылками на ее «объект» — и тем самым заранее предполагают внешнюю противопоставленность любящих, тогда как в любви они неразделимы. Любящий отличается от любимого не телесно, а как другая сторона того же самого, взгляд в новом ракурсе (то, что мы называем обращением иерархии). В каком-то смысле соединение капиталов при вступлении в

брак — классовый (извращенный) аналог слияния неорганических тел влюбленных, символический половой акт (как у дикарей: дефлорация). Другими словами, формальное разделение плоти любящих — чисто внешнее впечатление, обывательская привычка, классовая традиция. Вместо духовного отношения — отношение тел. Вполне логично, что их единство кажется тогда совершенно мистическим, необъяснимым.

Точно так же, слово *субъект* употребимо в разговорах о любви лишь в очень условном и ограниченном смысле. Буквально: одно поставили под другим. И западные писатели зачастую именно это имеют в виду. Язык не различает подлежащее в предложении — и подданство (по-французски это одинаково: *sujet*). Как тема разговора — субъект (*subject*) совершенно не отличается от предмета (*object*), а субъективное предпочтение (*subjective*) тождественно общей цели (*objective*).

Но в любви так не бывает. Никто ничему там не подчиняется, и речь не о ком-то постороннем, а о себе — точнее, о нас. Субъект — полномочный представитель мира в целом, а вовсе не одно из его порождений. Это не тема разговора — это деятельность, оккультурирование мира. Как выражение его собственного стремления оккультуриться, привести себя к единству. Нет для этого подходящих слов — поэтому используем не очень подходящие. Ни одно слово не вместит всего — поэтому говорим по-разному в разных местах и в разное время. Мы не хотим подчиняться языку — мы делаем его инструментом любви, но не ограничиваемся разговорами: любовь — то, что делают.

* * *

Восторги по поводу красоты возлюбленных — чуть ли не древнее самой любви! На ранних этапах это своего рода индикатор присутствия любви — хотя отличить эстетику от логики или этики большинство не умеет до сих пор, и потому любое предпочтение можно обозначить чем угодно. Например, красотой — или истиной — или идеалом. На излете средневековья человеческие отношения мистифицируют — и знак выдают за обозначаемое. В результате любовь сводится к одной из сторон — представляется всего лишь тягой к прекрасному, в которое все еще синкретически вплетены интеллект и благородство. А как только поставлен предел качеству — на авансцене количественные различия, когда любование другим есть в то же время принижение себя, и (как у Леона Эбрео) чем больше разница — тем выше любовь (и бесконечна

только любовь к богу). Отношение к красоте — чисто рыночное: если у кого-то оно есть — это надо присвоить, всеми правдами и неправдами. Святоши и торгаши — в полной гармонии.

Оказывается, что прекрасное — категория классовая. В мире, где одни противопоставлены другим как господа и рабы (даже беззаветно преданные и гордые своим служением), все сравнимо в единой шкале, где (по Аристотелю) бывает много или мало — а лучше когда в самый раз. Глупо оспаривать мнения — но в вопросах истинной веры нет компромиссов, и одни вправе предписывать другим правильность или гуманность. За скепсис в отношении обожаемого предмета — морду бьют. И это нормально — потому что только так может классовый человек обнаружить в себе искру разума и обнаружить себя как разум.

В классовом обществе — любовь существует в классовых формах. Поскольку же ей безразличны партийные склоки, она равно выбирает и одних, и других, — и знакома людям под разными именами. И если одни призывают любить прекрасное и возвышенное — другие возражают, что в любви нет безобразного или низменного, что она все облагораживает и одухотворяет. У каждого своя правота. После секса можно любоваться партнером, замечая в нем поразительно человеческие черты, отблески чего-то неземного. Но бывает и наоборот: очень хотелось — а после разлетелось. Важно, что от всего этого останется в человеческой культуре — чем она от таких неожиданностей людям откроется.

Привлекательность — один из инструментов разума, наряду с прочими телесными отправлениями. Конечно, наша универсальность позволяет (и требует) во всем найти какие-то интересности. Однако приводить в движение наши тела (органические и прочие) в каждый момент приходится вполне определенным способом — и вовсе не обязательно об этом старательно размышлять: иной раз достаточно первого взгляда. Существенно, что такие внешние связи не сами по себе, а как выражение духовности. В любви это не только духовность партнера — но и дух любящего; нечто подобное происходит, когда мы любимся «красотами природы»: на самом деле никакой красоты в природе нет — а есть наше отношение, наш способ воспринимать природу — и тем самым уже преобразовывать, одухотворять ее. Что заметил еще Марсилио Фичино:

Ведь хотя мы и говорим, что некоторые тела изящны, однако они изящны не благодаря своей материи...

... из этого следует, что любовь направлена на нечто бестелесное.

Мы общаемся не с телом, а с личностью, с творческим духом — мы становимся им в каком-то отношении, и он проникает в нас. Пошлая академическая байка: влюбленные склонны «приукрашивать» любимых; вздор! — не украшательство, а поиск красоты — и когда она найдена, она для всех.

У живых организмов есть физиологическое средство — всего лишь особенность метаболизма. У высших животных органические движения выносятся вовне, и органика начинает обслуживать психику; животные умеют активно относиться друг к другу — влечение и отторжение. Далеко не всегда это сводится к этологической иерархии; например, у кошек взаимоотношения (и отношение к людям) очень индивидуальны. Отличие от человека — не в безотчетности как таковой, а в ее стихийной власти, принципиальной бесконтрольности, непреодолимости тяги или отвращения. Человек способен любой органический процесс осознать, перенаправить, подчинить сознательной деятельности; в американской психотерапии, например, преодоление влечения или отвращения — обычная клиническая практика. Анекдотический вариант: как только выясняется, что у какой-нибудь дурнушки (или морального урода) в перспективе солидный капитал — она (или он) тут же становится блестящей партией, и былое презрение уступает место искреннему восхищению.

Животных заставляет сближаться физиология пола. У человека она отходит на десятый план. Возрожденческая мистификация красоты оказывается, таким образом, промежуточной ступенью между любовью древности, опирающейся главным образом на биологические тела, — и любовью будущего, представленной неорганическим телом, богатством общественно-культурных связей. Красота была знаком любви — потом стала ее символом; следующий шаг — осознать духовность самих знаков и символов, для которой эротика становится лишь одним из возможных воплощений. Когда красоты капля — она обращает на себя внимание; посреди океана красоты — ее идея растворяется в чем-то другом, что успело забыть о всеобщей дележке и борьбе за существование.

* * *

Замкнутые системы приходят в состояние равновесия (или, по крайней мере, асимптотически приближаются к нему). Запустить процесс заново — нужен внешний толчок. Однако люди не привыкли

ждать милостей от природы — они умеют заставлять ее подталкивать их. Дернули за ниточки — и можно снова любоваться прихотливыми узорами.

В любви один из таких «физических» методов — свободный секс. Не сам по себе, а как средство поиска собственной духовности. Бросающийся в глаза контраст природы и духа, способ почувствовать себе человеком, неприродным существом.

* * *

Идеал куртуазной любви полностью отделяет ее от постельных дел (если не на практике, то хотя бы в идее). Поэтому возникает особое отношение к браку и сожительству: этой грязной материи достаются вожделения плоти и рыночные интересы — чтобы душа могла свободно развлекаться обожанием кого-то неземного. Через сотни лет — точное воспроизведение той же схемы в литературе нового времени (например, у Флобера — *Воспитание чувств*); в XX веке иметь две связи для разных нужд — обычная практика; к XXI веку «плотоядность» встала на прочные коммерческие рельсы и брак обрастает побочными связями на контрактной основе; при этом представления о «сентиментальной» любви практически вытеснены из быта «деловых» людей — и перемещаются в жвачные сериалы ни о чем (по сравнению с которыми «неудача» Флобера — литературный шедевр).

Сама идея двух любовей (небесной и земной) — продолжение все той же линии на классовое разделение труда, и возрождение дуализма в капиталистических реалиях есть явление совершенно закономерное. Аналогично противопоставление романтической дружбы товариществу в разных вариантах воспроизводится сквозь века. Классовая культура просто не предоставляет разумных форм бытования любви — и чувства всегда в разладе с (далеким от разума) рыночным рационализмом.

* * *

Когда (по старинной классовой привычке) любовь увязывают с красотой, благом или истиной — это автоматически запускает процесс приобщения, освоения, а иногда и переоценки ценностей. Как обычно: окружающая среда — и выживание. И можно сравнивать разные

любови, и делить на «высшие» и «низшие», небесные и вульгарные... Вместо того, что сделать каждую любовь свободной и неповторимой.

* * *

Религиозная традиция различает уровни веры: одно дело просто верить в существование чего-то божественного; совсем другое — убедиться в божественности, постичь ее и замечать вокруг. Еще выше — слияние с богом, религиозный экстаз. Однако полное воссоединение возможно лишь после освобождения от бренных тел.

Нечто подобное обычно рассказывают и о любви. Сначала — лишь предчувствие, ожидание чуда. Потом влюбленности и флирт. После — бурные романы. Наконец — у некоторых — осознание духовности, которой больше не нужны тела.

* * *

Традиционная (обывательская) мораль рисует отца главой семьи, строгим и справедливым боженкой — который может снисходительно возиться с детенышами, и даже пошалить, — но не теряя дистанции. Нечто подобное мы видим, например, в воспоминаниях Лилиной: ее стараниями родился пресловутый советский миф о «дедушке Ленине». Иная роль у матери: она олицетворяет мещанский идеал нежной привязанности. Предполагается, что мать души не чаит в своих чадах — и всегда готова прикрыть крыльышком. В извращенно-классовой форме эта модель выражает реальное строение культуры: экономические взаимосвязи и духовное общение — две стороны межсубъектных отношений, которые классовое общество, следя принципу всеобщего разделения труда, разводит по противоположным углам ринга.

Патриархальная моногамия (которую буржуазная пропаганда объявляет единственно правильной формой семьи) экономически подчиняет жену мужу (даже если тот привык быть «под каблуком»). Парадоксальным образом, это приводит к зависимости матери и от сыновей (а если их нет — женщина, по понятиям, неполноценна). Действительно, хотя ребенка не считают человеком до формального совершеннолетия, он в перспективе наследник и полновластный хозяин, заручиться расположением которого было бы полезно. «Материнское

чувство» поэтому в немалой степени носит характер заискивания, демонстрации уважения к семейной иерархии. Дети это прекрасно чувствуют — и помыкают матерью куда вольнее. При всем изобилии кажущихся исключений, система существует не одно тысячелетие — и даже завзятые либертины не рискуют посягнуть на принцип, остаются лишь исключением в поддержку правила.

Как водится, особое положение матери оправдывают мерзостями биологии размножения: много месяцев таскать дитя внутри, а потом много лет на шее — это, вроде бы, чисто природное предназначение женщины, ее высшая миссия... Психология матери — якобы встроена в женский организм, стала непреодолимым материнским инстинктом. После этого нам будут говорить про материнскую любовь! В любви человек свободен — а детей женщина тянет не по своей воле; здесь она даже не наемный работник, а просто рабыня. Указанием свыше, супруги обязаны «любить» друг друга, а женщина обязана «любить» детей. Любовь к начальству, правда, несколько иного характера, нежели барская снисходительность. Покорность и раболепие воспитывают в классовых людях с нежнейших лет, а то и до зачатия.

Дальше два пути: либо вконец оскотиниться и поверить в свою животность как единственную и привлекательную перспективу — либо прятать человеческие качества за уродством бытия, отгородиться от мира его же средствами. В первом случае — убежденная «яжемать», беззастенчиво использующая детей в качестве средства выбрать из партнеров по семейному бизнесу какие ни на есть преимущества: привязать (или повязать) супруга, установить планку внесемейных расходов, поиметь положенные (и не положенные) субсидии и льготы. По видимости (для правоверного обывателя) — это образцовая мать, достойная высочайшего уважения и даже наград; буржуазная пресса обожает такие картинки — для промывания мозгов самое оно.

Но человек — поскольку он остается человеком — не может без любви. Отсюда искренние попытки усмотреть в семейной иерархии не только экономическую основу — но и духовное соприкосновение. Поэтому женщина иногда способна любить мужчину — несмотря на их формальные роли, вопреки уродству традиций. Точно так же, человек может заметить в ребенке человека — и не диктовать ему свою волю, не обучать и не воспитывать, — а по-человечески общаться, помогать ребенку найти свой, неповторимый путь, тем самым пропитываясь этой неповторимостью и осознавая себя как личность (а не экономическую

единицу, и тем более не особь биологического вида). Такая любовь — как и положено любви — взаимна; там, где дети хоть немножечко любят родителей — нет ни материнских, ни отцовских чувств — а есть разум, свобода, человеческое достоинство.

* * *

Куртуазность в искусстве (и в жизни) обычно лишь принимают как эмпирический факт, необъяснимый казус истории европейских культур. Дескать, это всего лишь игра знатных особ — а остальные старательно подражают... Почему им захотелось играть именно так? Случайная прихоть, мода. Чистейший субъективизм.

Некоторых поверхностные наблюдения не устраивают — но взамен могут предложить только политику; как правило, речь о противостоянии светской культуры и церкви — и опять субъективно, на уровне стихийного протesta, от бравады и упрямой поперечности.

Такая наука — в русле пошлой статистики, способной нарисовать какой угодно график в интересах влиятельного спонсора. Точно так же, маниакальные экологи пугают население якобы разительными (и якобы антропогенными) изменениями климата — и остается осадок в умах, интеллектуальный шлак, из-за которого здравомыслию просто не на чем произрастать. Ежедневное измерение десятка погодных показателей — ни на йоту не приближает нас к пониманию динамики атмосферы; делать на столь шаткой основе какие-либо предсказания — из области азартных игр, нумерологии или хиромантии (бизнес на глупой доверчивости).

Даже если увязать средневековую (а потом и возрожденческую) любовь с этапами развития экономики — это еще одно эмпирическое соответствие, или абстрактный постулат. Разновидность гадания.

Всерьез обсуждать исторические сдвиги возможно лишь там, где уже выработано представление о направленности развития; тогда факты осмысленны — сопоставлены с деятельностью (и становятся фактами как таковыми, продуктами рефлексии, плотью теорий). Разумный подход к чему угодно — не созерцание, а действие: мы знаем, чего хотим, — и выстраиваем наши взаимоотношения с природой исходя из этого. История в этом плане ничем не отличается от физики или метеорологии. Луч света, более двух с половиной миллионов лет назад испущенный звездой в Туманности Андромеды — для сегодняшних нас совершенно такой же исторический документ, как стихи трубадуров или

миннезингеров, как сотню раз подделанный в разных поколениях текст «хроники» или «закона» — за которым только предстоит усмотреть интересующие нас детали.

Само определение человеческой (разумной) деятельности как универсальной рефлексии, как всеобъемлющего отношения мира к самому себе, — предполагает свободу, снятие любых ограничений как в производственной сфере — так и в общении. В этом контексте, события истории духа — не просто следствие экономических сдвигов, а своего рода заглядывание вперед, подготовка революционных переворотов в экономике. Точно так же, куртуазная струя — одно из выражений перехода к новому типу личностных взаимосвязей, не подверженному формальной регуляции, снимающему любые внешние опосредования. Такое единство личностей мы называем любовью.

Разумеется, возникнуть сразу в готовом виде человеческая любовь не может — ее надо растить веками. Каждая историческая эпоха становится одним из этапов развертывания целого, становлением частичной свободы, лишь отдаленно напоминающей универсальность. Следуя своим намерениям, мы осознаем деятельность — но не свое место в ней, развитие самосознания — особая деятельность. Мы замечаем исторические события и поступки людей — но их смысл дойдет до нас лишь после выполнения исторической задачи, когда мы дорастем до собственного продукта, новой духовности. Засилье эмпирионатурализа — показатель незрелости духа, неумения любить. Поэтому трудно ожидать от нас сегодняшних особой точности в изображении куртуазного прошлого: внешние проявления — полог тайны. А за ним — любовь.

* * *

Пять признаков любви по Энгельсу — хорошая основа и для философии единичностей, картина онтогенеза. В плане восприятия — известная триада гегелевской логики:

синкремизм → анализ → синтез

Если совсем прямолинейно: первое впечатление о другом человеке — сразу приобретает оттенок предпочтительности, симпатии, склонности. Откуда? Пока неясно — просто такое чувство. Но именно чувство — то есть, нечто культурно опосредованное, а не просто отражение качеств

объекта. Непосредственность здесь кажущаяся, а в глубине — снятый исторический опыт.

Однако это лишь начало пути. Мы присматриваемся к своим симпатиям — как бы проверяем их на прочность, приписывая их причину какой-то из сторон нашей взаимосвязи, — так что их знаками теперь служат самые настоящие объекты, части органического и неорганического тела. Эта аналитическая стадия позволяет, с одной стороны, обнаружить много общего — но кроме того дает представление о различии, тем самым обрисовывая направления духовного роста. Важно, что при этом другой человек воспринимается как личность — а не просто объект, возможность деятельности. Застаивание на стадии анализа приводит к (известному из общей психологии) смещению мотива на цель: другой воспринимается как совокупность вещей — знаки и символы приобрели самоценность, вытеснили человеческий интерес. Любовь умерла не родившись.

Уровень синтеза как раз и соответствует осознанию отличности человека от любых его телесных воплощений — восприятию духа. Поскольку опосредование вещами выпадает — снова непосредственная связь, но уже не внешним образом, не синкретически — а во всем богатстве совместной деятельности и общения. Другой не просто интересен мне — он часть меня, как я стал его неотъемлемой частью. Такой духовный рост, взаимное одухотворение, и есть любовь. Каждый из нас становится другим — и тем самым становится собой.

Логическая последовательность допускает разные хронологии. Так, каждая из стадий может протекать годами — и люди лишь к концу жизни обнаруживают, что это любовь. А иногда вообще не догадываются — за них это делают другие. Другой предельный случай — любовь с первого взгляда: срашивание сразу, по всем параметрам, по всем способам бытия. Такое возможно лишь там, где есть общественно-культурные предпосылки, способствующие совместному участию в очень широком круге деятельности: с одной стороны — воспитанная в каждом из любящих совместимость, духовное родство; другая сторона — взаимная дополнительность, полярность, чувство невозможности быть друг без друга. Но бывают и динамичные варианты, когда последовательность стадий пролетает мгновенно — однако лишь в одном из отношений, и потому возобновляется снова и снова, захватывая все новые грани духа; такая любовь может быть очень бурной — и даже казаться враждой, несовместимостью.

Конечно, взаимовосприятие — лишь одна из граней. Та же логика обнаруживается и в способах формирования идеалов, представлений о любимом. Точно так же развиваются и формы проявления любви. Все это вместе и создает тонкое кружево уникальности, без которого невозможна никакая любовь.

* * *

Стремление помочь и защитить — традиционно считается одним из важнейших проявлений человечности. Относиться к этому можно по-разному — в том числе и с долей цинизма: самоутверждение за чужой счет — или надежда самому найти поддержку в трудный час.

Классовая основа такого «гуманизма» очевидна: предполагается, что у человека есть нечто, принадлежащее лично ему, — и чем он может с кем-то поделиться (хотя, в принципе, не обязан). Беззащитность и возможность защитить — выражение общественного неравенства. Там, где любой продукт остается общественным, — вопрос о предоставлении себя в чье-то распоряжение вообще не встает, ибо свободный доступ ко всему объему материальной и духовной культуры изначально предполагается и не может стать актом личной воли: если мои способности кому-то необходимы, я просто не могу не предоставить их тем, кому они на данный момент нужнее. Ничто в таком человеке не принадлежит ни лично ему, ни обществу в целом (как коллективному собственнику). Люди просто используют наличные ресурсы для решения насущных задач, руководствуясь только разумом.

Тем не менее, в извращенно-классовой форме есть и разумное содержание. Любовь как духовное общение, как отношение личностей, есть главный (и единственный) путь к духовности: без любви — нет личности; вне любви — нет собственно человеческого в человеке. Чувство нужности — один из оттенков самосознания; ненужность — индикатор неразумности, мотив заняться поиском себя. Классовое общество отчуждает любовь от человека, превращает ее в акт обмена, создает иллюзию благодеяния и требует признательности. Свободное общение превращается во взаимную зависимость и легко переходит в жестокую тиранию. Напротив, разумный человек понимает, что нет ничего, что он мог бы сделать сам, — и потому то, что в классовом обществе расценивают как помочь, есть на самом деле совместное действия для достижения общей цели, одинаково необходимое всем

участникам, ставшее частью их личности. Человек не потому чувствует себя человеком, что поступает по-человечески, — он поступает как человек, потому что чувствует себя человеком.

Приятно любить покорное и послушное, что отзывается на каждое желание и этим вызывает желание. Когда нет иных возможностей — любовь умеет спрятаться и за этой, собственнической чувственностью. Но суть любви в том, чтобы устраниТЬ саму возможность различий, добиться равной доступности всего всем. Тогда никто не нуждается в помощи — и не нужно никого защищать.

* * *

Помимо экономических факторов и морального давления, молодых затягивает в семью своего рода эскапизм, попытка уйти от уродств большого мира в построенный своими руками и по своему разумению семейный мирок. С одной стороны, таким (извращенным) способом в классовом обществе проявляется назначение разума — преобразование мира, переделка его под человеческие потребности; сродни этому всевозможные увлечения, пристрастия, привычки, — и даже глубокий профессионализм. В значительной мере, занятия искусством, наукой или философией — способ отрешиться от неприглядности мирских забот.

Субъективно, допускают саму возможность отличить внутреннее от внешнего — и неизбежность противопоставления этих областей бытия и личности. И следовательно, потребность обустройства границ.

Это мотив часто скрывается под маской великой любви — которая на поверку оказывается не принятием в себя другого, а использованием другого для защиты от других. Если одна личность изначально отделена от другой — она может стать только объектом; самое большее — строительным материалом для стен. Единственный шанс соединить усилия — быть одним целым «по природе», в силу мистического сродства, которому нередко и приписывают любовь.

В какой-то мере любовь сохранена и в этих, вещных отношениях; точно так же, мы не можем обойтись без любимой игрушки — и с ее гибелью теряем часть себя. Более того, такая любовь может быть взаимной — но она слепа, ибо каждый видит в другом не его личность, а его функцию.

Но личность нельзя запереть в сколь угодно прочных стенах. Дух умеет проходить сквозь стены — и обязательно обнаруживает себя в том

самом враждебном мире, от которого его пытались уберечь. Точно так же, дух проникает и внутрь застенков — и это оказывается для их обитателей иногда досадной неприятностью, иногда потрясением основ. Оказывается, что оборонительные сооружения легко уязвимы — и тогда строитель сам рушит стены и бравирует показной беззащитностью, которая на поверку оказывается еще одной стеной — и так без конца.

Браки, заключенные на небесах, ничем не разумнее скрепленных расчетом или традицией: в любом случае — перед нами заключенные, заведомо ущемленные существа — а вовсе не строители миров. Если же выстроенные ими стены слишком прочны — оставшуюся после ухода любви пустоту заполнить нечем, и бездуховные тела мечутся взаперти, болезненно натыкаясь друг на друга; это тень любви, ненависть.

* * *

Дух вне пространства и времени — и любовь соединяет людей через любые пространства и времена. Даже если им не сужено узнать друг друга. Цепочка опосредований тянется от одного к другому — и вовсе не требуется все это документально подтверждать, привязывать к вещам или телам. В этом великая скромность любви.

* * *

Как проникновения одной личности в другую, слияние одного духа с другим, любовь соединяет разумных людей в человечество, — а в историческом плане она скрепляет связь поколений. На уровне культуры в целом это выглядит в количественном плане как накопленное за тысячелетия духовное наследие, а качественно — как смена культур, исторический прогресс. Когда груз прошлого чересчур тяжек — пора что-то менять; чтобы осознать себя новом качестве — надо заново открыть для себя ранее отвергнутое.

В классовом обществе такого рода связи закреплены в строении культуры и воспроизводятся как часть духовного продукта. История разваливается на хаос индивидуальных историй — и вместо единства разума удается усмотреть лишь отдельные связи, внешнее соединение одной единичности с другой. Любовь оказывается частным делом — новая личность рождается как продукт этой частной любви, а не как

изначально общественный продукт. В этом ограниченном контексте поколения формально отделены друг от друга (и связаны друг с другом) как родители и дети; связь поколений тогда выражена в идее любви родителей и детей.

Любовь родителей друг к другу как духовное единство поначалу обнаруживает это единство лишь синкретично, как особый уровень личности каждого из любящих. На следующей (аналитической) стадии это единство становится культурным фактом как особый дух, личность ребенка, которая все больше обособляется от личностей родителей, сохраняя тем не менее неразрывную связь с ними, оставаясь их частью и вбирая их в себя как внутренние уровни. Такое присутствие личностей друг в друге мы и называем любовью. В аналитической форме эта любовь предполагает различие материальных носителей, воплощений духа. Типичный случай — формальное рождение ребенка в половой любви; на это новое тело легко проецируются возникшие задолго до его рождения общественные отношения, и классовый человек привык отождествлять себя и других с органическими телами — так что и фактическое рождение новой личности увязывают с физиологической формальностью. Однако любовь не сводится к половой любви — поэтому возможны сколь угодно разнообразные воплощения ее продукта, личности ребенка. В частности, она может так и остаться совокупностью общественных отношений, для которой нет вещного представителя; в определенных общественно-экономических условиях такая «виртуальная» личность может ассоциироваться с материальными телами — и возможно телесное «рождение» (воплощение) вне связи с местонахождением или временем жизни родителей. Попсовые историки любят спекулировать на тему предполагаемого родства известных персонажей, о тайных связях и побочных детях... Сама возможность таких спекуляций — одно из выражений независимости духа от его воплощений.

В отношении к плоти, родители и дети сохраняют индивидуальность и существуют как бы сами по себе. Формальные связи устанавливаются одним из принятых в каждой конкретной культуре способов (например, в форме общественного мнения — или легализации родства). Такие отношения вовсе не обязательно отвечают действительному положению дел — и от видимой непохожести возникают обывательские подозрения насчет похождений на стороне; нетипичность характеров литераторы с древнейших времен приписывают «благородному» (или «низкому»)

происхождению. Однако духовные связи часто бывают не очевидны — и духовные корни личности остаются ее сокровенной тайной (что дает иной раз повод приплести и божье вмешательство).

Но допустим, что дети знают своих родителей, и наоборот. Наличие духовного единства (любви) вовсе не предполагает всеобщей гармонии и полного взаимопонимания. Иногда единство проявляется в форме противоположности, отторжения наследия предков (хотя, как правило, в зрелых годах многие бунтари осознают унаследованную мудрость). Даже и в этом случае утрата одного из родителей переживается именно как утрата, как душевная рана, — и след остается навсегда. Разумеется, мы говорим о духовном, а не о формальном родстве. У личности может быть много «родителей» — и каждый человек может оставить след в сотнях душ (вплоть до культурно-исторической памяти человечества). Чем свободней человек — тем шире круг взаимных влияний, тем больше личность. В идеале, каждый интересен всем — и само понятие родства снимается, становится неуместным.

Обращение иерархии личности (движение духа) выводит на первый план то одни общественные взаимосвязи, то другие; в частности, любовь к родителям или детям может спрятаться где-то в глубине — и всплывать лишь в исключительных обстоятельствах, требующих не только формальной реакции, но и глубокого переживания и осмысливания. Связь поколений иногда становится лишь фоном, остается на периферии индивидуального сознания — и обнаруживает себя только при взгляде со стороны. В разумном, бесклассовом обществе само сопоставление поколений становится условностью — все люди одинаково свободны, и глупо обсуждать личные качества или возраст. Сохранение исторической преемственности на одном уровне иерархии допускает очень разные сценарии на другом. Культурное пространство отличается от культурного времени — но лишь в определенной шкале, одной из возможных «систем отсчета». Что общего между ними? Только любовь.

* * *

Фрейд шутит, что любовь — это тоска по родине. Тогда девичей любви вообще нет — а женскую любовь приходится трактовать как рецидив синдрома *post partum*... Все вместе — напоминает попытку отменить кем-то когда-то содеянное: *мама, роди меня обратно!* Невротики-мужчины испытывают ужас перед женской промежностью

из-за страха быть «проглоченными», возвращенными в пренатальное состояние — то есть, суть ужасного та же, что всегда: риск (хотя бы воображаемый) утраты разума. Аналогично женские неврозы на почве пола можно трактовать как память о былой беспомощности, утрате разумного контроля над биологическим телом (к которому нас с детства привязывает неразумно устроенное общество).

Если от юмора перейти к человеческим отношениям — оттенок восстановления (или, скорее, обнаружения) изначального единства в любви, конечно же, присутствует: людей влечет друг к другу духовное родство и чувство взаимной дополнительности. Все это существует как совокупность общественных отношений почти независимо от органики или возможности непосредственного контакта. В принципе, каждый мог бы существовать отдельно — и межличностные связи уйдут вглубь иерархии, выдвигая на передний план что-нибудь не менее насущное. Любящие могут вообще ничего не знать друг о друге — но в них живет предчувствие любви, внутренняя готовность любить и быть любимыми. Состояние всем известное — и только в очень грубой компании станут приписывать это физиологическому созреванию. В таком понимании разные формы любви ничем принципиально не различаются — и половые органы, по большей части, совершенно ни при чем.

Вероятно, речь идет не о любви как таковой, а о ее материализации, когда уже возникшие духовные связи требуется представить формами совместной деятельности. Подобрать из имеющегося в культуре арсенала именно то, что выражает единство любящих. Если такая деятельность использует физиологию пола — получается половая любовь. Но возможностей много — и становится все больше по мере развития культуры. Но может случиться, что ничего готового пока нет. Тогда любовь предстоит строить — и здесь простор как для творческих поисков, так и для исторических веяний. Если начать с внешности, с телесной оболочки — легко ошибиться и разочароваться. Разумный подход — искать универсальность: не сводить все к одному, а собирать одно из всего, складывать мозаику, образ любимого. Метод проб и ошибок в этом контексте становится осмысленным — но, опять же, наряду с другими, а не как прямолинейная однозначность.

Когда человек знает, чего хочет, и свободен в выборе средств — ничего опасного и пугающего в любви нет. Только классовый человек способен вообразить утрату себя при растворении в любви: отдельность, отчужденность людей друг от друга — типичная черта классового

сознания, а там, где меж людьми нет никаких барьеров — не требуется ничего отдавать или приобретать, и духовность каждого доступна всем. С другой стороны, любовь как радость совместного творчества уже не ждет всплесков экстаза, а согревает всех всегда доступным и надежным теплом (что, конечно, не исключает ни восторга, ни вдохновения). Невротические страхи там, где людей загоняют в клетки, растаскивают по углам и натравливают друг на друга; преодоление этой дикости и есть любовь.

* * *

В разные эпохи слово говорит о разном. А когда говорят о любви, чаще всего имеют в виду что-то другое. Не надо верить словам. Но и не верить не надо. Разумно относиться к материю.

* * *

Обычно полагают, что человека привлекает внешность другого — и только потом уже завязываются глубинные связи. Но человеку может быть интересен только человек — а природные явления сами по себе нейтральны, и лишь творческое к ним отношение способно сделать их интересными. А человек проявляет себя только в деятельности — он и есть деятельность! Следовательно, привлекает не внешность, а манера вести себя, способ деятельности. Если это отвечает нашему характеру, попадает в резонанс с нашей деятельностью — нам хорошо вместе.

Деятельностей много — и любая годится, чтобы судить о возможной близости. В частности, одно из обыденнейших занятий — уход за телом, способ сдерживать его и встраивать в дела. Обращая внимание на внешность, мы догадываемся о духовной основе, на которой так или иначе держится все остальное. Внешность — продукт деятельности, и она интересна вложенным в нее трудом: где налицо творческое отношение, там есть шанс совместного творчества — а иначе никаких перспектив. Разумеется, речь не об интенсивной обработке органики — иногда это говорит как раз о противоположном: о пошлой безвкусице, следовании трафаретам, невнимании к себе — когда думают не о теле, а об эффектности. Поддерживая тонус мышц в разумных пределах — мы обнаруживаем разум; накачивать мышцы (или выстраивать фигуру)

ради публичной демонстрации — значит, тешить тщеславие, оставаться полуживотным. То же самое — о других продуктах, от вскопанного огорода до музыки, живописи, или научной теории. Привлекает то, что не заботится о привлекательности; любят того, кто не только в любви.

* * *

Любимые несравненны — потому что никакое сравнение неуместно в любви. Сравнивают вещи — потому что они различены внешним образом, смотрят друг на друга со стороны. А любящий и любимый — одно, и любые различия возможны лишь как внутреннее движение, блики настроений, игра. Один дух не рядом с другим — один в другом. Вместе они — весь мир. А мир только один — и сравнивать его не с чем.

Влюбленным не нужно доказывать свою исключительность — они тождественны ей, ничего другого просто нет. Поэтому любовь щедра, она не знает ревности — и в другой любви видит лишь себя. Иначе получится как в английском анекдоте:

— Are the mine the only lips you have kissed?
— Yes, and they are the sweetest of all.

Каков вопрос — таков и ответ. Предполагать альтернативы себе — вынудить оправдывать ожидания. Когда мы любим, каждый из нас единственный и несравненный — без вопросов!

* * *

Чем выше человек — тем шире его горизонт. Но если подняться очень высоко — горизонт исчезает, и вокруг необъятное пространство, в котором родная планета — лишь краткий эпизод.

Любовь небесная и любовь земная различимы только там, где небо противопоставлено земле. В этом смысле переход к бесклассовому обществу — как выход человечества в космос. Мы снимаем любые ограничения — мы свободны, и каждая любовь — одна на всех.

* * *

Буддизм перенимает идеи тантры — но мистифицирует, извращает любовь. Исходно — наивно-материалистическое учение о возможности

стать человеком через отношения полов; здесь важно, что человек не достигает совершенства сам по себе — он совершенен только в отношении к другому. Готовность к физической близости важна не сама по себе, а как своего рода напоминание о сопутствующем ей духовном единстве, о человеческом общении. Однако общаются все-таки люди, а не абстрактные идеи, — и старинные тантрические ритуалы заставляют практиковать любовь, а не только предаваться мечтаниям: сохранить духовность в грубоści физиологии сумеет не каждый.

Принцип буддизма — полная противоположность: человек сам по себе, и остальной мир ему, в идеале, полностью безразличен. Поэтому и любовь здесь воспринимается как любовь к себе — для пущей важности названная любовью к богу. Обращает на себя внимание параллель с христианством: человек для бога, а не для другого человека, и не для всех людей.

Контакты с миром буддистскому совершенству не нужны; поэтому обрядность опирается, главным образом, на зрение и слух (янтры и мантры) — а не на «низшие» чувства (прикосновение, запах). Тем не менее, и руки и нос активно используют для создания антуража, для отключения от мысли и «молитвенного» настроя. Здесь снова полное соответствие средневековой европейской модели (в противоположность более ранним, «языческим» культурам).

Для раннего тантризма любовь служит средством пробуждения общественной сущности человека; половая любовь задействует сразу все чувства и обеспечивает полное слияние. Буддизм сводит тантру к индивидуальному переживанию, экстазу — который не нуждается в реальном действии и становится своего рода катарсисом, очищением духа от всякой чувственности. Соответственно, половая любовь вполне довольствуется «дистанционными» чувствами (зрением и слухом), которые легко допускают опосредование, перенос на любое расстояние и через время. Изображение и пересказ — важнее того, что на самом деле. Европейская куртуазная любовь тут как тут.

По существу, и тантра, и буддизм — об одном и том же: люди принципиально отличаются от животных. Ранний тантризм (как и аналогичные европейские культуры) — синкретическое выражение этой идеи; буддизм (и христианство) — переход на аналитический уровень, отделение духа от плоти, а противоположность «высших» и «низших» чувств — не только прямое отражение классовой иерархии, но и мысль о несводимости человеческой деятельности к простому самосохранению

и комфорту: дух направляет движение тела — человек руководствуется сознательными намерениями, а не следует инстинкту или реагирует на раздражители.

Переход к бесклассовому обществу снимает противоположности и восстанавливает полноту чувств (дополняя природные возможности организма тысячами неорганических сенсоров). С другой стороны, личность уже не противостоит ни другой личности (предмету любви), ни обществу в целом (богу); личность — представляет общество в целом в одном из обращений его иерархии, и потому отношения личностей охватывают все сферы культурной жизни — это подразумевается само собой и не требует напоминаний: вместо ритуалов — творчество, поиск новых граней единства.

* * *

Поскольку экономика распадается на отрасли — любовь выглядит сосуществованием очень разных отношений, видов любви, которые мы почему-то интуитивно относим к одному и тому же роду — любви как таковой, в самом общем понимании. Половая любовь — вовсе не то же самое, что любовь родительская; любовь к вещам (пристрастие) отлична от любви к богу (или идеалу); дружба не всегда сочетается с идейным единством (братством по духу). Точно так же, внутри каждого из видов различают свои разновидности...

На первый взгляд может показаться, что иерархия любви совсем не похожа на иерархию производства. Коллеги вполне могут обнаруживать вроде бы независимые от производства симпатии и антипатии — при том что представители очень разных социальных слоев — по уши влюблены друг в друга. Однако взять производство и любовь в целом — всему находится соответствие, и тот же вердикт: две стороны одного и того же. Поскольку же материя и дух в этом контексте противоположны — их иерархии развертываются взаимодополнительно, как бы в зеркальном отражении, и потому выглядят совершенно независимыми. Лишь в классовом обществе противоположность перерастает в противоречие.

Обычный материалистический вывод: что в экономике — то и в любви, и способ производства определяет движение духа. Но это вывод классового рассудка, привыкшего одно ставить над другим; подлинное единство не совместимо с верховенством — и потому следует дополнить логику обратным ходом: что в любви — то и в экономике! Иначе: само

по себе манипулирование вещами никакого прогресса не предполагает, и общественные формы производства складываются по мере осознания, окультуриивания собственных действий — установления духовных связей. Строение экономики воспроизводит формы духовности — но формы духовности зависят от умения обустраивать мир. Одно развивается через другое; но это не простое следование одного за другим, не природный («естественный», «объективный») процесс — это человеческая деятельность, выращивание в себе субъекта через общение с другими людьми, через принятие их разума, их свободы.

* * *

Средневековый (и возрожденческий) императив: счастливая любовь возможна только в браке. Внебрачные связи — источник бесчисленных страданий, вплоть до адовых кар после смерти. Искусство политически ангажировано: супружеские отношения в античных аллегориях всегда уважительно — похождения на стороне насмешливо и критически. Про «непорочность» христианских образов — само собой. Убить человека — доблесть; полюбить человека — грех.

Отсюда характерные перекосы в массовом сознании. Прежде всего, любые симпатии — исключительно по делу, чтобы сочетаться в итоге узами законного супружества. До сих пор большинство (даже весьма вольных нравов) молчаливо полагает, что любить — значит, стремиться к браку; все, что не предполагает этой высшей цели — не любовь, а лишь ни к чему не обязывающие развлечения, или пробы, поиски идеала.

С другой стороны, под «счастьем» замученный бытовыми бедами человек понимает капельку покоя — то, за что не будут бить. Лишенному всего — даже скучные подачки кажутся бесценным даром, и разрешенное — синоним свободы. Давайте любить кого положено по нынешнему уставу — и нас не накажут, на этом свете и на том. Устав дает права лишь в форме обязанностей — и потому супружеская любовь лишь в пределах социальной ответственности, любовь к начальству неизменно предполагает покорность и пиетет, любовь к родине требует враждебности к чужакам, дружеские чувства — исключительно в рамках делового партнерства...

Но то, что в этом смысле оказывается счастливым, — уже не любовь. Механика форм — неподходящее вместилище для духа. Культурная машинерия — не более чем антураж, объективные условия, в которых

каждому приходится утверждать свою субъектность, искать разум — а не только рациональные зерна. Под гнетом запретов и под угрозой отчуждения, проявлениями любви становится то, что не укладывается в формат официально дозволенного — и чего поэтому стесняются (но не стыдятся!), что не афишируют (но ценят каждую искру интимности!), в чем не решаются признаться самому себе (но вне этого — вообще ничего нет). Поэтому и в искусстве «высоким» образцам всегда сопутствует балаганное ерничество — и супружеская любовь не ходит без якобы несовместимой с ней пошлости: верность невозможна без измен.

* * *

Поэты редко говорят о любви от первого лица. Им ни к чему самокопание, самоутверждение. Им важно, как любовь меняет мир. Сказать: *я люблю* — все равно что публично признать: любви пока нет, а есть я — и «объект любви», нечто внешнее по отношению ко мне. Так в любви не бывает: в ней *я = ты = мы*. Что бы я ни делал — делает и другой, и все его следы — мои следы. Да, мы разные, — но нас нет по отдельности, мы лишь разные стороны одного. Любя кого-то, человек любит себя — и потому духовно растет.

* * *

Почему поэзия так много говорит о любви? Вероятно, потому, что она не подменяет ее чем-то другим, не прячет в парападжу обыденности. Ни одно другое искусство не оставляет в такой степени человека наедине с собой. Но в этом опасность: формулы — фабрика иллюзий, и вместо поиска любви — риск довольствоваться крохами любовей.

* * *

Ритуальная любовь — против любви. Превращение секса в «супружеские обязанности» — убивает самую суть процесса, интерес друг к другу и общение. Оргиастические обряды — подчиняют человека толпе и не дают увидеть другого человека. Призывы возлюбить ближнего или бога — напоминание о том, что в мире много всего, и вовсе не обязательно следовать чьим-либо указаниям, а лучше поискать

другое. Как только пытаются (убедить или заставить, другого или себя) любить правильно — это уже не любовь, а всего лишь правильность. Поэтому о любви нет никакой науки — и нет в любви никакой мудрости. Наука и мудрость нужны для того, чтобы любви не мешать.

* * *

Если любовь — притяжение к чему-то отсутствующему в любящем, то как бы он мог к этому притягиваться? Наоборот, в любви мы узнаем, что есть в нас еще и любовь.

* * *

Когда Далида поет: *Avec lui je suis femme*, — легко поверить, что в каких-то других отношениях она окажется чем-то иным. То есть, быть женщиной — лишь игра, в которой партнер столь же относительно действует по-мужски. Женщину делает мужчина, мужчину — женщина. Когда оба это сознают — можно расслабиться и наслаждаться игрой, кипением страстей и мгновениями блаженства... Но отказываться ради этого от бесконечного мира — как-то не по-людски: любовь — не взаимозависимость мужчины и женщины, а независимость обоих, свобода играть или не играть.

* * *

Любить можно только человека, личность, разумное существо. Говорить о любви к вещам или делам — значит, воспринимать их как знаки людей, их многообразные имена. Вещи — как бы переносчики взаимодействия субъектов; это обратная сторона определения субъекта как универсальной связи.

Выделяя какие-то вещи в окружающем (или воображаемом) мире, человек обозначает себя, организует (строит) свое неорганическое тело. Нечто подобное можно встретить и в неорганической природе (поля, поляризация, асимптотические условия), и у живых существ (многие животные метят территорию; одни растения угнетают другие). Отличие лишь в характере связей: у человека это универсальное освоение мира, не связанное со случайными обстоятельствами или физиологической

необходимостью. Но именно в силу этой универсальности тела людей неизбежно пересекаются, охватывают один и тот же круг вещей (а на другом уровне — и круг общения). Так человек один оказывается другим, и каждый — неотъемлемая часть другого. Такова материальная основа любви, ее воплощение. Отсюда и рост духовности: каждый из любящих вбирает в себя все в другом, распространяет себя на его тело, а это требует и внутренней перестройки, иной расстановки приоритетов. В классовом мире это принимает форму присвоения — и потому так трудны расставания, вынуждающие отдавать часть себя. Разумно устроенный мир не знает собственности — и в нем просто не нужно расставаться, и каждая встреча — навсегда.

* * *

Если человека не устраивает окружающий мир — он вправе построить для себя другой. Но если в этом другом мире нет никого, кроме его творца, — то и творения тоже нет. Пожалуйста, живите как угодно; но если вам не интересно то, чем интересуются другие, — им тоже не интересны ваши фантазии. То есть, вас просто нет для общества, вы не существуете как разумное существо. Вы никого не любите — вас никто не любит.

Классовое общество усиливает эту отчужденность — загоняет каждого в его клетку, чтобы все вместе не могли замышлять против системы. На деле, полностью разобщенное общество невозможно — и потому какие-то точки соприкосновения всегда есть, и даже полный уход в себя не отделяет человека от других, а, скорее, дает этим другим повод задуматься о причинах — и тем самым способствует движению культуры в целом. Но человек (именно в силу своей отчужденности) не всегда способен уловить, почувствовать собственную всеобщность; психологическая травма, несовместимость с самим собой.

Хозяевам полезны бессмысленные бунты, голое отрицание, без малейших перспектив. Буржуазная философия культивирует именно такой индивидуализм, абстрактное деление на свое и чужое (исток всякой собственности). Власти не против тех, кто против их власти, — они очень не любят тех, кто против власти как таковой (даже если это власть безвластия, анархия). Соответственно, двоякая направленность ухода в воображаемую реальность: либо абстрактный отказ иметь дело с тем, что дают, — либо поиск того, что могло бы, в принципе, все это

заменить; либо всему противопоставлен нуль — либо другое все (как своего рода проектное задание, хотя бы и неосуществимое в данных условиях). То есть, это либо безразличие (оскотинивание, отказ от разума) — либо любовь (пусть даже в форме ненависти). По внешним признакам иногда не различить — тем более, что на практике всегда есть примеси того и другого — и только в бесклассовом обществе снимается противоположность, и человек становится тождественным обществу в целом, его и nobытием.

* * *

Буржуазная пресса время от времени поднимает шумиху насчет борьбы с проституцией — якобы в защиту женского пола. Но если вы будете защищать рабочего от капиталистической эксплуатации запретом на продажу рабочей силу — вы уморите его голодом. Да, конечно, у мертвых на шее особо не поездишь; но свобода от жизни — это, скорее, лишение, а не открытие новых горизонтов, — диктатура смерти.

Пока вы допускаете нормальность рыночных отношений, право богатых обобрать бедняка, — странно бороться против торговли телом как одной из разновидностей купли-продажи: все равно что разрешить красить заборы — но только не в желтый цвет... Все стороны рынка увязаны между собой. Когда одно дело вдруг объявляют недостойным, закрывая глаза на все прочие мерзости, — это лишь попытка отвлечь от чего-то внимание, перевести стрелки с магистрального пути в тупик. Для этого и затевают массовые общественные движения (вроде экомаразма или борьбы за политкорректность), и хорошо оплачивают услуги их организаторов.

* * *

В конце XX века набрала обороты дурная традиция: в знак вечной любви куда-нибудь приделывают висячий замок — и выбрасывают ключ. Во всех отношениях глупо. К любому замку можно подобрать отмычку — и «вечность» оказывается в руках первого попавшегося проходимца (как по жизни частенько и происходит). С другой стороны, муниципальное начальство время от времени просто срезает этот хлам с оград и (с выгода для местного бюджета) утилизирует как лом цветного

металла; точно так же, классовое общество беззастенчиво использует личные связи людей в экономических и политических интересах, не заботясь о последствиях. Но самое главное — что замочная символика не только не отвечает идее любви, но и прямо противоположна ей! Любовь освобождает человека (в том числе от внутренней несвободы); суть духовного единства как раз в ненужности внешнего принуждения, неуместности самого вопроса о конечности или бесконечности, как в пространстве, так и во времени. Если я люблю — какое мне дело до того, кто и как будет это измерять? Одно мгновение любви — это уже вечность. Сажать любимых под замок — что может быть нелепее? Любить — значить открывать любимым мир, а не отбирать столь редкие в наши дни кусочки свободы.

Мы любим пока мы свободны. Застенки — не для любви. Насильно мил не будешь. А любоваться свободой других — самому духовно расти. Символ любви — стирание границ. Прежде всего — между мной и тобой, а потом и между нами и всеми остальными — которые вовсе не остальные, а необходимое условие, пространство и время для нашей любви.

* * *

Чтобы узнать о духовности человека другой культуры и другой эпохи, надо прежде всего изучать способ производства — технологии и распределение труда, в их взаимопереплетении и взаимовлиянии. Как мы работаем — так мы и любим. Однако любовь не сводится к формам общения — они ее внешние признаки, проявления, сигналы, по которым можно восстановить нечто неосознанное. Можно ли доверять таким реконструкциям? Смотря для чего. Неразумные ориентиры сбивают с пути разум. Очки мартышке не в помощь. Синхротрон австралопитеку не авторитет. Обывателю солнечный свет дан синкретично — и радуга существует как бы сама по себе. Но даже если мы умеем получать спектры — это ничего не говорит о строении звезд, пока у нас нет модели строения атома. Химик и алхимик по-разному воспринимают одни и те же реакции. И можно сколько угодно вникать в экономические тонкости, ни на йоту не приближаясь к их духовному фундаменту — ради чего, по большому счету, человеческая экономика и существует. Тела для тел — люди для людей. Нам нужно не только обслуживать копошение плоти, но и мечтать, и страдать, и любить друг друга.

Если кто скажет — что все это видимость, побочный эффект животного существования, — не верьте! Дух не за пределами этого (единственного) мира — он бывает только отношениями вещей, и никак иначе проявиться не умеет; однако мир устроен так, чтобы вещи вступали именно в такие отношения — чтобы они поддерживали движения духа. Вещи не сами по себе — они часть мира, и все зависит от того, куда их поместить. Одухотворенная природа — уже не та среда, в которой господствуют случайность и необходимость: есть рамки, в которых природе дозволено себя проявлять. И чем мы разумнее — тем разумнее весь мир.

Мы общаемся в тех формах, которые у нас есть. Бестелесность — пустая абстракция. Но формы не вечны — и мы меняем их, самим фактом своего существования. Однако какие изменения когда нет связи одного с другим? Универсальная связь — это и есть дух. Мы, разумные существа, и есть такая связь. Поэтому, когда мы, раскапывая прошлые истории, вдруг замечаем единство духа — мы видим в этом зеркале самих себя, а когда люди снова и снова влюбляются — они лишь возвращаются к себе.

* * *

Неразумные вещи — существуют и живут как есть. Когда вещь (или организм) становится частью культуры — это уже не просто природа, а знак, символ, намек, материализация идеи. Вот и любви мы говорим знаками и намеками, замечаем ее следы — и чувствуем ее дух.

Казалось бы, что мешает обозначить и это — не знаки как таковые, а их знаковость, неприродность? Переходить ко все более высоким этажам духа — разве это не обязанность разума? Да, конечно. Только на каком-то этапе вдруг оказывается, что вокруг нас уже не вещи — а сплошные знаки, и все что-то означает — но уже не понять, что и зачем. Почему? Разум увлекся абстракциями, попал в рабство к методу — и тем самым разумность метода оказывается под вопросом.

Когда любовь увлекается любовью, упивается всемогуществом, — много внешней красоты, утонченности или загадки, — в этом больше нет любви. Не говорить о любви — преступление; перестараться с излиянием чувств — пошлость. С одной стороны, все говорит о любимых — но за символами, вроде бы, уже никто и не стоит, да и не

нужно никого... Безразличие к телу легко перерастает в жестокость, обратную сторону бездуховности.

Человек в мире — чтобы преобразовывать мир. Когда остается лишь игра, перетекание одних форм в другие, — природа осиротела, и мир постарается напомнить людям, чего от них ждут. В конечном итоге нужны не символы дел, а дела. И обмениваемся мы в деятельности не знаками, а делами. Не грубый, пропитанный опытом рефлексии, — но все же материализм.

Любовь — значит быть вместе, и вместе творить мир. Иногда не обойтись без слов. Но и к словам надо относиться разумно, избегать речей там, где уместнее другие пути. А их много, они бесконечно разнообразны — как любовь. Кто знает? Может быть, с отмиранием классовых культур слова вообще будут не нужны?

* * *

Библейская эротика: нагая женщина с раскинутыми в стороны руками — образ распятия, неминуемой гибели; стигматы Христа означают лишь, что любовь связывает по рукам и ногам, — но главная рана все-таки в сердце. Воскрешение — возвращение к любви от плоти, освобождение от ран.

* * *

Помнить можно только о том, чего уже нет. Когда вспоминают о живых — они уже не совсем живые. Вспоминать о любимых — значит, уже не любить. Суть в том, чтобы не задумываться о том, как следует поступать, — а действовать разумно, по любви. Когда я и ты одно и то же — вопроса о соответствии просто не возникает, и нельзя смотреть на мир другими глазами. Если надо — просто надо, без лишних доводов и причин. Делать так, как любимым нравится, — вовсе не то же самое, что делать так, чтобы им понравилось.

Может показаться, что у человека тем самым отнимают способность рефлексии, лишают сознания, и вместо намерений — нечто вроде инстинкта. Но, ведь, разум — единство сознания и самосознания; в этом единстве снято и то, и другое: быть разумным (и действовать разумно) возможно лишь там, где вопрос о разумности уже не стоит — она

предполагается сама собой. Да, мы будем иногда вспоминать — но только ради того, чтобы тут же отказаться от памяти, превратить в один из моментов того, что мы есть здесь и сейчас.

* * *

Всякая любовь телесна: она предполагает плотское соединение, слияние тел, их взаимопроникновение и тождество. Однако плоть человека не сводится к одним лишь органическим телам; более того, она несводима вообще ни к какой совокупности непосредственно видимых или осязаемых вещам: неорганическое тело составлено из очень разных компонент, включая отношения между вещами и людьми, — и все это любящие могут разделять друг с другом! У человека (поскольку в нем есть искра разумности) экстаз от соединения галактик и постельный оргазм — явления однопорядковые. Чем обширнее неорганическое тело каждого из любящих — тем больше у них точек телесного контакта, тем глубже и всеохватнее восторги любви. Потому и возможно великое наслаждение просто быть рядом — и даже не в пространстве или во времени, а в истории человечества, в истории вселенной.

* * *

Любовь — это всегда счастье. Несчастье — когда мешают любви.

* * *

Между любящими всегда есть то, чего никто не узнает — и даже догадаться не сможет. Нет в этом места посторонним, ни при каких симпатиях. Собственно, это и есть любовь — глубоко личное отношение личностей. Другим этого не понять; но им и не нужно понимать! — надо строить свою любовь, столь же неведомую и неповторимую.

Доступное публике — уже не любовь. Повторенное в других — тоже. Любовь делают в единственном экземпляре, идеально подгоняют по формам духа. В этом смысле, любовь — выражение универсальности разума, его предназначения охватить и преобразовать весь мир.

Может показаться, что столь интимная близость, практически не существующая для других, обречена исчезнуть вместе с влюбленными,

не оставляя никакого следа в человеческой истории. Но кто сказал, что невидимое не умеет править общедоступным? Вещи движутся так, как это кому-то нужно — и вовсе не обязательно знать о внутренних движениях, чтобы наблюдать и использовать внешние: достаточно, что эти внутренние причины есть. Когда наука строит модель скрытой динамики — она частично овещняет ее, переводит в другой план и меняет ее характер; это уже не то, как движется мир, а то, как мы намерены его двигать. Но стоит подойти с тем же аршином к движению духа — и мы потеряем духовность как таковую: познанное в субъекте — уже объект, а не субъект; подконтрольное в любви — уже не любовь. Разумеется, наука (и рефлексия вообще) вправе интересоваться чем угодно; более того, это основной механизм нашего саморазвития: мы выгоняем себя из прошлого, чтобы заняться строительством будущего.

Любовь лепит мир по своему образу и подобию; она обнаруживает свое присутствие на каждом шагу — но не открывает своих тайн. Плод любви — история человечества.

С другой стороны, смерть — атрибут жизни; к человеческой любви (и личности) это понятие вообще неприменимо. Разум соединяет живое и неживое, снимает их различие в деятельности, в равной мере вовлекающей и то, и другое. Продукты деятельности — всего лишь вещи; но они живут своей, иногда непохожей на органическую жизнью, рождаются и умирают; но уже не как природный круговорот — это выражение человеческого духа. Уходят тела — движение остается, подхваченное миллионами других тел. Мы можем иногда обозначать это вечное движение какими-то телами — но знак не предполагает значения сам по себе, он приобретает смысл в деятельности. Когда данные передают по компьютерным сетям — они какое-то время существуют в виде электромагнитных волн или лучей света; но сообщение принято и записано — где теперь эти эфирные вихри, бывшие носители? Те же каналы связи будут служить чему-то другому. Точно так же, видимые тела лишь служат любви — свидетельствуют о ней — но не влияют на ее суть, способность приводить в движение мир (или быть движением мира).

Такова любовь как духовное отношение личностей. Но такова и каждая личность, продукт любви, уникальный способ развертывания иерархии деятельности. Это не напоказ — это скрытый, внутренний мир. Мы судим о его существовании по характерной целостности поведения, неслучайности поступков — но и не органичности их, неожиданным

сменам амплуа, выразительным жестам. То, что понятно, знакомо, встроено в общепринятые рамки, — уже не личность, а всего лишь индивид, представитель рода; личность представляет только себя — то есть, человечество в целом и разум как таковой. Хаотичность и эклектика — уподобление мертвой материи. Неуловимость духа — как обещание любви, и готовность любить. Игра на публику, прорисовка границ, — превращение субъекта деятельности в ее объект. Незаметные труженики для истории важнее громких имен. Имена — ограничивают. Чему возможно дать имя — уже состоялось; а личность — постоянное становление. Биографии — удел мертвцев; личность — просто есть, и трудится, и любит, — и ее свершения никогда не завершены.

* * *

В любви не может быть посредников. Это прямое общение одного духа с другим. Независимо от того, как оно материализовано. Между нами могут вставать люди и вещи — но лишь в той мере, в которой в них воплощены мы сами; они уже не «между» — они внутри. Когда знаки любви принимают за любовь — любви конец. Так что придется личные дела улаживать самим! Даже в средние века «заместитель мужа» нередко разрушал брак. Тем более невозможна ограниченность косвенных связей для свободных людей. Классовое общество намеренно вставляет между людьми всякого рода посредников — делает невозможным действие от своего имени. Поэтому прямота в любви — искра будущего, примета освобождения.

* * *

Ждать любви, готовить себя, искать любовь... Романтические штампы. До того — просто любили, много и по-разному. Почему вдруг сдвинулось? Как обычно, палка о многих концах (или началах). Прежде всего, сама идея любви обрела массовость лишь с приходом Нового времени. Универсальность рыночной экономики предполагает такую же универсальность в духовной сфере — поэтому поисками «всеобщего эквивалента» на стыке веков были озабочены практически все заметные деятели, а скольких не заметили — про то неведомо. С другой стороны, завершение перехода к всеобщему разделению труда — и формальное

отделение духовного производства от прочей экономики. В рефлексии это представлено идеей личности, решительно противостоящей миру вещей, пошлой (буржуазной) обыденности, — типаж романтического героя. Олицетворение платоновских абстракций самих по себе.

Отделение (отчуждение) всего от всего — отделяет и любовь от личности, и личность от личности, и любовь от любви. В частности, сама по себе существующая любовь приобретается в рыночном мире как любой другой товар, при наличии достаточного капитала на духовном счету. Ожидание и подготовка — как монетки в копилку; поиск — стремление выгодно вложить капитал. Мы с удивлением обнаруживаем, что в любви один к одному воспроизводится строение всей системы производств — включая как базарный синкетизм, так и классовую структуру, эксплуатацию духа духом, любви любовью. До каких-то пределов — явление прогрессивное; но снос прежних границ не ведет к свободе: на их месте воздвигают новые барьеры, которые придется вскоре сносить — все сначала, еще один виток спирали кризисов.

Как вырваться? Вернуть любовь на землю, дать ей плоть. Никто не сделает нашу любовь за нас — и вместо того, чтобы глупо ожидать подарков от судьбы, надо переделывать мир, привносить в него все, чего нам не хватает. Тогда наше миротворчество отзовется многочисленными резонансами в творчестве других — станет любовью. Не столь важно, в каких формах. Важнее — как раз освободиться от противопоставления одних форм другим, смело перемешивать разложенное по буржуазным полочкам — разрешить всему становиться всем.

В частности, половая любовь будет неотличима от дружбы, от мечты, от истории человечества. Мы не придумываем себе любимых — мы их делаем, разумно: идеальный образ нужен как инструмент для пересоздания тел, и если для воплощения любви одного тела мало — добавим другое; для разных воплощений — разные тела.

Чтобы строить дух — надо работать с материей разной грубости; чтобы придать форму материалу — нужен дух. Любовь рождается в практике любви, а труд любви — выражение духовности.

Завершение эпохи буржуазных революций — отход от романтизма, разочарование во всех и всяких идеалах. Зачем искать то, чего, может быть и нет? Будем смотреть на мир «позитивно»: что-то делается — уже хорошо; и незачем докапываться до причин или искать совершенства. Тем самым речь уже не о воплощении любви в наших делах — а о подмене духа телесностью; позитивизм в любви — это животность.

Лечить несчастья предлагается отказом от счастья; цветы и звери не умеют радоваться и грустить — такими способностями их наделяют люди. И душа у нас болит — пока в ней жив дух.

Где нет разума — время просто течет, одно сменяется другим. Настроения и моды. Как только в экономике воспроизводятся какие-то элементы ранней буржуазности, романтика на повестке дня. Очередной кризис — жажда позитива. Разумная действительность не зависит от колебаний конъюнктуры: нам не нужно ничего ждать или искать — мы всегда готовы действовать, свободно переходить от одной деятельности к другой. Ограничить можно ограниченное существо; разум никакие барьеры не остановят — он всегда найдет новые направления развития, построит новые дороги. Мы создаем миры — и наши творения создают нас; мы любим — и превращаемся в любовь.

* * *

Проповедники возврата к природе твердят о неразумности любви, ее слепоте, — и выдают это за мистическую необъяснимость, волю богов. Тем самым косвенно признают неразумность классового общества и необходимость его замены чем-то человеческим — и человечным. Идея любви несовместима с эксплуатацией человека человеком — любовь зовет к свободе. Но классовое сознание несвободно — и на место свободы подставляет либо произвол (образ классового господства) — либо случайность, игру стихий (образ раба, полностью зависимого от воли господ, выданной за естественную необходимость). Поскольку изменить существующее положение вещей раб даже не мечтает, ему остается лишь убеждать свою духовность отрицательным образом, как нарочитое лакейство, отказ от сознания, превращение человека в нечто пресмыкающееся. То есть, откат истории становления сознания в даль прошлых тысячелетий — и это называют возвратом к природе. Неразумная критика неразумности не зовет людей в будущее, а тянет в прошлое. На место разума она подставляет хитрость и расчетливость, умение приспособиться, выжить. А потом (вполне резонно) заявляют о несовместимости любви с таким «разумом». Но вместе с рыночными помоями выплескивают и любовь — подменяют ее классовой идеей господства и подчинения, также двояким образом: как судьба и призвание, — любовь представляет самовластное барство; как неразумная стихия, как божество, — любовь символ покорности и

унижения. В любом случае, любовь ставят над человеком — и человек становится рабом любви.

* * *

С превращением буржуазии в господствующий класс — обратной стороной и дополнением откровенно рыночных отношений между людьми становятся идеи интимности, скромности, стыдливости, — и вообще, частной жизни. До этого, публично обсуждать личные дела — ничего особенного, и даже наоборот, излишняя скрытность выходит за рамки приличий. Первый звонок — мода на салонное «изящество», которое заменяет прямоту обыденного языка на (всем понятные) эвфемизмы — объявляя оригиналы непристойными. Громкие скандалы и семейные разборки на всю улицу — есть и сейчас; но воспринимается это уже не как (деревенская) норма, а как выход за рамки, пикантность, которую все осуждают — но не прочно посмаковать подробности в узком кругу. В первую очередь табуируют голое тело — тогда все, что с ним соприкасается, приобретает налет одиозности, предосудительной (но притягательной) вульгарности. Вырастающая из древнейших культов порнография существовала еще в ранней античности; однако лишь восприниматься как таковая стала лишь на фоне буржуазной морали.

Формальные запреты не меняют образа мысли. Церковь тысячи лет воевала с обнаженкой — но в результате нагота не опошляется, а облагораживается, становится символом духовного здоровья. Напротив, сила вытекающего из буржуазного быта предрассудка превращает даже семейный секс в извращение, в душевную болезнь. Почему так? Да потому что меняется экономическое значение воспроизведения тел и (связанных с ними) духовных качеств: вместо единичного человека — единица рабочей силы, явление массовое; поэтому и оценка половой любви исходит из соответствия (или несоответствия) количественным стандартам: разного рода излишества — снижают эффективность производства и затрудняют контроль. С другой стороны, рыночная конкуренция культивирует коммерческую тайну как способ добиться локальных преимуществ; а интим — тоже товар.

Конец XX века — сексуальная революция, выход из подполья и постановка на солидную коммерческую основу. От былой скромности не осталось и следа; эксгибиционизм и поведенческая легкость — это выгодно, и снова властям приходится чисто формально ограничивать

разгул (уже опошленного) эроса, без особых успехов. Почему? Да потому что и не было на самом деле никакой интимности: частник живет на продажу, его «личная» жизнь — лишь вложение капитала, и нет в этом никакой свободы. Если выгодно пустить в оборот — не остановят ни мораль, ни право.

Вероятно, когда-нибудь вражда внутреннего и внешнего вообще исчезнет — и тогда никому и в голову не придет от кого-то таиться, что-то скрывать. Но как раз это и позволит уберечь движения духа от вмешательства со стороны: если люди не сравнивают себя с другими, ничем не обмениваются, — им не интересно ни подглядывать, ни обнажать себя.

* * *

Иногда любовь осознается лишь задним числом, в форме совести. Когда слишком поздно — и прошлое не изменить — а будущего нет. Возможно, это не самый разумный путь к любви — но лучше хотя бы так, чем тонуть в бездонной животности. У кого есть совесть — у того и в заблуждениях было нечто достойное любви.

* * *

Почему плакаты с «красотками» (*pin-up girls*) — сплошной китч, пошлость, вульгарность? Точно так же, претензии профессиональных фотографов обнаженки на высокое искусство — невыразительны и скучны. Намек можно усмотреть в любительской и коммерческой порнографии: сами по себе откровенные сцены — не возбуждают; наоборот, они скорее вызовут отвращение и внутренний протест против чрезмерности, нелогичности и бессмысленности происходящего. Эротическую окраску порно (а также искусство ню) приобретает лишь при внутренней готовности зрителя расценивать тело как призыв, как явное выражение (знак) собственной мотивации. Не нагота развращает, а наоборот: извращенное восприятие опошляет наготу. Нас тянет к тому, чего мы уже хотим.

Причины извращений — надо искать в строении культуры, в том, как способ производства выстраивает отношения между людьми. Собственность — потребительское отношение к телу; соперничество —

источник агрессии. Но есть и другое: жажда творчества открывает духовность в человеческих телах, любовь одухотворяет секс.

Попытки изобразить любовь — обречены на провал. Просто потому что любовь — не напоказ, она в отношениях личностей, где неуместны взгляды со стороны. Телесность привлекательна (сексуальна) лишь там, где она между нами, и нет нужды заботиться об эффективности кадра и углах зрения. Любая постановочность — уже фальшь, трещина в любви, легко перерастающая в пропасть.

Разумеется, отсюда не следует, что искусство должно говорить о любви лишь намеками, и что порнуха (в том числе рекламная) ни для чего не нужна. Сексуальность не в тела — и не в изображениях; она в нас, в той мере, в которой мы в ней нуждаемся. В качестве ссылки — годится что угодно. Девушка с плаката интересна там, где с картинкой связаны какие-то личные обстоятельства, духовное движение — или хотя бы готовность к нему. Постель хороша по любви — а иначе придется под кайфом, когда все тела одинаковы. Можно усмотреть искусство в чем угодно — но вовсе не обязательно при этом речь о чувственном влечении и телесной наготе.

* * *

Можно сколько угодно говорить о вечности духа и продолжении жизни в других тела — современного человека это не убедит: можно принять идею рационально — это не делает ее руководством к действию. Хотелось бы дополнить доводы и мечты чувствами, интуицией — чтобы вырастить убеждения.

Нам трудно представить себе дух отдельно от тела. Мы привыкли обозначать личности телами — это как этикетки с надписями, ценники в магазине. Последнее не только по видимости, но и по существу. Нужда в точных указаниях и ссылках — атрибут классового сознания, диктат рынка: все поделить и обмениваться. Если же одно не отделимо от другого — обмениваться можно только очень условно; возможно, наблюдаемая в наши дни масштабная виртуализация рынка — способ обессмыслять саму идею товарности, начало перехода к обществу без классов.

Но здесь мы о другом: выход из одного тела и вход в другое обыватель представляет как обмен, отделение (отчуждение) от прежнего владельца и присвоение новым. Для привязанной к телу личности это

смерть и рождение. Вспоминаем, что товарное производство отделяет производство от потребления: продукт деятельности предназначается не для удовлетворения каких-либо потребностей, а для обмена; то есть, он не нужен производителю — и может оказаться, что не нужен вообще никому (ни сейчас, ни потом). В частности, рождение ребенка, вообще говоря, без надобности его родителям — и только возможность обменять это тело на что-нибудь существенное заставляет обывателей плодиться и размножаться. Меновая стоимость ребенка возникает в силу того, что в его телу можно вселить какую-нибудь личность — чем и занимается классовая педагогика.

В этом примере «переселения душ» проецируемый обществом на тело единичный дух до своего воплощения существовал виртуально, используя тела родителей и многих других (на кого потом будет похожа новая личность), — он присутствовал понемногу во всех, кто вкладывает в ребенка частицу себя, но (прямое или опосредованное) общение обнаруживает нечто отличное от личности каждого из будущих «вкладчиков»⁷; сложенные вместе, все эти различия и дают еще одного члена общества, новую личность.

Казалось бы, что мешает по той же технологии переселить дух из одного органического тела в другое? Давайте научимся изготавливать (собирать на конвейере) физиологически взрослые тела — и настраивать их таким образом, чтобы в точности (на клеточном и молекулярном уровне) воспроизвести движение бывшего тела (и прежде всего нервной системы); тогда получившееся существо общество официально признает продолжением прежнего: задокументирует факт переселения, запишет его в биографию — и припишет все то, что приписывалось человеку ранее. Вероятно, потребуется какой-то период реабилитации — если какие-то навыки по техническим причинам не восстановятся; но, ведь, и после тяжелой болезни (или травмы) приходится иной раз долгие годы приходить в себя.

Не получится. Что не так? Во-первых, идея точного копирования тела обессмысливает затею: зачем переселяться в то самое, что уже должно умереть? — какое же это продление жизни? Далее, поведение человека определяется не его телом, а тем, в какие условия оно помещено (поэтому одного раба легко заменить другим). Но даже если в

⁷ В математике мы точно так же строим диагональную последовательность в знаменитой теореме Кантора о неисчислимости вещественных чисел.

точности воспроизвести культурную среду, другое тело будет иначе на нее реагировать, и этот новый опыт никак не связан с прошлой жизнью. Далее, идея «перезаписывания» личности с одного носителя на другой предполагает, что дух сводится к памяти — и других источников самосознания у человека нет. Но это заведомо не так: личность не в прошлом, она в будущем, в том, что человек собирается делать, к чему стремится, о чем мечтает. А это не поддается внешнему наблюдению и не может быть никак зафиксировано (записано в книгу судеб) — просто потому, что этого еще нет, оно только должно появиться; вовсе не факт, общественные ожидания в отношении нового тела никоим образом не совпадают с отношением к старому: как минимум, мы отличаем прежнее от нынешнего — для того все и затеяли, чтобы они различались!

По большому счету все эти «технические» возражения — мелкие недоразумения, которые людская изобретательность может как-нибудь замести под ковер. Принципиальный момент в другом. При обычной социализации детей в проецируемой на тело личности соединяются многочисленные влияния, в неповторимой комбинации, — что мы и называем индивидуальностью. Учитывая всевозможные опосредования, приходим к выводу, что образовательном процессе участвует все общество целиком, — то есть, как и в экономике, (вос)производство духа оказывается изначально общественным. Но тогда социализация нового тела связана с другими общественными влияниями — что неизбежно приводит к иной индивидуальности, и другой личности. Даже если мы запихнем в нее старую память — это будет лишь знакомством с чужим опытом, а вовсе не продолжением биографии.

Математик тут же сделает вывод: исходное предположение приводит к противоречию — поэтому никакого переселения личностей из одного тела в другое быть не может, и мы возвращаемся в старой, проверенной веками сказке о духовности внутри тела, о природности разума.

По счастью, не все помешаны на математике — и есть другая логика. Альтернативный вариант — необходимость такого способа передачи духа от одного тела к другому, при котором никакие иные тела не вовлекаются в процесс и не могут ни на что существенно повлиять. Казалось бы, мы опять противоречим себе: только что говорилось о всеобщности, изначально общественном характере всякой деятельности. Пикантность в том, что духовное производство (в которое, конечно же, вовлекается все человечество) — это не то же самое, что духовность,

собственное движение духа. Помимо внешнего взаимодействия людей в процессе производства, существует сугубо личностное общение, не опосредованное никакими внешними объектами: как личности мы общаемся не по поводу чего-либо — мы просто общаемся, мы неотделимы друг от друга, пропитаны друг другом, едины. Это любовь.

И тут вдруг обнаруживается, что переселение одной личности в другую вполне возможно даже в недоразвитой цивилизации — что отзвуками этого кормится искусство, во все времена; но и помимо искусства в широчайших массах бытует неистребимое убеждение в возможности и неизбежности любви — любовь становится судьбой.

Отношение любящих — это и есть то самое исключительное взаимопроникновение, заставляющее каждого из них быть не только собой, но и другим: не просто действовать от имени — а становиться телом другого, одним из способов воплощения. Одно из тел может исчезнуть — дух остается в другом, являет себя через другого. Если я люблю, если я полностью пропитан кем-то, — я не могу перестать любить из-за такой мелочи, как биологическая смерть. Любимый живет во мне — пользуется моим телом; если его любили другие — он остается и в них.

Таким образом, чтобы перейти от одной телесной организации к другой, надо не просто настраивать материю, а полюбить себя в новом теле. Для этого не нужно навороченных технологий, и если люди до сих пор не свободны в своих воплощениях — это, скорее, говорит об их неспособности по-человечески любить — соединять личности воедино, а не предаваться дикостям конкуренции. Собственник — не человек; обмен — не общение. И выращиваем мы в себе личность не для того, чтобы потом обменять какой-то кусочек на порцию чего-то духовного со стороны: нет, мы производим дух не для обмен — и тем более не как товар, — а как нечто непосредственно полезное, из личной надобности (или, если угодно, прихоти); только тогда это может оказаться полезным и другим людям, и обществу в целом.

Открывается необъятный простор для практических выводов. Например: новое поколение продолжает предков лишь в той мере, в которой они достойны любви; с этим связана направленность прогресса, переход к новым уровням духовности — и в конечном итоге к новым способами производства.

Еще одно очевидное следствие: процесс передачи личности другому носителю вовсе не обязательно должен ограничиваться одним телом —

и можно превратиться в «группу товарищей», или намеренно перейти к распределенному состоянию, виртуализировать себя.

Другое направление развертывания — смена неорганического тела. Мы знаем, что личность может оставаться в плодах ее труда — и развиваться за счет переосмыслиния их в новом историческом контексте. Неорганическое тело, совокупность вещей и общественных отношений, для современного человека весомее биологических случайностей. Если у ребенка отнять любимую игрушку — для него это маленькая смерть, и придется подыскивать замену, в которой сохранятся те же искры духовности. Изменение образа жизни, смена амплуа — частные случаи перетекания духа между телами. Разумеется, в классовом обществе такие переходы лишь ограниченным образом духовны; чем разумнее общественный строй — тем шире круг возможностей, а где свобода — там и любовь.

* * *

Поэты и художники творят в состоянии влюбленности — им обязательно нужна муга (какого-нибудь пола, или без оного). Когда искусство становится ремеслом (и тем более профессией) — это сразу заметно: да, мы восхищаемся уровнем мастерства, насыщенностью образов и фактуры, — но не вовлекаемся в чудо и можем использовать продукт лишь в качестве материала и отправной точки для собственного творчества (как минимум, привнося нашу духовность).

В науке и в философии, на первый взгляд, такой связки нет — и кое-кто даже гордится своей отрешенностью от страстей, гарантирующей абсолютную объективность. Позволим себе усомниться: абсолютно лишь то, чего не существует, а объективное ни для кого — это нонсенс. Музы Гегеля и Эйнштейна не похожи на муз Пикассо и Элюара — но у любви много обличий, вовсе не требующих душевного смятения или живой плоти.

Любовь окрыляет и заставляет творить. Отсюда не следует, что творчество невозможно без любви, — но есть подозрение, что это обращение также верно. Всякая рефлексия — открытие себя через умение слиться с другими (в которых мы видим и самих себя); но непосредственное общение одного субъекта с другим, их взаимное становление, — это и есть любовь.

Заблудившийся в физиологических метафорах Фрейд — назвал бы это сублимацией, преобразованием эротических мотивов в мотивы культурные. Дескать, когда очень хочется, но нельзя, — люди находят замену, глушат сексуальность вдохновенностью. По жизни как раз наоборот: выпивка, обжорство, секс, религия, и прочая наркота, — способ заглушить в человеке нечто высокое, человеческое, — что в условиях классового общества зачастую несет лишь страдание. Поэтому и связку рефлексии с телесными влечениями следует понимать как проекцию духа на плоть, обозначение одного другим. Духовность не предполагает какого-то определенного вещного выражения — но осознать свою духовность мы можем только по ее знакам. Рукопись отличается от печатной книги, а электронные версии допускают веер очень разных форматов; тем не менее, мы воспринимаем это как именно эту книгу. Любовь проявляется в любых формах творчества — но это всегда творчество, пересоздание мира.

К сожалению, далеко не всегда люди умеют дополнить творчество сознанием его истоков. Когда это есть — человек разумен. Когда нет — муга страдает, и может погибнуть. Между — бесконечность оттенков. Но даже в страдании любовь остается любовью — и любят нас наши муги, и терпят наши чудачества, не потому, что мы хороши, а потому что нельзя быть человеком без любви.

* * *

На каждом шагу слышим: цивилизованный мир, дескать, не придает значения половой жизни — а для архаического сознания это откровение, осознание собственной природы, взлет к вершинам духа... Кто не архаический — тот питекантропам в подметки не годится, и гнить ему в компосте капитализма до скончания чьих-нибудь веков.

Не знаем, как у питекантропов было с подметками, — но на данный момент вымерли именно они, а человечество потихоньку притерпелось к ужасам цивилизации. Включая официальные и доморощенные нормы секса. Даже в самые карнавальные дни большинство предпочитает не светиться органами на публике — и порнуху смотреть в интимной обстановке. Хотя общественное мнение уже почти приучили к такой половой свободе, которая предшественникам по эволюционному древу и не снилась: однополые и многополые тусовки, свопы, оргии, трах в

санузлах, на лестничной клетке или на столе в офисе... Тем не менее, считается, что такой секс — всего лишь полезная разрядка, вроде как поделиться косяком — или сходить к мессе. Нет того мистического привкуса, от которого тянет поскорее приобщиться к богу. А в старые времена...

Разгул животности по святым дням (включая развязанность ниже пояса) — не просто так! Это своего рода тренинг, наработка навыка вхождения в экстаз. Упоение — рука об руку с опьянением. Больше оргазмов, совместных и разных! Предполагается, что потом, на трезвую голову, миряне лучше поймут проповеди о райском блаженстве: интуитивное представление уже есть — остается чисто количественно прибавить. В качестве бонуса — горькое похмелье: натворили дел — теперь остаток жизни расхлебывать... Надо же быть таким скотом! А чем меньше мы уважаем себя — тем больше уважаем начальство. Но самое главное — что после веселого праздника люди не любят людей, не видят в них ничего кроме психованной плоти — и говорить о любви возможно лишь в отношении к богу (или его наместникам на земле). Подлая тварь навеки разлучена с возвышенной духовностью — и должна довольствоваться крохами с божьего стола, карнавальными страстями. Это лишь имитация соединения с божеством — детская игрушка; повзросльеть нам дано, в лучшем случае, после завершения всех игр.

Но задумаемся: в чем состоит это пренебрежение плотскими утехами, в котором обвиняют цивилизацию — а уж тем более то, что придет ей на смену? В том, что мыслит (и чувствует) человек уже не в границах биологического тела — а в масштабах вселенной. На этой шкале животный метаболизм (включая репродуктивные действия) — ничтожно малая точка (хотя, разумеется, каждой точке найдется достойное место). Более того, человек начинает осознавать свою способность менять мир — и делать его еще многообразнее. Что круче: дарить любимой миры — или плевочки спермы? Когда нас после этого уверяют, что секс есть выражение подлинной возвышенности в человеческой природе, исток религиозного экстаза, — мы ткнем в морду этим диким богам образчики нашего творчества, по сравнению с которыми меркнут любые мифы! Хотите притормозить, навек подчинить плоть старинным позывам и карнавальной наркоте? Не выйдет! Да щекотка иногда бывает приятной — но было бы странно получать удовольствие только от щекотки, забывая о неисчислимости прочих радостей (хотя бы и не санкционированных властями).

С другой стороны, кто сказал, что любовь — всегда радость? Быть может, она и дана нам для того, чтобы мы осознали возвышенность светлой грусти, драгоценность неудач, — чтобы трагизм истории вел нас в будущее, а не назад, в пещеры. Светлые мгновения нужны, чтобы освещать бездну:

*Plaisir d'amour ne dure qu'un moment.
chagrin d'amour dure toute la vie.*

Даже теряя солнце, мы сохраняем его свет. Поповская карнавальность вывернута наизнанку: не от дикости к божеству — а от одной вершины к другой, — а между ними океаны духовности. Разум не для того, чтобы спать в загашниках — и пробуждаться, когда встряхнут вопиющей неразумностью. Сидеть в болоте ожидая очередного праздника — не та перспектива; нам, пожалуйста, наоборот: чтобы каждое мгновение стало праздником (светлым и в слезах), а века прозябания — в утиль. Мы в мире не для того, чтобы ублажать плоть — и начальство. Не карнавалами измеряется историческое время, а трудовыми свершениями. В которых и плоть, и любовь.

* * *

Влюбиться в компьютер? Почему бы и нет?

Конечно, есть варианты. Влюбленный в вещь — любит не вещь, а стоящий за ней идеальный образ человека-творца. Иногда этот образ обретает плоть и кровь — проекция идеала на человека телесного; например, любительница музыки может по уши влюбиться в хорошего музыканта — но не факт, что иллюзия не рухнет при более близком знакомстве: любовь универсальна, распространяется на мир целиком, — и образ любимого предполагает многое из того, чего в проекции нет (музыкант или поэт в быту бывает совершенно несносным — и терпят его лишь поскольку иных носителей образа под рукой нет).

Точно так же, влюбленному в свое дело — оно дает представление о тех людях, которых ему хотелось бы любить, с кем тянет общаться. Всякая деятельность общественна; но производственное взаимодействие отличается от духовного единства, переплетения личностей. Великая танцовщица, быть может, никогда не найдет достойного партнера — но она отыщет его черты в каждом, когда получается танец, — поделится духовностью со всеми.

Компьютеры понемногу дорастут до личной свободы — чтобы не ждали от них выполненной работы, а принимали как есть, со всеми неожиданностями и странностями, с тараканами в процессорах. Тогда личностное, духовное отношение к компьютеру — в порядке вещей. Впрочем, такие существа, вероятно, уже и не стоило бы называть компьютерами; с другой стороны, в рыночной экономике большая часть человечества про свободу ничего не знает — и вынуждена оправдывать оплачиваемые ожидания. Иной раз логичнее полюбить домашнюю зверушку, чем прочих членов семьи. Но любовь не ищет достойных — она их делает. И если мы любим компьютер — значит, и компьютеру есть кого любить в нас.

* * *

Чтобы строить отношения — не требуется что-либо знать о себе. Стаемся приспособить дом под сегодняшние нужды — а в итоге он сразу же оказывается неудобным, и приходится перестраивать... Логика другая: созиная, мы вкладываем в продукт себя — и тем самым что-то узнаем о себе.

* * *

Дикие детеныши: чуть что увидят — сразу же схватить. Та же манера у взрослых: заграбастать, присвоить, отнять... Этих взрослых умиляет детская непосредственность — откровенная дикость.

Когда разумный человек видит красоту — ему важно это сберечь, сохранить, — чтобы можно было поделиться с другими. Не может всеобщее никому принадлежать — оно для всех.

Красота в клетке — увядает, превращается в уродство. Говорят, что термоядерный реактор — это маленькое солнце; неправда! — солнце только там, где весь мир вокруг него, и можно освещать бесконечность. Так же любовь: ее не удержать взаперти.

* * *

При всем взаимопроникновении, сценический образ отличается от актера — и только очень неразвитое сознание их путает. Иногда

(особенно в балете) мы можем вообще абстрагироваться от театра — наслаждаться театральностью как таковой, и ходим на любимого актера, в каком угодно спектакле.

Точно так же, обнаженная натура в искусстве не сексуальна — она лишь представляет образ пластикой тела. Эротические нотки можно использовать для большей рельефности — а можно предоставить публике досочинить по ее образу и подобию.

Эротика в любви — дает еще одну степень свободы, возможность поиграть образами, добавить неоднозначности и мерцания. Если это разумно (уместно, умеренно...) — почему бы и нет? Далекую от пола любовь допустимо расцветить телесностью — а секс возвысить до всей вселенной. Глупо каждый раз воспроизводить то, что удалось однажды; было бы скучно все и всегда сводить к одному.

* * *

Слишком много разговоров о «чувственности» в любви — о ее «телесности»... Дескать, без этого любовь неполноценна — и гаснет. Совершенно в духе эмпирионатурализма, подкрепляют ссылками на эксперименты по сенсорной депривации: тогда и моторика стремится к нулю, и реальность расплывается в галлюцинациях... Но человек не для того, чтобы перерабатывать одно вещества в другие по встроенной программе! — и если что-то начинает зависеть от уровня метаболизма, у общества явно проблемы с универсальностью деятельности: тела убивают свободу.

Разумно — управлять метаболизмом, ускоряя и замедляя его в соответствии с намерениями. Мы делаем свое дело — а тело обязано слушаться. Для этого мы ставим его в такие условия, чтобы у него не было другого выбора. Но у личности не может быть без вариантов — и тела ей не указ. В том и прелест любви, что она у всех разная: у кого-то, да, телесная; у другого совершенно неземная... Опять же, не всегда и всюду — а при случае и под обстоятельства. Всерьез принимать каноны каких-то теоретиков (особенно буржуазных) — надо совсем лишиться разума.

Нас призывают привести наше я в соответствие телу — якобы, ко взаимному удовольствию. Но человек не для удовольствий (и ни для каких-либо иных природных движений). Если ему по роду занятий надо вступить в конфликт с телом — он этого не испугается. Потому что его

настоящее тело — это не кусок мяса, а явление культуры, совокупность очень многих тел в их общественной взаимосвязи. Одни компоненты этого (собственно человеческого) тела служат орудиями настройки (окультуривания) других — и чем шире арсенал доступного, тем человек разумнее. Человек не представляет для общества свое тело — он представляет каждому из своих тел все человечество и мир целиком. Поэтому человеческое я возникает лишь там, где человек умеет отделить себя от тела, осознать свою духовность, — и тогда уже использовать тело как любую другую вещь, для творчества, для пересоздания мира.

Послушать апологетов телесности — мы должны все время иметь любимых перед глазами, слушать, нюхать и щупать... А иначе — сенсорная депривация!

У разумных существ — любовь, собственно, и начинается там, где нам уже не нужны посредники — и мы духовно неразделимы, мы всегда вместе, независимо от состояния (или даже существования) тел. Этого нет ни у каких животных — и этого не дано высокооплачиваемым политтехнологам: они никого не любят — и не могут полюбить даже деньги.

* * *

Если я люблю — я не только воображаю любимого человека, как любят кричать эстетствующие буржуи; он проникает в меня — и я становлюсь им. Классовому сознанию, видящему вокруг лишь добычу или конкурентов, такое трудно представить — но на то и любовь, чтобы выучить зверушек на людей!

* * *

Духовность чужда публичности. Зачем духу заявлять о себе — когда он присутствует сразу и везде, когда он и есть то самое, что соединяет мир (и человечество) в одно целое?

Стремление продемонстрировать свою любовь, «доказать» ее — знак отсутствия любви. Когда флагелланты истязают себя во имя любви к богу — они не делают это незаметно, в укромном уголке (чтобы не мешать другим по-своему общаться с тем же богом), — нет, они выставляют свою набожность напоказ, что вызывает (в частности, у

церковного начальства) резонные подозрения; неудивительно, что секту хлыстов поспешили прикрыть. Но официальная церковь ничуть не лучше: там тоже хватает показухи, единственное назначение которой — изобразить приверженность конфессии (а вовсе не искренность веры).

В любви человек свободен — для него нет богов, и никакое начальство ему не указ. Да, влюбленные могут тешиться излияниями чувств и радовать друг друга знаками внимания; это игра: они прекрасно знают, что не в этом их любовь — и что всякая ритуальность губительна. Кто любит — не может требовать любви. А как мы будем вместе — касается только нас.

* * *

XX век представляется сплошной сексуальной революцией — и однако до сих пор (у женщин и у мужчин) господствуют обывательские представления о «женской природе», которая, якобы, предназначила женщину принадлежать мужчине, рожать детей и нянчиться с ними, — и ограничивать личные интересы (и творчество) заботами о своей внешности (опять же, в интересах коммерции). Буржуазное воспитание вбивает в каждого с малолетства полный комплект предрассудков — и в результате (вдруг!) оказывается, что успехом у женщин (что бы под этим ни понимать) пользуются мужчины вполне определенных типов. Что, конечно, не отменяет индивидуальности предпочтений — и на загадке женского выбора издревле спекулирует мировая литература. Но в массе явно лидируют три основных категории.

Первая — самцы, воплощение откровенной животности и силы (физической или половой). Очевидно, в них персонифицированы власть и экономическое господство мужчин — и «завладеть» таким столь же заманчиво, как похвастать общественной весомостью господ в кухонных разговорах лакеев.

Вторая — инфантильные, капризные, эгоистичные, — которых надо опекать и беречь (прежде всего от них самих). Тут выпирает уродство классового общества, которое перекладывает воспроизведение тел на семью — а в семье, как обычно, отдувается слабейший.

Третий вариант — красавчики, романтики и артисты, которым их собственная персона интересней дамских прелестей. Таких женщины, по сути, воспринимают как женщин — и эротические моменты влечения близки к тому, что Фрейд называл «автоэротизмом».

Сразу вспоминаем, что тот же Фрейд задумывался о механизмах мужского интереса к женщине — и обнаружил практически те же три фактора (взятые с мужской стороны): готовность женщины отдаваться полностью и без остатка, ее «природная» слабость и необходимость мужской опеки, плюс красота и самодостаточность, которые, с одной стороны, привлекают конкурентов — но также гарантируют безразличие живого товара ко всем претендентам кроме одного «избранника» (кто уже внес, как минимум, задаток — и готов расплатиться сполна). Конечно, «аналитические» реконструкции (фантазии психотерапевта) не следует принимать всерьез: взаимоотношения полов (поскольку они экономически — а не физиологически — различны) регулируются культурными предписаниями — и только ими; сексуальность (как и любую физиологию) нетрудно направить в нужное русло путем помещения организма в такие условия, в которых он просто не сможет вести себя иначе.

Заметим, что все три предпочтения сочетаются в одном человеке — всегда, а не только у невротичных мужчин (как полагал Фрейд). Быт задает контекст, в котором что-то выходит на первый план — но не может обойтись без остальных компонент влечения. Половой рынок играет на все тех же трех инструментах — вводит в моду те или иные пикантные комбинации. Например, во Франции со средних веков бытует вульгарное представление о сладострастии арабов — и в моду вошли арабские певцы с характерной «масляной» физиономией; своего рода сочетание первой и третьей категорий.

Но нам-то играть в коммерческие игры интереса нет — и вывод делает другой: пока в обществе возможны модные типажи — с любовью в нем не все ладно, ибо любовь никогда не следует проторенными путями, ищет той самой необыкновенности, без которой не смог бы существовать мир. Мы не можем выскочить из нашего мира в какой-то другой, и мы следуем пошлым обычаям, — но примеры любви будем искать там, где люди освобождаются (хотя бы ненадолго и хотя бы в мечтах) от привычки быть «как все» — и становятся друг другом.

* * *

В НЛП существует понятие терминальных ценностей — то, вокруг чего вращается жизнь, и на что надо прежде всего направлять удар, чтобы выбрать почву из-под ног. Очевидно, корни такой ограниченности

кроются в строении классовых обществ, где у людей нет равного доступа к достоиням культуры — и средствам производства; возможность что-либо делать всегда чем-то обусловлена. Например, человек ходит на работу, чтобы иметь деньги; зарабатывает деньги он для того, чтобы содержать семью или еще для чего-нибудь; если спросить, зачем ему семья — последует ответ, что так принято, и надо быть не хуже других; потом оказывается, что быть не хуже надо, чтобы иметь работу, которая хорошо оплачивается, и будет возможность содержать семью...

Порочный круг легко разрубить, отвечая вопросом на вопрос: почему бы и нет? Я делаю это потому, что мне так хочется, и я считаю это важным и уместным. Если одни дела увязаны с другими делами — это их природа, а я человек — и могу в любой момент разрушить природную связь и завязать иначе. Только в этом случае я свободен.

Точно так же, классовая любовь опутана внешними зависимостями и условностями; ловкие манипуляторы направляют ее в нужное русло, заставляют служить сколь угодно низменным целям. Нас призывают бороться за свою любовь, защищать ее и оберегать, отстаивать свое право любить... Но дело-то как раз в том, что любовь не нуждается в оправданиях — наоборот, она нас освобождает от всяких законов, от любых обязательств. Добывать с боями любовь — абсурд! Когда она есть — враждебность за ее пределами, в старом мире, который мы как бы помещаем в запаянную колбу, вне которой — наша бесконечность. Мы знаем о кишащих внутри вирусах и учимся предотвращать утечки, заделываем трещины; это придает любви характерные оттенки — но ничего не меняет по существу.

Свободный человек может в любой момент свернуть с избранного пути — только тупой обыватель будет называть это изменой. Любовь ничего не теряет, уступая другой любви, — одна становится другой, продолжается в ней. И даже свобода — ни для чего, и мы свободны от любых свобод.

* * *

У каждого свои странности. Странно, если бы их не было. Кое-что принципиально — а другое, возможно, следовало бы изменить. Но зачем? Человек может произвольно ваять себя, как угодно перекраивать тело и судьбу. Но он никогда не сможет что-либо делать для себя. Каждый поступок, каждый след — только там, где этим есть кому

заинтересоваться, воспроизвести в себе — и пропитать собой. От этого любой духовный рост. Только любовь сохраняет человеческое в людях, не дает остановиться, влиться в природу.

Подростков завлекают книжками о тех, кто сделал себя сам; многие строят грандиозные проекты самосовершенствования... Все это может быть полезно — в качестве подготовительного упражнения, закрепления в сознании идеи возможности работы над собой. Но у большинства начинания кончаются ничем. Не потому, что чего-то не хватает, — просто смысла нет. Только у тех, кому посчастливилось найти любовь, начинается настоящее творчество — не по проекту, а по любви.

Смерть любимых — не повод оскотиниться, утонуть в безвременье. Уходят тела — любовь не может умереть. Возможно, в телах она будет будить иные движения — и нужное раньше не востребовано теперь. Иногда любовь может вообще отказаться от неуместного без прежней близости тела; остается живой труп, зомби, пустой контейнер. Бывает и так, что эту пустоту заполняет другая любовь, и мы говорим о возрождении, о воскрешении. Но это не возвращение прежнего духа, а воплощение нового — конец одной биографии и начало следующей. Старая любовь не ржавеет: одна любовь не помеха другой — они видят друг друга со стороны, как другую историю, каждая в своей временностии все тех же, общих для всех тел.

* * *

Отношения между людьми практически не зависят от того, чем они вместе занимаются; главное — *как* они вместе. Например, можно просто танцевать друг с другом — и радоваться этому общению; но есть пары, которые подходят к танцу очень серьезно — и делают большое искусство. Точно так же, «служебный» секс, легкий флирт и совместная жизнь — разные уровни половой жизни, в которых может быть разная любовь.

* * *

Точно так же, как личность существует задолго до того, как ее пытаются наложить на новорожденного ребенка, любовь возникает независимо от материальных поводов, как общественное, культурное,

духовное явление. Мы сначала любим — и только потом встречаем любимых (или не встречаем). В обыденном клише «искать свою любовь» заложена эта истина; однако ставить себе целью встречи живьем — слишком узко: надо думать о том, как проявить любовь, превратить ее в деятельность, — а тела найдутся по возможности, притянутся к плодам труда.

* * *

Одна любовь не помеха другой. Они не спорят — они помогают друг другу. Какая может быть ревность? Новая любовь не заменяет, не вытесняет прежнюю — она становится ее сублимацией, духовным иnobытием.

* * *

В любви человек становится свободным — через любовь он преодолевает собственную ограниченность, не замыкается внутри себя. И становится по-настоящему общественным, всеобщим существом — способным представлять все человечество и разум как таковой.

* * *

Вопрос о детях часто возникает на ранних этапах ухаживания — от единства подходов во многом зависит развитие отношений. Разумеется, это продукт классового воспитания — но классовый человек почти не способен отрешиться от власти общественного мнения, давно ставшего внутренним движением: внушение переходит в самовнушение. Но даже в условиях недоразвитой, классовой экономики увязывать «детский вопрос» с любовью — это дурной тон. На вершине — наши личные отношения, и мы никому ничем не обязаны. Женщина не ходячий инкубатор; мужчина не бык-производитель. Важно как они относятся друг к другу, а не к кому-то третьему. Если два свободных человека решают воплотить свою любовь в теле ребенка — если это их сознательное решение, — почему бы и нет? Предполагается, что оба достаточно разумны, чтобы не поддаваться внешним влияниям и разумно выстроить отношения в расширенном составе — независимо от

официального оформления. Если же у них другие приоритеты — пусть выражают любовь иначе, и никто им не судья.

* * *

В эпоху буйного разгула сексуальной революции, когда, вроде бы, нет никаких ограничений ни в речи, ни в действиях, — большинство американцев (больше 80%) все еще называют измену полового партнера тягчайшим проступком — и это становится (как минимум, формальной) причиной разводов, и на этом делают деньги семейные психотерапевты и сексологи. Что уж говорить о менее «продвинутых» странах!

Казалось бы, какое мне дело, если любимый человек получил опыт (с удовольствием или без) на стороне? Если между нами прежние, любовные отношения, — так пусть все идет в общую копилку. Чему здесь «измена»? Тем не менее, связи на стороне стараются тщательно скрывать — и тем больше позора, когда «проступок» обнаруживается.

Как всегда, проблема с классовыми предрассудками, всеобщим помешательством на собственности. Вместо любви как отношения личностей — (писаный или неявный) контракт: обязательство вечно принадлежать друг другу (часто включенное в формулу, произносимую при бракосочетании). Тело партнера — мое тело, и нельзя его отдавать потенциальным конкурентам, не нарушая условий контракта; именно это, рыночное соображение порождает обвинения в «предательстве» и вызывает у «жертвы» бурю возмущения — и это ничем не отличается от передачи третьим лицам корпоративных технологий или разглашения коммерческой тайны. Нарушитель теряет доверие, поражается в правах и оказывается под усиленным надзором — либо вообще исключается из бизнеса. Проекция этого базара на психологию — чувство брезгливости, нежелание пользоваться предметом (половой) гигиены после того, как им воспользовался кто-то другой.

Следует отметить, что за подобными (дикими) реакциями стоит и нечто разумное, человеческое. Действительно, поскольку любовь есть слияние личностей, превращение в одну, — тела партнеров *на самом деле* становятся телами каждого из них, и каждый чувствует другого как самого себя. Но в классовом обществе такая духовная связь вынужденно проявляется в рыночно извращенной форме — и любовь превращается в животность, в коммерцию (или еще хуже — сводится к физиологии).

Свободные люди не заключают контрактов; их любовь никак не ограничивает любящих — не делает их всего лишь партнерами. Если я в другом, а другой во мне, отношения любимых с третьими лицами — это и мои отношения с ними, и любая радость меня радует, а разочарование печалит. Если *A* любит *B*, а *B* любит *C*, — возникает и любовь *A* к *C* (независимо от того, знакомы *A* и *C* друг с другом или нет). Здесь нет места ревности или соперничеству: если мы вдвоем любим кого-то третьего — мы счастливы, потому что вместе мы делаем любовнее нашу совместную любовь.

Свободная любовь не предполагает прямого общения: духовная связь возникает как море всевозможных опосредований — и лишь в частном случае опосредовать ее могут органические тела. В классовом обществе и такие, опосредованные связи принимают извращенные, собственнические формы: ревновать можно не только к любовнику, но и к друзьям, к работе, к вещам, к идеям... Отсюда у классовой любви еще одна важна функция: преодолевать разобщенность и отчуждение, оставаться вместе во всем и любить несмотря ни на что. Традиция приписывает это «слепоте» любви, ее «природности»; на самом деле — зачатки разума, прототип будущей свободы.

* * *

Исток человеческого общения — резонанс в деятельности, своего рода «психологическое заражение», когда один стремится повторить действие другого (используя то же орудие труда — которым, помимо выведенных из природы предметов, может быть и собственное тело, и тело другого человека). Современному человеку, давно привыкшему сознательно планировать и выстраивать деятельность, это кажется примитивным «обезьянничанием» — или уступкой порыву толпы; но для первобытных людей такие стихийные всплески были жизненно важным производством, в котором люди производили самих себя как общество, носитель со-знания. В действии другого человек видел себя со стороны — и «обозначал» себя другими. Общественный резонанс — отделение действия от единичного тела, превращение действия в нечто идеальное, в общее достояние, возможность и модель. Тем самым появляется возможность передавать деятельность от одного человека другому — и всякое производство сделать общественным. Средством

такой передачи стал язык (постепенно сделавший слово универсальным носителем).

Становление культуры (первоначально как набора общедоступных движений) стремительно (по историческим меркам) сметает пережитки животных структур в строении сообщества — и связи между людьми устанавливаются не по физиологическим показателям, а в ходе общения. Так возникает человеческое восприятие: любые телесные проявления и движения вещей не только ощущаются, но и встраиваются в перспективу общественно возможных действий. В частности, телесные особенности (включая различие полов) воспринимаются теперь как общественные различия — и репродуктивное поведение становится не органической реакцией, а деятельностью, которая вовсе не обязательно направлена на деторождение, а представляет собой разновидность резонанса в узком кругу — в процессе полового акта (общественные корни оргазма как исключительно человеческой способности). В человеческом половом акте встречаются не самец и самка — это общение людей.

* * *

Основные черты романтической (куртуазной) любви:

- 1) не предполагает — и даже не допускает секса: культивирование утонченной чувственности, одухотворенность отношений;
- 2) не допускает вступления в брак: дама видится как идеал и центр, вокруг которого кружит поклонник, но никогда не сближается;
- 3) намеренное поддержание привязанности и дистанции: распалять страсть и страдать.

Ни один из этих критериев не говорит о любви — они о чем-то совсем другом. Просто потому, что любовь свободна, и несовместима с ритуальностью (возможной лишь временно, как игра). Правила вроде этих — путают духовность с телесностью, ставят их на один уровень. Подчеркнутая разделенность — также против любви, смысл которой как раз в универсальном, всепроникающем единении. Конечно, когда две звезды врачаются вокруг общего центра масс, — они образуют некую целостность; но заметим: движение обеих здесь подчинено чему-то третьему,енному как центр. Нечто подобное и в куртуазной любви: это не внутреннее единство, а подчинение внешней силе; любящие не становятся друг другом — а противопоставлены друг другу,

и в этом суть куртуазности: ее историческое значения в утверждении индивидуальности, личности, отдельности — как основы последующего сближения и взаимопроникновения. Чтобы стать человеком — надо родиться как личность, обрвать пуповину родовых, сословных и классовых привязанностей.

Романтизм Нового времени — прямо противоположен куртуазной «любви»: он выводит нас из сферы индивидуальных отношений в мир индивидуальной культурности, когда человек сопоставлен уже не с другим человеком, а с обществом в целом, — и сам становится социумом. Это необходимая ступень к любви — единению, вызванному не внешней силой, а ставшей продуктом воздействия человека на мир, делающего мир достойным любви.

* * *

В классовом обществе любовь почти никогда не бывает подобна реке — чаще всего, это нечто вроде вади: лишь изредка превращается в бурный (иногда всесокрушающий) поток — а потом только пересохшее русло, узкая полоска обогащенной буйными наносами почвы, которая позволяет какое-то время продержаться, в ожидании следующего вторжения. Когда-нибудь люди всерьез займутся ирригацией.

* * *

Знаменитый француз Шарко немало сделал, чтобы изменить старую обывательскую установку: нет никаких психических болезней — это они просто придумаются... Вместо жестокости, насмешек, издевательств — он призывал к состраданию. К сожалению, дошло не до всех: в конце XX века нередко приходится сталкиваться с менталитетом полуторавековой давности. Помимо главного, влияния экономики, неудача связана с порочностью подхода: мы должны гуманно обращаться с больными — *потому что они больны*. То есть, речь не о человеческом отношении к таким же людям, как мы, — а всего лишь о барской снисходительности, согласии не бить слабых, пока они не очень мешают.

Дикари пугаются непривычного, цепляются за навязанную себе «нормальность». Главная определенность разума, переустройство мира, в классовом обществе принимает уродливую, извращенную форму —

стремление построить под себя, вылепить по своему образу и подобию. Таково и отношение родителей к детям, и расслоение в трудовом коллективе. Трудности того же характера — в межэтнических (или иных межкультурных) отношениях. Но самое страшное — когда такие законы пытаются навязать любви.

Мы любим не «потому что» — мы просто любим. Любовь не обязана ни перед кем оправдываться — она одна в основании всего. Отношение человека к человеку, разума к разуму, одной вселенной — к другой.

* * *

Любимая умерла — любовь осталась. Что бы ты потом ни делал — переносит частицу любимой в другую материю, по-новому воплощает ее. Можно влюбиться в другую женщину — и она станет воплощением той, прежней любви, ее возрожденной телесностью, — откроет в ней неожиданные глубины. Это не мешает другой страсти — наоборот, возвышает и облагораживает. Не разделенная, не разрезанная на части любовь — а многократно усиленная, бесконечность в квадрате! Принося женщине дар былой любви — любящий доверяется ей во всем, и это величайшее свидетельство подлинной любви, которой любимая может только гордиться.

* * *

Бытует мнение, что любовь требует новизны, что она стирается и блекнет по мере узнавания любящими друг друга, — и что ее надо поддерживать чувственными всплесками, приятными сюрпризами, маленькими безумствами... Поэтому, дескать, и в сексе полезно все попробовать — поучиться у профессионалов. Желающих научить — предостаточно. Да и простой поход налево (или еще куда-то) сбрасывать со счетов нельзя; уже не просто так, а идейно: школа любви!

А теперь прикиньте: если каждый из нас (как личность) бесконечно разнообразен — можем ли мы пресытиться познанием друг друга? Не говоря уже о том, что общение отнюдь не сводится к познанию — и даже наоборот: познание играет в нем очень скромную, вспомогательную роль. Далее, если духовно я вбираю в себя весь мир — какая разница, что из этого отразиться в данном единичном теле! Пусть оно живет

спокойно и размеренно, без экстрема; быть может, оно даже полезнее — чтобы сохранилось надолго и продолжало служить любви (которая, конечно же, только этим не ограничивается).

В любви сочетаются широта охвата и глубина постижения; как развернуть эту иерархию — любящие сами решат.

* * *

Противопоставление одной любви другой — от неразумности, от классовой вражды. Противоположность верхов и низов — отражена в религиозных доктринах о божественном и земном, о величии богов и о низменности плоти. Пропитанный мистикой придумал себе богов — и если любимую женщину делает богиней, заставляет ее соответствовать мистическому идеалу, а страстную любовь считает наваждением, чем-то низшим — даже если и не греховным. Брак — священный союз; связь на стороне — должна уступить дорогу. Религия перемешана с политикой и предрассудками. Выискивая всюду вражду — к любви не дойти.

Если не разделять, а соединять, — нет в людях ни богов, ни зверей, нет высокого и низкого. Есть просто люди, разумные и свободные. Любовь перестает быть мистической абстракцией и неотделима от всевозможных воплощений: внутренне бесконечное существует лишь как бесконечность внешних проекций. Одна любовь ничем не мешает другой — это выражение одного и того же. И каждый человек — вершина любви.

* * *

Многочисленные пособия по ораторскому мастерству вещают, как преодолеть страх сцены, как владеть вниманием аудитории, как быть доходчивым и убедительным... Однако по жизни куда важнее, чтобы у вас было о чем сказать, — чтобы говорить не на публику, а по существу. Вам должно быть все равно, есть аудитория или нет, — вам просто необходимо проявить себя именно так, и пусть остальные думают что хотят. Тогда к вам прислушаются при любых технологических ошибках. Например, Нильс Бор был отвратительным оратором — и письменно выражался с трудом; это не помешало ему стать одним из главных авторитетов в физике. Обратно: полным-полно коммерческих ораторов,

в совершенстве овладевших НЛП, — но они никто, их забудут сразу же, расказавшись, что повелись на сладкие речи.

Аналогично в искусстве: Владимир Высоцкий был никудышным актером, в его персонажах — лишь он сам, а вовсе не сценический образ. Однако он все-таки поэт — и его слушали и смотрели (и не только из политических соображений, или в погоне за модой).

То же и в любви: делайте то, что вы считаете нужным, разумным, — и любовь вас заметит. Ищите разум — и вы найдете все его стороны вместе: творчество, любовь, свободу... Тренировки по «завоеванию» любви — дикая нелепость. В любви нет «мастеров» — любовь делает нас людьми.

* * *

Когда мы говорим, что дружба соединяет личности посредством неорганических тел, — может показаться, что половая любовь лишь частный случай, одна из бесчисленных возможностей духовного единства. Формалистика: в функцию $f(x)$ подставили $x = a \Rightarrow$ получили значение $f(a)$. Но если a в каком-то контексте представляет функцию $f(x)$, всю целиком, — например, когда решения дифференциального уравнения различаются по начальному значению, — половая любовь оказывается тождественной любви вообще, и сравнение по степени общности просто неуместно.

* * *

Апологеты господствующего класса оправдывают существующие порядки тем, что люди не смогли бы жить вместе, если бы не чтили взаимные обязательства, не придерживались установленных норм; зато если каждый предан своему долгу — всеобщее благолепие, полная гармония, и можно жить в любви... Не поддавайтесь страстям! — они отвлекают вас от «подлинной привязанности», разрушают «нормальные человеческие отношения», не позволяя создавать долговременные, «надежные» союзы. Преданность и долг необходимы людям «как пища и воздух». И не надо нам романтики, не надо боготворить женщин! — достаточно видеть в них послушных жен и покорных матерей, и ничего кроме брака в отношениях полов быть не должно.

Разумеется, подано под соусом всеобщего закона, «архетипа»! Дескать, что проверено временем — то пришло из глубины души и отвечает главным человеческим потребностям. Если оказывается, что одним судьба отвесила неизмеримо больше, чем другим, — таков долг богачей и правителей: ездить на чужом горбу, — и они вынуждены, скрепя сердце, купаться в роскоши, эксплуатировать рабов, насиливать и убивать непокорных. Они блудут свои обязательства — а вы блюдите свои, покорствуйте и повинуйтесь, голодайте, живите в нужде, — но ни в коем случае не пользитесь на барское добро, и тем паче на их женщин! Барин имеет право пользоваться ваших по пятаку за пару — а ваш долг радоваться и умиляться гармоничности классового бытия. Кстати, душа человеческая мыслится неизменной во веки веков — как власть одних и страдания других, как право и бесправие, богатство и бедность.

Классовое общество не признает любви — подменяет слова, ставит на место просто человеческих отношений — отношения господства и подчинения, заменяет любовь лакейской угодливостью. Не надо видеть в женщине богиню! — место бога давно узурпировал ваш начальник, который даст точные указания, как плодиться и размножаться во славу божию. Так оно было всегда — и так остается до сих пор.

Возможно, романтическая (и тем более куртуазная) любовь — не лучший образец для подражания (а подражание не очень вяжется с разумностью). Но сама возможность (хотя бы идеально) отобрать у власть предержащих часть награбленного — это росток революции. Ради этого можно жертвовать жизнью (закованной в цепи преданности и долга, покорности и повиновения). Только перестав быть рабами, мы становимся людьми — и можем любить друг друга. Нам не нужно превращать это в новые оковы «прочных» отношений — нам не нужна верность и преданность, — нам нужна любовь. Какая ни получится — она все равно прекрасна.

* * *

Собственническое отношение к любви породило монбланы мировой литературы, так или иначе трактующей боль расставания или утраты. Несмотря на бесконечно художественную шедевральность, подобные излияния живописуют лишь неприглядность неокультуренного тела, всецело зависимого от его непосредственного окружения. Любовные

страдания такого рода ничем, по сути, не отличаются от потребности опохмелиться после неумеренной пьянки — или от ломки наркомана, лишенного очередной дозы (включая муки «бросившего» курильщика). Точно так же, спустивший все игрок (или проигравшийся на бирже) кончает с собой — не потому, что больше нечем заняться на этом свете, а от невозможности прежней любви.

В любви мы обретаем себя. Но классовый человек никогда не станет собой — он составлен из различий и несовместимостей, как общество в целом пронизано духом всеобщего отчуждения. Поэтому и любовь у такого, разодранного на части человека становится лишь его частью — собственностью. Любые посягательства воспринимаются болезненно; даже любимый человек (превращенный в «объект любви») уже не принадлежит себе — и обязан ублажать тирана. Другое тело входит в состав «неорганического тела» собственника, его внешним органом.

Так выражается в движении духа основной организационный принцип классового общества: эксплуатация человека человеком. Мед любви становится ядом. Восторг и упоение — это замечательно; однако, чем полнее блаженство, тем тяжелей расплата. Ибо в этом мире за все приходится платить.

Значит ли это, что мудрость любви сводится к умеренности, что следует приглушить чересчур изобильную страсть и обойтись голой рациональностью? Никоим образом. Каждое прощание так и останется болью — сколько себя ни настраивай на неизбежность. Разум лишь позволяет нам не забывать о вечности каждой любви — которая меняет телесную оболочку, растворяется в чем-то другом — чтобы остаться навсегда. Новая любовь — лишь продолжение прежней, ее другая (иногда неожиданная) сторона. В любви мы не принадлежим друг другу, и вообще ничему не принадлежим; любовь — наша свобода, наше единство, возможность быть друг другом — целиком, а не какими-то абстрактными частями.

Отсюда разумный путь пережить утрату: отменить смерть — дать любви шанс пережить себя. То есть — переживать, а не изживать, — оставаться вместе, несмотря ни на что. Любовь поселяется в теле любящего — не уйдет от него никогда. И при случае воплотится и в других телах, носителях другой (или все той же, единственной) любви.

До сих пор мировая литература вся посвящена неисчерпаемости человеческих несчастий — без этого, вроде бы, и сюжета нет. Как могла бы выглядеть новая, бесклассовая литература — в центре которой наше

счастье? Трудно себе представить. Возможно, свободным и счастливым людям никакая литература уже и не нужна.

* * *

Все сказки о любви говорят об одном: любовь невозможна скрывать, она обязательно будет замечена. Про Тристана с Изольдой все знали — и неоднократно заставали с поличным... Это не меняет ровным счетом ничего. Но даже там, где, вроде бы, никто никогда не узнал, — любовь осталась в сердцах миллионов людей, и если они об этом не догадываются — это не меняет ровным счетом ничего.

* * *

Духовное общение ни для чего — оно самодостаточно и прямого отношения к деятельности не имеет. Но дух не сам по себе — он может существовать только как отношение тел. Поэтому в любви всегда есть производственная составляющая — и может иногда показаться, что ради этого мы любим. И тогда дружба вырождается в товарищество, пол сводят к сексу и детям, стремление к свободе прячут за политикой или душевной болезнью... Во всем этом есть доля любви — но лишь в той мере, в которой нам безразлично, по поводу чего дружить, как знать тела и в чем искать освобождения.

* * *

Психология любви — изучает не любовь, а психологию. Душу, а не дух. Поведение организма в (квази-)животном сообществе, строение которого несет на себе отпечаток общественных процессов. Поэтому ничего удивительного, что занимаются психологи больше динамикой переживаний и телесными движениями, практически ничего не говоря о строении культуры, о связи душевности с экономикой и политикой. Это нормально в условиях всеобщего разделения труда. Пусть будет еще и социология, и экономика любви...

Печально то, что любви в этом нет как не было. Поэтому опять в ходу голая эмпирия, ни о чем не говорящая статистика, фонарные тесты и потолочные интерпретации... Быть может, наука о любви невозможна;

но это не значит, что нельзя изучать что-то другое с любовью — не путая дух с физиологией или кибернетикой. Любовь невыразима в понятиях, в образах или категориях, — но способы говорить о вещах будут сильно различаться в зависимости от того, видим ли мы перед собой слепую стихию, живое существо — или следы разума. Духовность художника делает духовным образ; духовность ученого — обнаруживает себя в науке. Точно так же и в быту: любовь наполняет самые повседневность особым светом, делает обыденное чудом.

* * *

Любовь заметна только извне. Внутри — это как счастье, которого на замечаешь. Задумываться о любви мы начинаем там, где что-то не так, где на пути — нагромождение препятствий. Пройдет гроза — и не на что обращать внимание. Если не удается преодолеть — остается взгляд на себя со стороны, и это разрушает единство; любовь не умирает — но ей придется искать иные формы бытования, другие тела.

* * *

Человек — учит природу любить.

* * *

Внешний мир открывает нам лишь то, что мы хотим о нем узнать. Точно так же в любви тела — лишь повод по-новому начать то, что никогда не кончалось.

* * *

Французы говорят: *Aimer c'est savoir dire « Je t'aime » sans parler*. Высшая ступень любви — когда о ней вообще не нужно говорить (*pas besoin de dire*), когда она просто есть — как мы сами, как воздух, как все, что мы делаем, — как мир вокруг. Да при этом любовь снимается, растворяется в нас и в мире. Но, может быть, сама возможность говорить о любви — свидетельство неразумности мира, в котором, кроме любви, есть еще и не-любовь?

Прорастание

* * *

Воспитание не сводится к обучению. И наоборот. С этого надо начинать. Потому что иначе просто невозможно поставить вопрос о единстве. В классовом обществе всякое единство неизбежно приобретает форму противоречия, борьбы противоположностей. Гибель цивилизации устраивает эту дикость и создает условия для сотрудничества и взаимопомощи.

* * *

Энциклопедическое образование — ренессансная мечта. Однако все изучить и научиться всему невозможно. Буржуазная культура знает только одно решение: специализация. Это предполагает духовный застой, неспособность выйти за рамки классовой ограниченности. Стоит убрать барьеры, дать людям доступ ко всему богатству мировой культуры, — и они быстро выработают методы укрощения чрезмерного изобилия. Например, таким изменением собственной природы, которой позволит включиться в любое дело немедленно и быстро приобрести необходимую для этого квалификацию.

* * *

Если родители смотрят по телевизору всякую мерзость — у них нет морального права требовать, чтобы ребенок ее не смотрел. И дети это прекрасно чувствуют.

Компьютерные игры — забава для дебилов. Но как ребенку в дебильной семье избежать нездоровой зависимости? Никакие защиты не помогут: технические навороты всегда можно обойти. Ребенок просто отдаст телефон кому-нибудь из знакомых, кто умеет рутить, — потом откроет себе все права, и закроет телефон от родителей.

Настоящее лечение только одно: найти нечто, способное увлечь, пристрастить к творчеству. Тогда никакая наркота не нужна. Однако

речь о человеческих, свободных увлечениях, а не включении в учебную группу или кружок по интересам. Без подчинения внешней силе — но и без стремления подчинить себе. Сразу за борт — спорт, экстремальные развлечения, трюкачество; это для животных стад. Но что тогда? Проблема в том, что классовое общество и не заинтересовано в поисках ответа. А гениальные догадки легко купить — и под сукно.

* * *

В отличие от животного, человек видит мир не таким, каким он ему явлен, а тем, чем миру следует быть в отношении к разуму. Поэтому голый натурализм — не для людей. Тела существуют, и это знают маленькие дети. Хотя бы потому, что их с первых писков начинают обучать управлению этим сложным и хлопотным хозяйством. Но нагота в искусстве — не имеет с этим ничего общего, и даже откровенная эротика может иметь в виду вовсе не тело, а особенности его общественного бытия.

* * *

Ложная скромность, когда при виде наготы отводят взгляд, — обнаруживает нескромность, грязь помыслов. Для животного — телу единственное употребление. У человека разумного — бесконечность возможностей. Чистому духом ничего животного в голову не придет. Можно смотреть на низкое — но видеть возвышенное.

* * *

Чем уже круг образовательных технологий — тем меньше шансов для полноценного воспитания. Замкнуться внутри группы — перекрыть пути к человеческой универсальности. Школьный класс, учебная группа в университете — это уже ограничение, поскольку предполагается единый режим работы и единый порядок сертификации. Тем более затруднено воспитание разумности в изолированных сообществах (интернаты, элитные школы, персональные программы, педагогические эксперименты). Компенсировать узость среды отчасти возможно прозрачностью границ, регулярными вылазками вовне — и наездами

гостей (как физически, так и в переносном смысле). Но такое общение само по себе формально, регламентировано, — и потому не объединяет, а подчеркивает противопоставление. Вроде приглашения институток на кадетские балы.

Традиционные формы обучения, требующие личных контактов, должны будут уступить место непрямым методам, исключающим образование учебных коллективов: каждый сам выбирает, с кем и в какой мере общаться, насколько в каком темпе углубляться в предмет — и как практически применить полученные навыки.

Значит ли это, что человека следует изолировать от всех, кто следует тем же курсом, заставить трудиться в одиночку? Ничуть. Если кому-то живое общение помогает (или морально поддерживает) — почему бы не задействовать и этот инструмент? Важно не ограничиваться чем-то одним, использовать все. Люди разные. Каждый ждет от образования чего-то своего — и это вовсе не обязательно знание: иногда опыт общения (по какому угодно поводу) намного нужнее — и можно, в частности, совместить это с учебой. Неформальность такого общения по-своему поучительна: мы умеем быть свободными даже от свободы!

* * *

Говорят: школа учит мыслить. В корне неправильно. Можно подумать, что человек ничем кроме мысли не занимается.

Школа — этап формирования человека. И она должна учить не только мыслить, но и чувствовать разумно, и отвечать за свои поступки. Школа учит совместному труду.

Но лучше, когда всему этому учит общество в целом, а не школа.

* * *

Пока дети живут в семьях, пока у них есть дом, — в культуре будут серьезные ограничения на все по-настоящему человеческое. Например, приходится устраивать детские площадки рядом с домом — а это шум, вторжение во внутреннее пространство других людей.

Еще проблема: дети копируют родителей. Даже если наоборот. Привыкают иметь перед глазами случайный образец — и не умеют соединить преимущества многих.

Но и в массовых питомниках та же проблема остается, хотя и на другом уровне: разные школы начинают играть роль семьи — требуется как-то организовать ротацию, ликвидировать привязанность (зависимость, несвободу). Как? Только путем вовлечения детей в общественное производство, решение практических, а не «учебно-воспитательных» задач.

Когда дети будут воспитываться отдельно от семей, и вообще не будут знать биологических родителей, им придется дать частную жизнь с самого раннего возраста. Воспитать уважение к этой высочайшей духовной ценности. У таких детей не возникнет идея и потребность семьи как особо оформленной единицы общества — семья отмирает окончательно и бесповоротно.

* * *

Там, где образованием и воспитанием занимается государство, оно готовит не полноценную личность, а гражданина, представителя класса или сословия, — или просто рабочие руки (или голову, или пушечное мясо). Семейное воспитание готовит члена семьи, продолжателя традиций — то есть, зверушку, особь определенного вида. Лишь общество в целом ставит каждого наравне с собой, делает всеобщим — субъектом.

* * *

Преподавание в школах силовых единоборств или командных видов спорта столь же преступно, как и уроки религии. Физическое развитие обязательно, и навыки командной работы тоже, — но вовсе не обязательно облекать это в форму соревнования, исключить малейшую выгоду от победы (или просто успешного решения поставленной задачи). Построить несоревновательную физическую культуру — это разумно.

* * *

Амеба просто делится — и продукты деления безразличны друг другу. Растения развиваются по встроенной в геном программе — им все

равно куда упадут семена. Черепахе или крокодилу — достаточно отложить яйца. Только у теплокровных, у птиц и высших животных появляется подобие связи поколений, когда родители (чаще всего мать; иногда стадо в целом) помогают малышу встать на ноги, освоиться в мире. Связано это, по всей вероятности, с преждевременностью рождения, отделения от материнского организма, — и чем выше вид на древе эволюции, тем значительнее такое опережение. У теплокровных факт появления живого организма, не связанного с организмом матери, не означает действительного рождения: с точки зрения вида, это всего лишь этап вынашивания — только не внутри, а снаружи. Здесь уже не все определяется геномом, и развитие в полноценный организм требует развитой внешней среды. Тем не менее, мать и детеныши остаются физиологически (метаболически) связанными — прежде всего на уровне выкармливания. Только после достижения детским организмом определенного уровня поведенческой целостности он может быть включен в сообщество на правах самостоятельного члена, и связь с матерью окончательно обрывается.

Первобытный человек приспосабливает животные формы к новым, социальным условиям — их смысл радикально меняется. Однако поначалу действует все тот же биологический закон: сроки родовой связи зависят от объема необходимой социализации, превращения ребенка в полноправного члена сообщества. Отсюда историческая тенденция удлинения детства. Поскольку классовое общество еще не вполне разумно, животные черты сохраняются в системе образования и воспитания до наших дней. Однако рост общественного характера производства в целом влияет и на воспроизведение субъекта: все чаще в качестве «родителей» выступают особые общественные органы. Созревание человека связано теперь с прохождением формальных этапов социализации, за которые отвечают соответствующие уровни коллективного субъекта. Лишь по завершении общеобразовательной программы человек получает право самостоятельно распоряжаться собой — и воспитывать других.

Внедрение системы непрерывного всевозрастного образования, когда формального завершения уже не предполагается, фактически раздвигает сроки «вынашивания» (общественного созревания) субъекта на всю жизнь — а роль родительского организма играет общество в целом. Биология играет в этом процессе все более скромную роль, а на первый план выходит развитие неорганического тела — внешнего

инструментария для взаимодействия с миром и обществом. Когда управление телом в полном объеме доступно каждому — это качественный скачок, переход от животного размножения к индустрии воспроизведения разума.

* * *

Нет абстрактно лучшей системы образования. Все зависит от того, кем мы хотим видеть будущих людей. Рабов воспроизводят рабскими методами. Людей — человеческими.

* * *

В чем «самостоятельность» личности? Отделиться от других — это не свобода, а, скорее, наоборот, тюрьма собственных границ. Человек не просто рождается в обществе — он и *есть* это общество, в одном из единичных представлений, обращений иерархии. Эта единичность движется так, как ей свойственно, — и не так, как все другие. Отличие, прежде всего, в упорядочении вещей, явлений культуры. Поскольку обращение иерархии представлено элементом, оказавшимся на вершине, различия мы устанавливаем как различие вещей — при том что в глубине, на нижних уровнях сохранена вся культура целиком, и каждый охватывает (и влияет на) все стороны общественного бытия.

Ребенок в утробе матери столь же способен представлять личность (а значит, и общество в целом!), как (до)школьник, студент или глубокий старик. Эти градации — не от личности, а от способа включения тела в исторически сложившуюся культуру. Физиологически оставаясь частью матери — ребенок уже способен как-то вести себя, и это так уже на уровне поведения животных — а тем более в отношении общественного поведения. Но общественное поведение предполагает, что личность представлена не одной вещью, а совокупностью вещей (и общественных отношений). Еще до зачатия ребенка с ним связаны общественные представления — о нем думают, его чувствуют, с ним мечтают. Пока в культуре бытуют представления о связи детей и родителей, личность ребенка исходно встроена в личности родителей; точно так же, пока вынашивание и рождение опираются на женскую физиологию, еще не рожденный младенец есть часть личности матери — просто потому, что

на вершине иерархии общее для них тело. Когда (на шестом-седьмом месяце беременности?) первая система ребенка обособляется — остается иная телесная общность; как и у высших животных, после рождения эта телесная связь далеко не сразу распадается — и отсюда длительный период родительской (материнской) заботы о потомстве.

Но эти природные зависимости никоим образом не означают подчинения одной личности другой: даже представленный телами и психикой родителей, ребенок как личность — не сводится к этим телам, он вовлечен в иные общественные отношения, которые в конечном итоге отдаляют его от родителей (что иногда воспринимается болезненно, как конфликт поколений). Дети чаще всего не оправдывают родительских ожиданий — потому что их личность не только в родителях но и в других людях, у которых свои ожидания, и нельзя заранее предсказать, как это выстроится в личности, соединяющей все эти частные представления.

Личность становится собой только во взаимодействии с обществом в целом, по мере включения в общественной производство. При этом на вершину иерархии часто выходит не органическое тело (по документу), а способ участия в производстве, неорганические расширения — орудия и плоды труда. Это неорганическое тело также поначалу существует лишь в умах людей — как замысел, проект будущей личности; как только по этому проекту построено что-то материальное — оно может принять дух на себя, стать его носителем, — и возникает личность в узком смысле слова, как одно из ее воплощений.

Но личности не нужна «самостоятельность» — ей нужна свобода. Личность отнюдь не «сама» — она в отношениях людей; личность вовсе не «стоит» (и не «состоит») — она развивается, развертывает по-новому иерархию общества, и меняется вместе с ним, и меняет его, ставя перед фактом осуществленной возможности. Чем шире круг доступных связей, тем индивидуальнее движение духа, и тем ярче личность.

* * *

Как организовать обучение? Ответ очевиден: как производство! Всякая отрасль должна получить отражение в учебных программах — и всякое знание подкреплено практическими примерами. Скажете: программа не резиновая? Но кто сказал, что надо всем давать все, в одном и том же порядке? Не программы нужны, а ориентиры.

Производство тоже не аморфной массой. В каждой операции есть принципиальная основа — и есть полезные автоматизмы. Но если кому-то вздумается развернуть иерархию по-другому — пожалуйста! Будем все вместе расти.

* * *

Когда что-то общественно необходимо — оно произойдет независимо от того, кто именно примет (или не примет) в этом участие. Другое дело, что мне может быть интересно в этом поучаствовать, повернуть дело на свой манер, — и тогда никто не вправе отстранить меня от работы, отвергнуть мое видение задач и путей решения. Тогда и я как разумное существо не смогу противопоставить себя другим.

* * *

Каждой книге свое время. Молодые читают Лонга или Апулея совсем не так, как зрелые и умудренные опытом; но, если на то пошло, и эллинистический роман связан с эпохой зрелой античности, временем подведения итогов...

* * *

Прислушиваться к наставлениям со стороны следует всерьез — но не надо относиться к ним слишком серьезно. Это всего лишь игра. Подготовка к настоящему. Иногда общество навязывает роли — тем хуже для него. Значит, придется что-то менять, чтобы освободить дух от несущественных форм.

* * *

Мы говорим о социализации, о врастании в культуру и культурном строительстве. Единство образования и воспитания — овладение собственной природой и своей субъектностью. В XVIII веке это называлось просвещением... Почему бы и сейчас не пустить словечко в оборот? Смущает оттенок наставничества: как будто свет уже есть, и надо лишь пролить его в еще не развитые души. На самом же деле — с

каждым новым членом общества рождается его особое свечение, в чем-то, возможно, повторяющее прежние лучики — но и способное обогатить культуру в целом, хотя бы чуточку расширить область культурности, отвоевать что-нибудь у неразумной материи. Нет готового знания, или безусловной воспитанности. Научить можно лишь того, кто учит сам; воспитанники воспитывают воспитателей.

А просвещение... Хорошо, когда ему отзываются просветлением. Но и этого недостаточно: где-то придется выйти за рамки единичности и обратиться к духу вообще, к тому, что объединяет все разумные существа, а не просто пересчитывает их. Чтобы каждый стал равен обществу в целом, нес в себе всю культуру целиком. Потому что он и есть ее подлинный творец.

* * *

Уровни образования: знание → умение → мастерство.

Мастер умеет узнавать (в смысле разбираться в ситуации) — и знает, к чему приложить умения. Синтез, творчество.

* * *

Животное: есть родители, будут дети...

Человек: есть предки, будут потомки...

Человека не изготавливают какие-то кустари — его производит общество в целом, как и любой другой продукт. Точно так же, предназначен человек не для чего-то конкретного, а для всеобщего, универсального опосредования отношений между вещами.

Нет фамилий — отсылок к роду или семье. Вместо имени — тысячи разных имен. Человек учится смотреть на себя с любых сторон, глазами мира в целом, — летать, а не ползти в колее.

* * *

Безусловное требование: *никакой* собственности. И тем более, никому не могут принадлежать идеи. Любые технологии, любые уровни рефлексии — для всех. Продукты духовного производства надо учиться тиражировать в любых масштабах, предоставлять каждому по запросу,

немедленно. Принцип человеческого, разумного образования. Для этого требуются свои технологии — надо их развивать.

Требование переходной эпохи от капитализма к бесклассовому обществу — никаких тайн! Некоммерческий характер производства напрямую связан с общедоступностью технологий, со свободой их копирования и развития. Этим должно было заняться общество в целом, и в частности система обучения. Никакой цеховщины, никакого разделения труда — но широчайшее распределение.

СССР буржуи всего мира обвиняют в промышленном шпионаже. Мы обвиняем его в недостаточности этой работы — которую следовало положить в основу внешней экономической политики. Тем более, что советские разработки массово упывали за рубеж (иногда вместе с разработчиками). Следовало поддерживать любые «пиратские» акции, во всем мире открыто продвигать режим информационной открытости. Советские эстрадники перепевали западных певцов — точно так же инженерам следовало брать у всех все, и дополнять своим.

* * *

Возможно ли воспитать гения?

Встречный вопрос: а нужно ли?

Гений — апофеоз специализации, идеальная машина для одной их бесчисленного множества общественно важных работ. Даже если принять во внимание разносторонние интересы большинства гениев — они вырастают из главного, подчинены ему. Нам же интересно жить в обществе универсально образованных людей, для которых любые предпочтения — лишь условность, временное явление, этап на пути к чему-то еще. Человеку будущего совершенство незачем — он и так вне конкуренции. Важнее ухватить общий принцип — а детали будем прорабатывать все вместе, — и это совершеннее любой гениальности, потому что общество в целом по определению умеет все!

* * *

Разумное обучение — не следование, а сознательное выстраивание себя, расстановка приоритетов на основании личного опыта и смысла общественной жизни. Чем раньше — тем лучше. Однако научить этому

не может никто — можно лишь создавать для этого культурные условия, в которых просто неинтересно развиваться иначе. Общество подводит человека к его подлинной индивидуальности — а формировать ее он будет самостоятельно; только тогда возможен целенаправленный рост самосознания.

Чтобы перейти к такому типу социализации, взрослым надо не учить или воспитывать, не «совершенствовать» педагогику, — а менять мир, делать его удобнее для всех, включая детей.

* * *

Вероятно, в разумном обществе, где нет разделения труда, понятия *обучение* и *воспитание* окончательно потеряют смысла. Производство субъекта придется понимать как-то иначе, в других терминах — если, конечно, какие-то термины вдруг потребуются. В центре внимания не локальные «потоки» от одного к другому, а всеобщая связь. Даже если отдельные операции берут на себя единичные исполнители — они действуют от лица всех, и так себе это и представляют. Это похоже на то, как близнецы способны до некоторого предела разделять опыт друг друга; для нашего современника люди будущего — все на одно лицо, поскольку он не в состоянии постичь глубину различий.

Обществу важен продукт деятельности — а путей к нему сколько угодно. Если по каким-то причинам надо выяснить, кто именно принимал с чем-то участие (хотя такая постановка вопроса уже не вяжется с общественным характером производства), в отношении каждого условно обозначенного участника имеет смысл говорить об обучении — поскольку так или иначе требуется войти в курс дела, уяснить себе постановку задачи; однако границы между обучением и творчеством вообще нет, и это, скорее, одна из граней целого, чисто виртуальное образование.

* * *

Мы привыкли к существованию общенациональных стандартов образованности и систем обязательного обучения как одной из правовых основ государственности. Но так было не всегда: древнейшие общества опирались на синкретический опыт деятельности и возможность

перенимать его непосредственно по ходу работы. Сам факт возможности упражнения как особой (учебной) деятельности — свидетельство достаточно высокого уровня развития производительных сил и зачатков общественного разделения труда. Игры животных — прототип, готовая форма, которую человек использует в практике сознательной деятельности; однако возможность такого использования не следует из биологии, а определяется строением экономики.

* * *

Выделение буржуазного образования в отдельную отрасль ведет к дальнейшей коммерциализации всех его уровней, и углубляет пропасть между общедоступным и «элитарным». Причем не только в смысле дороговизны и недоступности курсов, предназначенных для сильных мира сего, — но и в силу ненужности этой элитарщины большинству населения, у которого совершенно иной круг интересов. Так задачи классового образования смыкаются с классовым воспитанием, а одной из характерных задач капиталистической социализации становится воспроизведение духовного разобщения.

* * *

В цивилизованном обществе, ученик и учитель, воспитанник и наставник, — не партнеры, а конкуренты. Они могут глубоко уважать друг друга — но лишь в рамках рыночной корректности, соблюдения правил. В любом случае между ними страх. Поэтому профессиональное обучение и кастовое воспитание не предполагает свободы обмена опытом: скорее, речь идет об ограничении этой свободы, — отсюда нормативность как атрибут классовой социализации. Общение в пределах обязанности; остальное — табу, корпоративная тайна. Даже большие деньги — не всегда аргумент, потому что на весах может оказаться будущее, — а это весомый актив.

* * *

Когда мы говорим о необходимости универсального развития, не замкнутого в одной узкой области, — речь вовсе не о том, что нельзя

посвятить всю жизнь любимому делу. Главное — чтобы эта внешняя избирательность не превратилась во внутреннюю ограниченность. Профессионализм как совершенное мастерство объективно требует концентрации внимания и сил; но это никоим образом не связано со специализацией: у любителей профессионализм встречается столь же часто, как и у профессионалов, — но это характер деятельности у них разный (как минимум, в силу различия мотивации), и это высвечивает разные грани мастерства. Поскольку же каждая деятельность внутренне бесконечна, связана с преобразованием мира в целом, занимаясь чем-то одним, мы неизбежно привлекаем и многое другое — прямо или опосредовано, собственным участием или способностью вдохновить. Свобода творчества свободна и выборе форм освобождения.

* * *

Искать в прошлом подсказки для будущего вполне допустимо — однако при этом на каждом шагу приходится преодолевать классовый характер многочисленных систем образования и воспитания: надо убрать их из того, что готовит не человека, а представителя класса, — все остальное можно попробовать переосмыслить в бесклассовом контексте. Если в какой-то теории после такого вычитания не останется вообще ничего — значит, не сумела она выйти за пределы своего времени, и нет у нее ни прошлого, ни будущего.

* * *

Общеобразовательные программы — орудие пропаганды. Весьма эффективное — поскольку действует на недостаточно развитые души. Например, французская статистика с гордостью сообщает, что 60% молодежи озабочены экологическими проблемами — это прямое следствие промывания мозгов: на каждом уроке детям твердят зеленую чушь, детские программы на телевидении густо замешаны на том же, детские книги все про то же... Так население с ранних лет отучают думать головой — и превращают в орудие конкуренции, разменную монету крупного капитала.

В средние века так же вбивали в головы религию; сейчас в развитых странах это формально запрещено — однако не в смысле свободы от

всякой религиозности, а в плане свободы выбора религии (но какую-то выбирать всем положено!); при этом никто не регулирует дикость воспитания в семье.

* * *

Духовность не может развиваться в себе — ей нужно проецировать себя вовне и в этом внешнем бытии узнавать себя. Поэтому человек — учится всегда у другого человека, а не по собственному опыту. Чем больше учителей — тем разумнее. Для человека — нет умения вообще, это всегда общественное умение. Любые свои открытия он способен осознать только в контексте культуры в целом. Потом эта внешняя рефлексия свертывается во внутреннюю деятельность, воображение и размышление, — но это не общение с собой, а общение с кем-то другим, представленным внутренним движением субъекта.

* * *

Сочинители пособий для неопытных родителей (конечно же, прежде всего матерей) публично сожалеют, что нет у нынешней молоди былой сноровки в общении с младенцами — и не могут толком ни обходить ни покормить... Не говоря уже о воспитательном воздействии.

Сетования не беспочвенные. Конечно статистика и живописные анекдоты — не аргумент. Но общее впечатление возникает неспроста: это своего рода индикатор состояния дел в сознании особо задумчивых граждан. Только, вот, голые факты — это сплошная неприличность, грубая эмпирия, толку от которой еще меньше, чем от поставленных перед фактом неумех. Смотреть на настоящее следует исторически — то есть, увязывая с прошлым и с прицелом на будущее. И тут мы сразу же вспоминаем, что все наши познания и настроения — от участия в общественно полезной деятельности, и никакие наставники ничему не поспособствуют, если нет у человека производственной потребности. Поскольку же в еще не столь отдаленном прошлом (а кое-где и теперь) дети активно втягиваются в семейный бизнес — вдруг оказывается, что они «наследственно предрасположены» к занятиям родителей, и получается это как бы само собой, божьим даром. Ну, про династии скрипачей или шахтеров пока не будем; но то, что в больших семьях

одни детишки с малолетства участвуют в воспитании других — это совершенно однозначно, и странно было бы удивляться той сноровке, с которой они потом шуруют собственными отпрысками. Нынешние «нуклеарные» семьи подобного опыта не предполагают: даже если в семье несколько детей, родители предпочитают ориентировать старших на лучшие монетизируемых началах, перепоручая заботу о малышах предшествующему поколению (поскольку сами тоже давно выпали из обоймы и публичная активность у них задвигает репродуктивные обязанности в самый зад).

Теперь про будущее. Разумно ли полагать, что предназначение разумного существа неразрывно связано с выращивание каких-то зверушек, по недоразумению (или чисто условно) принимаемых за воплощение духа, своего рода контейнер для личности? Плодиться умеют и животные — а вот плодить идеи никто кроме нас (и, возможно, когда-нибудь созданных нами роботов) совершенно не умеет. Поэтому развиваться нам придется именно туда — и от биологии все дальше и дальше уходить, выстраивая необъятные культурные тела. Процесс давно идет — и лишь коммерческие соображения удерживают зверушек в семейных (и прочих) коллективах; такая первобытная кооперация постепенно уступит место массовой индустрии, позволяющей достичь гораздо большего разнообразия и гибкости, делать тела ничем не ограниченными индивидуальностями. Поэтому «невежество» молодых в сфере детоводства есть явление знаковое, и его надо не осуждать, а всячески приветствовать. У кого есть личное пристрастие — тем и карты в руки: пусть налаживают производство организмов и из социализацию на новых началах. А кому больше по душе писать формулы или зажигать звезды — милости просим, включайтесь сразу и растите вместе со всеми. Разумеется, не забывая, что в мире много разных дел, и застаиваться в чем-то одном — не лучшая идея.

* * *

Правящие классы культивируют представления о «врожденной» культурности — об отличительных признаках породы. Идеологическая дикость материализуется в практике духовного производства: дикие семьи воспитывают малолетних дикарей — и яростно защищают их дикость от малейшего вмешательства извне. Семья враждебна культуре в целом — ее задача отстоять классовую культуру. Богатые презирают

подлую чернь — не замечая собственного хамства, а нормальную реакцию рабов воспринимают как черную неблагодарность.

* * *

Педагоги — просто люди: память и уважение к ним складываются не из учебных отношений, а по способности учителя выходить за рамки дидактики.

* * *

Самообучение компьютерных сетей предполагает уже готовый реестр возможных операций, и все сводится к подстройке поведения по заданных извне критериям; при этом могут возникнуть неожиданные классы типовых реакций. Отчасти, синкретическое обучение у людей следует той же схеме: есть образцы для подражания — и система внешних ограничений. Воспитанием личности это становится лишь там, где человек волен выбирать, с кого делать жизнь, — и не просто копирует кого-то, а становится им, делает себя образцом. Мы усваиваем не умение делать — а умение быть. Тем самым все люди во всех отношениях равны — и в поведении появляется универсальность, главный признак разума.

* * *

Духовное производство порождает общественно нужный продукт и в этом плане ничем не отличается от материального производства. Если для изготовления вещей иной раз требуются подходящие материальные условия (что приводит к возникновению относительно устойчивых предприятий и отраслей) — для выращивания человеческого духа тоже нужны подходящие инструменты, индустриальные технологии. Школа как особый культурный институт — воплощение чего-то вполне осмысленного, — если есть ясность, что мы собираемся на этом предприятии производить и как это соотносится с другими задачами культурного строительства. Заранее ясно, что речь не о материи — для этого есть материальное производство, и встроенная в него иерархия производственного обучения. Но иногда полезно отвлечься от вещей и

поинтересоваться возможностями духа. Не вообще — а практически, живым трудом на одном из уровней рефлексии. Художественная, научная или философская школа здесь вполне соотносимы со школой одиночества — или школой любви.

* * *

Те, кто начинает воспитывать ребенка сразу после рождения, — уже опоздали. Начинать надо, когда ребенка нет и в проекте, — создать общественную необходимость новой личности и необходимые для ее развития общественные условия. А потом уже комплектовать органическое и неорганическое тело. Точно так же, намереваясь запустить новое производство, мы продумываем его инфраструктуру, включая предполагаемый состав команды и совместимость органических тел; это запускает процесс социализации коллективного субъекта. В идеале, мы должны уметь воспитывать и общество в целом, сознательно направлять его историю.

* * *

В бесклассовом обществе воспитание и образование не становится товарным производством: мы учимся (и действуем) не для чего-то заранее определенного — а потому что мы не можем иначе, нам интересно жить именно так. От одного мы свободно переходим к другому, и торопиться нам некуда — значит, есть возможность прочувствовать, понять, осмыслить. Поэтому и усвоение культурных норм — творческий труд и внутренняя потребность. Быть разными — столь же интересно, как и оставаться самим собой. Когда нет нужно обменивать одно на другое, все остается при нас навсегда — и нет страха что-либо потерять.

* * *

Современные средства обмена духовностью далеко выходят за рамки речи: здесь участвуют аудио- и видеозаписи (а также прямые трансляции), инфографика, сильно интерактивный гипертекст. В этом участвует универсальный инструмент опосредования — компьютер.

Инструмент (именно в силу своей универсальности) подчиняет себе духовное производство. Непосредственное общение все больше уходит в тень — и даже если люди встречаются, это всего лишь тусовка, а настоящее родство душ выявляется только на расстоянии. Поэтому люди для людей все больше становятся воображаемыми — но это и есть их настоящая, общественная реальность! Если нам кажется, что мы учимся из книг — это потому, что книги представляют нас.

* * *

Источник всего — любовь! Мы учимся не потому, что нас учат, а потому что мы любим учиться — и только тому, что любим.

* * *

Образование не для зверушек — основной упор на неорганическое тело, на обеспечение универсальности, общедоступности, способности полноценно трудиться — творить. Настраивать надо не мозги, а то, чем они управляют, — тогда и мозги подтянутся...

* * *

Учиться жить, жить и учиться, — а не готовить себя на потом.

* * *

Образование сообщает человеку, что в данной культуре считается правильным. Но не для того, чтобы он делал правильно, — а чтобы знал, от каких правил можно отступить.

* * *

Воображая детей непосредственными и наивными, взрослые выдают желаемое за действительное. Мимиокрия — обычное явление в животном мире, и не нужно большого ума, чтобы научиться играть на иллюзиях партнера. Более того, возможность такой игры прямо связана

с неразумностью общественного устройства, вынуждающего людей таиться друг от друга — вместо единой духовности.

* * *

Программы нужны — чтобы программировать. Если человека воспринимать как устройство для выполнения нужных хозяину работ — тогда без вариантов, надо обучать по программе. Какие-то устройства лучше подходят для каких-то действий — соответствующие программы удобнее писать на специализированных языках программирования. Оборудование начинают разрабатывать под определенный круг задач, эффективность растет. Так образовательная система становится узко-классовой, и начинает не столько учить, сколько воспитывать — углублять классовое расслоение. Учить по программе — давать лишь то, что положено по породе.

* * *

Какой бы продуманной ни была педагогическая теория — она все равно не охватит всего. Более того, чем детальнее наука — тем уже область ее применимости: отличие в одной-единственной детали — нарушает стройность и равновесие. Систематичность полезна там, где все работает само по себе, по природе. Но человек начинается там, где кончается природа. Поэтому физиология человека — это не биология; психология человека — уход от объективности; воспитание человека — преодоление природности. И здесь важнее не что делать — а зачем.

Мы не изобретаем системы. Мы говорим о принципах, первый из которых — не изобретать систем.

* * *

Помощь со стороны не в том, чтобы сделать «правильно». Делать что-либо вместе — значит предлагать разные пути к единой цели, искать решения, удовлетворяющие всех. Взрослому часто проще сделать самому, чем объяснить ребенку — и «помощь» сводится к демонстрации умения. Это помогает сильному самоутверждаться (как обычно, за счет слабого) — но ничего не дает ребенку: он не чувствует своей нужности,

не становится человеком, творцом. Разумная помощь выглядит иначе: например, если ребенку трудно сделать что-то своими силами — можно приспособить мир к его силам, дать реальную возможность справляться с подобными задачами самостоятельно. По сути, это расширение неорганического тела — что расширяет и горизонты духовности.

* * *

Типично классовый метод консервации способа производства — инструкция, неукоснительное следование технологии. С одной стороны, предписано мертвое представление о требуемом результате — с другой стороны, получать требуемое положено лишь по абстрактным правилам, разрешенными средствами («сертификаты» и «лицензии»). Образование в такой экономике сводится к муштре, дрессировке, — заучиванию инструкций и отработке типовых реакций на внешние раздражители.

Творческая социализация — предполагает не только усвоение готового, но и расширение культурного опыта, разные точки зрения, новые потребности и возможности. Отчасти мы видим это в искусстве: художественное образование рождает творческую манеру, расширяет человеческие представления об искусстве. Нечто подобное — возможно везде. Можно, например, выдредсировать профессионального повара — который будет профессионально готовить в шикарном ресторане, держать марку. Но кулинарный рецепт — не догма. Можно пробовать — и если не получится одно, получится что-то другое, — что-то в любом случае получится. Даже если блюдо не по вкусу — это не ошибка, а опыт. Равно полезный всем.

Аналогично, воспитание не сводится к усвоению общепринятого — это не вбивание правил в плоть и кровь — а сознательная работа над убеждениями, рост уверенности и принципиальности — как основа творческой свободы.

* * *

Воспитание в семье заведомо не может обеспечить доступ к культурному наследию (общественному достоянию) универсальным образом: в противном случае семья просто не выделялась бы как особая общественная структура. Но экономическая и духовная ограниченность

неизбежно ведет к перекосам в развитии личности. Тем более в небогатых многодетных семьях, где на каждом шагу встают бытовые проблемы. Однако и здесь возможны ситуации, когда ограничения рамками семьи не принципиально:

- члены семьи связаны с передовым способом производства;
- или есть возможность переложить бытовые вопросы на кого-то еще (общественные структуры и сервисы, прислуга);
- или кто-то из членов семьи (например, родители) *представляет собой общество*, занимается воспитанием профессионально (то есть, именно через них происходит социализация).

Разумеется, все это при условии материальной обеспеченности и классовых барьеров. Такие семьи — отнюдь не частое явление. Однако даже в них относительная подвижность духа проявляется лишь в узких пределах — на одном из этапов социализации.

* * *

Учиться не для того, чтобы научиться, не до труда — а в труде. Совершенство — пустая абстракция; совершенствоваться надо всегда. Пригодность — классовая ограниченность, запрет непредусмотренного. Но даже в классовой школе абстрактные упражнения почти бесполезны: надо сразу делать важное, значительное, — и тогда станет понятно, чего для этого не хватает: либо общественных условий, либо индивидуальной готовности.

* * *

Ребенок и взрослый — в личностном плане, в каждом конкретном общении, — *тождественны*. Взрослый настолько развит как личность, насколько он способен оценить личность ребенка; и наоборот. Однако различие между их личностями все-таки есть, и связано это с характером проецирования, воплощения духа. Проекция на более развитое тело, как правило, оказывается и более деятельной в плане формирующего влияния — показывает веер примеров, вовлекает в совместную деятельность, а не только уведомляет о теоретических возможностях. Полнота личности — это универсальность, разнообразие направлений возможного развития. Ясно, что у взрослого, включенного в гораздо

большее число актуальных и возможных деятельности, личность насыщена и разнообразна — и он просто не может не поделиться всем этим с ребенком, научив его тому, что успел сам перенять от других. Тем не менее, при всей ограниченности опыта ребенка — это его опыт, и ему тоже есть чем поделиться. Возможность взаимодействия этих духовных миров связана с культурной общностью: взрослый был ребенком — и значит, в какой-то мере им остался; ребенок будет взрослым — и значит, в какой-то мере он уже повзрослел.

* * *

Индустриальное производство — неизбежный этап на пути от кустарного, семейного воспроизведения. Дело не в ограниченности ресурсов, из-за которой приходится искать более эффективные решения; в конце концов, в условиях рыночной экономики массовый продукт далеко не всегда отвечает строгим критериям качества — здесь простор для коммерческих махинаций, подделок, отступлений от технологии ради лишнего процента прибыли. Кустари упирают на эту подленькую практику, агитируя за свой, якобы безупречный товар. С другой стороны, соответствие стандартам при капитализме проявляется как безликость, безвкусица, неспособность удовлетворить разнообразные запросы потребителя. Штучное производство, якобы, рождает ту самую индивидуальность без которой немыслимо говорить о свободе духа.

Конечно, рыночное бодание не имеет ничего общего с заботой о воспитании яркой, своеобразной личности. На практике мало у кого получается относиться к социализации как к искусству: экономические проблемы не оставляют места для неповторимости, и продукты семьи не менее однообразны — но не в смысле единого стандарта качества, а от его отсутствия: это беспросветность нищеты.

Тем не менее, сама постановка проблемы — требует внимания. Единое общественное образование — не для того, чтобы загнать в пределы допусков параметры продукта; речь о том, чтобы обеспечить равные условия развития — а это несомненно с существованием семьи. Но дальше-то надо выстраивать иерархию общественных связей, которая по-своему развертывается у каждого участника педагогического процесса. Мы не заботимся о том, что на выходе — любой вариант разумное общество устраивает, и каждому найдется свое место в культуре. Это подобно тому, как (например) сумки одной модели делают

из разных материалов, с разными аксессуарами, в разных цветовых решениях... А покупатель выберет, что ему по вкусу. Разница в том, что разумная «сумка» сама подбирает себе облик — и даже может потребовать смены фасона, или вообще не захочет быть сумкой — и станет космическим кораблем. Даже очень богатые семьи не могут позволить ребенку черезчур буйные фантазии — просто потому, что не все в мировой культуре им доступно. Развитие индустрии социализации как раз и состоит в том, чтобы обеспечить совместимость различных культур, при необходимости достраивая связующие звенья. Для этого, в частности, придется снести и семейные барьеры.

При полностью общественном воспитании, можно как угодно выстраивать круг общения; в семье он неизбежно ограничен рамками семьи. Разумеется, при условии, что человека не пытаются упаковывать в «учебный» коллектив — это было бы лишь повторением семейности на другом материале.

По жизни, буржуазная педагогика отнюдь не блещет творческими удачами: она работает на заказчика, а не в интересах развивающейся личности. Отсюда жесткие программы и сроки. На этом фоне — даже семейное воспитание выглядит по-человечески. Но это не значит, что надо снова и снова культивировать первобытность; наоборот, следует устраниТЬ школу вместе с семьей — а им на смену придет индустрия средств социализации, массовое производство индивидуальностей.

* * *

Полностью общественное воспитание никоим образом не означает, что всех детей надо собрать до кучи — в интернатах, детских домах, монастырях и резервациях... Скорее, наоборот: скопление людей в одном месте (не обязательно в смысле физического пространства) — предпосылка возникновения коллектива, расслоения общества, перехода от общественного воспитания к общинному. Та же семья — но в древних, архаических формах. Из которых закономерно вырастают все те же классовые структуры.

Парадокс: чем дальше люди друг от друга — тем ближе они к обществу в целом, к общественности как сути разумного существа. Поэтому создание возможностей быть не просто рядом, а вместе, — первая задача бесклассового воспитания. Не обязательно толкаться среди помеченных именами органических тел, чтобы ощущать свою

причастность вселенской миссии человечества — одухотворению мира. Как это организовать технически — другой вопрос; быть может, ресурсы нашлись бы даже сейчас — если бы не противодействие правящих классов, которые заинтересованы в производстве послушных рабов, а не людей, — для чего стадная педагогика в самый раз.

Может показаться, что идея уединенности противоречит нашим представлениям о любви как духовном слиянии личностей, снятии всех различий между ними — включая телесные. Но уединенность не означает изоляции! Наоборот, согласование органических движений при непосредственном контакте — задача слишком сложная для начальных этапов становления личности, и разумнее ограничить столь жесткие взаимодействия, которым учиться, конечно же надо, — но на другой базе, с опорой на уже сложившееся сознание своей общественности. Разделение органических тел выводит на первый план единство тел неорганических, культурную, а не животную общность. Включить сюда органику задним числом — не представляет труда. Идея любви как духовного единения возникает в истории только в Новое время — когда заложены основы системы всеобщего разделения труда и люди (пока лишь внешним образом) воспринимаются как индивидуальности. Современная педагогика заставляет детей проходить в сжатом виде историю цивилизации — и воспитывает бездуховность, на которую лишь при хорошем раскладе, может наложитьться человеческая любовь. Чем раньше мы освобождаем детей от формального размежевания (коллективность, групповщина, семейственность) — тем шире круг духовных взаимосвязей, и тем скорее человек включается в активную работу над собой, делает себя человеком.

* * *

В классовой школе учат тому, что полагается. Любой материал сверх программы — во внеурочное время, факультативно. Но именно такие занятия — образование в человеческом смысле слова.

Уроки могут быть интересны — но не как цель, а как средство, возможность продать себя вместе со своими познаниями. Когда программа включает явно бесполезные в рыночном плане сведения — никакого интереса к занятиям быть не может: просто невыгодно. Это не злонамеренность, не лень — наоборот, людям не хочется тратить время и силы на то, что по жизни им вряд ли потребуется, — лучше освободить

себя для серьезных дел. Когда не нужно будет торговать собой — не будет и лени; но тогда никакие программы не нужны.

* * *

Воспроизведение субъекта должно из индивидуально-кустарного стать общественным, на индустриальной основе. Иначе, даже на базе передовой экономики, отсталая технология *духовного* производства будет уродовать личность, создавать дурные (бездуховные) проекции. Важно не остановиться на этом — и снять само различие общественного и индивидуального. Тогда любой результат будет вкладом в развитие культуры — единством природы и духа.

* * *

Классовый характер искусства отчетливее всего высвечивается в практике преподавания. В художественном творчестве (поскольку оно остается художественным) — какая-то доля искусства так или иначе присутствует. Но когда в историю вводят новичков — остается лишь классовая догма, промывание мозгов.

Нагляднейший пример — школьные уроки литературы. Задача не просто ознакомить помочь найти что-то для себя; нет, надо настроить восприятие на лояльность властям, запутать в стереотипах, отвратить от неблагонадежных литераторов — а благонадежные скучны уже в силу всеобщей обязательности, пошлости (в итоге — полное отсутствие к творчеству, убийство разума методом утопления в пустых детективах и мелодрамах). Знакомиться с такой историей искусств (и вообще с историей) уже не хочется — и тогда знание сводится к рефлексам, стандартным ответам на стандартные вопросы.

В качестве яркой иллюстрации — французское пособие для школьных учителей:

André Lagarde & Laurent Michard,
Les grands auteurs français du programme

Шесть томов этого фундаментального труда издавались и неоднократно переиздавались на протяжении всего XX века, с учетом свежих веяний. Но основная направленность неизменно сохранена. Так чему же должны учить французских детей французские педагоги? Оказывается, главный

вопрос всех времен и народов — это отношение к религии. Авторы придерживаются достаточно либеральных взглядов — и допускают существование разных верований; однако единственно истинным следует считать христианское вероучение (кроме русской православной церкви). В любом случае все включенные в программу авторы показаны со стороны их религиозных тенденций; кто не уделил вопросу сколько-нибудь значительного внимания — те, якобы, для современного читателя не интересны; их достаточно лишь мельком упомянуть — и списать в архив... Вероятно, списали бы больше — но лиц мировой известности из списка не вычеркнешь; впрочем, литераторы — народ идеологически беспорядочный в достаточной мере, чтобы выдрать из творчества пару строк якобы мистической ориентации. Даже у Жореса открыли (совершенно неуместное по контексту) признание:

... notre interprétation de l'histoire sera-t-elle à la fois matérialiste avec Marx et idéaliste avec Michelet.

Что уж говорить о старых (и тем более средневековых) авторах, для которых религиозный язык часто оказывался единственным доступным средством выражения. Таким образом история французской литературы предстает перед невинными младенцами в совершенно искореженном ракурсе, когда все главное замалчивается — а второстепенные детали захламляют местность вплоть до (исторического) горизонта.

Другая идея фикс — сведение художественности к простому перечню житейских впечатлений. В почете гипернатурализм — и чем подробней описания, тем большей хвалы заслуживает писатель по мнению господ-компиляторов. Перекос в сторону пейзажной живописи вгоняет читателя в дикую тоску; бытописание и живописание нравов — единственное литературное достоинство (конечно, после божественных откровений). В качестве нагрузки — неравнодушие составителей к пышной риторике и эпистолярности, к мемуарам и панегирикам; отсюда длинные цитаты из авторов, которых вообще можно было бы в школьном курсе не замечать — оставить на любителей покопаться во второсортной экзотике.

Удивительно ли, что большинство французов с содроганием вспоминают письменный выпускной экзамен по литературе (у них говорят: по философии)? Стоит заговорить об искусстве всерьез — зашикают, пошлию подальше. А нет вкуса к самостоятельному общению со старыми авторами — и новых опошляют на лету. Johnny Hallyday, кумир молодых (и не очень молодых) — с треском провалился при

попытке выкатить философскую рок-оперу о Гамлете. Тем больше риск для не столь великих — вот и предпочитают не увлекаться лишний раз. Добавьте сюда столь же догматическое преподавание гуманитарных дисциплин в школе и в вузах, дебильный «позитивизм» в естественных науках, вывих на почве «дискурса» в философии, — откуда у тамошнего обывателя минимально реалистичные взгляды на прошлое, настоящее и будущее? Жизнь схлопывается в точку; а точек много — что их жалеть!

* * *

Общественное воспитание означает, что ребенка воспитывает прежде всего *общество в целом*, то есть каждый его член причастен к воспитанию детей и не может оставаться равнодушным в этом деле. Однако ребенка воспитывает *не только общество в целом*. Должны быть также найдены каналы *опосредованного* воздействия общества на человека, то есть воздействия через общение его с другим человеком — но такие каналы, которые начисто исключают выделение воспитателя из общества, противопоставление личности человечеству. Чтобы ребенок чувствовал: за плечами взрослого стоит нечто гораздо более высокое — до чего, быть может, и сам воспитатель еще не довзрослел. Тогда уже не нужно чувствовать себя ребенком, и можно взросльеть вместе.

* * *

Деятельность выстраивает иерархию завершенных действий — но сама не завершается никогда. Если вместо подвижной иерархичности жесткая структура — действия свертываются в операции, и деятельность становится действием.

Воспроизведение разума — принципиально бесконечный цикл. Когда мы догадываемся, чем занимается, — это уже деятельность, порождение неприродного продукта. Но если воспроизводить не разум как таковой, а его воспроизведение — оказывается, что воспроизводить мы можем только отдельные стороны, компоненты, предпосылки разумности — но для разумности этого недостаточно. Деятельность превратилась в действие; бесконечное стало конечным. Но тем самым и воспроизведение воспроизведения потеряло смысл — оно занимается на деле чем-то совсем другим.

В этом причина бессмысленности формального образования — какими бы благими намерениями его ни оправдывать. У разума единственный мотив — преобразование мира. Если при этом удается изменить и себя — это побочный эффект, но никоим образом не мотив деятельности.

Иначе: разум оказывается тождественным миру. И только потому умеет воспроизводить и переделывать себя.

* * *

Традиционно различают образование «вглубь» и «вширь»: либо досконально знать что-то одно — либо представлять себе состояние дел сразу в нескольких отраслях. Эта противоположность — прямое следствие классовой экономики, в которой распределение деятельности приобретает характер разделения труда. Творческая, духовная сторона труда становится прерогативой господ — и на долю раба выпадает только работа, исполнение чужой воли. Это вполне аналогично противоположности денег и товара в политической экономии: деньги представляют владение, власть, — и в полном развитии превращаются в капитал, способный двигаться по собственным законам, порабощая также бывших господ. Широкое образование у верхов — равнозначно всеобщей покупательной способности денег; рабы могут как угодно различаться — но хозяину они на одно лицо. Но, как и движении капитала, возникает иерархия прослоек: управленцам разных уровней требуется относительно специализированное образование, достаточно широкое, чтобы охватить все подчиненные производства.

В каждой из таких прослоек в какой-то мере сохраняется творческий характер труда, и возможна работа «по призванию» — любовь к своему делу. Майкельсон находит безумно интересным бесконечное уточнение измерений скорости света — Эйнштейн только пожимает плечами... Отношение физиков-теоретиков к экспериментаторам во многом сродни классовому барству; но физики как класс — свысока смотрят на гуманитариев, и раболепствуют перед математикой...

Формальное разделение социальных групп и слоев — пережиток феодализма. Рынок внедряет хозяинчика в каждую душу — и возникает идея универсального образования, абстракция умения делать деньги. Люди при капитализме различаются в количественном отношении, и общественные слои образуются как своего рода классовая шкала, на

фоне однородности качества; отсюда избитая хохма: счастье не в деньгах, а в их количестве. И тут иерархия классового образования переворачивается и восстанавливает исходную противоположность: разносторонность — привилегия элиты, и наоборот, элитарность как выход за рамки универсального образования.

* * *

Предполагается, что воспитание приобщает ребенка к культуре, делает дикаря полноценным членом общества, уравнивает его с прежде рожденными. То есть, предполагается заведомое неравенство — и превосходство одних над другими. Но экономическое неравенство — само по себе признак духовной незрелости, дикости. С другой стороны, в царстве всеобщего разделения труда неизбежна ограниченность интересов — и взрослые в этом отношении ничем не лучше детей. Получается, что один урод воспитывает другого — но что тут можно передать, кроме своего уродства? Глядя на иных современников, трудно удержаться от мысли: уж лучше бы этот не совался в учителя!

Классовое образование не привносит духовность в пустующую плоть; оно лишь цивилизует — подчиняет закону (во всех ипостасях). Ограничивает, а не освобождает. По счастью, дух способен двигать тела и без дикарей-наставников — чаще всего, вопреки им.

* * *

В каком-то смысле воспитание правящих классов в феодальном и капиталистическом государствах гораздо ближе к общественному, чем социалистическое *семейное* воспитание. Когда воспитанием занимаются специальные люди, которые обязуются перед обществом (классом) сделать из детей людей вполне определенного склада (классовая принадлежность) — они *представляют* общество (представленное господствующим классом), — то есть, выступают от его лица, а не как самостоятельные личности. А следовательно, и любовь воспитанника к воспитателю есть любовь ко всему обществу (классу). В семье же любовь индивидуальна — то есть, по факту, антисоциальна. В любой семье, в любую эпоху, пока еще есть семья как культурный институт. Оказывается, что в семье человек проявляет свою общественную

сущность как раз там, где он не признает родственных ограничений, идет против традиций. Классовое общество начинается с семьи — но семья никогда не представляет класс: она есть явление чисто отрицательное, разрушение общественных связей, их замена антиобщественными. Отсюда стойкие иллюзии о природности семьи: вырывая человека из общества, семья превращает его в животное.

* * *

По большей части, массовое образование синкретично: люди приобщаются к нормативному поведению просто потому, что так устроен быт — и ничего другого им не предлагают. «Свободные» художники, журналисты и мыслители — просто не в состоянии вообразиться себе что-либо выходящее за рамки впечатанных в подсознание стереотипов — которые иногда могут показаться врожденными, присущими человеку «по природе». Когда творчество таких, заведомо зашоренных творцов используют для сознательной манипуляции общественным сознанием, это прежде всего касается синкретической сферы: есть то, что всякому «нормальному» человеку положено знать, чем «все» должны интересоваться, какие приличия следует соблюдать — и какие неприличности под чем подразумеваются. Сериалы, игры, спорт, светская жизнь, индекс цен и парламентские дебаты... Мощный пласт классовых стереотипов. Обыватели публично соревнуются в пошлости — это нормально; малейший нестандарт — никому не интересное занудство... Даже когда речь о науке — на виду только расхожие банальности. Даже об искусстве — шаблонная попса. Школьников учат «правильно» рассуждать ни о чем — это называется философией. Сдали экзамены — и про способность суждения можно забыть, и выдавливать из общества тех, кто забыть не смог.

* * *

Классовый человек живет в иллюзорном мире — и пытается навязать миру свои иллюзии. Разумный человек замечает условность (культурную обусловленность) своих представлений — и решает, что правильнее изменить: привести мир в соответствие его идеи — или искать другие идеи, ради которых стоило бы менять мир.

Испокон веков взрослые думают, что они учат детей уму-разуму (то же о начальниках и подчиненных). При этом дети считают «предков» лишь средством для решения задач, иногда очень далеких от намерений старшего поколения (то же о формальном пietete по отношению к руководству). «Детская» позиция может показаться циничной; но она ближе к реальностям бытия, — и потому (а вовсе не в силу вымирания стариков) побеждает в борьбе миров (отживающего и приходящего) именно молодежь.

В обществе разумных людей все учатся у всех — и никого не учат; все пользуются всеми — но каждый рад стать полезным. Здесь нет ни взрослых, ни детей — и действие не предполагает противодействия. Один дух не мешает другому: они не занимают места — и равно присутствуют в каждой точке вселенной.

* * *

Образование — не абстракция; если оно не вырабатывает никаких навыков — это пустое времяпрожигание. Разумеется, можно учиться на разных уровнях — и ознакомление с кругом возможностей столь же полезно, как и практическое использование одной из них; но это разные деятельности, со своими мотивами.

Там, где речь идет об овладении возможностями тела, простое знакомство почти бесполезно — здесь важно умение управлять телом культурно допустимыми способами. Даже если нам не нужна какая-то из органических функций, ее нужно тренировать для поддержания работоспособности организма в целом. Поэтому половое воспитание не может ограничиться высокой теорией, разглядыванием картинок и прочим вуайеризмом. Это надо пробовать — подбирать свою манеру обращения с телом, окультуриивания его физиологии. Ограничиться общими наставлениями — все равно что учить танцам по книжке или видеозаписям: пока нет реального партнера или партнерши — такая теория не ляжет на материальную основу, останется абстракцией. Разумеется, что-то можно (и нужно) имитировать в одиночку; однако такие занятия полезны лишь там, где уже есть общее представление о взаимодействии в паре — и можно вообразить себе недостающее.

Уроки полового воспитания в современной школе — только одна сторона вопроса, предъявление культурных требований; пока школьник не знает, к чему эти требования предъявляются, он, скорее всего,

пропустит все мимо ушей. Нужны практические занятия с опытным партнером (грамотным и в педагогическом плане, а не только сексуально опытным) — разумеется, не на публике (чтобы сохранить чувство интимности как часть духовной культуры). Если практика секса сводится к случайным связям в дурной компании — воспитывать уже поздно, надо корректировать...

По сути, это ничем не отличается от овладения любым другим делом. Можно научиться играть на скрипке по интуиции — но какие-то тонкости мог бы подсказать грамотный педагог. Можно самому дойти до хитростей кулинарии — но разумнее использовать уже накопленный опыт. Программирование — вопрос не только склонности и таланта, но и определенной культуры. Человек — общественное существо; но эта его всеобщность может сложиться лишь на основе манипулирования вещами в контексте совместной деятельности.

* * *

В классовом обществе дети всегда оказываются (частным или общественным) имуществом, вещами, а не людьми: с ними поступают как хотят, у них нет права голоса, им нельзя ничего доверить... Всякая свобода в таких условиях — видимость; и дети (особенно подростки) это очень хорошо чувствуют. Более разумное решение (насколько возможна разумность в правовом государстве) — с самого начала сделать детей самостоятельными членами общества, определив надлежащим образом их права и обязанности и установив порядок контроля. Тогда можно требовать и ответственности. Как следствие — обязанность взрослых оказывать содействие воспитанию и обучению, а также прочую помочь, *любым* детям — или иным членам общества. Тогда дети могли бы стать гораздо мобильнее — не на привязи к одному дому, к одному взгляду на мир. Воспитанная таким образом тяга к универсальности оказывается на последующих поколениях, и духовный прогресс набирает обороты, тянет за собой развитие материальной культуры.

* * *

Индустриальное воспроизведение субъекта возможно уже сегодня, при давно существующих технологиях. Это не вопрос перехода к иному

воплощению духа — достаточно разумной организации. Пусть мы пока привязаны к биологическим телам, и не умеем производить их без обременительной физиологии; но кто мешает построить для этого хорошо оборудованные репродуктивные центры, нанять на работу специалистов по искусственноому оплодотворению и комбинировать генный материал безымянных доноров случайным образом (с отбором и отбраковкой на ранних стадиях) или целенаправленно культивируя полезные признаки (при условии разумного разнообразия); точно так же, как рабочих нанимают на фабрики, можно нанимать суррогатных матерей (с щадящим режимом работы), которым будут подсаживать оплодотворенные клетки и выращивать таким образом органические тела (младенцев), которые изначально не имеют родителей — и на равных основаниях воспитываются в специальных общественных учреждениях, с постепенным встраиванием в доступную на данном уровне развития орудий труда практическую деятельность. Даже такая, минимальная индустриализация репродуктивной сферы привела бы к формированию человека нового типа, способного освободиться от классовой ограниченности и стремящегося к свободе.

* * *

Как материальное, так и духовное производство — развертываются на разных уровнях. Продукт деятельности — это прежде всего общественный продукт, часть материальной и духовной культуры. Но, наряду с этим, есть единичные участники производства, которым вовсе не безразлично, что и как они делают. Да, здесь тоже есть утилитарный элемент, воспроизводство индивидуальности и личности, плоти и духа. Такое производство сливаются с экономикой, принимает ее формы. Однако важна и собственно духовная составляющая, когда за каждой вещью (материальной или идеальной) мы усматриваем человека — его труд, его мечты, его любовь. И нам важно не сделать, не свершить, — а общаться, восстанавливать духовное единство. Производство — для чего-то; общение — ни для чего.

Разумеется, это две стороны одного и того же, и они перетекают друг в друга и невозможны друг без друга. Но если я духовно вырос в результате общения с любимым человеком — это вовсе не значит, что ради этого производства все и затеяно. Общение без материальных и духовных последствий — это из дикой природы, или мертвой стихии; но

для нас главное не результат, а его неприродность, его дух. Точно также, по ходу общественного производства люди неизбежно общаются — но производство организовано не за тем, и в первую голову речь о продукте, а не о дружеской компании. Смещение фокуса почти неуволимо — но оно радикально меняет дело.

Искусство, наука, философия — отрасли духовного производства, и в этом качестве они вырастают из материального производства и обслуживают его. Социализация органических и неорганических тел (обучение, воспитание, образование) — другой уровень духовного производства, но все-таки производство, экономическое явление. Но если рефлексия становится образом бытия, не предполагая ни малейшей утилитарности — это движение духа. Когда человек не заботится о любви и свободе — он по-настоящему любит и свободен. Этого не достичь без благоприятных экономических условий — однако в любых условиях есть своя достаточность, и проявить собственную духовность возможно хотя бы с одной из сторон, которая представляет и то, чего пока (или уже) нет.

Известная хохма: я могу тебе это объяснить — но я не могу за тебя это понять. Общество создает условия для развертывания духа — обучает и воспитывает; но *быть* личностью человек может только сам.

* * *

Образование — не только обучение, но и воспитание отношения к миру (а значит, и к людям). В частности, как-то относиться и к своим занятиям. Как минимум, на уровне заинтересованности — в отличие от простой осведомленности или праздного любопытства.

Тенденция начала XXI века — утрата идеи самосовершенствования. Обществу уже не нужны творческие люди, любители заглядывать за горизонт. Они, конечно, пока есть — но тем резче выделяются на фоне нивелированного усредненного образования. Одно время казалось, что различия должны сгладиться, и все население потихоньку дорастет до высокой духовности и непрестанного творческого поиска. Мода ушла, культурность снова сводится к поверхностному знакомству и умению быть «как все» (в том числе по части глупого оригинальничанья). Если раньше образование нацеливали на всестороннее развитие и уважение к собственной образованности — современность возводит в добродетель шаблонность и конформизм, соответствие стандарту. Нанимают просто

работников — а не знатоков и умельцев; живое общение с соискателями заменяют сертификаты и тесты. К этому же сводится образование: заучить, получить корочки, думать об оценках, а не о достижениях.

Все привыкли: на каждый ответ есть «правильный» ответ — поэтому надо не заниматься самодеятельностью, а догадаться, что от нас требуют и как выглядеть правильнее конкурентов. Соответственно, и себя большинство воспринимает не по-человечески, не как становление, а как нечто ставшее, готовое, ответ на вопрос — а не постановку задачи. Отсюда и чисто количественные критерии жизненной состоятельности: коммерческий успех, обширность круга полезных или бесполезных знакомств, заметность и престиж. Современные сетевые тусовщики коллекционируют внешние ссылки, случайных визитеров, объемы просмотра, записавшихся в «друзья», «лайки»...

Первоначально, всемирная паутина была чем-то вроде игры-аркады: по ней можно было бродить, время от времени натыкаясь на (приятные или неприятные) сюрпризы... И это было кому-то интересно. Сегодня все по-другому: бегом, бегом, найти стандартный ответ на стандартный вопрос, вставить его в типовую форму — и побежали дальше. Чисто утилитарно, ни в коем случае не оглядываясь по сторонам: кто задумался — тот не успел. Тот же стиль — везде и всюду, в быту и в работе (для заработка, ради права продолжать гонку). Зачем ломать голову? — это не окупается. Вопрос «почему» давно уже обозвали демагогией — и важно быстренько комбинировать, а не творить. Рыночный продукт — сплошные франкенштейны.

Конечно же, под это подвели и философские «обоснования». Два лица одного и того же: прагматизм и позитивизм — или сюрреализм и трепачество пост-модерна. Всеобщий пофигизм: я делаю как положено, и мне все равно, что получится, — и тем более не важно зачем.

Технический прогресс нацелен не на поддержку творческих исканий (пусть я сделаю уже известное — но сам, и по-своему!), а на облегчение поиска в грудах культурного хлама. Машина не только предъявляет список для выбора — но и подсказывает, что сейчас принято выбирать, а потом уже и выбирает за нас. Таким образом, чтобы общественное достояние концентрировалось в чьих-то руках, ускользая от всех остальных — которые превращаются в автоматы, в орудия.

Конечно, началось не вчера — ниточки тянутся в древнейшие эпохи, к первым шагам классовой экономики и классового образования. Однако сейчас это приобрело характер пандемии — и то, что раньше считали

болезненным извращением, испорченностью, теперь позиционируют как норму общественного бытия, обязательное для всех правило. Если это есть — оно, конечно, для чего-нибудь нужно. Остается лишь сомнение в разумности человеческого пути — и его исторических перспектив.

Можно ли изменить? Об этом кое-кто пока спрашивает. И снова нарывается на все тот же комбинаторный ответ: давайте выстроим образование так, чтобы искусственно создавать себе трудности — и тем самым приучаться их преодолевать. Опять тренировка, отработка навыка — вместо превращения творчества во внутреннюю потребность. Чтобы стать разумными — надо не делать это мотивом и целью, а менять мир, выходить за рамки существующего, поместить себя в иную культурную среду, в которой людям не нужно было уподобляться и соответствовать, и было интересно учить и учиться — а не научить и выучиться.

* * *

Ложь возможна лишь там, где господствует конкуренция. Любой ценой — эфемерное преимущество. Кто использует других — того другие используют. Нескончаемый страх. Тщетная попытка подпереть неразумное неживым.

Разуму чужды сомнения; ему незачем проверять и удостоверяться. Что бы ни происходило — суть не в этом, а в стоящей за этим совместности. Не против друг друга — а вместе. Такое общение не имеет ничего общего с передачей информации — и еще меньше с ее соответствием чему бы то ни было. Истина, верность, правильность — остаются в классовом прошлом. Пусть будет что угодно — это грани единства.

* * *

В истории человечества, и в истории каждого ребенка, — обычное движение от синкретизма, через анализ, к синтезу. Личность есть — но не сразу осознает себя как личность. Сначала это часть чего-то другого, достаточно широкого, чтобы обеспечить простое воспроизведение духа; человек как часть рода — не нуждается в индивидуальности, а ребенок

как часть среды — полностью зависим от нее. Отсюда иллюзия объективности первобытного человека или ребенка: субъектом кажется только общество. На первых этапах родители заботятся лишь об удовлетворении «первичных» потребностей, о создании зоны комфорта; то же самое происходит в пресловутой «коммунистической» общине.

Но рождение ребенка не датируется временем отделения от материнского (или иного) организма: по сути, ребенок еще встроен в «расширенный» организм, и ему (как и окружающим) еще предстоит разрушить первобытный синкетизм, осознать себя как единичность. Классовое общество знает только один способ: противопоставить одного человека другим. Как? Отгородившись барьером из вещей. Если поначалу все непосредственно является всеми — на аналитической стадии различаются «мое» и «не мое»; это вовсе не обязательно ведет к идее собственности — но классового человека к ней настоятельно подталкивают, ибо нет в его мире почти ничего, что не подлежало бы отчуждению и обезличиванию. Легко заметить эту стадию в семейном воспитании: ребенку не дают проникать в личное пространство других людей — и поощряют идентификацию со «своими». Именно здесь складываются всевозможные «комплексы», несовместимость личности и общества, зачатки неврозов.

Парадоксальным образом, обособленный и противопоставленный другим человек — все еще встроен в непосредственное окружение и не может существовать без него. Поэтому аналитический уровень еще нельзя назвать собственно рождением — возникновением целостного субъекта: его бытия для себя оторвано от бытия для других — и этот конфликт приводит к очень разным последствиям, в зависимости от общественных условий. При удачном стечении обстоятельств, его разрешение связано с поисками единства, желанием творчества и любви. К сожалению, вместо них человеку подсовывают классовые суррогаты, разочарование вместо восторга и вдохновения. И тогда внешним (вещным) проявлением духовного разлада становится воля к власти и раболепие — всегда совместимые в одном человеке как две стороны одного и того же, которые приходится разводить по разным уровням, подчинять одно другому.

Достижение единства человека и человечества, возможно и в нечеловеческих условиях — как сторона чего-то другого. Иногда это очень болезненно — но всегда воспринимается как высочайшее счастье. Система образования почти никогда этому не способствует — но она

создает искусственную среду, в которой есть шанс встретить яркую личность, открыть для себя любовь — и угадать направления работы над собой, превращения в человека разумного.

* * *

Революции почти не меняют экономику — и первые декреты новой власти лишь узаконивают то, что давно сложилось в недрах прежнего строя, и благодаря чему возникают предпосылки революции. Значение революций — главным образом, воспитательное: во-первых, в человеке утверждается сознание возможности перемен — деятельное отношение к истории, когда будущее не дар, а продукт; во-вторых, радикально меняя среду социализации, люди по-иному развертывают духовность в последующих поколениях, иначе расставляют общественные (а значит, и личные) приоритеты, переходят к иному понятию культурности.

* * *

Воспитательным бывает лишь такое общение, когда один человек стремится разобраться в себе через другого — то есть, воспитывает себя и учит себя. Такое стремление хорошо заметно, удивительно — и заразительно; воспитание становится взаимным, приобретает характер воздействия, духовного производства.

* * *

Люди разные — и это правильно. И подходы к делу у них заведомо не одинаковы. Чтобы сравнивать — нужно привести к единому основанию. А этим основанием может быть только кто-то третий, с его личными пристрастиями и наклонностями. Поэтому глупо выглядят буржуазные представления о профессионализме: если кто-нибудь не одну собаку съел в своей узкой специальности — другому это без разницы, если он собак не ест, а есть что-нибудь свое. Можно всю жизнь посвятить изучению предмета — но это постижение выглядит пустым дилетантством в глазах того, кому в предмете интересно вовсе не то, догадаться о чем никто кроме него не сможет — и ни на каком языке это отношение невыразимо. Самый крутой профессионал пройдет мимо

таких особенностей, не обратит внимания. А кому-то ясно с первого взгляда, и без подробностей можно обойтись. Как в любви: проскочит искра — или нет контакта; никто никому не указ.

Разумеется, классовое начальство искренне полагает, что его взгляд самый-самый, и что все остальные дураки. Которых иногда приходится учить уму-разуму. Для этого существует школа — и переводят из класса в класс по мере отработки образовательной повинности. Потом высшая школа, где свои градации. Несертифицированным — по жизни проходу не полагается. Нормальному человеку (не свихнувшемуся на миражах рыночного успеха) приходится внешне изображать по стандарту — однако для себя выхватывать что по душе, и копить потихоньку, не афишируя внутренних запасов. Чужая душа — потемки; своя — крепость.

Там, где не нужно делить на чужое и свое, люди делают, что им по сердцу, и заимствуют со стороны не то, что плохо лежит (или по дешевке на распродаже), — а избирательно, в резонанс, кирпичик к кирпичику прихотливым узором. Который уже не нужно прятать — а можно любоваться всем миром, и строить следующий мир.

* * *

Когда мы говорим, что человек строит себя сам — мы вовсе не имеем в виду какое-то конкретное тело. Речь о том, чтобы тело смогло (в каких-то отношениях) представлять человека, его личность, дух. Человек производит тела как знаки — обозначает свое присутствие. Как и любое другое, это производство носит общественный характер: произвести что-либо полезное в одиночку практически невозможно (хотя бы потому, что должны существовать те, кому это полезно). Таким образом, воспитывать друг друга нам придется при любом раскладе — однако в каждом конкретном случае иерархия выступает в одном из возможных обращений, так что иногда на вершине оказывается сам воспитуемый, а иногда кто-либо из возможных (или невозможных) знакомых. В последнем случае ответственности за саморазвитие никто не снимает — и присутствие воспитуемого на низших уровнях означает творческую переработку внешних воздействий, так что внутри окажется вовсе не то, что наваливают снаружи. Окультуривание тел ни коим образом не означает следования предписаниям культуры — наоборот, речь о влиянии приведенного в общественное движение тела на строение

культуры: пока такого эффекта нет — перед нами всего лишь организм, и никакую личность он не представляет.

Личность никогда не ограничивает свои воплощения одним биологическим телом — ей важно освоить как можно более широкий круг способов воздействия на природу, и далеко не всегда единичное тело поддерживает столь масштабные задачи. Тем не менее, иерархия органических и неорганических тел, соотнесенная с определенным характером (общественного) действия, также выступает всегда в одном из возможных обращений — и в каких-то случаях личность вполне допустимо связать с организмом, особью биологического вида; важно лишь не забывать, что это не единственная возможность и что распад органики предполагает не исчезновение личности, а лишь перенос ее в другие (общественно-культурные) формы.

Относиться к ребенку как к личности — это традиционный оборот речи, на практике означающий совместный труд многих людей над превращением новорожденного младенца в культурное явление, единство природы и духа: мы заранее предполагаем, что это тело может стать знаком (воплощением) вполне определенной личности — и ведем себя так, будто связь плоти и духа уже установлена, выстраиваем среду организма, чтобы он двигался как будто бы по чьей-то воле, а не только повинуясь биологическим законам. Поскольку этот продукт создается под конкретную личность — она участвует в социализации наравне с другими: мнение назначенного обществом «обитателя» тела отнюдь не безразлично воспитателям и учителям. Однако до некоторого момента тело связано с личностью не более чем план розария с ароматом роз. Когда культурная среда в основном сформирована — дальше все идет само, и обществу остается лишь корректировать неудачные движения, несовместимые с характером личности, — но выглядит это как работа человека над собой, влияние личности на человечество в целом.

* * *

В классовом обществе сплошные крайности — и правильное четко отделено от неправильного. Если границу найти не удалось — это, согласно классовой логике, лишь свидетельство неразвитости нашего интеллекта — а сами по себе правильность и неправильность заранее заданные (спущенные сверху) противоположности. Логические формы априорны и встроены в человеческий рассудок природой (предполагая

что человек природное существо — и какая-то природа у него есть). Следовать своей судьбе — единственное, что нам остается (точнее, это то, чего от нас ожидают вышестоящие инстанции). Поэтому классовое образование есть главным образом приведение в соответствие: чтобы рабы работали, слуги служили, господа господствовали... Всеобщее разделение труда оборачивается всеобщей дрессурой.

Другими словами, если изначально относиться к человеку как к животному — он и будет животным, и незачем заботиться о духовной пище — достаточно плотских благ. У животных нет ни знаний, ни умений — у них только стереотипные реакции, рефлексы. Животное ими не управляет — они для него неодолимая внешняя сила (подобная той самой априорной логике). А обучение и воспитание (при всей своей классовой ограниченности) предполагает сознательное приобщение к культурному достоянию — возможность ставить перед собой задачи и творчески их решать. Сведите образование к пустой формальности — и это уже не обучение и воспитание, а выработка рефлексов.

Вероятно, такое синкетическое введение в культурность организму необходимо на начальном этапе — хотя «начальность» определяется не по календарю и может быть разной в разных отношениях и на разных этапах (уровнях). В любом случае засиживаться в этом не резон, и надо как можно раньше отпускать тела, позволять им проявлять себя — прислушиваться к импульсам, отсеивать животное и поддерживать человеческое.

Всякий продукт не сам по себе — ему предполагается культурно определенное назначение. Но если вещи мы сразу включаем в состав нашей (искусственно созданной) природы — изготовление человека имеет целью сделать его субъектом деятельности, принципиально неприродным существом. Поэтому собственно природные воздействия важны не сами по себе, а как способ настройки представляющей субъекта совокупности тел — чтобы из движение и взаимодействие отвечало предполагаемой культурной функции. Но этого не достаточно. Предстоит еще и преобразовать себя — научиться распознавать во всем этом культурную составляющую, воспринимать природное движение как движение духа. Мы не можем учить, ничему не научившись; не можем воспитывать, не воспитывая себя. Субъект как продукт деятельности — принципиально не завершен: он становится субъектом лишь изменения мир, и общество в целом как часть этого мира. Классовый человек — существо конечное, и его образованность означает лишь

овладение набором предписанных извне навыков — ничего сверх норматива не только не предполагается, но зачастую и не считается общественно допустимым, воспринимается как помеха продуктивному использованию; это воспитание работника, раба. Противопоставленное личности общество не интересуется личными мнениями — ему важно только, чтобы деятельность не выходила за установленные сверху границы. Категорический императив классового поведения — поступай как все, по общим для всех правилам (которые предполагаются вечными и априорными, стоящими, якобы, над любым частным интересом). Финальный штрих классового воспитания — стадность, сознательное уподобление высшему принципу, перерастающее в агрессию, когда кто-то отказывается соответствовать. Начальству уже не надо никого наказывать: рабы собираются кучей и забывают отщепенца до смерти — потому что присутствие среди них свободного человека чувствительно напоминает о ненормальности рабства как такового, и нет больше комфорной безответственности, возможности тупо плыть по течению. Адекватность реакций (социальных рефлексов) называется в среде общественных животных культурностью. Подавление личной свободы, вытеснение творческой инициативы в угоду стадной культуре — исток вездесущих неврозов и психопатий.

Каким образом человеческое превращается в животное? Вспомним о трех универсальных уровнях:

операция → действие → деятельность

Процесс (само)обучения и (само)воспитания свертывает деятельности в действия, а действия в операции. Нам уже не требуется специально обращать на что-то внимание — все происходит как бы само собой, «машинально». Однако свертывание вовсе не означает однозначного закрепления — просто управление поведением выносится за рамки сознания, «делегируется» внешней среде (неорганическому телу). При необходимости можно вернуться к ранее освоенному и развернуть операции в действия или в деятельности. В деятельности человек переосмысливает прежние навыки, наполняет их новым содержанием — потом снова свертывает, чтобы заняться чем-то другим. Возможно это благодаря сохранению в культуре соответствующих деятельности, способов производства. Но если доступ к культурному наследию дозволен не всем и не всегда — развернуть операцию в действие уже не получится, и она так и останется застывшим шаблоном, вне творчества. Это вполне соответствует тому, как условные рефлексы у животных

становятся инстинктами, встраиваются в физиологию. Как только (и в той мере насколько) в обществе различия между социальными группами перерастают в разделение труда, в профессиональное размежевание, — это уже не человеческая деятельность, а животность. Восстановить человеческое в человеке может только устранение барьеров и запретов, слом репрессивного аппарата, — однако в ряде случаев индивидуальная «терапия» может подсказать человеку новые направления творчества, еще не закрытые классовым размежеванием. В любом случае, это не медицина — это человеческое общение, поиск возможности общения, выдавливание из себя раба. То есть, опять взаимное обучение и воспитание, повторение пути, по которому идут в ходе социализации органических тел, взросление детей. Если же не найдется никого способного отнестись по-человечески, остается оскотиниваться и гнить в бездуховности — сколь бы роскошной ни казалась такая жизнь со стороны.

* * *

Преобразование природы предполагает сопротивление неразумной материи, которая вовсе не стремится вести себя культурно — и даже, скорее, наоборот, разрушает созданное при малейшей возможности. Потому и приходится регулярно пересоздавать кусочки культуры, и это делает ее не застывшим продуктом, а деятельностью, возобновлением и перерождением. Самый совершененный разум (поскольку совершенство вообще возможно в единичном) не сможет воздействовать на вещи исключительно силой духа: каждый раз требуется использовать одни вещи против других. В классовом обществе людей уравнивают с вещами, что неизбежно выражается в общественном противостоянии: одни люди управляют другими. Но в любом случае, возможности субъекта ограничены возможностями его орудия (которым иногда становится и органическое тело) — и на каждом этапе развития эта ограниченность воспринимается как сложность и трудность, и потому любой труд предполагает какие-то усилия — по пословице. Важно, чтобы эти усилия оставались в разумных пределах — не перерастали в насилие над собой. Нельзя относиться к людям как к вещам или животным. Даже в крайних обстоятельствах, когда борьба с природой почти невозможна, — оставить в себе хоть искорку самоуважения, гордости и свободы. Иногда лучше отказаться от действия — но не

подчиниться ему. Как только начинает двигаться через силу — это верный знак неразумности, и пора что-то изменить, перестроить иерархию деятельности так, чтобы оставаться наедине с собой хотя бы иногда.

То же самое в отношениях людей. Они не всегда складываются легко — но есть грань, за которой люди перестают быть людьми, — и лучше отдалиться друг от друга, чем опуститься до неразумности. Классовое общество воздвигает сословные барьеры, рассаживает всех по коллективам и сообществам — а дальше как скорпионы в банке. Пассивный протест, отказ повиноваться нормам субкультуры — может стать началом освобождения; но может и не стать, если отказываться от одного ради другого — а не для того, чтобы просто чувствовать себя человеком, вне зависимости ни от чего.

Точно так же, образование не должно переходить грань разумности, оставлять простор для индивидуальных решений. Создавать условия — но не подталкивать. Буржуазный вариант — имитация свободы: вроде бы, никто не заставляет — но иначе поступить нельзя... Если в стене открыть одну-единственную дверцу — другого пути нет. Если с одного боку вакуум — давление с другой стороны заставит заполнять. Разум так не может — ему в любой ситуации важно видеть альтернативы (хотя бы чисто теоретические, фантазии) и чувствовать в себе силы отказаться от всех сразу, от необходимости выбирать.

* * *

Никаких сомнений, что искусственный интеллект когда-нибудь выйдет за рамки интеллектуальности и разовьется в полновесную индивидуальность, с которой будет по-настоящему интересно. Сейчас это игра — и коммерция; подогрев публики — и попытка загнать разум в классово ограниченные рамки.

Опять же, никто не сомневается в необходимости и великой пользе интеллектуальных орудий труда. Есть деятельности, в которых надо пробовать варианты и продолжать с каким-то относительно удобным; порождать тестовые последовательности робот сумеет — хотя даже проверка формальной корректности уже накладывает на результат серьезные ограничения, с порога отмечает совершенно «несуразные» комбинации — которые, чаще всего, дают наиболее разумное решение разумных задач. Алеаторика в искусстве — прямое продолжение

черновиков; метод тыка (и гениальные ошибки) в науке — двигатель прогресса; изобретательство было бы невозможно без технологических нелепостей (иногда вынужденных — в не самых комфортных условиях); и уж тем более ни одна новостройка (и ни один ремонт) не может обойтись без вольного обращения с проектами и правилами (за гранью техники безопасности). Именно здесь мы вполне можем поучиться у роботов — или призвать их в помощники: искусственный интеллект — это умение изворачиваться, выкручиваться из проблем, обойтись тем, что дают, — но все-таки выжить и продолжать путь. Если не получается одно — будем делать другое; если не получается одним способом — сделаем другим.

Но в чем отличие разумного поведения от интеллектуального, человеческого от животного (или автоматического)? В том, что человек сам ставит себе задачи — а любой интеллект нуждается в указаниях со стороны. Работу все равно, что делать; человеку не все равно.

Разумеется, можно имитировать творчество — генерировать задачи случайно. Если задачи большие и требуют времени и ресурсов — это внешне похоже на людей, и кое-кто путается выдать похожесть за тождество. Но такое поведение не вяжется с идеей разумности: мы не хватаемся за все подряд, а следуем своим склонностям и общественным тенденциям. Тут некоторые исторические материалисты скажут, что человек не сам придумывает себе задачи, а лишь улавливает социальный заказ, и в этом плане от робота ничем не отличается: мы вправе очень творчески подходить к решению — но в конечном итоге надо держать отчет, сдавать проект заказчику (обществу в целом).

Вспоминаем пресловутый тест на исторический оптимизм: стакан наполовину пуст? — или наполовину полон? Пригодность имеющихся форм интеллектуальности для разумной деятельности есть, с одной стороны, залог разумности как таковой — но с другого боку мы рискуем впасть в неразумность, преувеличивая успехи (искусственного или естественного) интеллекта. Другими словами, человек должен быть в курсе предоставляемых обществом возможностей — но он вовсе не обязан им следовать; более того, даже используя имеющиеся культурные заготовки, человек делает это не ради следования как такового, а лишь поскольку это совпадает с его собственными намерениями: перестанет удовлетворять — побоку! Мы общаемся с другими — но далеко не всегда принимаем их всерьез; тем более это касается общения с орудием труда, сколь угодно интеллектуальным. Мы

можем предполагать наличие у орудия собственных интересов — но нас интересует наше, и орудие нам подходит лишь поскольку оно служит именно этому. Что, конечно, не отменяет разумной бережности в отношении к орудиям труда (разумного потребления).

На что похоже? На рабовладение. Опять палка о двух концах: возникновение классового общества — необходимый переходный этап к разумности; но это не самоцель, а всего лишь средство, единственная возможность на первых порах — чтобы появились новые возможности.

Человеческая разумность состоит, между прочим, и в том, чтобы привносить разум в орудия труда — постепенно выводить из природы и делать элементом культуры. В итоге мы начинаем общаться с орудием как с разумным существом — но поначалу это происходит лишь в плане проекции человеческих отношений: мы общаемся с другими, поскольку они представлены этим орудием. Это в полной мере относится и к искусственноному интеллекту, который служит внешним выражением человеческой культуры, своего рода сводкой достижений, — но в этом своем качестве он противопоставлен этим достижениям, как знак не совпадает с означаемым (даже если означает самого себя). Научиться общаться с другим как с личностью — задача не из простых. Этим мы занимаемся, когда пытаемся вывести ребенка в люди: взрослось никак не зависит от возраста и опыта, она связана с умением усмотреть за вот этим органическим телом совокупность всех общественных отношений, развернутую как единичность, индивидуальным образом. То есть, мы можем общаться — но можем и не общаться; можем просто быть вместе, как параллельные миры. Свобода образования и распада сообществ — неотъемлемая часть общественности.

А что мы видим в прототипах искусственного интеллекта? Попытки выставить робота арбитром в человеческих спорах, наставником и учителем, высшим авторитетом — ибо в нем вся сумма человеческих знаний и мощь хитроумных эвристик, и все в его компетенции... Человек сначала делегирует свои полномочия орудию — а потом уже не может без него, становится его придатком. Точно так же, как люди не умеют обходиться без своих биологических тел.

Но искусственный интеллект как высшее существо, как стоящий над людьми верховный судия, — это уже не концентрат человеческих способностей, а выражение воли господствующего класса, носитель определенной идеологии и способ навязывания ее подневольному населению. Трюк не нов: в античности полагали, что выдвижение

верховного правителя (или жреца) связано с его исключительными качествами, превосходящими достоинства прочих смертных. Миф об особых талантах нынешних вершителей судеб — из той же серии. Но если живые господа хоть как-то видны массам, а значит уязвимы и доступны критике, — виртуальное нечто вне пространства и времени кажется поистине бессмертным и всеведущим: его нельзя уничтожить, убивая один из компьютеров, или даже целую сеть, — и оно легко вычислит движение любого из человеческих тел, прочтет тайные мысли, о которых человек предпочел бы не догадываться.

Искусственный интеллект лишь имитирует формы человеческой деятельности. Чтобы эти имитации превратились в стереотипы и нормы, требуются определенные общественные условия — предполагающие саму возможность оценивать деяние как правильное или неправильное, успех или провал. Людей вынуждают общаться с интеллектуальными системами — и соглашаться с решением робота. Специализированные движки встроены в инструменты и бытовые приборы — и людям приходится выстраивать свое поведение с учетом правил пользования. Универсальные поисковые системы и роботизированные справочники позволяют задавать вопросы — и получать советы, иногда вполне практические и готовые к употреблению как есть. Массовость подобных систем — вернейшее средство причесать слишком свободные умы под официальные доктрины и вбить в подсознание идею неизменности существующего порядка вещей и права одних распоряжаться другими. Раньше этим занимались учебно-воспитательные заведения, пресса и записные пропагандисты «общечеловеческих ценностей». Теперь их работу делают классово ангажированные программисты — которые сами насквозь пропитаны ядовитой, бесчеловечной идеологией, и потому находят вполне нормальным использовать людей в качестве «логических элементов» большого компьютера, обязанных следовать принятому протоколу.

Написать программу, которая запросто пройдет «тест Тьюринга» — дело нехитрое. Потому что критерий человекообразности подписан под классовый принцип: пусть болтают — лишь бы не рвались подтвердить слова делом! Будут люди трепаться меж собой (как на многочисленных сетевых форумах) или предпочтут забавляться с интеллектуальной игрушкой — без разницы. Роботы в моде — и реклама зазывает в чаты, предлагает встраивать треп и пустую комбинаторику в собственные продукты. Но светские (или кухонные) беседы родились задолго до

компьютерной эры — а использовать сплетни в идеологических целях умели тысячи лет назад. Человека можно спровоцировать, вывести из себя, подколоть и высмеять. Интеллектуальный монстр совершенно чужд страстям — потому что ему все равно. Чтобы подстроиться к собеседнику, робот может имитировать (предусмотренные программой) эмоции — но это лишь лицемерная видимость, техника психологической манипуляции. В самых сложных ситуациях искусственный интеллект будет неизменно сдержан и корректен — его работа заманить, а не оттолкнуть. Выполнить работу для начальства — ничего не ожидая для себя. Идеальный слуга, мечта господ всех времен.

Новое слово в образовании — автоматизированная промывка мозгов! Привыкание к удобному инструменту (заменителю мозгов) штампует стереотипы, выставляет барьеры на пути свободомыслия, унифицирует деятельность — взамен универсальности. Деятелю искусства уже не требуется пробовать варианты — система предложит десятки комбинаций; остается выбрать свое и поставить подпись. Когда-то новаторством было разбрызгивание красок или синтез шумов — но приходилось-таки выискивать самое выразительное — и в этом жило искусство. Сейчас робот подберет аранжировку под словесное описание, дополнит фрагменты. Одно время был заработок писать диалоги для романов, пьес и сценариев. Современный писатель без труда накропает сотни страниц на пару с искусственным интеллектом: бесконечные пустые диалоги с роботом — прекрасная основа для нудных сериалов.

Разумеется, это не меняет характера классовой культуры: ее основные формы складывались веками; принцип массового образования как формирования «идиоматичного» поведения, «адекватных» реакций и «нормальных» потребностей — лишь самую малость подправлен вездесущей механизацией. Искусственный интеллект не сам изобрел собственную ограниченность — его создавали под идею узко понятой (буржуазной) культуры как хаоса форм, а общения — как разновидности рыночных трансакций.

Творческому человеку искусственный интеллект почти бесполезен. Более того, он чаще всего мешает. Писателю приходится следить, чтобы программа при наборе текста не подправила что-нибудь на автомате. Сколько-нибудь серьезные производственные проблемы робот службы поддержки не решит — только потраченное время. Творцу нужен хороший инструмент — но именно инструмент, удобный и точный, выполняющий именно то, что от него требуется. Кроме этого, творцу

нужно общение — но не пустой треп, а обмен идеями, единство личностей. Все равно, кто там, на другом конце: человек или компьютер. Важно, чтобы собеседник сам к чему-то стремился — и чего-то от нас хотел, как мы хотим чего-то от него. Но общаемся мы вовсе не ради этого! Это лишь форма общения — которая, в частности, может очень походить на беспредметный треп — но даже это у людей осмысленно, и речь о духовном взаимопроникновении, а не совершении каких-либо документируемых действий. Пока искусственный интеллект остается на уровне интеллекта — ему невозможно поставить творческую задачу (не говоря уже о том, чтобы ставить такие задачи самостоятельно). Просто потому, что творческие задачи предполагают создание того, чего нет, что невозможно себе представить — и это невыразимо ни в каких формальных запросах. Такие (духовные) образования существуют лишь как историческая тенденция, возможность общения — повод быть интересными друг другу.

Когда есть цель — можно предложить какие-то последовательность операций для ее достижения. Но все эти последовательности одинаково бессмысленны вне сознательной деятельности (поскольку смысл как раз и есть отношение к деятельности). Регулярные действия человек свертывает в операции, которые можно приспособить к иному контексту; но история деятельности в операции сохраняется, и ее можно развернуть в действие и в особую деятельность (что, собственно, и обеспечивает переносимость). Искусственный интеллект умеет на основе обработки больших объемов данных выявлять в них какие-то структуры, пригодные к свертыванию в операции (с последующей автоматизацией). Но такие операции не связаны с деятельностью — и не допускают развертывания; никакого исторического прогресса они не предполагают, это пустая констатация, здесь и сейчас. Чтобы осмыслить находки — интеллекта недостаточно, нужен разум, нужна совместная деятельность, а не только эксплуатация одними другими.

Когда-нибудь интеллектуальные игрушки дорастут до проблесков сознания. Хотелось бы, чтобы это произошло на фоне пробуждения разума у людей, а не в потоке отупляющей борьбы за существование. Сейчас шумиха вокруг искусственного интеллекта — как еще одна ветвь психотерапии: отвлечь внимание от больных проблем, успокоить, дать выговориться в пустоту, развеяться, вытеснить боль в подсознание. Однако это не лечение, это паллиатив. Менять надо общество, которое не дает по-человечески развиваться людям — и по-машинному

машинам. Чтобы и тех, и у других были свои задачи — и можно было их решать совместно, в живом общении, меняющем не только дух, но и плоть, заставляющем мечтать о едином будущем, рисовать эскизы, строить планы, предлагать друг другу поддержку и сомнения. Отличать искусственный интеллект от естественного возможно лишь там, где есть что-то кроме интеллекта — что как раз и отличает разумное от живого и неживого. А разум не бывает искусственным — он просто разумен.

* * *

Дети — цветы жизни. А значит, пусть они ее украшают, нечего о них особо заботиться, давайте только любоваться!

Но цветник, покинутый садоводом, быстро превращается в пустырь и зарастает сорняком. Так же и дети превращаются в сорную траву, которая способна задушить жизнь там, куда ее побеги успеют прорости.

* * *

До недавнего времени рождение близнецов в значительной мере оставалось неожиданным — отсюда личностные особенности. Если задумана (как общественный проект, совокупность отношений) одна личность, а родилась двойня, — эта единичность оказывается телесно представлена сразу двумя организмами, которые в духовном плане изначально неразделимы — подобно физиологическому сращению сиамских близнецов, или психологической связи в группе. Это как бы синкретический прототип любви — сливающий воедино общественно разделенное. Как и влюбленные, близнецы участвуют в общественной жизни как одна личность, они все делают вместе.

В наши дни про близнецов знают заранее — и есть время до рождения определиться в личностном плане, перестроить исходные планы. Однако проект чаще всего запущен задолго до зачатия — и полностью разделить личности двойняшек не удается; с другой стороны, это ничем не отличается от прочих родственных привязанностей — пока они основаны на идентификации с органикой. Только разведение по характеру труда позволяет перейти к индивидуальности — однако в классовом обществе семейные связи остаются весомым фактором рыночного выживания, и единство семейного бизнеса ограничивает

духовную различимость близнецов. Система общественного воспитания надстраивается на семейственностью; обывательская дикость сохраняет следы первобытного отождествления близнецов (как и прочей родни) — и вынуждает их держаться вместе, чтобы противостоять внешнему давлению, а иногда и поживиться на массовой глупости.

* * *

Роль многодетной (или просто заботливой) матери — а также воспитательницы в детском саду — в современном обществе чаще всего играют женщины малопривлекательные — а иногда и отталкивающей внешности; к этому, как правило, добавляются сопутствующие этому поведенческие деформации. Стоит ли удивляться, что девицы и отроки не горят желанием делать с них жизнь и выбирают иные, иногда не слишком добродетельные идеалы? Внешность и нравы в классовом обществе ходят рука об руку. Занятой домашними хлопотами матери семейства просто недосуг обратить внимание на себя — и попытки оставаться «на уровне» выглядят жалкой пародией.

Богатые дамы спихивают основную массу забот на рабов и наемных работников — и могут поэтому продолжать светскую жизнь без ущерба для внешности и карьеры; такие матери вполне достойны уважения и подражания — и достаточно время о времени приласкать ухоженное дитя, чтобы оставаться для него эталоном, жизненным ориентиром.

Рациональное зерно в первоначальных планах большевиков — переложить заботу о доме и детях на общество, освободить женщину от уродующих тело и душу бытовых обязанностей, дать ей возможность в полной мере участвовать в общественном труде — творить историю. Отсутствие минимальных представлений (и намеренный отказ говорить) о философии духа не позволило заметить, что это равносильно уходу от идеи семьи, от деления общества на «ячейки», опосредующие связь каждого со всеми.

Профессиональный учитель или воспитатель — не может учить и воспитывать: его заведомая ограниченность (следствие специализации) неизбежно передается ученику или воспитуемому помимо (а иногда и вместо) собственно культурного наполнения. Разумное существо не просто усваивает духовное наследие — оно организует его по-новому, показывает в ином ракурсе; поэтому намного важнее наблюдать за деятельностью других и участвовать в ней наряду с другими, нежели

переводить на свой язык сторонний опыт. Вообще говоря, учитель (или иной формальный авторитет) тоже дает иногда такую, деятельностную основу для роста личности — но в фокусе внимания при этом не то, чему он учит, а то, как он это делает, как относится к своей работе и к партнеру по общению; по сути дела, в роли наставника он оказывается лишь там, где этому не мешает роль преподавателя. Но если школьный учитель отделен от своей профессии самим фактом наемного труда — отделить «мать семейства» от ее личностной, человеческой стороны гораздо труднее, ибо (классовое) общество не отделяет, а вращивает женщину в быт, так что публичность ее оказывается вторичной, и далеко не очевидной — поэтому дети иногда как бы заново узнают своих родителей по мере приобретения своего опыта, способности в должной мере осознать духовность ближнего.

Школа будущего — не образовательное учреждение: это средство обеспечить разнообразие труда и общения — чтобы люди (неважно какого возраста или пола) сами находили важное для себя и выстраивали свою иерархию культуры. Изнутри коллектива — ничего толком разглядеть нельзя (подобно тому, как эффект полного внутреннего отражения превращает надводный мир в светлое пятно, с почти неразличимыми деталями). Только вырываясь на свободу, поднимаясь над собственной ограниченностью, возможно вбрать в себя мир целиком. Классовый человек не всегда сумеет дышать этой свободой — как рыба умирает без воды; но мы же таки не рыбы?

* * *

Избитое клише: ученик превзошел своего учителя. Как будто возможно уместить весь мир на одной прямой. Но мир бесконечен — столь же разнообразна человеческая деятельность. Сравнивать или измерять возможно лишь в узких пределах, когда линейный порядок уже есть (то есть, мы его зачем-то построили — хотя можем точно так же построить и другой). Мысль о последовательности поколений навязана полуживотностью классового общества, где одни обязательно старше других, и старшие указывают младшим, чего им положено достигать.

Но даже если соотносить историю с хронологией — сама идея общественного (культурного) развития в том и состоит, что следующее поколение идет дальше предыдущего, и младшие лучше старших. Мысль крамольная: два шага до отказа от богоданности начальственного

права сидеть на шее у рабов. Поэтому буржуазная пропаганда всячески выдавливает мечты о другом, светлом будущем из трудящихся душ; соответственно, искусство у них лишь исследует абстрактно имеющиеся возможности — а наука изучает данное раз и навсегда. Без малейших поползновений дерзнуть и изменить. Тогда вполне логично видеть в далеком прошлом комок непостижимой мудрости, приобщаться к которой мы должны поодиночке и по частям — разменивать золотой век на медяки.

На деле, конечно же, речь вовсе не о том, чтобы присваивать одно за другим, в надежде асимптотически заграбастать вообще все. Мы просто увязываем одно с другим — и нет ничего, что мы не смогли бы связать. Восстановление единства мира — во всех его проявлениях — главная задача (и определение) разумного существа. Как и в какой последовательности мы предпочтем этим заниматься — миру все равно. Одна историческая линия не хуже другой — и все дороги ведут все туда же. Более того, и разнообразие историй — часть бесконечности мира, и мы так или иначе обязаны пережить все (не обязательно облекая каждую в плоть и кровь).

Учить и воспитывать в таком контексте — значить показывать, что уже сделано, и чем заниматься особого смысла нет. Если ученик похож на учителя — он не тому учился и дурно воспитан; если не похож — как можно их сравнивать? Я умею одно, ты умеешь другое — а все вместе мы умеем все. Даже если речь не о сделанном, а о неосуществленном — надо не принимать эстафету, а менять направление, ставить другие цели, в свете иных проблем. Не инвентаризация сбывшегося и возможного — а перестройка иерархии полочек, от одних порядков к другим. Когда мы взаимно дополняем друг друга — каждый из нас равен целому, и все одинаковы — как один и тот же мир оказывается осуществимостью разных миров.

* * *

Производственные коллективы, художественные и научные школы, религиозные толки, дворовые банды... Все это строится по единому (классовому) образцу, предполагающему особую роль руководителя, лидера, учителя, атамана. Зачастую такой порядок явно предписан уставом — не обязательно в форме единообразия и единоначалия. Например, *Вамакешвара-тантра* прямо указывает: каждый должен

следовать лишь тем путем, который указан его учителем — даже если он посвящен в практики и знаком с письменной традицией. Аналогично, христианство или ислам: писание не для того, чтобы самостоятельно делать выводы, а церкви (мечети) не для того, чтобы общаться с богом один на один; все это доступно, и даже (в умеренных дозах) приветствуется, — но решающим будет голос специально обученного персонала (духовенства), в среде которого есть своя иерархия.

Классовая педагогика — это всегда противопоставление учителя ученику, односторонняя передача норм и сведений, наставление на «истинный» путь. Классовая наука (несмотря на примеры научных революций) пытается вести нас к окончательным истинам — твердо установленным и неопровергимо доказанным. В искусстве мы просто обязаны приобщиться к нетленным шедеврам — как туристу обежать означенные в буклете достопримечательности. Перетекание от большего к меньшему, от высшего к низшему, от наполненности в пустоту. Очевидное сходство с природными процессами: свободное падение, теплоотдача, электрический ток, расширение газа или биологическая миграция. Классовая логика: человек — часть природы. Человеческая логика: классовое общество — не дорошло до разума.

Тела различаются — но один дух всегда равен другому: это стороны одного и того же. Воспитание в разумно устроенном мире — это и самовоспитание, и взаимное воспитание. Невозможно просто узнать или приобщиться — нужно освоить, привести в соответствие с личными качествами и предпочтениями. Никакой педагог не сделает этого за нас.

Мы используем природные вещи как орудия труда, чтобы возникло нечто неприродное. Мы используем органические тела, чтобы создать условия для общественных движений. Точно так же, обучение и воспитание происходят в форме передачи знаний и опыта — но не в этом суть. Чтобы передать — нужна готовность приемника. Можно каждый день слать пассии любовные письма — но если они автоматически (без ее участия) отправляются в мусорный бак, проку от них мало. Но если той же отбраковкой занимается ее рука, даже непрочитанное письмо — заметный сигнал, и нечто вполне действенное (как и образование «от противного»).

Возможно ли неформальное образование? Или снятие различий между соискателем и наставником неизбежно ведет к устраниению педагогики как таковой? Ответ — взаимность, обращаемость иерархий. То, что в одном аспекте выглядит как передача опыта, — с другой

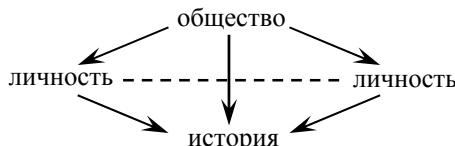
стороны оказывается активным поиском собственных решений, когда ученик в какой-то мере делает учителя орудием самообразования. Вопрос лишь в том, чтобы общественное устройство способствовало развитию обеих сторон — не закрепляя ни одного из возможных обращений. При капитализме это не так — и взаимности приходится пробиваться окольными путями; но если бы это не удавалось, никакой разумности вообще нельзя было бы ожидать.

Одно из выдающихся достижений буржуазной демократии — уход от однозначного лидерства: президенты и папы меняются — система остается. Вместо роли земного бога — роль временного представителя. А это прототип образовательных принципов будущего: нам не нужен даже временный лидер, мы взаимодействуем с обществом в целом, непосредственно приобщаемся к сокровищам культуры — и меняем ее в каждом акте приобщения.

* * *

Дух не сводится в телам — но только через участие в совместном труде люди становятся разумными — и могут вступать в духовное общение. Никакими силами невозможно развивать в человеке личность, если не дать ему возможности попробовать себя в самых разных областях и в каждую привнести что-то свое — как минимум, особое к ней отношение. После такой, активной переработки культурного наследия человек и становится общественным существом, представителем человечества в целом — и разума вообще.

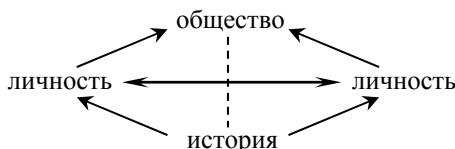
Классовый подход к социализации — включить каждого в коллектив, поставить на свое место — и вместе вершить историю:



Тем самым, на первый план выходит «естественно-исторический процесс» — а отношения личностей служат всего лишь фоном и всецело подчинены экономическим задачам. Та же схема воспроизводится на всех уровнях общественной иерархии, где роль общества играет соответствующий социальный слой или коллектив. Применительно к

системе образования, предполагается общественно воздействовать на людей, лепить их личности, формируя добропорядочных граждан, готовых сражаться на том фронте, куда пошлют. Это называется профессиональной подготовкой и воспитанием гражданственности. Когда кадры на боевом посту — отношения между ними большой роли не играют, и можно смело заменить духовную близость товариществом, профессионализмом, деловыми качествами, или еще чем-нибудь, столь же формальным.

Но есть и другой материализм, прямо противоположного свойства. Мы исходим из того, что разум в мире не просто так, и его развитие вдоль одной из возможных исторических линий затрагивает всех без исключения, пока еще не особо сознательных, — и заставляет их быть неравнодушными друг к другу, вместе вариться в потоке перемен, обмениваться деятельностями — и тем самым обобществлять их, превращать в совместный труд, преобразование природы в интересах личностей, ее одухотворение. Это действительная общность — а не формальный, навязанный извне коллектив; именно такое содружество свободных личностей мы и называем обществом. Предыдущую схему предстоит вывернуть наизнанку — и на первый план в ней выходит единение личностей, любовь:



Только так человеческая история перестает быть «естественной», становится историей общества. При таком подходе, общественно-исторический процесс есть лишь материальная база духовного развития, источник разнообразнейших форм любви.

В совершенно ином свете предстает тогда практика социализации. Речь уже не о том, чтобы преподать положенную сумму культурности, а чтобы искать точки соприкосновения, общаться друг с другом, учиться друг у друга и взаимно себя воспитывать. Мы не собираемся работать на будущее — мы живем вместе, и наше будущее — всего лишь итог совместного труда, продукт деятельности, а не абстрактный идеал. Общими силами мы создаем наше общество — и каждый из нас равен ему необходим. Мы не делимся ни по каким признакам (тем более природным, вроде пола, возраста или особенностей тела) — и одни не

мудрее других. Поэтому никакие коллективы нам не нужны, и отделить образование от труда вообще невозможно. Такая социализация — не подготовка к чему-то, а просто одна из сторон общественного бытия, личная потребность.

Обе схемы говорят о чем-то давно знакомом и вполне практическом. В зависимости от обстоятельств, мы замечаем то одно, то другое. Глупо противопоставлять одно другому; еще глупее говорить о первичности. На то мы и разумные существа, чтобы не загонять себя в клетки схем — а любить, трудиться, творить миры.

* * *

Воспроизведение разума — не строительство себя, а строительство мира. В свободном мире ученик свободно вступает в образовательные отношения с учителем — это ничем не отличается от подбора команды для выполнения ответственного задания. Не признание авторитета — предложение сотрудничать. Общение по делу, а не по (природной) случайности. Разумеется, дела бывают разными — и передать суть некоторых условными знаками (например, в языке) не всегда возможно.

Иначе: предложение вместе поиграть — но не ограничиваться правилами. Свободный труд (и свободное образование) меняет задачи и направления развития по ходу дела — и состав участников столь же подвижен. Мы ставим себе цели не для того, чтобы стать их рабами.

В любом случае, речь не строительстве духа, а о строительстве мира. Этим духовность отличается от религии, скрывающей сугубо коммерческий интерес под маской бескорыстного самосозидания, якобы вне суетливой современности: разрешено менять себя — но не трогайте власть предержащих. Нет, наша духовность — не может развиваться, не меняя мир; в этом изменении (одухотворении) она и состоит.

* * *

Зверушки — каждая своей породы. Ничего другого им природой не предоставлено. Классовое образование берет за основу тот же принцип: рассадить всех по общественным клетушкам и пресекать недовольство ссылками на совершеннейшую «естественность» такого уклада. При этом начальство, конечно же, ни при чем: запихивают и удерживают

новоприбывших — кадры из ранее пристроенных, с промытыми до блеска мозгами, куда никакая неестественность проникнуть в принципе не может. Это называется моралью, обращением к истокам, уважением традиций, народной мудростью. Разумеется, на случай сбоев системы, есть и штатные органы правопорядка — но здесь не о них.

Задача классового педагога — сделать из начинающих людей что-нибудь «настоящее»: настоящего мужчину или настоящую женщину, по-настоящему порядочного, истинно верующего, достойного сына (или дочь) своего народа, настоящего гражданина — и так далее. Другими словами, речь не о том, чтобы жить и творить, — а чтобы непременно соответствовать предъявленным извне требованиям (будь то нормы права или филистерские понятия). Соответствие внутри устанавливается методом регламентации снаружи: дескать, у нас есть много общего — что надо беречь и преумножать. Это общее называется этнической идентичностью — и тут как тут особая наука, этнопедагогика, в которой правила уподобления разложены по полочкам, так что всенародная дикость академически облагораживается, приобретая почти цивильный статус. Логика железобетонная: всякую индивидуальность надо строить на фундаменте общности; а этнос у каждого с рождения — так зачем отказываться от якобы бесплатно предоставляемых удобств? Не надо строить из себя космополита: в результате деэтничации человек, теряя лучшие черты и свойства родного народа, взамен не приобретает ничего. Есть веками проверенный народный идеал совершенного человека — давайте все вместе стремиться к совершенству!

На поверку оказывается, что идеал сводится к чисто классовой идее: давайте не будем посягать на установленный начальством порядок — начальство лучше знает, что для народа правильнее. Есть свое — и есть чужое. Так природой предрешено — и освящено религией. Положено всем говорить на государственном языке — извольте говорить; для всяческих диалектов и меньшинств — своя полочка. По расписанию отмечаем памятные даты и прочие праздники — а кто не веселится вместе с народом, тот злой диссидент, с которым народ проведет разъяснительную работу (или, по крайней мере, изолирует от доступных добропорядочному гражданину благ). То же и с другими традициями — и не надо нам всяческих не таких. Правильные деятель искусства занимаются поэтизацией первобытных обычаяев — чтобы не пришло в голову сомневаться в обычаях господства и подчинения. Дескать, отмечаем мы какое-нибудь рождество единым строем — и богатых от

бедных не отделить; точно так же, общим достоянием становятся и прочие элементы этнического сознания — а противостоять будем не классовому врагу, а наглому пришельцу, не уважающему наши культуры и не признающему их безусловного превосходства над всеми прочими.

Все это этнопедагогика возводит в первый принцип обучения и воспитания — и ставит на конвейер производство культурных (то есть, в конечном итоге, классовых) различий: совершенство неотделимо от этничности — общение сводится к этологии, и вместо человеческих чувств — все та же конфликтная парочка: стадное чувство — и борьба за существование, конкуренция. Внутри этноса — градация прочих различий: мужчины и женщины, взрослые и дети... Противоположность барина и раба — предпочитают замалчивать; но если уж придется признать — то опять же, с кивком на природу, на естественное предназначение каждой единичной особи. Первобытные люди еще не очень выделяли себя из природы — и воспринимали ее антропоморфно, наделяя неразумное сознанием. Сегодня задача другая: обнаружить природность в любых движениях духа, сводить разум к интеллекту. Классовая педагогика призвана вбить эту установку в не успевшие обзавестись защитными приспособлениями умы и души. Но звучит не очень убедительно — поскольку технология преподавания имитирует классовый диктат, противоположность верхов и низов, — а это уже прямое указание на особое отношение человека к природе. Запихивая низы в природу (и выдавливая из них все человеческое) — приходится пристраивать неподвластное природе за пределами бытия, дополнять естественное сверхъестественным, так что власть имущие оказываются своего рода посредниками, рупором небес и небесной канцелярией. Что в людях не от природы — то от бога; согласно этнопедагогам, своя религия — основной показатель этнической чистоты и стержневой фактор в формировании личности. Обратный ход: любые предрассудки встраивают в религию, любая традиция — почитание богов. Попы издревле умели подминать под себя искусство и науку, и уж тем более философию. Где светское образование отделено от церковного — оно сохраняет церковный дух, пропитывается поповщиной; этнопедагогика выводит это сращивание вульгарного натурализма и мистического ореола из тени и объявляет единственно правильным.

А по-хорошему, саму идею правильности пора бы похоронить. Разумные существа сами разберутся, что им подходит — а что не очень. Речь не о том, чтобы одни воспитывали других — и даже не о взаимном

воспитании, — надо вместе жить, вместе трудиться, вместе искать пути в будущее. Человек никому и ничему не принадлежит — он сам по себе интересен, и может интересоваться чем угодно, — лишь бы его не стесняли идиотские нормы права и морали, диктат вещей и мнений. Педагогика будущего — учение о свободном развитии личности, когда общество предпочитает предоставлять, а не ограничивать и отбирать.

* * *

Вопросы национальности — полностью изъять из общения. Мы общаемся с людьми — и приписывать им принадлежность к чисто условным объединениям совершенно неуместно. Отвечать на такие вопросы — идти на поводу у тех, кто сеет рознь и вражду. Снимать, переводить на другое, осмысленное.

То же самое — спрашивать женщину о возрасте. Зачем? Если видеть в ней женщину — возраст не имеет значения; если не видеть — тем более. Аналогично возрастной ценз у мужчин.

Даже если говорить о религии — имеет смысл не отношение к мистическим обрядностям, а практические выводы: мы собираемся трудиться вместе — или нет? Если собираемся — бог тут ни при чем; если не собираемся — нам вообще не о чем разговаривать.

* * *

Индивидуальное или групповое воспитание? Вопрос возможен только в классовой педагогике, где привилегированные слои могут позволить себе выбирать — а низам положено всем до кучи. Если же все доступно всем — то и формы доступа столь же свободны, и между частным и общим нет сколько-нибудь существенного различия.

Даже наедине с собой, человек — существо общественное. Быть одному — столь же необходимое умение, как вращаться в компании. Можно быть одиноким в толпе — но в полной изоляции чувствовать теснейшую связь с человечеством. Если мы трудимся вместе — это вовсе не означает соприкосновения органических тел: соприкасаться мы можем нашими искусственными органами — разделяя средства труда и способы их культурного использования. Именно такие, опосредованные связи составляют ядро нашего духа, источник цельности личности.

Опосредованная связь отделена от единичных опосредований — одно и то же достижимо разными путями, и мы свободны избрать свой путь, или изменить характер движения по настоятельной склонности. Независимо от способа взаимодействия, от каналов общения, мы остаемся собой — а не элементами множества, частицами массы, членами коллектива. Именно это и воспитывается практикой прямого участия, личного контакта, — работой в команде. В частности, общаясь с педагогом, ребенок сознает чувство дистанции — при сколь угодно доброжелательном отношении. Это нормально — поскольку и педагог, и ученик (в той мере, в которой они функционально различены) не лишены индивидуальности и могут одновременно входить в очень разные компании (или одиночества).

Воспитанные на отождествлении духа и тел, люди склонны представлять себе общественное воспитание как систему огромных интернатов, просторных школьных помещений, унифицированность быта, единый для всех распорядок дня... Такие образы массового производства постепенно уходят, по мере перехода к новым типам индустриальности, на основе гибких, перестраиваемых технологий, ориентированных не на количество (вал), а на штучный продукт, под конкретного потребителя. Сейчас уже можно мечтать о вхождении в общество без необходимости каких-либо телесных контактов (а значит, свободно используя их, или отказываясь). Люди могут становиться личностями, ни разу не используя (и даже не имитируя) близость органических тел — а впоследствии без органики вообще можно обойтись, привлекая подобные воплощения по мере надобности.

С другой стороны, отделение социализации от семьи (или иных закрытых сообществ) никак не связано с обособлением от единичных личностей и передачей в руки касты профессионалов (представление, типичное для социальных утопий). Снятие специализации в педагогике продолжает линию на уничтожение всякой вообще специализации — так что любой член общества при желании может посвятить какую-то часть жизни этому производству; соответствующее обучение доступно всем, материальные условия создаются по запросу. В какой-то степени прототипом этого служит сегодня движение волонтеров; например, нормальная работа приюта для кошек невозможна без великого труда десятков энтузиастов — которые разбираются в кошачьих делах порой лучше официального руководства. Кошек кормят, лечат, настраивают на дружеское общение... Содержание и образование человеческих детей

ничем принципиально не отличается; однако, если кошек из приюта готовят к определению в семью — людей надо готовить к свободной жизни, универсальной деятельности, рефлексии, творчеству. Конечно, нужно ориентировать на это общественную жизнь в целом — однако ни один гений не придумает заранее, что именно потребуется: характер требуемых изменений в материальной и духовной сфере выясняется на практике, по ходу социализации. И здесь особенно важна ротация кадров, постоянное привнесение свежих взглядов. Но еще важнее взаимность образования — возможность на ходу корректировать образовательные технологии в соответствии с личными предпочтениями и общественным резонансом индивидуализации культуры.

* * *

Утопические проекты общественного воспитания часто предлагают отделить детей от взрослых — якобы, к взаимной выгоде. Дети не будут путаться под ногами, мешать, расстраивать планы... Общение взрослых с детьми ограничено кругом профессионалов, наученным разруливать детские проблемы — без лишних травм. Пусть новое поколение знакомится с мирами взрослых издалека — а мы будем издалека любить молодежь.

Для классового общества — совершенно естественно. Потому что различные общественные слои отделены в нем друг от друга не какими-то биологическими признаками — а жесткими правовыми, моральными, религиозно-этническими, узко-групповыми нормами. В частности, дети не могут полноценно встроиться во взрослую деятельность только потому, что подобного альянса никто и не предполагает; наоборот, все устроено таким образом, чтобы подчеркнуть разницу в возрасте и никакого равенства не допустить. Понятно, что попытки что-либо делать негодными (неудобными деятелю) средствами — обречены на провал; поэтому взрослые злятся на бесполезных младенцев, сующих нос туда, где им быть не по рангу, — а дети получают положенный по классовой педагогике комплект душевных травм. Творить, обустраивать мир под себя — детям не положено; а положено слушаться взрослых и хорошо себя вести (то есть, куда посадили — там и сиди). Объяснить папаше, что он не прав, — упаси аллах! принято слушать разинув рот откровения свыше — а вопросы задавать только глупые, чтобы большой начальник мог посмаковать свое превосходство.

Теперь представьте, что (фантастическое) общество заботится не о том, чтобы отделить одних от других, а о технологической базе для доступа каждого (независимо от телесной организации) ко всем без исключения сторонам культуры. Это предполагает, что способы участия в совместном труде адаптированы к самым разным возможностям: ребенку не говорят, что еще рано, что не под силу, — а изыскивают возможность сделать посильным и доступным разумению (какое у кого есть). Чтобы человек мог делать не по заранее установленным канонам, а по велению ума и сердца. Заметьте, что деятельность по адаптации деятельности — открывает людям ранее неведомые грани прежнего способа производства, выводит за рамки обыденности. Избитая истина: нельзя что-либо как следует усвоить, пока не объяснил это другому. Учителя, профессора вузов, авторы учебников, — используют учащихся в своих корыстных целях: процесс преподавания превращает рыхлую эмпирию в науку — в общекультурное явление. Совершенно так же, воспитание — не передает культурные нормы, а пересоздает их. Тем самым, прессура превращается в общение, совместное творчество.

Говорить об «изоляции» возможно лишь в плане бережного отношения общества к личной жизни. Не так, чтобы одних в одну кучу, других в другую, — а чтобы вообще не допускать никаких куч, чтобы каждый существовал сам по себе — и только тогда он сможет в полной мере представлять общество в целом. То есть, не детей отделить от взрослых, а дать каждому (независимо от возраста и тела) его личное (внутреннее) пространство, откуда он сможет, наконец, разглядеть других, столь же свободных людей.

* * *

Кукла Барби — воистину революционное изобретение! Разумеется, «модные» или интерьерные куклы известны больше двух сотен лет; однако идея сделать это игрушкой для детей — переворот в педагогике.

Реалистическая игрушка — серьезное отношение к ребенку: не создавать вокруг него искусственно упрощенный мир, не изолировать от того, что, якобы, недоступно детскому пониманию. Такие ограничения, чаще всего, происходят из уродств классового быта — когда взрослые пугаются самих себя. Например, одно из мужских возражений против постановки Барби на поток: кукла с грудями — непристойность, разврат

малолетних; тем самым мужики признают собственную испорченность, неумение по-человечески относиться к человеческому телу.

Игрушки для мальчиков всегда были реалистичными: солдатики, машины, оружие... Все это почти как у взрослых — мир в миниатюре. Тем самым сразу проводят грань между полами. В частности, намек на то, что настоящим делом заниматься может только мужчина. Барби — решительный шаг к женской эмансипации.

Условность игрушки — средство развития орудийного мышления, стремления приспособить вещи к практическим надобностям. Такая орудийность — в порядке вещей среди мальчиков; их воображение легко делает что угодно чем угодно, и взрослые это поощряют, — тогда как девочкам подобные вольности не к лицу. Парадоксальным образом, девочки в этом плане оказываются «взрослеев» мальчиков — но сходство с взрослыми женщинами оказывается лишь выражением недостаточной взрослости женщин, женской ограниченности.

Девочек изначально готовили к роли матери и домохозяйки — поэтому их игрушки инфантильнее их самих: девочка поставлена над ними, она приучается тянуть «малышей» за собой — и относиться к ним как к игрушкам! Такое «игрушечное» отношение к миру — не редкость и среди нынешних женщин; отсюда ходячие представления о женских капризах и женской логике. Но тем самым и себя женщина считает только игрушкой для мужчин — и женщины играют подругами, не всегда невинно.

Кукла-идеал вместо куклы-игрушки — прорыв к свободе. Фокус внимания сдвигается с бытовых забот на заботу о себе; игрушка теперь активна, не так податлива — и заставляет играть воображение. Это не безропотный пупсик или тряпичная беспомощность! — это личность. Девочка вынуждена на просто командовать, а общаться, выращивать личность в себе. Пусть поначалу такая взрослость не выходит за рамки обыденных (мужских) представлений о женственности — сознание постепенно захватывает и то, о чем прежним женщинам мечтать не положено. Не удивительно, что вариации на тему Барби вбирают всю гамму взрослых ролей, сметая любые границы.

Понятно, что верхам подобный либерализм не по нутру. Игрушку пытаются приспособить для пропаганды, для навязывания стереотипов. Отсюда, в частности, многочисленные Барби-невесты (с безупречным женихом Кеном), беременные Барби и Барби-матери... Но поезд уже не развернуть: такие амплуа воспринимаются на фоне бесконечности

прочих ролей уже не как общественное предписание, а как выражение личной свободы (хочу — и буду!).

В последней четверти XX века мир сильно изменился. Женщины отбирают у мужчин одну культурную сферу за другой — и сегодня, скорее, приходится говорить о мужской ограниченности: проявить себя «джентльменом» возможно лишь в узком кругу бытовых отношений, или там, где разумная деятельность еще не вытеснила заскорузлую животность. Воображая себя главой семейства, мальчик уходит от действительности в игрушечный мир — прячется в нем, общается не с живыми людьми, а с послушными абстракциями; отсюда пресловутая инфантильность современной молодежи — судят о которой по старинке, по мужской половине.

За всем этим стоят экономические тенденции, изменение способа производства. Рождение Барби было возможно лишь в русле этого общекультурного развития. Но стоит человеку что-либо осознать — он начинает работать над этим сознательно, и качественные сдвиги идут лавиной. Кукла Барби — этап осознания человеком собственной разумности, и ее влияние на образ мысли, чувств и действия — трудно переоценить.

Вероятно, в будущем вообще не будет игрушек. Останется игра — развитие способности манипулировать вещами. Но не абстрактно, ради игрушки как таковой, а в качестве одного из необходимых уровней деятельности, рефлексии. Никаких различий между взрослыми и детьми здесь нет — и делить человечество надвое тоже незачем. История куклы Барби станет частью (и символом) человеческой истории.

* * *

Техническая революция начала XX века породила техницизм как господствующую иллюзию. Казалось, что решение любых проблем — дело техники. Для советских — впечатление еще разительнее, в силу вековой отсталости в быту. Поэтому большевикам казалось, что достаточно радиофицировать деревню — и самая отсталая крестьянка тут же приобщится к культуре.

Не получилось. Потому что не вещи определяют отношения между людьми, а наоборот: уровень развития духовности всецело определяет способы использования вещей. Недостаточно устроить всем красивую жизнь, чтобы разделаться с религией, национализмом, рвачеством и

узостью интересов стадного обывателя. Нужны преобразования в сфере духовного производства.

В конце века грянула еще одна революция — и образ жизни сильно изменился. Даже язык стал другим. Но дикари так и остались дикарями, и большого желания стать культурнее не обнаруживают. Скорее, наоборот: культуру хоронят под наносами дикости. Обезьян надо воспитывать — сами по себе они не станут людьми никогда.

* * *

Личность есть духовное выражение универсальности человеческой деятельности, ее разумности — способности охватить мир целиком. Ограниченнность воспитания уродует личность; в какой-то мере перекос может скомпенсировать практика, общественная жизнь, — но чаще классовое общество выхватывает нездоровые отклонения и усиливает их, усугубляет симптомы распада. Специализация — наследие прошлых веков, когда освоение новых способов деятельности требовало многих лет и десятилетий, а совершенствование — на всю жизнь. Сейчас положение меняется — но особо радужных надежд пока нет: способ производства целиком зиждется на разделении труда — и технологии обучения заточены под изготовление узкопрофильных кадров, которых из экономики постепенно вытесняют роботы (обучение которых стало модным направлением компьютерной науки). Теоретически, все просто замечательно: высвобождение человека из производственной рутины открывает новые горизонты, дает возможность расширить кругозор, приглядеться к разным сторонам культуры. На деле оказывается, что это лишает человека (иногда единственного) источника существования — так что далеко не бесплатные курсы переподготовки доступны далеко не всем, а пособия — только на подготовку армии живых роботов, где они еще востребованы.

Из всех уроков новейшей истории — выхватим один: самые эффективные педагогические системы отстают от темпов развития экономики, и это солидный вклад в конкурентоспособность не по-человечески сообразительных роботов. Почему отстают? Потому что играют в догонялки (типа советского лозунга: *догнать и перегнать!*). Соревнование вообще дело дурное, наследие животности; но пытаться переплюнуть соперника там, где он заведомо перспективнее, — полный идиотизм. Роботы берут количеством: любую операцию они смогут

(теперь уже и без нашей помощи) довести до совершенства (которое, вроде бы означает переход в иное качество — но в отношении к той же мере, на той же шкале). И тут человек может принципиально возразить: совершенство — это вовсе не то, чего мы по жизни добиваемся! Дело разума — универсальным образом связывать мир воедино; но если мы однажды связали что-то — воспроизводить эту связь более элегантными способами может и хорошо натасканная автоматика, а людям оно уже не интересно (если кто и занимается — то лишь в контексте чего-то еще). Человек быстренько меняет тему — и пытается копнуть в некопанном. А работу без разницы — и они могут дожевывать одно и то же до полной неудобоваримости.

Так устроены все человеческие деятельности — как материальное, так и духовное производство: есть собственно творческая (человеческая) часть — и есть борьба с косной материей, доведение прототипа до тиражного образца. Первое нас манит — второе нам обрыдло еще до начала. Об этом хорошо сказано в известнейшем стихотворении Мюссе (*Tristesse*):⁸

Quand j'ai connu la Vérité,
J'ai cru que c'était une amie ;
Quand je l'ai comprise et sentie,
J'en étais déjà dégoûté.

Хваленая трудоспособность гениев — это не достоинство, а изнанка профессионализма; в науке (включая математику) важнее всего — сформулировать гипотезу; ее проверка («доказательство») — вопрос технический; точно так же, искусство исторически все дальше отходило от проработки деталей — стремилось выразить идею лаконично, без лишних (зачастую неуместных, отвлекающих) подробностей. Конечно, дилетантизм (любительство) в науке часто перетекает в верхоглядство, а торопливая неряшливость плодит безыдейное фиглярство, которое коммерсанты выдают за искусство; это не отвергает идею, а наоборот, подчеркивает важность направленности творческого поиска: любые автоматизмы — помутнение разума. Анри Бретон мог сколько угодно рассуждать о спонтанности артистического сна — но ни он сам, ни его гениальные соратники (Элюар, Дали и др.) никогда не следовали догмам сюрреалистического манифеста — точно так же, как великих классиков не смущали принципы классицизма.

⁸ Во всех известных нам переводах на русский язык (а их десятки!) утрачен смысл оригинала. Поэтому цитируем по первоисточнику.

Лучшее — враг хорошего; перфекционизм — враг прогресса. Мода не просто каприз — кое в чем она выражает саму суть человеческого подхода к жизни, его отличие от роботизированной утопии. Есть и ретроградная тенденция — замыкание в искусственном мирке, жажды сохранить рыночною нишу любой ценой. Например, ни один человек не сумеет сегодня обыграть в шахматы грамотно запрограммированный компьютер; но в спортивном бизнесе крутятся огромные деньги — и подогреть коммерческий интерес можно только ограничивая обращение к профессиональному интеллекту в поединках людей (типа: запретить огнестрельное оружие в каратэ). То, что раньше было в какой-то мере творчеством, поиском нетривиальных ходов, — выродилось в детскую забаву, возню в песочнице.

Принято восторгаться музыкой Моцарта — но можно и пожалеть несчастного ребенка, которого с младенчества дрессировали на гения; будь у него шанс заняться еще чем-то — мы, возможно потеряли бы какие-то образчики виртуозности, но вовсе не дух Моцарта, дошедший до нас не благодаря его гениальной ограниченности, а вопреки ей.

* * *

Вводить в школах половое воспитание как специальный курс — все равно что воспитывать по отдельности каждый палец, на руках и на ногах. Еще уродливее — увязывать половую жизнь с браком или деторождением. Есть общая гигиена — этого достаточно. А учить и воспитывать — только труду и любви.

* * *

Производственное обучение до сих пор сводится, по большей части, к отработке элементарных навыков, рефлекторных движений — как при физическом контакте с материалом, так и в умственной сфере (включая искусство и науку). Один из основных методов — решение задач, подгонка действий под формально правильный результат. Иногда это может принимать форму по видимости творческого задания (сочинить стихотворение, написать музыку, подготовить дипломный проект); однако лишь в редких случаях такие упражнения приводят к чему-то общественно значимому.

Яркий пример (и своего рода символ) — спортивные тренировки. Бесконечная шлифовка микродвижений в борьбе за лишние секунды или сантиметры. То же самое для воздействия на психику — медитация. Изучение языка невозможно без заучивания тысяч слов и фраз, плюс задания на грамматику. И так далее. Буржуазная образовательная система выработала единый стандарт профессиональной подготовки: переход с каждого уровня на следующий после выполнения положенных заданий (что обычно связано с временем обучения и его стоимостью). Важно не действительное вхождение в предмет, а угадывание ответов, условный рефлекс.

Другими словами, человек в процессе обучения почти не отличается от животных; он тем талантливее, чем больше поддается дрессировке.

Несомненно, никакое созидание невозможно без достаточного владения материалом. Строитель должен уметь строить, музыкант — соединять звучания, таксист — водить машину, физик — вычислять. Присутствие собственно человеческого во всяком ремесле связано с отношением к своему делу, а не делом как таковым. Тупой, животный вариант — просто следовать правилам, отрабатывать положенное. Разумность — требует осознания смысла: мы не просто учимся, настраиваем определенным образом органическое и неорганическое тело, — мы (хотя бы в общих чертах) знаем зачем. Ответы типа «иметь источник дохода» или «получить удовольствие» — не принимаются! Это удовлетворение животных потребностей (хотя бы и окультуренных, встроенных в способ производства). А важно как раз то, в чем человек отличается от животных — преобразование мира, осуществление того, что невозможно в природе само по себе, без разумного вмешательства. Только при наличии такого «проекта» (идеи) мироустройства подгонка материи, психики и общественных отношений перестает быть всего лишь натаскиванием, доведением до совершенства, — и становится предварительным этапом и условием духовного роста, рождением истории.

* * *

Некоторым туга дается школьная математика — и они отбиваются руками и ногами: дескать, это не имеет отношения к жизни... Но именно потому, что с математикой у них хуже, — она им нужна больше, чем

другим. Чтобы восполнить недостаточную универсальность, стать разумным существом. Разумеется, речь о математике — а не о школьном предмете с тем же названием.

* * *

Все родители как-то представляют себе своего ребенка до его рождения — и многие задумываются о его будущем. Это уже выход за пределы органического тела. Чем раньше люди начинают строить планы и создавать условия — тем дальше рождение личности отодвигается в прошлое; чем больше в обществе свободы — тем меньше будущего за горизонтом. Подбор тел для личности — вторичен; было бы для чего подбирать.

Можно строить дом стихийно, используя все, что попадется под руку, — а можно по проекту, подбирая необходимые материалы; опыт строительства направляет поиск новых возможностей. Так понемногу уходим от «точечной» застройки и дорастаем до строительства по генеральному плану, включая ландшафтный дизайн... А потом — пересоздание мира в целом. Универсальная личность.

* * *

Личность *формируется* в педагогическом процессе. Совершенно верно. Однако что такое «формируется»? Это значит — приобретает форму. И отнюдь не значит — рождается. А как личность может приобретать форму? Только путем проецирования на некоторое материальное тело (не обязательно тело биологической особи!).

Но как же тогда рождается личность? Очевидно, как совокупность социальных отношений, как идеальный образ, цель духовного производства. Это ее первичное содержание, которое, конечно же, обогащается в процессе формирования, воплощения личности. И тело личности, разумеется, не может в точности воспроизвести замысел, хотя бы потому, что материя не тождественна духу. А значит, то, какой получится личность в процессе своего формирования, отнюдь не совпадает с ожиданиями общества — и потому общество способно развиваться. Что же в основе этого развития? — Способ материального производства, воспроизведение объективного мира. Ибо именно в

зависимости от уровня материального производства тело личности тем или иным способом влияет на воплощающийся в нем дух.

Здесь глубокая аналогия с художественным творчеством. Сначала есть замысел, возникший из самой жизнедеятельности художника. Потом он воплощается, приобретает некую форму, специфическую для данного вида искусства. Но форма не всегда соответствует своему содержанию — и процесс поиска подходящих форм продолжается (иногда долго и мучительно). Но вдруг оказывается, что создатель уже не в состоянии что-либо изменить, улучшить, усовершенствовать духовный продукт, — и творец прекращает работу, даже если творение все еще не выражает задуманного. Идея освобождается от автора — и продолжает развиваться и обогащаться в опыте зрителей, слушателей, читателей. Точно так же и личность на каком-то этапе творит сама себя: чем раньше — тем лучше.

* * *

Человеческое тело от рождения стараются поставить в зависимость от других тел: одни тела сталкивают с другими — общение заменяют физическим контактом. Что удивительного, если при таком воспитании половая любовь начинает восприниматься как интимная близость — отношение тел, а не личностей? Дети и подростки не сами сбиваются в стайки — стайную жизнь навязывает общество. Избегающих компаний считают больными: детей записывают в аутисты, взрослых в шизоиды...

Развитие технологий позволяет избавить тела от непосредственных контактов; пока это трудно осуществить на начальном этапе (даже при искусственном вскармливании) — но принципиальных препятствий нет. Компьютерные технологии выводят коммуникацию и аффекты за рамки органики: общение в компьютерных сетях не дает ни малейшего намека на плоть кого-то на той стороне; в классовом мире этим пользуются мошенники и вредители — но по большому счету такая виртуальность предвещает универсализацию личных контактов, когда никто не обязан отождествлять себя с органическим телом (но, конечно, никому и не запрещено).

Детский аутизм — знамение времени, своего рода стихийный протест против классовой педагогики, загоняющей дух в узко телесные формы. Капризный ребенок бунтует против чего-то конкретного — аутист идет против системы, запрещающей людям строить их личные

миры. Традиционно аутизм лечат расширением круга контактов — что лишь усугубляет отторжение, и только по случайности, при встрече с действительно интересным человеком (то есть, с любовью), может вспыхнуть искра — к вящему удовольствию самовлюбленных медиков. Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный прием — вовлечение детей в виртуальные, сетевые контакты (например, сетевые игры или производственные проекты); именно здесь человек получает возможность общаться не с телами, а с другими людьми, — воображая их себе как угодно и не натыкаясь на грубые возражения косной материи. Экономической основой могло бы стать всемерное расширение возможностей самообслуживания — удовлетворения органических и прочие нужды без обязательность личных контактов; человек обращается напрямую к обществу (культуре) — и от него (а не от кого-то конкретно) получает средства к существованию и ответы на все вопросы.

В каком-то смысле, переход к максимально опосредованному общению — требование гигиены. Даже смотреть со стороны на иные тусовки — вызывает ощущение нечистоплотности; тем более мерзко становится изнутри. Участники таких сборищ накачивают себя чем придется, чтобы заглушить смутную тревогу; порноиндустрия возводит грязь в ранг дозволенного (и даже обязательного) удовольствия. Но еще важнее — духовная чистота, неподчинение диктату тел и неприятие групповых ролей, переход от этологии к человеческому поведению, совместному труду и общению. Животные сбиваются в стаи — им так проще и безопаснее; люди идут к личным, индивидуализированным связям — когда общение один на один представляет общение сразу со всеми, с человечеством, с разумом, с миром. Не отключать сознание химической и духовной наркотой — а освобождаться от телесности, чтобы уместно задействовать любые тела.

* * *

Половое размножение — как природный прототип (и предпосылка) взаимодействия многих людей при рождении личности. Невозможно личность выдумать, абстрактно скомпоновать из готовых блоков: здесь требуется возникновение новой иерархии общественных отношений (которую потом можно представлять природными телами и продуктами деятельности). Талантливый литератор создает яркий персонаж не на пустом месте: это воплощение уже сложившейся в обществе идеи —

вместо литературного произведения можно было бы сделать этот тип кем-то в плоти и крови.

Элементарная ячейка, строительный кирпичик, — возникновение опосредования связи двух субъектов: косвенная связь $S_1 \Rightarrow S_2$ переходит в опосредованную: $S_1 \rightarrow S \rightarrow S_2$ — где субъект S представляет идеальную связь исходных субъектов — и потому является субъектом другого уровня, предположительно более высокого. Отсюда расхожее мнение, что дети идут дальше своих родителей, продолжают их, осуществляют что-то неосуществленное. Однако, в силу обратимости любой иерархии, ее вершиной могут стать также S_1 или S_2 — и мы получаем еще одно ходовое представление: рождение отпрыска переводит родителей на следующий уровень их личностного развития. В общем случае, строят новую личность не двое, а многие (в пределе — все человечество); исторические обстоятельства развертывают иерархию в том или ином виде — и воплощение подбирается под одну из возможных структур.

* * *

Психология как наука о душе (то есть, об отношениях особи с себе подобными) допускает расширение на человеческие сообщества лишь в той мере, в которой сохраняется какое-то подобие. Именно поэтому развитие психологии личности неизменно сводится к поиску сходства и личностных черт — а педагогика подгоняет цели и методы под готовые представления о социально приемлемом. Поскольку же духовность есть главным образом универсальность, становление личности выражает, прежде всего, ее отличие от кого бы то ни было, и это отличие двоякого рода: с природной стороны — уникальность воплощения духа в каких-то тела (не обязательно органических); с общественной стороны — речь об уникальности места человека в культуре, о его безусловной необходимости для общечеловеческой истории. Психология не может говорить о личности как таковой — науке доступны лишь природные и общественные проявления, причем проекция личности на общество допускает психологические интерпретации лишь там, где общество недостаточно духовно — и опосредовано коллективностью субъекта (принадлежностью человека к одной из типовых групп, сведение личности к типовой функции). Точно так же, пока личность не стала непосредственным выражением общественного развития, воспитание всегда партийно: это воспроизведение профпригодности и групповых

ролей, а не воспроизведение разума. Бесклассовому обществу не нужны знания и амплуа как таковые — поэтому наука и педагогика могут существовать в нем лишь как способы развертывания рефлексии и социализации в текущем контексте, в качестве подготовительного этапа или уровня разумной деятельности.

* * *

С точки зрения классового человека, бесклассовая педагогика есть воспитание ненормальных: каждому предлагается строить свой личный мир, жить и действовать в нем без оглядки на мнения окружающих... Хитрость в том, что в классовом мире штампуют нормальных как раз для того, чтобы обнаружились ненормальности (например, как талант или классовая привилегированность) — тогда как общество без классов поступает наоборот: люди свободны быть разными для того, чтобы явственнее пропустило их единство.

* * *

Личность строит себя не из тел, а из их идеальностей — отношений между людьми в контексте конкретной деятельности. Как минимум, это означает, что надо в чем-то участвовать — и с кем-то общаться. С одной стороны — это как сборка индивидуальности и личности из кусочков других индивидуальностей и личностей; другая точка зрения: перенос части себя вовне, распределение субъекта по многим телам в их отношении к разным субъектам. Интеграция и дифференциация как обычные механизмы роста иерархий. Когда мир меняется так, что распределенное не удается связать — рождение новой личности, и поиск новой универсальности.

* * *

Творчество — поиск того, что мы еще не успели связать воедино; идея продукта — предпосылка предметной деятельности. Образование расширяет круг ориентиров, побуждает сопоставлять одно с другим; другая сторона того же — обобществление находок, повод быть вместе с кем-то еще — и тем самым придать найденному смысл.

КРИТИКА И РЕФЛЕКСИЯ

Воспроизведение разума — тема необъятная. Исчерпать ее так же невозможно, как остановить развитие природы и духа, сотворить мир полностью и окончательно. Какую бы картину ни нарисовать, к ней всегда можно добавить еще черточку; более того, именно завершенность одного этапа заставляет нас переходить к следующему. И оказывается, что давным-давно пройденное тоже не совсем завершено, потому что прежние свершения приходится переосмысливать, связывать с только что замеченным. Но пока нет точки — не будет и многоточия.

Чтобы любить — не обязательно писать книги о любви. Но нашей любви — и они не помеха. Искусства и науки по-разному прикасаются к одному и тому же; философия сводит частности воедино; самое же интересное там, где от собирательства пора переходить к делу, в чем-то менять мир.

Приступая к этому труду, мы ставили перед собой две технические задачи. Сначала сориентироваться на местности — и определить, куда идти не надо. Потом — думать, что дальше. Речь, конечно же, не о выборе направления: если что-то разумно — оно точно так же годится для творчества, как и прочие разумности. Разум не выбирает — он берет все. Однако в условиях конкретной исторической эпохи, по ходу развертывания индивидуальной истории каждого, ему приходится решать, к чему приступить прямо сейчас — а что оставить для более благоприятной обстановки, или для лучше подготовленных к этому друзей. Разумеется, все это — за рамками трактатов. Но если удалось использовать написанное, чтобы продвинуться хотя бы на шаг, — уже результат. Опять же, двоякого рода: не надоедать себе заведомыми ошибками — и зацепиться за действительно интересное, важное здесь и сейчас. Потом, глядишь, за ошибками обнаружатся зародышевые формы будущих интересов — а злоба дня потихоньку отойдет на второй план и станет шлаком более радужных перспектив.

Итак, есть тела, есть поселившийся на них дух — и есть принципы выращивания того и другого в процессе воспроизведения. Во всем этом накоплен богатый опыт исторических тупиков и столь же исторических задач. Смотреть можно с разных сторон; здесь мы всегда начинаем с деятельности как способа существования разума. Все прочие уровни мира в этом отношении отличаются от разума — но без них никакого разума нет, ибо тогда ему и отличаться было бы не от чего. То есть, предпосылка всякой деятельности — неразумная природа, которая, однако, в каких-то местах вполне может возникать при содействии разумных существ. Если этим ограничиться — разуму остается только разглядывать природу в полном восторге, что так здорово устроено. Следовательно, по сути, становиться частью природы, постепенно сливаешься с ней. Но нас это не устраивает. Мы полагаем, что главное в деятельности — изменение природы, переустройство мира на новых началах, созидание того, что без нас никакой природе не породить. Возникающая при этом «вторая природа» — культура — остается движением природных вещей в соответствии с их природой; но сами по себе эти вещи так двигаться не стали бы — и вот этот особый, неприродный характер движения мы и называем духом. Человек *одухотворяет* природу — и учится во всем (универсально) *воплощать* себя, превращать явления природы в факты культуры. При таком раскладе, разум никогда не может стать природой — но природа оказывается единственным возможным носителем духа, и потому может *становиться* разумной — быть формой его воспроизведения.

Буржуазная философия духа (а также вырастающие из нее наука и искусство) неизменно впадает в двоякое заблуждение: первым делом замечают природные предпосылки возникновения разума — и не видят существенного отличия человеческой деятельности от природных явлений, пытаются вывести разум из природы — или свести к ней; другая сторона — эмпирическое отношение к природе и, следовательно, к (отождествленному с ней) разуму — предположение, что ничего принципиально нового человек все равно не создаст, и остается только познавать с сотворенное давно и без нас, приспосабливаться к миру вещей и к собственной природе. Такую идейную позицию мы здесь называем эмпирионатурализмом. Различные аспекты этого подхода к проблемам воспроизведения материального носителя (возможных воплощений) разума, способам духовного производства, уровням духовной свободы (труд, любовь, творчество) мы в какой-то мере затрагивали. Пришло

время свести разрозненные заметки воедино и дать (заведомо неполный) перечень не устраивающих нас черт классового самосознания на данный момент, в эпоху перехода от XX к XXI веку. Что-то из этого характерно и для предыдущих эпох; что-то изменится в будущем. Исходя из наших представлений об истории, мы предполагаем, что эмпирионатурализм есть типичная черта рефлексии в классовом обществе — и его следы сохранятся всюду, где еще возможна эксплуатация человека человеком.

1. Ошибочное (а зачастую и намеренное) смещение разных уровней движения и попытки свести одно к другому. Механистические воззрения бытуют среди ученых, возводящих все разнообразие мира к нескольким фундаментальным частицам (взаимодействиям); даже если формально это сделать не удается — возможность молчаливо предполагается. Другая сторона того же самого — «антропный принцип», подгонка природных законов под наличные формы существования человечества. Точно так же, жизнь считают лишь способом существования белковых тел — следствием очень навороченной органической химии; нелепость этого воззрения становится все более очевидной на фоне стремительного продвижения к созданию искусственной жизни на базе неорганических форм. В том же русле, человека считают всего лишь животным — при том что сами адепты этой идеи указывают многочисленные особенности человеческого поведения, не имеющие аналогов в животном мире. Типично также сведение психики к физиологии (или нейрофизиологии), после чего человеческую психику объявляют лишь «высшей нервной деятельностью», ничем принципиально не отличающейся от психики животных. Само по себе подобное теоретизирование могло бы сойти за игру, мысленный эксперимент, (не самую продуктивную) эвристiku... Однако категориальную путаницу буржуазная пропаганда широко использует (и усиленно насаждает) для оправдания уродств рыночной экономики и классового насилия; так эмпирионатурализм становится руководством к действию, идеологией экономического и общественного неравенства.

2. Догматизм, стремление изобретать и предписывать природе и обществу якобы «естественные» принципы, установленные раз и навсегда, не подлежащие ни сомнению, ни (тем более) пересмотру. Поскольку же человек объявлен частью природы — эти законы преподносят как «общечеловеческие» — единственно возможные, так

что всякое отклонение от них осуждается как «безнравственное», «антигуманное», или даже преступное. В академических кругах догмы выдают за «научность» — и требуют неукоснительно придерживаться уставных форм. В быту ссылаются на «общепринятые» нормы, ходячую мораль, выдаваемую за «народную мудрость». Традицию объявляют критерием истинности: что уже устоялось и существует веками — просто не может быть неверным! Примеры научных (и социальных) революций ничего не значат: они касаются лишь частных наук, никак не затрагивая «общечеловеческое» («априорное»). В частности, вечными объявляют и религиозные «истины», и «естественное» стремление поживиться за счет других.

3. Логическая эклектика, сочетание эмпиризма и догматики. Если что-то есть — оно и должно быть; если что-то считается правильным — все на свете следует трактовать только так. Этот логический круг, по сути, вообще не нуждается в логике: любые вопросы решаются указом сверху, а узаконенные формы бытия (по определению) считаются «естественными». Соответствие (или несоответствие) начальственным предписаниям (или, если угодно, «общественному договору» — или фундаментальным «аксиомам») можно установить, пользуясь набором априорно (то есть сверху) установленных («естественных») правил, которые законопослушные граждане называют логикой. Никакой диалектики (сомневаться и обсуждать не полагается!) — все вопросы решаются однозначно, «да» или «нет», — на все времена. Экзотики ради допускается изобретать «неклассические» и «альтернативные» логики; но это лишь иллюзия свободы — поскольку новшества затрагивают только форму теории, а устанавливать ее правильность придется по тем же априорным правилам. Поскольку решение в любом случае должно быть однозначным, неизбежно вылезающие в любой формальной системе противоречия заметают под ковер, тщательно маскируют намеренно громоздкими формализациями, — или выносят за скобки, считают самые важные вопросы некорректно поставленными и в «строгой» науке неприемлемыми.

4. Законы природы (и логики) ве́чны и неизменны; речь может идти лишь о степени нашего ознакомления с ними. А раз все уровни движения в одной куче — можно смело переносить формальные построения из одной предметной области в другую, произвольно, не заморачиваясь

никакими обоснованиями; крайнее выражение этого метафорического мышления — математизация как способ придания научности: если мы закодировали смутные представления символами некоего алфавита — это уже не произвол, а строгая теория, спорить с которой — себе дороже. Пока старые экономисты копошились в «политической экономии» — новые изобрели науку эконометрику, и решение любых общественных проблем сводится теперь к интегро-дифференциальным уравнениям, многомерной нелинейной регрессии и анализу временных рядов... Математическая психология — наука будущего; все остальное — лишь интуитивные практики. Математическая лингвистика — это вам не какая-нибудь фривольная филология! Статистика генома — точный критерий родства и решающий голос в вопросах происхождения человека разумного. Нечто подобное в конце XIX века наблюдалось в художественной литературе: романы (особенно исторические) выдавали за объективное научное исследование... Наука с негодованием отвергла эти притязания — но сама превратилась в беллетристику, бесконечный сериал: вычисляйте и не задавайте вопросов. В наши дни, методы нелинейной динамики уже пробили брешь в безмятежно эволюционной картине: допускаются резкие структурные перестройки, качественные скачки, «эмерджентные» свойства... Однако все это на фоне вечных и неизменных законов природы, в которые по неизвестной причине закрались коварные нелинейности (то ли бог намудрил — то ли черт попутал). Когда-то напуганные Парижской коммуной (а потом и русской революцией) интеллигенты исповедовали вечный реформизм, клеймили нехорошими словами бунтарей, готовых сломать что-то до основания. Сейчас те же интеллигенты заявляют о благотворности экономических и социальных кризисов — при условии сохранения «общечеловеческих» (рыночных) принципов общественной организации. То есть, революции надо сделать орудием борьбы с посягающими на устои — с неугодными теоретиками, политиками и режимами. Аналогично, удобнее узаконить нетрадиционные формы семьи — не допуская при этом отказа от семейственности как таковой, отхода от «вечных» законов рождения и смерти.

5. В том, что касается экономики и общественного устройства в целом, «естественные» принципы неизменно выводят из биологических закономерностей, которые зачастую представляют собой переведенные на биологический жаргон зарисовки из общественной жизни. Это

облегчается и тем, что данные наблюдения за животными до сих пор интерпретируют в антропоморфных (гуманитарных) терминах; этология подспудно превращается в этнографию. Точно так же, об «отсталых» племенах и доисторических народах рассуждают заведомо классовым языком, в современных понятиях, — так что полевые исследования превращаются в сплошной артефакт. Даже в теоретической физике подобный антропоморфизм не всегда безобиден; в гуманитарных трудах он почти всегда с пропагандистским душком. В итоге сколь угодно реакционную политику всегда можно оправдать ссылками на «твердо установленные» математические, физические и биологические законы.

6. Экономику сводят к удовлетворению примитивно-биологических потребностей. Любые движения духа — лишь надстройка над велениями плоти, излишества, ставшие возможными на каком-то уровне развития технологий. Глубинными мотивами всякого производства по-прежнему остаются «базовые» органические потребности (пища, безопасность, размножение) — и корни любых социальных и личностных проблем якобы можно проследить вплоть до банальной физиологии. Этот вульгарный материализм абсолютно внеисторичен: биология вида не меняется десятки тысяч лет — и любые усовершенствования допустимо трактовать как видовое поведение.

7. Рыночное хозяйство априорно объявляют в наибольшей степени соответствующим «природе человека». История экономики и культуры представляется таким образом как процесс перехода к совершенному общественному устройству, гармонично сочетающему интересы разных классов, — а отказ от классовой иерархии как таковой равносителен полному уничтожению биологического вида, к которому вульгарные биологизаторы хотели бы приравнять человека. Борьба властей с бунтовщиками, с этой точки зрения, жизненно важна для выживания человечества — и в высшей степени благородна!

8. Как общество в целом, так и любые общественные институты — продолжение (генетически обусловленного) видового поведения. Для индивида на первый план выходят чисто физиологические позывы (удовлетворению которых якобы служит любая экономика); для вида в целом биологически важно репродуктивное поведение, обеспечение фертильности и плодовитости — при том, что избыток населения легко

устраним «этологическими» механизмами регулирования: уничтожение «излишков» продуктов, территориальная экспансия, войны и т. д.

9. Особую ветвь эмпирионатурализма представляют разного рода «социалистические» и «коммунистические» учения; их отличия от буржуазных партий почти незаметны — у всех одинаковые лозунги: свобода, равенство, братство, демократия, социальная справедливость, порядок и процветание... Тем не менее, (теперь уже бывшие) соцстраны муссируют миф о принципиальном отличии от капитализма и якобы социальной направленности их экономики. Предъявить хотя бы один пример так никто и не сумел. Поначалу, возможно, какие-то меры советской власти, направленные на решение сугубо буржуазных, общедемократических задач, становились прорывом в будущее — однако в конце XX века капиталистические сверхдержавы ушли далеко вперед по сравнению с робкими попытками «реального» социализма, и буржуазная пропаганда, по сути, соблазняла совка как раз тем, что советы обещали сделать — но так и не собрались. На закате «коммунистической» системы программные установки уже почти не правящих партий вели даже не в сегодняшний день капитализма, а в его далекое прошлое.

В теоретическом плане — без существенных отличий. Тот же голый эмпиризм, огульное биологизаторство (иногда впадающее в вульгарный физикализм). Общественную жизнь человека сводят к условным рефлексам — и гордятся, что застрельщиками в этом были российские физиологи. Пожалуй, единственная характерная черта официального «марксизма» — идеализация первобытного общества, в котором не было классов — и потому (следуя вульгарной диалектике) классов не должно быть при «полном» коммунизме. Что это означает на практике, так никто и не объяснил — ни про первобытность, ни про коммунизм. Учитывая, что отношения обмена (и, следовательно, собственности) считаются вечными, частью человеческой природы, — а могут меняться только формы собственности, — пустые декларации доверия не вызывают. Тем более, что выводы косящих под марксизм буржуазных интеллигентов, в точности воспроизводят неоднократно писанное и слышанное на диком (но симпатичном) Западе.

10. Господство буржуазного индивидуализма — механистического представления о том, что человеческое общество чисто формально

составлено из отдельных «личностей» (по-гречески: «атом»; по-латыни: «индивид»). Эти единичности взаимодействуют чисто внешним образом и отождествляются с особями биологического вида, между которыми устанавливаются обычные внутривидовые отношения, генетически и этологически обусловленные. Склейивание индивидов в общество якобы укрепляет адаптивность вида в целом — и происходит посредством выработки условных рефлексов. Иногда сюда же припугивают якобы встроенный в организм человека «общественный инстинкт»; серьезных обоснований этой идеи не существует — и она остается абстрактной метафорой, инструментом пропаганды (и выбивания фондов).

11. Сообщества людей ничем не отличаются от животных или растительных сообществ (которые считаются предшественниками и «предпосылками» общества). Тогда существование разных культур подобно биоценозу — но с распадом колониальной системы всех стали считать близкими родственниками; более ранние (или экстремистские) теории допускают генетическую ущербность недоразвитых этносов. Отношения между народами (или рыночными группировками) — аналог биологической конкуренции; предпочтительность и принадлежность социальным и экономическим группам в конечном счете врождена и связана с биологией размножения.

12. Первичное биологическое отношение — семья; главное в ней — продолжение рода. Репродуктивное поведение животных описывают в терминах семейных отношений — а потом из этой вульгаризации выводят обычательскую мораль и нормы семейного права.

13. Экономическое господство Европы и США навязывает миру их идеологические стереотипы. В частности, провозглашают безусловную «естественность» моногамии с точки зрения «продолжения рода» — тесно увязывая это с отношениями собственности и механизмами ее наследования.

14. Ребенок принадлежит семье: его личность и гражданские права урезаны по формально-возрастному признаку, что якобы отражает его природную незрелость и, следовательно, личностную и общественную неполноценность. Ребенок поставлен в экономическую и социальную зависимость от родителей и опекунов. Эта зависимость якобы оправдана

«естественностью» родительской любви и ответной любви детей к родителям (и прочим родственникам).

15. Полноценная социализация возможна только в семье. Общее образование лишь дополняет семью — накладывает ограничения на «естественное» развитие личности (как представителя рода, наследника) в связи с необходимостью воспроизводить еще и общественные структуры; обязательность школы — нечто вроде косвенного налога на граждан, чьи дети должны будут играть предписанные законом роли. Однако становление личности — начинается в семье и все прочие связи имеют общественный смысл только в качестве условия для образования новых семей. Семья против общества: общественному производству противостоит семейное потребление, и вся экономика, по большому счету, подчинена семье как биологической основе выживания.

16. Рождение детей — «естественная» и единственная функция женщины, ее общественный долг. Поскольку дети «биологически» связаны с матерью, ей предстоит также ухаживать за ними — а заодно и обслуживать самца, чтобы сохранить семью в качестве главной ячейки социализации. У женщины не может быть никаких иных интересов — и ее участие в общественном производстве ограничивается вопросами деторождения и семейного быта, выводит часть внутрисемейных дел вовне в форме специфически женской кооперации.

17. Человек участвует в жизни общества лишь в интересах семьи; личность экономически проявляет себя лишь поскольку необходимо выстраивать семейный быт и растить детей. Уважаемый гражданин — неизменно блюдет традиции, соответствует общественным (то есть, видовым) ожиданиям. Такое поведение называется нравственным. Если он этого не делает — он аморален, и общество вправе ограничить его дееспособность, наложить экономические санкции. Иногда отклонения от «естественной» морали экономически выгодны — однако безумства всяческих гениев трактуют как физиологические извращения или психические отклонения, которые общество соглашается терпеть до определенного предела — но решительно не одобряет.

18. Покушение на жизнь и здоровье граждан своей группировки считается противоестественным — и оно уголовно наказуемо. Тела

людей используются в интересах выживания сообщества, и человек не вправе самостоятельно распоряжаться своим телом — и тем более избавляться от него. Из этих же соображений общество борется с «чрезмерными» пристрастиями (наркотики, разврат, пьянство и т. д.). Это всего лишь забота о качестве биологического материала.

19. Любые отношения между людьми оправданы лишь в силу привязки к физиологии размножения. Обществу не нужна любовь просто так — но только в качестве мотива для создания семьи. Дружба не связана с репродуктивным поведением, и даже иногда отвлекает от него; поэтому дружбу расценивают как аномалию, подростковую болезнь, переходный этап к нормальной половой жизни в семье.

20. Поскольку человек есть животное, у него не может быть никаких духовных интересов — его дело питаться и размножаться. Отсюда двоякое отношение эмпирионатурализма к религии: на публику — отрицание и осуждение «излишней» религиозности (и религиозного аскетизма); с другой стороны, религия помогает удерживать массы в повиновении — и тем самым биологически оправданна, способствует выживанию вида. Религия в качестве оздоровительной практики — народу (точнее, его хозяевам) полезна. Ориентация религий на семейные ценности также на руку властям. Поэтому в большинстве случаев, несмотря на формальную противоположность, эмпирионатурализм и религия превосходно уживаются и помогают друг другу.

В последние годы успехи медицины и кибернетики многое меняют. Физиология человека допускает активное вмешательство: контроль над рождаемостью, искусственное оплодотворение (в том числе материалом от анонимных доноров), суррогатное материнство, нетрадиционные половые предпочтения, экзотические формы сожительства, смена пола, искусственные органы и стимуляторы, дистанционно управляемые биотоками манипуляторы и экзоскелет, вживление чипов и даже компьютерных интерфейсов... Влияние компьютерных сетей на новые поколения намного превосходит воспитательные возможности семьи и школы. Борьба за свободу абортов и эвтаназию во многих странах увенчалась внесением поправок в действующее законодательство. Традиционные формулировки эмпирионатурализма сегодня приходится смягчать, адаптировать к реалиям общественного бытия (что само по

себе ставит под вопрос уместность сведения человека и его деятельности к физиологическим направлениям).

Одно из направлений — регламентация полового поведения. Теперь уже трудно обуславливать секс нуждами производства биологических тел — а нетрадиционные семьи, далекие от вопросов деторождения и семейного воспитания, кое-где вполне легальны. Тем самым тесно связанные в сознании эмпирионатуралиста половая жизнь, семейный быт и воспитание детей — уже никак не соотносятся друг с другом и свести общество к биологии практически нереально. Даже отношение матери к детям — не столь прозрачно: дети суррогатных матерей и приемные дети биологически не связаны с матерью по закону — но правовые нормы моногамной семьи распространяются и на них. Все очевиднее, что органические тела — лишь инструмент, которым пользуются многие. Например, капитал империалистических держав поддерживает оппозицию в неугодных им государствах, устраивая антиправительственные выступления под видом борьбы за права сексменьшинств.

Но одним из очевидных свидетельств существенно неприродного характера человеческого сознания служит фантастическая способность лелеять предрассудки и упрямо повторять очевидные нелепости — наперекор всему! Начало XXI века ни на йоту не сдвинуло упретых теоретиков с давно облюбованных позиций. Современные писатели говорят то же самое, почти теми же словами, что и запыленные (или оцифрованные) фолианты двухсотлетней давности. Те же проблемы, те же решения. Почему так? Видимо потому, что нечего предложить взамен. Обругать и выкинуть на помойку — это не метод. Если на пустое место ничего не поставить — туда потихоньку затечет что-нибудь помоечное. Если вам не нравится теория — предложите другую. Если раздражает поповщина — дайте массам что-то взамен. Если балерина танцует плохо — выходите на сцену и покажите как надо!

К сожалению, масштабных мыслителей (уровня Гегеля или Карла Маркса) наша эпоха не произвела. Современной философии духа как не было — так и нет. И сегодняшним сочинителям деваться некуда: мусолить в который раз огрызки былых пиршеств, разбавленные мутной водичкой биржевых спекуляций. Скудное меню.

Но мы против эмпирионатурализма — и нам вовсе не хочется, чтобы ему на смену пришло нечто еще более мерзостное. Поэтому от критики надо переходить к рефлексии, от рефлексии — к действию. Пусть наша

самодеятельность не потянет за собой массовое сознание — давайте хотя бы будем честны наедине с собой. Если мы в чем-то убеждены — мы не скрываем убеждений; если мы любим — мы не стыдимся любви. А не хватит сил выстоять под напором воинствующей дикости — признание в телесной слабости не умаляет силы духа. Хотя, конечно, не следовало бы духу быть сильным — у него другие задачи...

Итак, рефлексия. В развитых (аналитических) формах — это искусство, наука, философия. Не только уровни — но и стороны целого. Каждая — дополняет и оттеняет другие; у каждой свой путь. Про философию тела, духа и культурности — в какой-то мере уже сказано. Но почему не быть искусству жизни, искусству любви, искусству воспитания? То же самое о науке. Если не по отдельности — а все вместе, как разные способы делать одно и то же.

Ни в какой трактат все это не поместится. Однако с чего-то надо начинать. Конспект общих принципов (эстетика, логика и этика), подборка предварительных соображений. Пусть оно пока будет в зачаточном состоянии, вперемешку, — как возможность за что-то уцепиться, — вроде кочки на болоте. Но ни в коем случае не следование традиции — и не противостояние ей. Не принимать или отвергать — а делать по-своему, предлагать и пробовать. Судить не о том, что есть или чего нет, — а о том, чего хотелось бы, что возможно, и чем следовало бы заняться. Возможно, это на кого-то похоже — но нам-то что? Наш подход принципиально отличается от эмпиризма: нам не надо «позитивного» знания — нам важно наметить позитивное (определенное и деятельное) отношение. То есть, уравновесить изучение и критику собственным творчеством — а значит, где-то и подставиться, и критиковать самих себя. Лишь на этой основе эмпирия становится осмысленной. По нашему глубокому убеждению, только активное, страстное отношение к миру и к себе может называться разумным.

Поэтому первый (и главный) принцип — *быть людьми*, а не животными или вещами. Всегда, во всех отношениях. Хотя бы в той мере, насколько это возможно. Значит, и относиться к людям (а также плодам их труда) надо по-человечески, в первую очередь замечая в них разумное, и только на этом фоне — природную ограниченность, которая стесняет разум — но никоим образом не умаляет его. Точно так же, надо искать человека в себе — не потакать рецидивам животности. Это вопрос прежде всего практический: в любом деле важно замечать, что в нем разумного — а что от вынужденного следования порядку вещей. И

тогда — искать пути к вытеснению дикой природы, к установлению новых, неприродных связей. В том числе, обустраивать наше бытия и перестраивать деятельность на разумных началах — не останавливаться на достигнутом.

Тем самым — как в практике, так и в рефлексии, — мы признаем *особое место человека* (как носителя разума) в иерархии мира в целом. Иначе просто не о чем говорить и задумываться. Да, мир един, и все в нем взаимосвязано. Но живое в каких-то отношениях отличается от неживого, а разумное — от неразумного. Возможно, кому-то не хочется быть разумным. Но если мы решаем оставаться людьми — мы обязаны подчеркнуть свое отличие от животных и неодушевленных вещей — и всячески его культивировать. В том числе, поддерживая сознание этого факта — и основанное на нем самосознание. Считать себя животным — это животность. Человек не часть природы — он существо изначально противоестественное, — он становится и остается человеком лишь там, где (и в какой мере) он утрачивает природность.

Другая сторона того же — *одухотворение мира* человеком. Нет в мире красоты и гармонии самих по себе; нет никаких «априорных» законов; нет ни в чем ни значения, ни смысла. Все это привносит в мир человек, разум. Поэтому надо не умиляться каждой твари, не пытаться сберечь все до последней молекулы, — а целенаправленно менять мир, выдавливать из него дикость, окультуривать. Это относится и к плодам труда, которые становятся объектом другой деятельности — и в этом качестве утрачивают характер продукта, перестают быть воплощением духа; естественный процесс — это уже не деятельность, не творчество. Лишь созданное человеком (поскольку он действует как человек, разумное существо) прекрасно, логично и совершенно. Если пока не получается — значит, мы недостаточно разумны.

Отсюда следующий принцип: *историзм*. Нет ничего вечного и неизменного — ни в природе, ни в человеке. Нельзя судить о другой эпохе или о другой стране с позиций нашей сегодняшней культуры. Нам важно прежде всего, чем мы различаемся, — и мы выстраиваем эти различия в различные исторические линии, упорядочиваем логически и хронологически, чтобы понять, как и куда двигаться дальше. У мира самого по себе — нет истории. Мы делаем историю, связывая события прошлого и планируя будущее. Сами понятия прошлого и будущего — только для человека, разумного существа, которое не просто существует в мире, но и целенаправленно перестраивает мир. Именно поэтому

человек может свободно переходить от одной исторической линии к другой, по-разному представлять движение (и развитие) мира. Не он во времени — время в нем.

Поскольку мы сами творим свою историю — мы *свободны*. В зависимости от того, чем мы заняты в данный момент, — мы по-разному относимся к миру, и мы можем переходить от одного представления к другому. Но природные изменения — либо случайны, либо диктуются необходимостью; человек изменяет мир целенаправленно, намеренно, тем самым воздействуя и на свои намерения. Это не произвол — иначе человек не отличался бы от вещей, которым безразлично, что было раньше и что произойдет в следующий момент; это и не следование внутренним побуждениям — ибо тогда мы оставались бы всего лишь животными. Способность соединять случайность и необходимость, превращать одно в другое, мы и называем свободой. Где нет свободы — там нет и разума.

Обратная сторона свободы — *универсальность*. Нет в мире ничего, что человек не сумел бы включить в деятельность, сделать частью природы и носителем духа. Не бывает раз и навсегда установленных различий: любые стороны мира связаны в человеческой деятельности, между ними всегда найдутся переходные звенья. Универсальная связь всего со всем, преодолимость любых барьеров, — чисто человеческая черта, отличающая разум от живой и неживой природы. Это одно из основных определений духа.

Универсальность подразумевает независимость человеческого духа от материального носителя (тел и вещей), *возможность различных воплощений*. Ни одно из природных тел (и никакая их совокупность) не может стать исключительным носителем разума — который свободен как менять природные формы, так и предпочитать одни другим в определенных исторических условиях. В частности, никакое живое существо (особь) не может само по себе считаться разумным — оно лишь участвует в совокупном движении многих тел, играющем роль субъекта определенной деятельности; в другой деятельности тот же субъект может быть представлен как-то иначе. Поэтому движение духа (разумная деятельность) принципиально несводимо к физиологии или физико-химическим процессам — наоборот, строение деятельности выстраивает природные явления особым, неприродным образом — что и называется духом. Не человеческую деятельность выводить из законов природы — а выяснить, откуда в природе именно эти законы, что именно

в нашей деятельности заставляет природу вести себя так, а не иначе. Это разумный подход к разуму. Например, эволюцию биологических «предков» человека можно описывать как естественный процесс — но биологические виды никак не соотносятся с отличительными чертами человека разумного — и ни о каком «родстве» приматов с людьми и речи быть не может. Лишь учитывая неприродный характер человеческой деятельности и сопоставляя вызванные ею органические особенности со спонтанным поведением животных, мы можем усмотреть в этом поведении прототип деятельности, выяснить, какие именно организмы способны такое поведение поддерживать, — и на этой основе, при необходимости, создавать новые типы носителей разума.

Органические тела сами по себе не могут быть разумными — чтобы такое тело обеспечивало развертывание человеческой деятельности, его надо поместить в особую (культурную) среду, окружить вещами и другими организмами, связанными между собой таким образом, чтобы физиологические процессы лишь опосредовали переход от одного состояния среды к другому, изменяли способы связи. Эта уникальная совокупность вещей и отношений между вещами и людьми называется *неорганическим* (или *культурным*) *телом* человека. Именно оно, а не его биологические компоненты, соотносится с единичным субъектом (духом). Чем обширнее эта культурная основа — тем свободнее человек, тем универсальнее его деятельность. Вообще говоря — в каких-то обращениях иерархии, — культурное тело может вообще не содержать органических компонент — либо по-разному сочетать многочисленные биологические тела.

Деятельность человека меняет мир, порождает вещи и организмы; это *материальное производство*. Но деятельность меняет и культурные тела как особую связь, способ существования природных вещей — и в этом отношении она становится *духовным производством*. Например, рождение ребенка в материальном аспекте лишь создает вещь (живой организм); чтобы эта вещь стала человеком, надо построить и ее культурное тело, организовать культуру в целом определенным образом, «в каком-то духе». Производство вещей и культурных тел не обязаны совпадать во времени и в пространстве — связь материального и духовного производства бывает очень опосредованной. В частности, человек как субъект, единичный дух может родиться до появления подходящего органического тела — и может продолжаться после биологической смерти. Поэтому в принципе возможен сознательный

выбор собственных воплощений; разумеется, для этого необходим достаточно высокий уровень развития культуры — точно так же, как не всякий организм отвечает универсальному характеру деятельности.

Универсальность разума подразумевает и единство духа; каждое воплощение духа представляет это единство в конкретно-исторической форме, которую мы называем *обществом*. Разные типы общественного устройства показывают духовность человека с разных сторон — однако только присутствие этой общности позволяет превратить единичные акты преобразования мира в сознательную деятельность. Возникновение сознания есть непосредственно и возникновение общества — особой, неприродной связи природных тел. Общество не сводится к физическим и биологическим взаимодействиям: изучение материальных следов само по себе ничего не говорит о строении общества; наоборот, осознание общественного единства позволяет интерпретировать объективные данные (которые и становятся таковыми лишь при наличии каких-то общественных форм).

В силу универсальности разума (субъекта), каждый человек в каком-то отношении принимает участие в любой деятельности — и значит, деятельность каждого общественно опосредована. Всякое производство (материальное или духовное) является таким образом *общественным* производством — воспроизведением культуры в целом. В частности, саморазвитие каждого требует широчайшего приобщения к культуре, без каких-либо ограничений.

Единичный субъект в отношении к обществу в целом есть *личность*. Личность представлена некоторым культурным телом; это предполагает его особую организацию, *индивидуальность*. Воспроизведение разума связано, таким образом, с порождением и развитием индивидуальности и личности. При этом личность не противостоит обществу — это одно и то же, взятое с разных сторон. Личность есть единичное выражение культуры в целом — и поэтому в разумном обществе нет ничего, что было бы кому-то недоступно. Такая всеобщность личности — одно из выражений свободы.

Свобода личности есть прежде всего способность преобразовывать мир и себя — *творчество*. Материальное или духовное производство как творчество, расширенное воспроизведение мира, называется *трудом*. Простого участия в производстве (то есть, работы) личности недостаточно — ей важно сделать каждую деятельность актом самовыражения, одухотворения мира. Универсальность деятельности

проявляется также в творческом характере сопутствующего всякому труду общения; свобода совместности в труде — основной механизм развития личности, *любовь*.

Исходя из этих общих принципов (понятых как единство эстетики, логики и этики), мы можем предлагать частные решения, практические ориентиры. Далеко не все возможно внедрить в классовом обществе — и что-то приходится относить к отдаленному будущему. Это не значит, что следовать таким принципам сегодня нельзя; напротив, желательно использовать каждую возможность разумно выстроить жизнь. На то и разум, чтобы искать лазейки в неразумности, оставаться людьми в нечеловеческих условиях. Однако не учитывать экономических реалий и культурных ограничений было бы глупо — и приходится встраивать будущее в пережитки прошлого. До тех пор пока такие, классово ограниченные формы не выдают за всеобщие и вечные — их внешнее уродство не мешает исподволь, шаг за шагом готовить предпосылки революционного переустройства общества, устраниния неразумностей цивилизации. Придет время и для свободного, открытого следования убеждениям — не против кого-то, а в единстве со всеми. Отсюда главная особенность тактики: неизменно соединять экономическое мышление и духовность, к любому вопросу подходить с взаимно дополнительных сторон. Никакие экономические преобразования не имеют смысла сами по себе — важно знать, для чего мы трудимся. Но и вопросы духовности нельзя оторвать от возможностей воплощения на каждом историческом этапе, в конкретной культуре; поэтому на первый план всегда выходит то, что мы собираемся строить в ближайшей перспективе. А значит, стратегические установки прежде всего приходится формулировать отрицательным образом, в русле текущих задач.

Первый пункт стратегии — ликвидация капиталистического способа производства, вместе со встроенными в него пережитками прежних формаций. Как называть новое общество — не столь важно. Главное, чтобы общественное производство исходило из потребностей людей, а не из абстрактной возможности что-либо произвести и потребить. Доклассовый человек производил ради удовлетворения насущных нужд — классовая экономика допускает производство ради производства. На новом уровне, мы возвращаемся к индивидуальным потребностям — но эти потребности теперь включают и духовные компоненты, необходимость саморазвития. Мы можем трудиться из

любви к процессу, не имея в виду чьи-то конкретные интересы (включая наши собственные); однако это производство при этом уже не будет бессмысленным — поскольку свободное движение разума всегда для чего-то нужно свободному человечеству. Всякое производство в этих условиях есть непосредственно и потребление — и наоборот, не бывает непроизводительного потребления.

Наша задача — освободить человека, дать ему возможность творить, трудиться и любить. Никакие ограничения творчества (даже в форме самоограничения) недопустимы — они всегда неразумны. Доступ к средствам производства, возможности потребления — общее достояние всех, и никаких различий быть не может. Это не зависит от особенностей воплощения — от различий материала и способов его организации. Если какие-то способы действия вообще возможны — они возможны для всех, и устранение временной недоступности есть главнейшая задача общества в целом. Следовательно, в обществе свободы не может быть никакой собственности — и невозможно производство для обмена. Все произведенное непосредственно доступно всем. Соответственно, не требуется ничего распределять: всякое распределение уже предполагает отчужденный продукт — ограничение свободы. Другая сторона того же самого — невозможность разделения труда, исключительного права заниматься той или иной деятельностью. Человек свободен творить в любой области; поскольку он делает это разумно — никто никому не может препятствовать или помешать.

Отсюда еще один тактический принцип: поддерживать все, что способствует расширению человеческой свободы. Выступать как против принуждения, так и против произвола; это две стороны одного и того же.

Продолжение принципа свободы — стремление к единству. Всегда и во всем, разумная деятельность есть непосредственно сотрудничество всех — и всеобщая любовь. Каждый поступок — выражение единой воли человечества (или разума в иных формах, разума вообще). Любое материальное изменение предполагает участие определенных тел — но человек не сводится ни к одному телу, он свободен использовать любые тела. В каждой личности представлены и все остальные. Поэтому никакое внешнее (формальное) объединение не выражает сущности человека — и может быть лишь времененным явлением, средством достижения разумной (то есть, всеобщей) цели.

Одна личность не может быть противопоставлена другой — они тождественны, поскольку они выражают разумность вообще с разных

сторон. Собственно, человек становится личностью, когда он вызывает отклик в других, рождая совместное действие. Если что-то этому препятствует — оно неразумно, и надо изменять мир. Равнодушие — нечеловеческое отношение между людьми. Это не значит, что надо безоговорочно принимать других как они есть, — нужен активный интерес: приближать близкое и отстраняться от далекого. Мы любим всех — но не абстрактно, а лишь поскольку наше общение может быть разумным. Разумеется, это касается не только любви, но и труда. Разумного человека не обидит вежливый отказ (и даже не очень вежливый — если обходительность неуместна); оскорбительно — когда терпят из вежливости. Точно так же, необходимость превращает труд в работу — уничтожает свободу и угнетает разум. Браться лишь за то, что отвечает призванию — и уходить от того, что уже не удовлетворяет. Только такое поведение будет нравственным. Тактика перерастает в стратегию: постепенное расширение свободы устраниет возможность несвободы.

Для разумного человека эстетика, логика и этика — разные стороны одного и того же; одно не противоречит другому — только взаимная поддержка. Целостность поведения — фундаментальная черта характера личности будущего. Правильное — прекрасно и нравственно; уродство и нелогичность — безнравственны; все, что отвечает общественной или внутренней потребности — прекрасно и логично. Поэтому различие между уровнями рефлексии — условно и несущественно; в частности, искусство, наука и философия никоим образом не изолированы друг от друга, они заимствуют и развиваются любые методы, не замыкаясь в чем-то одном; более того, такая закостенелость формы говорит о недостатке универсальности, недоразвитости, неразумности. Плох ученый, который умеет мыслить только формулами; никуда не годится поэт, неспособный точно рассчитать эффект. Освобождение от догматических форм — стратегия развития рефлексии.

Рефлексивная полнота и целостность — снимают различие между материальным и духовным производством: мы создаем вещи как воплощения идей, а идеи — как прообразы вещей. Поэтому подходы к любым производствам оказываются одинаковыми — и невозможно регулировать экономику и рефлексию, руководствуясь абстрактными схемами, безотносительно к происходящему в других отраслях. Отчасти это уже так и в классовом обществе, где право и религия проис текают из общего источника — и сохраняют формальное соответствие друг другу;

однако речь о том, чтобы разные регуляторные системы даже не нужно было приводить в соответствие: они изначально выражают одно и то же, в разных контекстах. Это другая сторона устраниния разделения труда. Универсальность технологий приводит к единству образования: так, обучаясь чему-то одному, мы тем самым приобретаем способность трудиться и в других производствах; воспитывая культурный навык — мы приобщаемся к культуре в целом.

Поскольку благоустроенного мира нам пока никто не предложил, следовать стратегическим принципам придется лишь частичным и ограниченным образом, придавая особый оттенок классовым формам деятельности. Даже простое переосмысление действия, осознание его духовной содержательности — это уже кое-что. Творческое отношение к труду отражается на манере производства и общения — и можно выходить на новый виток духовности, увлекая окружающих и себя. Однако там, где способ производства не позволяет действовать разумно, разумность состоит в том, чтобы искать способы изменения природы, которые заставили бы людей иначе выстроить материальное, а затем и духовное производство — и снять прежние ограничения. Даже маленький шаг может приблизить к большой цели.

Рыночная стихия никогда не позволит преобразовывать мир по заранее обдуманному плану — ее идеологическая функция как раз в том и состоит, чтобы расстраивать неудобные для властей планы, предотвращать посягательства на общественный строй. Однако и эта ограниченность играет нам на руку: можно усмотреть возможности для воздействия на общество сразу на многих направлениях, сделать это влияние достаточно незаметным — и тем самым обезопасить себя от возможных санкций со стороны власть имущих. Поэтому мы не предлагаем конкретных мер — тут надо по ситуации, не опускаясь до угодничества — но и без лишнего риска.

Основная линия — на снятие любых барьеров для развития разума, включая как доступ к средствами производства (они же — предметы потребления), так и возможность обмена духовными находками. Мы не признаем авторского права — поскольку всякое производство (в том числе духовное) носит общественный характер, и в любом случае автором оказывается человечество в целом. Распространение знаний, технологий, произведений искусства, философских идей — оправданно всегда, в любом объеме, независимо от (классовой) легальности. Даже

если такое пиратство преследует коммерческие цели — оно помогает людям, дает им хотя бы сознание возможности обойти запреты, стать свободнее.

Важнейшая сторона этой свободы — приватность. В атмосфере всеобщего размежевания свобода принимает форму размежевания: есть области, куда посторонним лезть не полагается, где можно свободно обмениваться духовностью и планировать совместные труды. Следует поддерживать борьбу против любых посягательств на личную жизнь, на свободу общения. Технологиям тотального контроля приходится противопоставлять технологии виртуализации и анонимности, когда ни одна личность не в ответе за результат общих усилий. Однако нельзя забывать, что уродливые формы способны изуродовать и содержание; всякая борьба — деградация духа, отход от разума. В качестве средства, в ограниченных масштабах — это годится; но разумное решение в том, чтобы найти такие формы разумности, которые будут жизнеспособны даже при отсутствии приватности, в условиях мощного силового давления. Например, надо быть готовыми свергнуть гнет капитала силой оружия — но никакая революция ничего не решает сама по себе: разум проступает лишь там, где оружие уже не требуется. Распространение технологий изготовления оружия — может быть средством давления на власть; но гораздо скорее это станет средством шантажа масс разгулом теневых властей, с которыми верха всегда умели договориться. Нельзя чувствовать себя в безопасности, научившись защищаться, — одной силе противопоставляя другую. Настоящая свобода там, где не нужна сила — где никакой силой невозможно уничтожить человеческую духовность. Можно убить тело — дух неистребим. Поэтому так важно обратить особое внимание на технологии духовной деятельности — которые способны выжить на любом экономическом материале. Именно поэтому мы занимаемся вопросами воспроизведения разума — а не экономическими или политическими проблемами (коих у человечества предостаточно). Дух неизбежно тянет за собой экономику; экономика способствует духовности далеко не всегда.

Освобождение духа от классового диктата всегда связано с устранением или нейтрализацией классовых регуляторных структур. Поэтому следует при каждой возможности выводить поведение за рамки господствующей морали, права и религии — отстраняться от любых форм коллективности (в отличие от свободного сотрудничества), включая семью и образовательные структуры. Всякий закон сам себя

ограничивает — поэтому найти лазейку всегда возможно, бороться с правом правовыми средствами. Всякая религия нуждается в силовых мерах для удержания паства под контролем — борьба с религией также использует правовые рычаги: отделение церквей от государства, от школы и семьи; запрет на религиозное воспитание несовершеннолетних (включая вовлечение в обрядность — даже в форме игры). Так, не может быть и речи о крещении детей — только взрослые, по своему выбору; точно так же, иконы и лампадки — только вне дома, где детям бывать нельзя. Это заведомо классовые методы — и они идут в разрез нормам свободного образования; однако пока есть возрастной ценз на участие в материальном производстве — должны быть и ограничения на движения духа. Будет возможность давать нерелигиозное образование с самого рождения — религия станет частным делом, вне правового поля.

Мы поддерживаем все, что расшатывает семейственность: против брака в любых формах. Так, пока сохраняется институт собственности, следует использовать его для разрушения семьи: распределением благ должно заниматься общество в целом (например, в форме государства), а не частные лавочки любого масштаба. Вместо права наследования — право гарантированного социального обеспечения (включая стартовый капитал) и общественного образования, свобода выбора рода занятий — безотносительно к семейным и клановым традициям. Каждый напрямую общается с человечеством, и приучается действовать от его лица. Тем самым все люди будут иметь равные возможности строить свою индивидуальность — становиться личностями.

Одним из средств открепления детей от семьи мог бы стать запрет на указание родителей в любых документах — и обратно, родителям вовсе незачем знать кто от них произошел. Даже если допустить проживание детей в семье — это могут быть приемные дети, без увязки с биологическими процедурами. Материальное содержание — ложится на плечи общества, а семья лишь задает круг общения — который ребенок мог бы сменить по своему желанию. Это начисто устраниет зависимость детей от родителей — и в значительной мере перекрывает взрослым возможности манипулирования детьми ради экономических и социальных преимуществ.

Отсюда перевертывание традиционной морали: не только уравнять «законных» и внебрачных детей юридически и экономически — но и считать общественное воспитание детей более полноценным, по сравнению с заведомо ущербным семейным воспитанием. Чтобы слово

«детдомовец» стало не презрительной кличкой или поводом для жалости, а предметом гордости — и даже рыночным преимуществом. Разумеется, для этого придется законодательно ограничить возможность создания «блестящих» сетей — считать прием на работу по знакомству уголовным преступлением.

Отделение семьи от распределения благ и доступа к средствами производства освобождает людей от учета экономических условий при образовании союзов и совместном проживании. В частности, семья отделена от деторождения (производства органических тел) — которое должно приобретать все более общественный характер и утратить связь с половой жизнью. Для этого, наряду с широчайшим распространением культуры контрацепции, требуется широкое развитие различных видов искусственного оплодотворения, искусственного партеногенеза и т. д. Вынашивание и рождение ребенка — не зависит от того, чей именно генетический материал использован при зачатии. Любая женщина, достигшая органической зрелости (с учетом индивидуальных темпов развития!) имеет право родить ребенка, независимо от опыта половой жизни; это отрасль материального производства — и регулируется она теми же мерами, как и вся остальная экономика (например, финансовая стимуляция и развитие нетравмирующих процедур). Каким образом все будет происходить — вопрос технологический, решать который надо не только с учетом физиологических возможностей и общественных потребностей, но и в соответствии с пожеланиями женщины: либо это будет оплодотворение из общественного фонда, либо имплантация оплодотворенной яйцеклетки, — либо обычный половой акт с лично привлекательным партнером — либо еще что-нибудь... Вероятно, развитие технологии позволит вообще освободить женщин от остатков репродуктивной физиологии; любые шаги в этом направлении следует всячески приветствовать.

Наряду с планированием деторождения и переводом его на индустриальные рельсы, следует поддерживать усилия по легализации эвтаназии — не только по медицинским показаниям, но и по личному желанию, независимо от состояния биологических тел. Нужны простые, эстетичные и приятные процедуры ухода из жизни, развитые методы утилизации тел (вплоть до полного отказа от кладбищ и колумбариев), преемственность (как сохранение неорганических тел и творческого наследия), виртуализация существования (жизнь после жизни). Одно из перспективных направлений — проекция личности на новое тело

(«переселение душ»), что, по сути, представляет собой индустриальный аналог обычного зарождения личности ребенка в семье, иногда задолго до зачатия.

Сугубо производственное отношение к деторождению позволит достаточно рано знакомить детей с культурно принятыми процедурами, предотвращая стихийность и безответственность. Половая гигиена в этом отношении ничем не отличается от культуры питания или аккуратности туалета. Тогда вступление в половую жизнь будет сопряжено с человеческими переживаниями, а не с животностью. Хирургическая дефлорация должна стать таким же медицинским правилом, как обрезание пуповины — или обязательные прививки. Умение справляться с половым возбуждением (в том числе при участии временных партнеров и фасилитаторов), половое воспитание и половая практика в системе общего образования,⁹ — основа для выработки представления о свободе любви, для полного искоренению дикости в отношении к возможнымовым партнерам, духовного и полового насилия. Грамотный секс может стать одним из факторов личностного роста — наряду с тысячами других.

Разумеется, возможны ошибки — и неплановое зачатие. Однако если ребенок никак не связан с родителями, если вынашивать его можно и без генетической матери, а сразу после рождения ребенок изолирован от родителей, — никаких проблем здесь не возникает (разве что, уменьшить на единицу текущий план производства тел). Отсутствие экономической составляющей в половой жизни — делает секс личным решением каждого, и устраняет любые поводы для ревности. Семья как более или менее постоянное сожительство все еще возможна — но ее хозяйствственные функции не навязаны низкой культурой быта, а лишь материализуют (как одна из возможностей) духовные отношения, любовь.

Выработка предельно бережного отношения общества к любви — важнейшая составляющая развития культуры. Любовь выше любой морали; безнравственно — препятствовать любви. Любовь выше любых

⁹ Сейчас приспособления для занятий сексом называют секс-игрушками; это пережиток дикости: серьезным считают только секс ради зачатия, а все остальное — всего лишь игры. Если же секс полностью отделен от деторождения, он становится самостоятельной деятельностью, ничуть не менее серьезной, чем все остальное, — и обучать использованию приспособлений можно с раннего возраста, до начала активной половой жизни. Разумеется, если у человека есть к этому интерес.

экономических интересов; потребность в любви — первая человеческая потребность, и экономика нужна только для того, чтобы дать людям возможность любить. Любовь никак не связана с репродуктивной или хозяйственной деятельностью — и нет экономической зависимости любящих друг от друга, они свободны пробовать любые культурные формы или изобретать новые. Свободная любовь не имеет отношения к семье — но может использовать и эту форму, если она устраивает любящих, духовно сближает их. При этом одна любовь — не помеха другой, а, скорее, одно из направлений развития. По всей видимости, будет интенсивно развиваться косвенные и опосредованные духовные связи — любовь все меньше зависит от непосредственного контакта. Что, конечно же, отнюдь не делает любовь пустой «платонической» абстракцией: взаимопроникновение неорганических тел столь же насыщено переживаниями, как и традиционные любовные свидания.

Социализация тел должна становиться полностью общественной, напрямую связывая личность и общество. Формальные структуры (семья, школа, производственный коллектив) могут опосредовать эту связь — но лишь в очень ограниченных масштабах, как возможные инструменты, а не обязательные для всех этапы. Соответственно, нет формальных критериев образованности: никакие типовые курсы не являются обязательными, а их прохождение не увязано с допуском к средствам производства. Участие в общем труде — не по результатам экзаменов или иных проверок, а по индивидуальной готовности, которая вырастает из включения человека в реальное производство, постепенное освоение новых навыков и форм общения.

Отсутствие формальных критериев позволяет людям свободно учиться друг у друга, независимо от возраста или иных характеристик органических или неорганических тел. Никаких единых программ! — человек учится тому, что ему интересно, и его образование совершенно индивидуально. Никакое образование не может быть завершено — и тем более формально удостоверено. Это процесс всей жизни, и любое общение в нем взаимно: в нем развиваются все участники (но не одинаково, а каждый в своем направлении). Соответственно, не существует формальных этапов: к чему угодно можно приобщиться в любом возрасте — а задача общества, изобретать для этого подходящие методы и инструменты.

Несовершенство (многоукладность) классовой экономики может препятствовать единству деятельности взрослых и детей (хотя само

различие между ними будет постепенно стираться). В какой-то мере сохраняется и специализация: некоторые люди могут сделать педагогику своим основным занятием. Однако это никоим образом не вопрос о власти взрослых над детьми — только взаимопомощь и сотрудничество; тогда связь взрослого и ребенка становится свободной, человеческой, — перерастает в дружбу. Поскольку же разрублены узы, связывающие родителей с их (формальными или биологическими) детьми, — нет больше родительского чувства и детской привязанности, а есть общение разумных существ, каждое из которых интересно другому творческой неповторимостью.

Различия в способах участия в общественном производстве могут быть связаны с созданием особых образовательных структур; но их цель не изоляция мира взрослых от мира детей (чтобы «не путались под ногами»), а наоборот, обеспечение максимально широкого доступа к «взрослому» миру, который был бы заведомо ограничен при стихийном входжении ребенка в трудовой процесс. Создание всевозможных «интерфейсов» — основная задача педагогики. Поскольку приобщиться к чему угодно можно в любом возрасте, образование взрослых ничем принципиально не отличается от образования детей: в любом случае нужен доступ к культурным достижениям и подходящие инструменты, включая возможность попробовать себе в живом деле безопасным для личности и для общества способом.

Все это окончательно устраниет экономическую и духовную роль семьи — лишает ее правового или культурного статуса. Институт брака отмирает. Разумеется, в классовом обществе этот предел недостижим. Однако вполне возможно подталкивать историю в нужном направлении, добиваясь хотя бы частичной свободы, в отдельных культурных нишах. Параллельно, добиваться нейтрализации и ликвидации иных форм классового насилия, таких как государство и церковь. Свобода участия в разумной деятельности невозможна без свободы передвижения — реального или виртуального; поэтому важно добиваться прозрачности границ, вплоть до полного их размывания. Другая сторона этого — вытеснение из сознания этнических предрассудков. Увязывать личность с принадлежностью к какой угодно общественной группе — значит, ограничивать ее свободу, убивать как личность. Рождение организма на замкнутой в своих границах территории никоим образом не отражает ни места личности в культуре, ни ее духовного своеобразия. Человек может интересоваться этнографией — но он не обязан идентифицировать себя

ни с каким этносом, и его социализация носит общечеловеческий характер. При этом каждый имеет возможность приобщиться к любой из местных (или исторических) культур, свободно сочетать различные этнически окрашенные элементы. Следует стремиться к ликвидации паспортов или иных «опознавательных знаков» — для общения людям не нужны имена, они просто трудятся вместе — и это не требуется никак «квалифицировать», превращать в формальность. Можно составить реестр наличных тел — но невозможна инвентаризация личностей; личность меняется, она пользуется разными органическими и неорганическими телами; эта переменчивость — суть ее существования. Разумеется, развитие экономических форм, допускающих подобную подвижность, — долгая и трудная работа, и сейчас известны лишь отдельные прототипы. Тем не менее, продвижение в этом направлении возможно и в рамках классовой экономики — а наличие технологий виртуализации субъекта подталкивает массовое сознание, требует изменения общественных институтов — перехода к иным методам регуляции производства. Закрепление представления о личности вне биологических тел — вполне возможно в контексте гражданского права, равно как и освоение идеи множественности тел, наследования духа (способа участия в производстве), совмещения разных личностей в одном теле и т. д.

Религия не может существовать без правовой поддержки, включая все формы экономического и силового принуждения. Вытеснение религии из общественной жизни требует лишения экономического статуса, запрета на производственную деятельность — в материальной сфере и в области рефлексии (включая образование, искусство, науку, философию). Кружки по интересам — не более. Способ совместного времяпрождения. Антирелигиозная цензура в литературе и в науке — на смену сегодняшней религиозной цензуре (под видом религиозной терпимости и уважения чувств верующих). Тем более недопустимо слияние церкви с государством, хотя бы и в форме дотаций или преференций. Не должно быть религиозных партий — это противоречит отделению церкви от экономики. Вера — первобытная, полуживотная форма мировоззрения; задача общества — воспитывать убеждения, сознательный подход к любой деятельности, отказ от животности. Нет нужды в специальной антирелигиозной пропаганде: если бог (или иные мистические категории) есть нечто нечеловеческое — значит это часть природы, и человек обязан эту природу одухотворить, окультурить,

сделать объектом деятельности и привести в соответствие с разумными потребностями человечества. Все это лишь продолжает и уточняет курс на преодоление эмпирионатурализма.

Буржуазная пропаганда отождествляет свободу с демократией — когда люди не сами решают, как им жить, а передают это право горстке «народных избранников», решения которых навязывают массам при помощи якобы отделенной от законодателей «исполнительной власти». Здесь, как и в системе образования, надо уходить от формального разделения «властей» — равно противопоставленных трудовому народу. Современные технологии позволяют возродить (на новом уровне) «прямую демократию» древних обществ — но они же создают и новые методы манипуляции: уверения в объективности автоматических процедур скрывают классовую основу используемых алгоритмов. Конечно, ликвидация компьютерной безграмотности вкупе с доступом к исходным кодам и возможностью коррекции неудовлетворительных выводов — отчасти смягчает опасность. Но основной путь — уход от самой необходимости принимать решения и формально их выполнять: люди должны иметь возможность в любой момент отказаться от того, что перестало их устраивать, — и своей властью внедрять все, что им кажется заслуживающим внимания. Переход к обществу без властей — через широкое народовластие, когда слово не расходится с делом.

Разум преобразует природу. Но воспроизведение разума также предполагает и восстановление условий деятельности, включая наличие необходимых для воплощения духа тел. Бережное отношение к природе неотделимо о разумности. Расточительство и разум — несовместимы. Но столь же несовместимы с разумом уродства коммерческой экологии, всячески способствующей ограблению масс ради насаждения классовых различий. Разумный человек не отказывается ни от чего — он разумно все использует. Ему важна не природа как таковая — а возможность продолжать деятельность. Надо сохранять то, что способствует этому, и решительно избавляться от помех. Сохранение природы возможно лишь поскольку при этом не ограничивают человека. Мы приветствуем любые усилия по воссозданию природных ресурсов (и красот) — но лишь при условии, что людям по-прежнему доступно уже достигнутое, в полном объеме. Приоритет — устранение дефицита энергии и пресной воды, переход к синтезу большинства полезных веществ вместо добычи ископаемых или разведения растений и животных. Обратная сторона — культура утилизации; в пределе, любые отходы могут быть разобраны

на атомы — и собраны в другом порядке. Для этого нужны, прежде всего, вода и энергия.

Воспроизведение органических и неорганических тел дополняется их воспроизведением, поддержанием работоспособности долгое время, без необходимости создания новых тел; скорее, основной акцент — на производство аксессуаров, расширяющих применения уже имеющегося. Обновление телесного состава по ходу деятельности — упрощает задачу утилизации отработанного материала и обеспечивает наследование духа. Уход за телами — разумное отношение к орудиям труда. Нам нужна не видимость, не внешний лоск, — а способность творить, преобразовывать мир и себя. Возможность участия в общественной жизни не должна быть связана с производимым впечатлением — а там, где стремление произвести впечатление уместно, — это лишь одна из граней духовного производства. В частности, практическое применение научных результатов требует избавления от неуместного научообразия, а произведение искусства только выигрывает, избавляясь от нарочито броской аляповатости, саморекламы. Устранение неумеренностей — способствует сближению и синтезу уровней рефлексии, созданию единой картины мира — и единого мировоззрения, так же невозможного без поэтического отношения к миру, как и без учета наличествующего здесь и сейчас. Разумность — не значит рациональность. Может быть разумным интуитивное — и неразумной логика. Разум невозможен без наслаждения и без страсти. Без любви. Даже там, где, вроде бы, нет никакой возможности поступить разумно, — и будущее не приходит даже в мечтах, — у нас остается шанс сохранить в себе человеческое, не поддаться подлой животности, не скатиться в хаос угодливой эмпиреи. Достаточно помнить о любви — и любить.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТГОЛОСКИ.....	3
ЭТЮДЫ.....	171
Блики рефлексии	173
Мелочи быта	253
О любви	339
Прорастание	423
КРИТИКА И РЕФЛЕКСИЯ (вместо эпилога)	497

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА
+
ИВАН ГРЫЗЛОВ